

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ДОКУЧАЕВ



К 175-летию со дня рождения

“В заключение же своего труда “Наши степи прежде и теперь” учёный ещё и ещё раз напоминает, что в основе сельского хозяйства лежат такие природные факторы, как воды, воздух, грунты с их водами, почвы с их сельскохозяйственной правоспособностью и культурными требованиями и, наконец, растительный и животный мир со своими требованиями и запросами к человеку и сельскому хозяйству. Все они до такой степени взаимосвязаны и трудно различимы в их влиянии на жизнь человека, “что как при изучении этих факторов, так и особенно при овладении (если желают, конечно) ими безусловно необходимо иметь в виду, по возможности, всю единую, цельную и нераздельную природу, а не отрывочные её части. И действительно... без соблюдения данного условия нечего и думать вполне и правильно использовать воду, разумно и успешно бороться с крайностями южного климата; без этого мы никогда не сумеем организовать как следует ни орошения, ни облесения, ни борьбы с оврагами и засорением наших важнейших речных артерий”, — так писал Ф. Я. Шипунов о В. В. Докучаеве, приводя его особенно актуальные для нас сейчас слова.

НАШ СОВРЕМЕННОК

Журнал писателей России



№ 2 2021

ВЛАДИМИРУ ГРИГОРЬЕВИЧУ БОНДАРЕНКО — 75



Непримиримый и одновременно тонкий критик, огненный публицист, редактор-профессионал с безошибочной интуицией — всё это можно сказать о Владимире Григорьевиче Бондаренко. Сегодня он отмечает своё 75-летие, его поздравляют коллеги и соратники, а на наших страницах своё проникновенное слово о нём произносит Александр Проханов: “Сейчас твои глаза помудрели, в них появились печаль, разочарование, но на самом их дне всё те же сверкающие искры твоей молитвенной любви, которую ты несёшь через всю свою жизнь и которая, как крылья, несёт тебя в русском небе. Это любовь к русской словесности, к русскому божественному слову, к России, загадки которой отгадывали и отгадывают самые мудрые, самые просветлённые люди нашей земли. Для тебя эта отгадка лежит в сокровенном русском слове. Ты обожаешь русскую литературу. Ты её жених, ты с ней повенчан. Сколько прекрасных статей, книг написал ты о великом явлении — нашей деревенской литературе. Ты воспел каждого из златоустов: и Распутина, и Белова, и Астафьева, и Носова, и Личутина, и изумительного Рубцова, и Кузнецова, и Тряпкина. Ты, как драгоценный камушек, сверкаешь в этом могучем русском потоке. И все, о ком я говорю, все тебя любили, иногда журили, часто — учили своим художеством, своим великим стоянием. Ты, дорогой Володя, — столпник русской литературы”.

Мы присоединяемся к этим словам и от всей души поздравляем Владимира Григорьевича, желаем ему крепкого здоровья и творческого вдохновения.

ЮРИЙ ПОЛИКАРПОВИЧ КУЗНЕЦОВ



К 80-летию со дня рождения

“В Литературном институте прошёл вечер памяти Юрия Кузнецова. Там же была попытка презентации книги Кузнецова “Крестный путь”, которая по какому-то фантастическому недомыслию издателей вышла под названием “Крестный ход”. Ошибку они осознали в тот момент, когда весь тираж был уже отпечатан. Поэтому выступающие несколько раз запинаясь об этот казус, и когда очередь дошла до выступления редактора, его в зале уже не было. Но вечер получился чинный.

Жена поэта Батима подарила каждому по книжке и диску с записью стихов и песен на стихи Юрия Кузнецова. Придя домой, я поставил диск на прослушивание. Рядом присел шестилетний внук Артём, и когда очередь дошла до “Колыбельной”, отнюдь не набожный пятилетний мальчик вдруг сказал: “Это любимая песня Бога”.

Воспоминания Владимира Бояринова и другие материалы 13-й Кузнецовской конференции Института мировой литературы “Родное и вселенское в творчестве Юрия Кузнецова” читайте на стр. 194.



ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1956 года

Главный редактор
Станислав КУНЯЕВ

Общественный совет:

Л. Г. БАРАНОВА-
ГОНЧЕНКО,
А. В. ВОРОНЦОВ,
Т. В. ДОРОНИНА,
Л. Г. ИВАШОВ,
С. Г. КАРА-МУРЗА,
В. Н. КРУПИН,
А. Н. КРУТОВ,
А. А. ЛИХАНОВ,
Ю. М. ЛОЩИЦ,
С. А. НЕБОЛЬСИН,
Д. Н. НИКОЛАЕВ,
Ю. М. ПАВЛОВ,
И. И. ПЕРЕВЕРЗИН,
З. ПРИЛЕПИН,
Е. С. САВЧЕНКО,
А. Ю. СЕГЕНЬ,
В. В. СОРОКИН,
А. Ю. УБОГИЙ,
В. Г. ФОКИН,
Р. М. ХАРИС,
М. А. ЧВАНОВ,
С. А. ШАРГУНОВ,
В. А. ШТЫРОВ

Содержание

Проза

- Александр ПРОХАНОВ.
ЦДЛ. Роман 7
- Андрей УБОГИЙ
Моя хирургия (окончание) 71
- Алексей ШЕПЕЛЁВ
Мост сквозь зеркало. Рассказ 81

Поэзия

- Виктор ВЕРСТАКОВ
От сказки до войны 3
- Валерий ФОКИН
Цветение как символ чистоты... 66
- Юрий КЛЮЧНИКОВ
Из поэтических переводов 94
- Вадим БАКУЛИН
Ощущенье большой непогоды 103
- Валентина КОРОСТЕЛЁВА
Поверить друг другу 106

Очерк и публицистика

- Станислав КУНЯЕВ
“К предательству
таинственная страсть...” 109
- Александр СЕВАСТЬЯНОВ
Подводя итоги 133
- Михаил СЕМЁНОВ
Слово о Метиславе Келдыше 147
- Георгий ДОБЫШ
Улыбка Чеширского кота 154
- Светлана МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО
Про детское чтение в цифровом
мире и вторичное одичание 165

Слово читателя

- “Не надо чистить
ружья кирпичом” 173

Память

- Сергей КУНЯЕВ
Вадим Кожинов 178

Редакция

Приёмная —
(495) 621-48-71

С. С. Куняев —
заместитель главного редактора,
зав. отделом критики —
(495) 625-02-81
ns-kritika@yandex.ru

А. Ю. Сегень —
зав. отделом прозы —
(495) 625-30-47
ns-proza@yandex.ru

К. К. Сейдаметова —
зав. отделом поэзии —
(495) 625-02-81
ns-poetry@yandex.ru

Я. В. Сафронова —
редактор отдела критики —
(495) 621-48-71

Е. Н. Евдокимова —
зав. редакцией —
(495) 621-48-71

М. А. Чуприкова —
гл. бухгалтер —
(495) 625-89-95

Родное и вселенское в творчестве
Юрия Кузнецова 194

Анатолий ГРЕШНЕВИКОВ
Нравственные вершины 219

Александр КРУТОВ
Русский человек 285

Альберт ЛИХАНОВ
Прощай,
неравнодушное сердце 287

Критика

Сергей ПЕТУНИН
Искусство лёгких денег: новый
роман Виктора Пелевина 248

Александр БОЙНИКОВ
И всё-таки будет по-русски!.. 255

Дмитрий ЕРМАКОВ
Шукшин и Тарковский 261

Катриотика

Валерия БЕЛЬТЮКОВА
По следам двух конференций 272

Александр ПРОХАНОВ
Неистовый Бондаренко 276

Среди русских художников

Константин ДОЛГОВ
Сергей Бондарчук: философия
жизни, добра и красоты 279

Редакция внимательно знакомится с письмами читателей и регулярно публикует лучшие, наиболее интересные из них в обширных подборках. Рукописи принимаются как в распечатанном виде по Почте России, так и по электронной почте отделов. Каждая рукопись внимательно рассматривается. Связь с авторами происходит ТОЛЬКО при положительном решении. Вступать в переписку по поводу рукописей редакция не имеет возможности. Рукописи не рецензируются. Журнал не публикует поэмы, сценарии, либретто. Журнал оставляет за собой право опубликовать присланное произведение в журнальном варианте. За достоверность фактов несут ответственность авторы статей. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции.

Адрес редакции: **Москва, 127051, Цветной бульвар, д. 32, стр. 2**

Сайт в интернете: **www.nash-sovremennik.ru**, эл. почта: **n-sovrem@yandex.ru**

Журнал зарегистрирован Мининформпечати Российской Федерации 20.06.03. ПИ № 77-15675. При изготовлении оригинал-макета журнала использованы шрифты ООО НПП "ПараТайп".

Компьютерная вёрстка: Г. В. Мараканов. Оператор: Н. С. Полякова

Корректоры: С. А. Артамонова, Н. А. Павлова

Подписано в печать 04.02.2021. Формат 70x108 1/16. Бумага газетная.

Офсетная печать. Усл. печ. л. 25,4. Уч.-изд. л. 22,9. Заказ № 58-2021. Тираж 3600 экз.

Отпечатано в АО "Красная Звезда", 125284, г. Москва, Хорошевское шоссе, 38.

Тел.: (495) 941-21-12, (495) 941-32-09 www.redstarprint.ru e-mail: kr_zvezda@mail.ru

ВИКТОР ВЕРСТАКОВ



ОТ СКАЗКИ ДО ВОЙНЫ

ЛИК И ЛИЧИНА

Он был в Афгане авианаводчиком
и значит, был рисковым иногда.
Так отчего ж мне видятся порочными
монашеская ряса и Звезда?

Я знал его отца: святого грешника,
начальника воздушных сил войны,
подбитого, упавшего, сгоревшего
дня через три, как были мы хмельны.

Ему уже по возрасту и званию
не разрешалось драться и летать —
взлетел, погиб, успев сынка в Афганию
из тыловой России отозвать.

Сын, повторюсь, стал авианаводчиком,
то есть ходил с войсками по горам,
подсказывая снизу вертолётчикам,
где и какой устроить тарарам.

И вот однажды после боя лютого
он заглянул в пещеру мертвецов:

ВЕРСТАКОВ Виктор Глебович родился в 1951 году в семье офицера-фронтовика. Окончил Военно-инженерную академию имени Ф. Э. Дзержинского. Полковник в отставке. Автор нескольких стихотворных книг. Член Союза писателей России. Живёт в Москве и тверской деревне Бирюльки.

не знаю, что тогда его попутало,
но подорвался он в конце концов.

Был госпиталь затем, и операции,
отпиленные ноги до колен...
Но на протезах на виду остаться он
сумел в года российских перемен.

Увы, сошёлся с наглыми умельцами
по переделу и по грабежу,
советником у президента Ельцина
он стал. А как — я лучше не скажу.

И как Звезду Геройскую устроил он —
нет, не отцу посмертно, а себе, —
об этом тоже умолчу. Героями
становятся порой не по судьбе.

Советничал, деньжонки заколачивал,
немало дел в торговле провернул,
но то ли конкуренты озадачили,
а то ли сам он слишком их надул,

но оказался вдруг в долгах, на счётчике,
и даже, говорят, заказан был.
И, чтоб смутились недруги-молодчики,
ушёл в монахи, Бога возлюбил.

Вчера его опять по телеящику
Показывали — ряса и Звезда,
и словеса: “Ищите и обрящете”.
И лик Отца, горящий от стыда.

ВЕДЬМА

Последнею ведьмой деревни
её называет народ.
И возраст как будто бы древний,
а пляшет себе и поёт.

Дурною и злою старухой
недаром зовётся она.
Но ведь музыкального слуха
и грации не лишена.

Полвека на ферме трудилась,
не видела светлого дня.
И надо же, сдуру влюбилась,
ну, ладно бы в чёрта, — в меня!

Деревня вконец ошалела,
от слухов распух магазин:
в России последнее дело
влюбиться без крайних причин.

“Старуха, навозница, ведьма,
в аду бы ей петь и плясать!”
Я здесь человек не последний,
меня надо срочно спасать.

Звонят и жалеют при встрече,
а то и ругнут матерком.
И крыть-то мне жителей нечем:
я с ведьмою вправду знаком.

Но стал замечать, что порою
пред нею меняюсь в лице
и страшно мне видеть, не скрою,
цветок от неё на крыльце.

ВОЛКИ

Не хочу забывать эти горькие дни
с их смертельною взрывчатой болью.
Даже волки бежали тогда из Чечни
к Бузулуку, на Дон, в Ставрополье.

Волки выли в горах, мы дошли до высот,
разгоняя огнём всё живое
и не ведая, чем завершится поход
среди свинцового лая и воя.

Были волки худы, с рыжиной по бокам,
а враги были чернобороды.
Мы служили тогда слишком разным богам,
но мы были единой породы.

Волки раньше людей отступили на Дон,
оглушённые грохотом боя,
где сражались чеченский и наш батальон,
побратавшись кровавой судьбою.

Брат, нас боги рассудят, им сверху видней,
как мы бьёмся до смертного пота.
Те, кто выжил, пускай до скончания дней
помнят, что не сдаётся пехота.

Чья пехота, не важно. Да пусть хоть ничья.
Наплевать нам на клички и толки.
Ведь не воду, а кровь пили, брат, из ручья
мы в горах, что покинули волки.

ДОМОВОЙ

Прилетели голуби в селенье,
сели на безлюдную избу,
из которой в крайнем изумленье
вылез Домовой через трубу.

Голуби глядят на Домового,
Домовой глядит на голубей:
он среди пернатого живого
этаких не помнит, хоть убей.

Всё вороны, галки да сороки,
а весною — шумные грачи
и скворцы, но те в другие сроки —
не при людях, про людей молчи.

Бросили, бескрылые уроды,
обжитые предками дома,
а ведь Домовому без народа
даже пятистенка, как тюрьма.

Вот и прилетели городские
птицы или души, не поймёшь.
Домовой кричит им: — Кто такие?
А в ответ то птичьи, то людские
голоса: — И ты не узнаёшь...

ЭПОХА

Нас не почитают, не читают,
не преподают, не издают.
Перед нами женщины не тают,
внуки наших песен не поют.

Старые поэты, ветераны
русского Парнаса и войны —
водку пьём, долечиваем раны,
смотрим прозаические сны.

Мы давно не нравимся эпохе,
чужды ей сраженья и стихи.
Говорит: — Делишки ваши плохи.
Отвечаем: — И твои плохи.

Как ты, дура, без литературы
будешь во Вселенной куковать?
Чем свои войнушки и амуры
в жизни будешь запечатлевать?

А с другой эпохой сразишься,
кто тебя, немую, защитит?
Бога ты, эпоха, не боишься,
Он ведь Слово, значит, Он пиит.

Но шумит эпоха в интернете,
чтоб своей не слышать тишины,
позабыв, что жизни нет на свете
без литературы и войны.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ



ЦДЛ

РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Глава первая

Дубовые стены обеденного зала были коричневые, прокалённые, пропитанные табаками курильщиков, запахами кофейных зёрен, дымком жареного мяса, ароматами вкусных вин. Отломи ломтик дубовой доски, кинь в кипяток, и вода станет темнеть, как в чашечке кофе. Пей, смакуя, маленькими глотками, вкушай, дожидаясь, когда появятся галлюцинации. Тебе вдруг явится Максим Горький, похожий на моржа, с вишнёвой трубкой, только что провозгласивший мистическое учение Соцреализма. Исаак Бабель, испивший славу своей слёзной и кровавой “Конармии”. Александр Фадеев вернулся из Кремля и нащупывает среди рукописей холодное тельце пистолета. Константин Симонов, щеголеватый, с обольстительными усиками, льёт вино в бокал очередной красавицы...

Виктор Ильич Куравлёв был автором нескольких книг, снискавших благосклонность критиков. Однако книги не одарили его ослепительным успехом, когда произведение вдруг полыхнёт, опалит хладные умы ценителей, утомлённых воспеванием одних и тех же обветшалых кумиров. Такая книга ворвётся неожиданно, словно метеорит. Озарит, обожжёт, прогрехочет, как взрыв. Пошлёт взрывную волну читателям, заждавшимся нового литературного светоча.

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов “Чеченский блюз”, “Красно-коричневый”, “Идущие в ночи”, “Господин Гексоген”, “Крейсерова соната”, “Человек звезды”, “Время золотое”, “Убийство городов”, “Губернатор”, “Гость”, “Певец боевых колесниц”. Живёт в Москве.

Но взрыва всё не было. Была короткая вспышка, не способная затмить царствующие светила. Новая выпущенная Куравлёвым книга обещала долгожданый триумф, дразнила честолюбие сладкими и пугающими ожиданиями.

Куравлёву было под сорок. Большой белый лоб без морщин, словно его не коснулись мучительные раздумья. Длинные каштановые волосы ниспадали почти до плеч, что вынуждало Куравлёва изредка встряхивать головой, отбрасывая назад мешавшую прядь. Серые глаза прищурены, как у стрелка, который высматривает цель. Рот насмешливый, но в улыбке не было злой иронии, а только весёлость человека, которому многое кажется забавным. Он не позволял себе высмеивать чужие недостатки, вслух подмечать слабости литературного письма собратьев по перу.

Книга, на которую он уповал, называлась “Небесные подворотни”. Она была об архитекторе-футурологе, что проектировал города будущего. Космические поселения, подводные лаборатории, летающие небоскрёбы, которые распадались на малые частицы и, как семена одуванчика, неслись по ветру в полярные льды, раскалённые пустыни и там вновь собирались в города. Фантазии архитектора проходили в современной Москве, среди заводских конвейеров, очистных сооружений, мясокомбинатов с окровавленными тушами, среди многолюдных рынков и весёлых аттракционов. Метафора книги сводилась к тому, что мечтатель-одиночка стремится преодолеть гравитацию материального мира и вырваться в чудесные миражи будущего. Он терпит крах, завещая своё дело будущим поколениям. “Я потерпел земное поражение, но одержал победу в небесах”.

Теперь эта книга, только что из типографии, в девственной свежести и красоте, лежала на столе Дубового зала ЦДЛ, где Куравлев с приятелями праздновал её выход.

— Ну, что, Витя, я тебя поздравляю с добротным романом. Полагаю, это твоя лучшая книга. — Писатель Антон Макавин, близкий друг Куравлёва, поднялся, держа в руках рюмку водки. — Этот роман — мечта о будущем. Сегодня литература тоскует о прошлом. “Деревенщики” — плакальщицы о былой деревне, где витал настоящий русский дух. “Городская проза” Трифонова не может смириться с разгромом ленинской гвардии, откуда все они родом, и власть попили русской кровушки. Твой роман, Витя, о будущем, которое так и не наступило. Поздравляю с книгой! — Макавин чокнулся с Куравлёвым, вся застольная братия потянулась следом. Макавин был породистый крепкий уралец, в которого чуть капнула азиатская кровь, подарила ему широкие скулы и узкие степные глаза. Он писал небольшие рассказы и повести о современном человеке, утратившем всякую связь с государством, бегущем от государства, кто в странствия, кто в запой, кто в камерную потаённую любовь. Куравлёв ценил его добротный слог, лишённый образности, где фразы напоминали грубоватые деревянные бруски с запахом распиленного леса.

Уже были съедены мясные и рыбные закуски, картофельные клубни с селедкой, и следовало подавать жульены. Поднялся с рюмочкой Пётр Липустин, низкорослый, с синими колкими глазками, с золотистой бородкой, маленький красивый помор, писавший свои романы о староверах и странниках на волшебном языке, на коем, как он утверждал, говорили его предки в рыбачьих артелях, в охотничьих угодьях. Ставили по берегам Мезени громадного роста “обетные” кресты, распевая песни о корабльщиках и синем море.

— Ну, что мне сказать, Витя? Хорошая разноцветная книга. Такие метафоры, упадёшь в одну, как в волчью яму, и барахтаешься, пока кто-нибудь шест не протянет. Конечно, никто из нас так не опишет машину, словно она тварь живая, а не железяка бездушная. Но душу, душу сумеи описать! Русская литература душевная, а у тебя вместо души — самолётный пропеллер. Ты, Витюха, не обижайся за мои слова. Книга твоя бесподобная! — Он закрыл синие глазки, опрокинул рюмку, отёр рукавом золотые усы.

— Витенька, не надо метаться, не надо куда-то мчаться. Смотри на мир широко открытыми глазами, и мир сам к тебе придёт. — Писатель Анатолий Апанасев, похоже, не читал книгу. Но в его милом лице, в круглых

птичьих глазах было столько дружелюбия, искренней радости, что Куравлёв прощал Апанасьеву легкомыслие, невесомость суждений, которыми были полны его ироничные рассказы. У этого славного, одарённого человека слушались запой, появилась большая склонность играть на автоматах. Он просаживал все гонорары, обрекая на страдания очаровательную жену, принимавшую его дома после попойки и уличной драки.

— Русская литература умеет описывать душу, природу, крестьянский и дворянский быт. А машину не умеет. Куравлёв же умеет. Он одухотворяет машину, не даёт ей сбеситься, позволяет рядом с машиной жить человеку, расти дереву. Это твой подвиг, Куравлёв, но и твой крест. Тебя возненавидят “деревенщики” и проклянут жившие в “Доме на набережной”. — Все это ворчливо и обиженно произнёс писатель Фаддей Гуськов, почитавший себя последним русским романтиком, считавший вершиной русской словесности “Петербург” Андрея Белого.

— Я считаю, книгу Куравлёва прорывной. В главном герое — каждый из нас. Мечтает о красоте, о чуде, а его топчет тоталитарное государство, как оно всегда топтало художника. Язык великолепный. Бойня в центре Москвы, заклятие коров — это ужасно и восхитительно! Очистные сооружения с мутной канавой, по которой, как белые пузыри, плывут тысячи презервативов после обычной московской ночи! Витя, обещаю хвалебную рецензию в “Литературной газете”. Мне её уже заказали. — Критикесса Наталья Петрова, нервная, худая, с узким козым лицом, по которому пробежал болезненный тик, была равнодушна к Куравлёву. Добивалась его внимания, уповая на незримую зависимость писателя от критика, который тонко этой зависимостью пользовался.

— После выхода статьи Натальи ты, Витя, станешь, наконец, знаменитостью. Обещаю тебя повести в “Аэропорт” и представить “властителям дум”. Не в кабинетах начальства, а в квартирах “Аэропорта” вершится литературный процесс, создаются и рушатся репутации. — Поэт Марк Святогор, щекастый, лупоглазый, с сеткой красных сосудов на носу, с румянными плотоядными губами, слыл посредником между литературным миром и влиятельными кругами, проживающими в писательских домах у метро “Аэропорт”. Его называли “свахой”, а иногда и “сводней”. Он водил на смотрины молодых писателей, чтобы те получили мандат, открывавший двери в “большую литературу”. — Скажи, Витя, когда будешь свободен? Андрей Моисеевич Радковский ждёт нас в любое время.

Куравлёв выслушивал их всех с благодарностью. Иногда слегка обижался. Сознавал, что с этими высказываниями книга начинает своё публичное существование. Из рабочего кабинета писателя, из типографии уходит в мир.

Официантка принесла на подносе жульены, в маленьких мисочках с длинными ручками желтели запечённые в молоке грибы.

— Таня, ещё графинчик водочки. Только холодненькой, — попросил Куравлёв официантку, полную красавицу, разряженную быстрой ходьбой и одной-двумя чарками, которые она успела перехватить на бегу.

— Может, сразу пару графинчиков? Поздравляю, Витя, с новой книгой! — Она просияла красивыми влажными глазами, в которых была искренняя радость, озорная весёлость и какое-то бабье тёплое и нежное обожание.

Их был десяток, официанток ЦДЛ, уже не молодых, состарившихся и подурневших за годы работы в ресторане. Они, эти Тани, Раи, Аллы, были не просто обслугой. Они были весталками Дубового зала, хранили дух огромной, вздорной писательской семьи, полной вражды, интриг, честолюбивых гордецов, пьяных скандалистов, весёлых развратников. Они носились с подносами и знали состояние литературных дел не хуже титулованных критиков, хотя едва ли читали толстые романы знаменитостей или тощие поэтические книжицы поэтов-неудачников. Официантки следили за вознесением и угасанием кумиров. Знали их любовные связи с женщинами-однодневками, которые, как бабочки, появлялись и исчезали в Дубовом зале. Они прощали пьяным бузотёрам грубости, слушали исповеди, ссужали деньги пропойцам. Они были на триумфальных торжествах и печальных панихидах, когда провожали в безвестность очередного завсегдатая Дубового зала. Они прижимали к своим

пышным грудям голову плачущего пьяницы, принимали от успешного творца щедрые чаевые, приберегали столики для любимчиков, тех, кто смог прийти в ЦДЛ поздно вечером. Они имели здравое суждение о каждом писателе не только по его щедрости или скарденности, но и ценили дарование каждого, не уступая литературным критикам. К их числу принадлежала официантка Таня, помнившая Куравлёва робким новичком, с благоговением переступившим порог Дубового зала.

— Будет водочка, холоденькая. Скажете, когда подавать горячее.

— Вот ты говоришь, пишу машину. — Куравлёв обратился к Лишустину, слегка уязвлённый его замечаниями. — А ведь государство — это тоже машина, мегамашина. Одухотворить государство, наделить его человеческими чертами, душой, понять государство как благо, а не вечное для народа несчастье.

— Государство и русский народ — разные сути. Государство давит русский народ, ломает ему косточки, а народ только слёзы утирает да терпит. Бойся, Витюха, государства. Оно тебя разжует и выплюнет, — заспорил вечный спорщик Лишустин.

— Но ведь Горбачёв старается смягчить государство, вскрывает его преступления, даёт народу свободу. — Критикесса Наталья Петрова дерзко обрвала Лишустина, которого недолюбливала за излишнее славянофильство. Она была увлечена “перестройкой”, писала статьи о Солженицыне, Рыбакове, Трифонове.

— Твой Горбачёв меченый. Его чёрт пометил. Через него с Россией большая беда случится. Он русского человека искушает, как бес. А русский человек по наивности опять в капкан лезет, — сердился Лишустин.

— От государства народ бежит. Когда последний человек сбежит от государства к Солженицыну, государство падёт, — произнёс Макавин, и было неясно, радуется ли он скорому падению государства или сожалеет об этом.

— Куравлёв сам того не сознаёт, что он государственный. Если случится выбирать между народом и государством, он выберет государство, — пробурчал Фаддей Гуськов.

— Андрей Моисеевич говорит, что настоящий художник всегда должен противостоять государству. Надеюсь, для вас Андрей Моисеевич авторитет? — Поэт Марк Святогоров строго посмотрел на приятелей, желая убедиться, что Андрей Моисеевич для каждого — непререкаемый авторитет.

— Для меня да. — Апанасьев посмотрел на Святогорова сияющими искренними глазами, — Андрею Моисеевичу доверяю. Но Семёну Израилевичу больше.

Дубовый зал наполнялся, свободных мест становилось всё меньше. Давно погасло готическое окно с витражом, сквозь которое днём проливался золотой, алый, зелёный свет. Окрашивал столы и сидевших за ними писателей. Был вечер, под высоким потолком, среди тяжёлых дубовых пролётов горела огромная туманная люстра, без сверканья хрусталей, словно была погружена в дымное облако. За столами сидели компании, собравшиеся по литературным пристрастиям.

“Деревенщики” сидели артелью, густо, слитно. Пили водку, вскакивали, обращали восторженные речи к своему духовному светочу Валентину Распутину. Тот спокойно сидел, принимая похвалы эпигонов, с лицом печальным и усталым. Словно жалел этих шумных людей, которых всех ждал горький удел неудачников. “Деревенщики” то и дело оглядывали зал, нет ли угрозы для духовного светоча. Окружали его, как пчёлы матку. Сам же Распутин был далеко от этих мест, в родной Сибири, где Ангара среди пахучих лиственниц катит в Байкал свои светлые струи.

За другим столом, среди сплочённых собратьев, сидели Фазиль Искандер и Натан Эйдельман, который страстно шевелил розовыми мокрыми губами. Остальные заворожённо внимали и вдруг разом, на весь зал, начинали хохотать. Громче всех, нарочито привлекая внимание и раздражая “деревенщиков”, хохотал Франк Дейч. Он работал на радио “Свобода” и пользовался почитанием свободомыслящих писателей. Он оглядывал зал ястребиными глазами. Куравлёв поймал на себе его острый, выклевывающий взгляд.

Между этим столом и столом “деревенщиков” нет-нет, да и мелькала искра, какая пробивает фарфоровый изолятор.

За двухместным столиком с оранжевой лампой сидел Андрей Вознесенский с испанской переводчицей, которая готовила испанский перевод его стихов и поездку по Испании с выступлениями в университетах. Поговаривали, что этот столик оснащён подслушивающим устройством, ибо туда всегда сажали писателя и иностранного гостя. Андрей Вознесенский шевелил пухлыми губами, быть может, читал стихи. Испанская переводчица что-то лепетала, а их обоих записывал тайный магнитофон, делая разговор доступным офицеру Лубянки.

За другим двухместным столиком сидел Владимир Солоухин с молодой красоткой. Уже давно миновала опала, когда писатель-монархист заказал себе перстень из золотой николаевской монеты с изображением царя-мученика. Солоухина вызывали на партийное бюро и грозили исключить из партии. Теперь, в новые времена “перестройки” он свободно носил золотой перстень. Это не считалось проступком, у Солоухина обнаружили единомышленники, не громко, но поговаривали о возрождении в России монархии. Когда Солоухин, обрюзгший, стареющий, появился с молодой красавицей на пороге Дубового зала, стол “деревенщиков” шумно заплодировал, а стол демократов умолк, и там раздались смешки.

За столом, где Куравлёв праздновал выход книги, уже вёлся бесконечный русский спор, не умолкавший добрые двести лет.

— Ты русский народ не тронь, слышишь, — пылко говорил Лишустин, задетый неосторожным замечанием Гуськова. — Он Божий народ. Через него в мир свет приходит. Он на себя все скверны мира берёт и тьму претворяет в свет. Поэтому его мир ненавидит, что он укоризна миру. Русский народ смотрит в небо, видит Небесное царство. Пока есть на земле русский народ, дотоль у людей будет ключ от Небесного царства. Оттого демоны бьют русский народ, чтобы у него ключи отнять. Они хотят русский народ покорить, отнять ключи и отлучить от Небесного царства. Нет выше русской любви, русского терпения, русской веры в то, что когда-нибудь и на земле будет Небесное царство. Русские — люди неба. Соединяют небо и землю. Через русских небо нисходит на землю и на земле торжествует!

Гуськов был уязвлён речью Лишустина, которая прозвучала как обличение Гуськова. Брюзливо оттопырив нижнюю губу, он с нарочитым занудством показывал, как скучны, вторичны старообрядческие взгляды Лишустина:

— Ну, во-первых, Пугачёв не менее русский, чем Серафим Саровский. И на Руси число плах превышает число алтарей. Верещагин, изобразив гору черепов, показал, как русские обращаются с иноверцами. Вряд ли о русской набожности свидетельствуют тысячи разорённых церквей, которые, кстати, будучи разорёнными и осквернёнными, гораздо духовнее пышных соборов. Из этих церквей ушёл Бог и вернулся, когда русский народ пожёг золотые иконостасы и парчовые хоругви. Русские не нуждаются в твоём елее, они создали империю между трёх океанов, действуя сначала мечом и штыком, а уж потом возжигая кадила.

— Ты русофоб, Фаддей! Не хочу иметь с тобой дела! — Лишустин порывался вскочить и покинуть застолье. Но Макавин его удержал:

— Русский человек, друзья, бежит и от рая, и от ада. А куда он бежит, неизвестно. Это загадка всем нам на следующие века.

— Все вы правы! — воскликнула Петрова, — Правы, потому что искренни. “Перестройка” позволяет писателю быть искренним.

— Того же мнения Андрей Моисеевич, — важно промолвил Святого-ров, будто он сам и был Андреем Моисеевичем, тайным мудрецом у метро “Аэропорт”.

Куравлёв не вступал в спор. Наслаждался этой мнимой распрей, не мешавшей им оставаться друзьями, представителями нового литературного поколения, несущего в себе родовые изъяны предшественников.

По Дубовому залу пронёсся ропот. Сидящие за столами повернулись все в одну сторону. В ресторан входили, тесно держась друг друга, знаменитости из национальных республик.

Впереди, как вожак стаи, выступал дагестанец Расул Гамзатов, носатый, с добрыми хмельными глазами, розово-красный от выпитого вина. Он что-то неразборчиво и дружески пробурчал подскочившим официанткам, и те расцвели улыбка. Пригласили любимцев к особенному столу, что был накрыт у резного, увитого виноградной лозой, столба. За Гамзатовым следовал его неразлучный друг, калмык Давид Кугультинов. Широкое степное лицо было изъедено оспинами. Он держался независимо. Пусть все знают, что он величина не меньшая, чем Расул Гамзатов. И что именно о нём великий Пушкин сказал: "...и друг степей калмык". Чуть сзади топтались башкир Мустай Карим, усатый, понурый, видимо, утомлённый непрерывными возлияниями, которыми сопровождался приезд в Москву, и балкарец Алим Кешоков, невысокий, с умными печальными глазами. Все четверо представляли свои народы, были духовными пастырями в своих республиках, служили поводьями, путь которым указывал русский Кремль.

Их всех обожали официантки за щедрые чаевые. Их появление в Дубовом зале превращалось в восточный праздник с цветистыми тостами и разливным винным морем.

Гости, явившиеся от дальних гор и степей, проследовали к столу. Не глядя в меню, потребовали блюда.

Между тем, к столу, где обмывал свою книгу Куравлёв, принесли горячее и ещё один графинчик "Столичной". Кому достался жареный карп, золотистый, румяный, с хрустящей бесподобной корочкой. Кому — цыпленок табака, бесстыдно раздвинувший на тарелке мясистые ляжки, в которые тут же стали тыкать вилкой и поливать чесночной приправой. Кому принесли котлету по-киевски, полную горячего сока, с бумажным цветочком на косточке. Куравлёв получил свою любимую вырезку; острым ножом он отсекал от неё розовые, с кровью лепестки. Пили за книгу, за дружбу, за литературное художество, как высшее достижение человеческого духа.

— Друзья, вот я смотрю на вас, дорогие мои, и люблюсь. — У критикессы козье лицо порозовело от выпитой водки и вкусной еды. — Честное слово, вы все такие талантливые, такие разные и при этом едины. Вы так не похожи на "деревенщиков" с их пряслами, околицами, овинами. И не похожи на диссидентов, которые расправили свои сутулые плечи и заявляют, что "перестройка" — их рук дело. Вы так не похожи на вельможную, "секретарскую" прозу, которую пишут секретари Союза писателей суконным языком цеховских приёмных. Мы — новое явление в литературе. Давайте об этом заявим!

— Что, хочешь вскочить на стол и закричать? Ну, вскакивай, вскакивай, коза! — поощрял Лишустин.

— Первый, кто тебе ответит, это куратор КГБ Карпович. Он напишет донос на Лубянку о новом диссидентском движении, — хмыкнул Гуськов.

— Бойтесь попа Гапона, — усмехнулся Макавин.

— Осторожней, осторожней, друзья. Давайте сначала посоветуемся с Андреем Моисеевичем, — благоразумно предложил Святогоров.

А Куравлёв вдруг почувствовал весёлую дерзость, озорное вдохновение:

— Почему бы нам не создать свой клуб единомышленников? Назвать его как-нибудь интересно. Ну, не "Зелёная лампа", а, скажем, "Синий петух", например, или "Шестикрылая рыба"! Я только "за"! Наталья, пиши манифест, я поговорю с писателями. Хватит нам быть травой, по которой ходят слоны. Мы не трава! Мы синие петухи! Мы шестикрылые рыбы! — Куравлёв дерзновенно посмотрел на "деревенщиков", которые разом обернулись. Надменно улыбнулся Натану Эйдельману, который умолк и перестал смеяться. И только дети гор и степей не слышали Куравлёва. Расул Гамзатов стоя произносил тост на чудовищном русском, и трудно было поверить, что это ему принадлежат мудрые и благоговейные стихи, похожие на притчи.

— Вот, Витя, ты и будь главной шестикрылой рыбой, — радовалась Петрова, глядя на Куравлёва обожающим глазами.

— Я не возражаю, — кивнул Макавин. — Тебе быть главным синим петухом, который первым попадёт в суп.

— Всё-таки я бы сначала посоветовался с Андреем Моисеевичем, а уж потом писал манифест, — произнёс благоразумный Святогоров.

Куравлёв щёлкал пальцам, подзывая Татьяну, заворожённо внимавшую косноязычию Расула Гамзатова.

На пороге Дубового зала появился крупный человек с чёрной гривой. У него была короткая шея, поэтому голова откинута назад, что делало его надменным. Чёрные глаза горели фиолетовым пламенем. Орлиный клюв поворачивался в разные стороны. Это был тот, чьего имени никто не знал. Его называли “ангелом смерти”. Он находился на службе в Союзе писателей и ведал похоронами усопших. Теперь он стоял на пороге Дубового зала, водил надменно запрокинутой головой, высматривал чёрно-фиолетовыми глазами жертву. Того, чей портрет с траурной лентой скоро появится в вестибюле ЦДЛ.

Глава вторая

Когда невод, полный рыбы, вытягивают на берег, то случается треск, блеск, брызги, хлопанье жабер, удары хвостов, множество открытых ртов и горящих глаз. Такое впечатление после респектабельного Дубового зала производил Пёстрый зал ЦДЛ.

Он звался пёстрым, потому что стены его были разрисованы множеством изображений, весьма кустарных, с автографами писателей. Здесь карикатурно был представлен Сергей Михалков, остроносый, с крысиными усиками. Под стихком, где рифмовались слова “тушёнка” и “Евтушенко”, красовался сам поэт, похожий на остроносого Буратино. Отдельно, страшновато, находилось изображение Вельзевула, рогатого, с козлиной бородкой, в звериной шерсти.

Было тесно, впритык стояли столики. Шумели, кричали, читали стихи, ссорились, пьяно целовались писатели, те, кому не по карману ужин в Дубовом зале. Или те, кто хотел насладиться этим пьяным сумбуром, покричать, узнать последние сплетни, поссориться, помириться. Насладившись, нахваставшись, нахохотавшись, писатель перемещался в Дубовый зал, превращаясь в степенную величавую персону.

Совершив “омовение” книги “Небесные подворотни”, компания распалась. Лишустин, Гуськов и Святогоров откланялись, сославшись на домашние заботы. Апанасьев вдруг обнаружил нетерпение, нервную торопливость и исчез, должно быть, к игральным автоматам. А Куравлёв, Макавин и критикесса перешли в Пёстрый зал.

Чудом освободился столик. Макавин ринулся и занял свободное место. К нему присоединились Куравлёв и Петрова.

— Что-нибудь будем пить? — спросил Макавин.

— Только кофе, — ответил Куравлёв, испытывая блаженное опьянение, которое лишь усиливалось от обилия вокруг пьяных людей.

Водку и кофе продавали за стойкой две разгорячённые буфетчицы, то и дело включая шипящую кофеварку, раскупоривая водочные бутылки.

Макавин принес кофе. Сидели и пили маленькими глотками. Крутили головами, отзываясь на возгласы.

— Это “первичный бульон”, из которого произошла жизнь. Здесь бактерии, микробы, первые рептилии. Все друг друга едят, тем самым способствуют выживанию самых живучих, — посмеивался Макавин.

— Сильных или несъедобных? — спросила Наталья.

— А это уж тебе судить, дорогая. Ты, критик, пробуешь их на вкус, — усмехнулся Куравлёв и тут же смутился. Это могло показаться намёком на многочисленные романы, случавшиеся у Натальи Петровой с литераторами, о которых она писала.

Но Петрова не усмотрела издёвки, а словно невзначай накрыла ладонью руку Куравлёва.

— Мы говорили о клубе “шестикрылых рыб”, — горячо произнесла она. — А ведь это не шутка, сказал и забыл. Мы вместе огромная сила. Как торпеда, ворвёмся в литературный процесс и займём в нём принадлежащее нам место.

— Откидное? — пошутил Макавин.

— Это место в партере, в первых рядах. Вы достойны этого места. Хватит отдавать все литературные премии назначенцам секретарей! Заграничные поездки, квартиры в писательских домах. Хватит уступать всё это пресыщенным старикам. Вы — новое поколение, авангард! Вы покорители вершин!

— Литературные альпинисты? — хмыкнул Макавин. — Как, объясни, мы заберёмся на пик Женьки Евтушенко?

— А вы не знаете, как Евтушенко, Рождественский и Вознесенский добились успеха? Три немолодые активные женщины по стовору женили на себе перспективных молодых поэтов. Сделали им литературную судьбу. Заказывали и писали рецензии, знакомили с влиятельными особами у “Аэропорта”. Они, эти умные бабы, раскрутили мальцов, те стали собирать стадионы, а их жены купались в славе и деньгах мужей.

— Раскрути меня, Наталья, — засмеялся Макавин. — Буду крутиться вокруг тебя.

— Подумайте о том, что я сказала. Я напишу статью о “Небесных подворотнях” Куравлёва и сопоставлю их с твоим, Макавин, “Шёпотом камней”. Упомяну о книге Гуськова “Гигантские карлики”, о романе Лишустина “Бафомет из Малиновки”. Вот вам и новое направление, литературный прорыв. Следом пойдут разгромные статьи и хвалебные оды, а это и есть раскрутка.

— Ты гений, Наталья, но это значит, что все мы должны на тебе жениться? — спросил Макавин.

— Не все, а некоторые, — засмеялась Петрова и другой ладонью накрыла руку Макавина.

К их столику подскочил писатель Шавкута, растерзанный, горячий, как из драки. Его синие глаза безумно сияли. Смотрели куда-то в бесконечную даль, откуда он явился в Москву с кучей рукописных рассказов о великих стройках. Он был монтажником и собирал громадные серебряные цилиндры, сферы, башни нефтеперегонных заводов, когда начался сибирский нефтяной бум. Он издал рассказы в тонкой книжице, которая восхитила Куравлёва способностью автора рассказывать не только о коллизиях в рабочих коллективах, но и живописать сияющую сталь, огонь, дым, громадные серебряные заросли конструкций. Шавкута пропил своё дарование, тратил дни на попойки в Пёстром зале ЦДЛ, участвовал в драках, и его имя висело при входе, вместе с именами других скандалистов, кому отказывали в посещении Центрального дома литераторов.

— Слушай, Куравлёв, ты великий писать, почти как я. Будь другом, одолжи червонец. На неделю. У меня договор на новый роман. Будет аванс. Я отдам!

Куравлёв знал, что нет никакого романа и не будет аванса, но просьба была столь страстной, глаза столь безумны, как перед казнью, что Куравлёв достал червонец и передал Шавкуте. Тот схватил деньги и кинулся к буфетной стойке.

— Подавал надежды, — произнес Макавин. — Тоже беглец. Убежал от государства в запой.

Между столиков двигался высокий чернобровый дагестанец Магомед Шамхалов. Он не числился в писателях, не был членом Союза, но почти каждый вечер проникал в ЦДЛ. Он не пил, как другие завсегдатаи Пёстрого зала, не принимал участия в спорах, а только тихо сидел в уголке. Вдруг вставал и начинал кружить среди столиков, наклонялся то к одному, то к другому. Что-то шептал. Дожидался ответа и тихо, как лунатик, отходил, продолжая кружить. Шамхалов обожал поэзию и философию “серебряного века”. Знал Бердяева, Франка, Шестова, отца Сергея Булгакова. Предлагал писателям купить у него ксерокопии изданий “Имка-пресс”. Он был сеятель, просветитель, но и кормился за счёт своих скромных распродаж. Он никогда не обсуждал содержание философских трактатов. Являл собой странный пример дагестанца, знакомого восхитительный “серебряный век” лучше любого русского.

Вот и теперь он совершал свои сонные круги среди галдящих пьяниц, тихий, терпеливый, готовый ждать, когда заблудшие души откроются истинному вероучению. Наклонился к Куравлёву и почти шёпотом произнёс:

— Есть Флоренский. “Религия — столп утверждения истины”. Есть стихи Кузмина.

— Спасибо, Магомет, я уже купил у тебя эти ксерокопии, — ответил Куравлёв, видя над собой чёрные внимательные глаза дагестанца.

— Эти копии очень хорошего качества. Вы можете их взять в переплёт и поставить в свой книжный шкаф.

— Спасибо, Магомет.

— Если бы вы имели доступ к ксероксу, мы бы могли делать копии с очень хороших книг.

— К сожалению, я не имею доступа.

— В следующий раз я предложу вам Набокова и Бердяева “Русский коммунизм”.

Он отошёл и продолжил кружение, похожий на тихую тень.

— Что доброго можно ждать из Дагестана? Гумилёва и Кузмина, а не только Расула Гамзатова, — сказал Макавин.

— Пока русские пьянствуют, националы прибирают к рукам русскую культуру, — заметила Наталья.

Одoleвая гам и гогот, раздался напев, похожий на слёзное причитание. Это поэт Николай Тряпкин, выпив водки, стал декламировать свои восхитительные стихи. Он заикался и потому не говорил, а пел. Так пели волхвы, чародеи, сказители, сидя на высоком кургане, откуда виднелись реки, леса и озёра. Сейчас Тряпкин пел балладу о гагаре, горюющей в пустом небе. “Летела гагара, — рыдал напев. — Летела гагара...” Глаза сказителя были закрыты, смотрели в глубину собственной души, обожающей и оплакивающей.

Среди гомонящего Пёстрого зала было немало женщин. Многие из них уже были пьяны и доступны. Время от времени мужчины вставали и уводили подвыпивших красоток, чтобы наутро их не вспомнить. Сюда приходили повесы и пропойцы, чтобы обзавестись на одну ночь подружкой, не слишком заботясь о её духовном содержании.

— Наш немецкий толстячок принимает дары угодливых славян. — Макавин кивнул в дальний угол зала, где восседал тучный, с рыжеватой щетиной на розовых щеках, приехавший из Западной Германии переводчик Саша Кемпфе. Он представлял издательство “Бертельсман”, которое вознамерилось издавать книги русских, не известных Западу писателей.

Кемпфе представлялся сыном военного атташе в довоенном посольстве Германии и русской актрисы. У него был хороший русский, достаточный вкус и добрый нрав. Он приезжал в Москву, собирал свежизданные книги, выбирал пригодные для перевода. Любитель поесть, он столовался в домах тех, кто вручал ему свои книги. Сначала вёл остроумную беседу, но по мере того, как наедался, впадал в спячку. Глядел остановившимися целлулоидными глазами и посапывал. Сейчас он приближался к черте, когда звуки мира для него замолкали, а глаза цвета бутылочного стекла останавливались и смотрели в пустоту.

— Пойду поразвешу, что сообщит Кемпфе о “Шепчущих камнях”. Он был у меня на прошлой неделе и съел гору плова, страшно раздулся и уснул за столом. — Макавин, оставив Куравлёва и Петрову, стал пробираться к столу Кемпфе, уставленному множеством чашечек и тарелок с бутербродами.

— Витя, ты должен показать ему свои “Небесные подворотни”. Я опубликую рецензию и сама передам ему книгу.

— Ты ко мне очень добра, Натали, — рассеянно ответил Куравлёв.

На освободившееся место присел завсегдатай Пёстрого зала Карпович, приставленный Лубянской к московским писателям. У Карповича была лысая голова с остатками белых волос и большой грациный нос, который тянул вниз, отчего голова Карповича была слегка опущена и свёрнута на сторону.

— Можно к вам притулиться, ребятки?

— Всегда рады, — пригласил Куравлёв.

Карпович не был тайным агентом, внедрённым в интеллигентскую среду. Все хорошо знали о его службе на Лубянке. Да и он не скрывал. Любил посидеть в Пёстром зале, переходя от столика к столу. Хорошо выпивал. Был приветливый говорун. Его не боялись. Он вызывал симпатию своими

рассказами о том, как был внедрён в ряды Народно-трудового союза и жил под вымышленным именем в Германии и Финляндии. Шла “перестройка”, и на КГБ случались частые нападки. Карпович уже смотрелся не как карающий меч государства, а как общительный выпивоха.

— О чём я вас хотел попросить, дорогой Виктор Ильич. — Карпович со вкусом выпил водки. — Я написал роман о моём внедрении в Народно-трудовой союз. Описал всех отвратительных и циничных людей. Рассказываю об этой организации, о русской иммиграции “второй волны”. Но я не писатель. Не обладаю стилем, приёмами. Не могли бы вы, Виктор Ильич, прочитать рукопись и честно, по-товарищески указать на недостатки? И вообще, стоит ли её нести в издательство?

Куравлёву не хотелось брать на себя обузу, читать сырую рукопись очевидного графомана. Но реликтовая осторожность не позволила отказать офицеру Лубянки с таким смешным грациным носом.

— Конечно, приносите рукопись, я прочитаю.

— Вот спасибо! — Карпович снялся с места и пересел за отдалённый столик.

Куравлёв наблюдал за очередью, протянувшейся к буфетной стойке. Там стояла женщина, вдруг взволновавшая его. Это напоминало лёгкий порыв ветра в лицо. Казалось, женщина приблизилась, прильнула своим лицом к его лицу, своей грудью к его груди, совпала с ним, стала им. Это совпадение длилось мгновение и оставило ощущение моментального счастья.

Женщина стояла в очереди, порываясь уйти. Она оказалась здесь случайно, её ошеломяло шумное многолюдье. У неё было милое растерянное лицо, светлые коротко подстриженные волосы, открывавшие красивую белую шею, которая поднималась из ворота малинового платья. Оно было длиннее колен, но не скрывало стройности ног. Её глаза пугливо щурились, словно искали опасность. Свежие, чуть припухлые губы делали её юной и беспомощной. Она казалась незащищённой, чужой в этом безумном зале, куда попала, спасаясь от неведомой угрозы, и теперь боялась покинуть это ненадёжное убежище. Она не знала, что секунду назад её выхватили из очереди и перенесли в глубину чужой души.

— Куравлёв, что нам сидеть среди пьяниц? Поедем ко мне. — Наталья опять накрыла ладонью руку Куравлёва. — Я покажу тебе эфиопские миниатюры, написанные на коже. Представляешь, там святые, Богородица и сам Христос — все черного цвета. Все негры! — Она сжала пальцами руку Куравлёва так, что ему стало больно.

— Давно я не видел негров, — ответил Куравлёв и встал из-за стола.

Женщина у стойки уже получила долгожданную чашечку кофе, держала на весу, не находя свободного места в зале.

Куравлёв подошёл к ней:

— Здесь, к сожалению, вы не найдёте свободного места. Хотите, я провожу вас в бар? Там обычно бывают места.

— Я вам так признательна. — Она благодарно улыбнулась, и эта улыбка сделала её ещё привлекательней. Она была красива со своими белоснежными зубами, ямочкой на щеке, крохотной родинкой на шее, с глазами цвета прозрачного зеленоватого сердолика.

— Ступайте за мной.

Уходя из Пёстрого зала, Куравлёв заметил, как зло провожает его Петрова. Её козье, с большими ноздрями лицо потемнело от негодования. Она ненавидела его. Макавин покинул переводчика Кемпфе и вернулся, занял место рядом с критикессой.

Глава третья

В баре был мягкий сумрак. Теснились столики, среди которых один оказался не занят. Куравлёв усадил незнакомку, позволяя ей осмотреться.

За резной стойкой колдовала барменша Валентина, немолодая, с благородной голубой сединой; она священнодействовала, изготавливая популярный в ЦДЛ коктейль “Шампань Коблер”. Коктейль состоял из шампанского,

коньяка и вишнёвого сока. В него кидался кубик льда и ломтик лимона. Вишнёвого цвета стакан кипел пузырьками, мерцал льдинкой.

— Вы позволите, я закажу такой коктейль? — спросил Куравлёв.

— Да. Я не знаю. Если можно.

Скоро два высоких благоухающих стакана мерцали на столе. Куравлёв сделал глоток, ощутив бесподобный вкус волшебного напитка.

— Меня зовут Виктор Куравлёв. А вас?

— Я — Светлана, — ответила женщина и, помедлив, добавила: — Пожарская.

— О, да вы из славного княжеского рода!

— Да нет, это фамилия мужа. Моя девичья фамилия Саврасова.

— Моя жена Куравлёва. А девичья фамилия — Печорина.

— Какие славные имена! И славные люди. — Светлана прикусила пластмассовую трубочку, сделала глоток. Глаза её сузились, в них исчезла зелень, губы сжались, тянули сладость коктейля. Куравлёв смотрел на её розовые пьющие губы, и ему хотелось их поцеловать.

— Вы писатель? — спросила Светлана.

— Что-то в этом роде.

— У меня не было знакомых писателей.

— Ну вот, появился первый. Вы пришли в ЦДЛ посмотреть на живого писателя? Вам повезло, у меня нет копыт и хвоста. А в Пёстром зале водятся копытные и хвостатые.

— Мне было любопытно посмотреть, как писатели проводят время. При входе сидят такие строгие старухи, с одинаковыми каменными лицами. Как ленинградские сфинксы.

— Ну вот, смотрите. Спрашивайте, если что-то вас заинтересует.

За одним столиком собралась компания, душой которой был писатель Домбрович, автор чудесной книги “Собиратель раритетов”. Он отсидел в лагерях, был в моде, в чести, но страдал русским недугом и напивался до “чёртиков”. Теперь же с худым, смуглым, как у мулата, лицом он двигал всеми своим морщинами, блестел вишнёвыми глазами и смешил окружавших его мужчин и женщин. Ему то и дело подносили коктейли, и он приближался к порогу, за которым с ним случалась буйная истерика.

— Юрий Домбрович изумительный стилист. В этом стиле мўка проведённых в неволе лет и ликование человека, обретшего долгожданную свободу. — Куравлёв произнёс эту выпренную фразу и смутился. — В нём ощущим надлом. Он похож на канатоходца, который вот-вот сорвётся с каната.

— Я всегда хотела понять, что заставляет человека писать романы. Почему человек становится писателем. Я и двух слов написать не сумею.

— Это особая болезнь, которой заболевает человек. Вы, к счастью, здоровы.

— А как вы стали писателем? Что вами движет?

Куравлёв хотел отшутиться, но её глаза, столь близко блестевшие, смотрели серьёзно. Ей это действительно было интересно. И Куравлёву вдруг захотелось ей поведать, что за странный позыв — создавать искусственный мир, который является искажённым отражением реального мира. Тем самым совершается насилие над подлинной жизнью, даже если в произведении художника эта жизнь обретает черты, ей недостающие. Он вспомнил библейское: “Дело рук художника ненавижу...”

— Я много ездил, кружил по России, по старым деревням, по заросшим погостам. Собирал народные песни, получал в дар домотканые полотенца с альми крестами и волшебными деревьями. Всё это было восхитительно и причиняло боль. Эта красота уходила, исчезала вместе с деревней, с крестьянскими хорами, мастерицами ткать и лепить из глины чудесные игрушки. Я описал скитания моего героя, который желал сохранить эту красоту, не дать ей погибнуть. Это и заставило написать первую, самую дорогую для меня книгу.

Куравлёв говорил всё это, и загадочным образом сидящая перед ним женщина, едва знакомая, чужая, сопровождала его в тех скитаниях. Пела вместе с ним бесконечные, как колесо, без начала и конца песни. Входила

в разорённые храмы с пустыми иконостасами, с лежащими под ногами драгоценными иконами. И не она ли пришла к нему тёплой ночью на берег Волги, по которой плыли теплоходы с пылающими отражениями в чёрной воде? Они лежали на жёстких, сгоревших от засухи травах. И она вдруг надвинулась, легла на него всем своим лёгким, с полынными запахами телом, и он задохнулся от её поцелуя.

— Вам было страшно, что умрёт красота? — сказала она.

Куравлёв не мог понять чары этого перевоплощения, как будто эта женщина принесла весть из прошлого. Существовала в его прошлом. Была его прошлым.

— Вторая моя книга посвящалась платоническому роману, который у меня случился с чудесной женщиной, редактором моей книги. Она была старше меня. Утверждала, что полюбила меня за мои повествования, за все эти песни о конях и орлах, за чёрные платки в алых розах, за тонкий золотой след, что оставляют сани на ледяной дороге. Мы мучили друг друга всё время, пока готовилась к выходу книга. А потом она исчезла, растворилась, перестала являться, умерла. И мне захотелось запечатлеть её, мои удивительные переживания. — Куравлёв произнёс это, и опять образ той исчезнувшей женщины слился с образом этой. Она влеталась в его книги, в его сны, влеталась в его жизнь.

— Я не знаю, что такое платонический роман. У меня были девичьи влюблённости, но потом возникло сильное чувство, и эти ранние влюблённости были предвестницами любви.

— Любви к мужу?

— Да.

— Так почему вы не с ним? Почему одна?

— Он офицер. Воюет в Афганистане. Не знаю, в какой провинции. В письмах не пишет о военных делах. Только нравы, природа. Какая-то пустыня красного марсианского цвета. Идущие по пустыне караваны верблюдов. Шумные рынки в городах. Горы яшмы и лазурита на прилавках. Не знаю, чем он там занимается. Он военный разведчик. Уже отвыкла от него. Все одна да одна.

— Хочу в Афганистан. Хочу написать о войне.

— Значит, я снова останусь одна, — засмеялась Светлана.

За соседним столиком раздался звон стекла, истошный крик. Вскочивший с места Домбрович швырнул в стену ещё один стакан с недопитым коктейлем:

— Ты — сталинская сволочь! Сталинский вертухай! Сексот! Ненавижу! — Домбрович напоминал смертельно раненного зайца, который кричит, как ребёнок, и при этом скалит резцы. — Такие, как ты, сука, клали нас “под железо”! — Он махал руками, отбиваясь от друзей, которые увещевали его:

— Юрий Маркович, вы не так поняли! Я пошутил. Мы все вас любим. Вы великий русский писатель! Ничего лучшего, чем “Собиратель раритетов”, не читал. Поезжайте домой, Юрий Маркович. Мы вызвали такси!

— Вы сталинские живодёры! Буду вас грызть зубами! Стреляй, на, стреляй! — он рвал на себе рубаху, обнажая впалую, с седыми волосками грудь. Барменша Валя с ужасом кричала:

— Заберите, заберите его! Он всю посуду переколотит! Вы обязаны заплатить!

— Ненавижу! Всех, как собак! Все сексоты! Подсадные суки! Не верю! — истерика Домбровича продолжалась, его ярость была разрушительна для него самого. — Не верю тебе, мразь сталинская, мясник! Вот ему верю! — Он вдруг увидел Куравлёва, и безумные, крутящиеся глаза воззрились на него. — Тебе верю! Все кругом вертухай! Ты — нет!

Куравлёв был едва знаком с Домбровичем, и тот вряд ли в своём помрачении узнал его. Но в этом помрачении он принял Куравлёва за светлое, спасительное существо и устремился к нему.

— Виктор Ильич, умоляем! Посадите Юрия Марковича в такси! Отправьте его домой, в Сокольники!

— Да, да! — умоляла барменша с синими волосами. — Домой его!

Куравлёв колебался, глядя на несчастного разъярённого человека, который тратил в припадке последние силы и был готов упасть.

— Извините. — Куравлёв обратился к Светлане, которая смотрела испуганно, но и с острым интересом на это болезненное зрелище. — Я вас ненадолго оставлю. Скоро вернусь!

Он обнял Домбровича, повлёк его тощее тело в вестибюль, чувствуя, как Домбрович дрожит, словно рыдает, издаёт предсмертный свист.

— Сексоты! Сталинеские овчарки!

Куравлёв нашёл в кармане Домбровича номерок. С помощью гардеробщика надел на него худое пальто, обмотал тощую шею шарфом. Шапка пропала, и таким, без шапки, не стоящего на ногах, Куравлёв вывел Домбровича на улицу, в морозящий холод. Такси стояло с погашенным огоньком. Таксист недовольно смотрел на опьяневшего пассажира.

— Садитесь, Юрий Маркович, вам ведь в Сокольники? Скажите водителю адрес. — Куравлёв подвёл Домбровича к машине, стал открывать дверцу. Домбрович упирался, вырывался. Посмотрел на Куравлёва, вскинул бровь:

— Узнаю тебя! Ты сексот! Гебистская сволочь! Уходи!

— Юрий Маркович, это я, Куравлёв. Умоляю, садитесь в машину.

— Уйди прочь, сексот! — Домбрович норовил убежать, рвался на проезжую часть, где летели машины. Куравлёв не знал, что делать. Мимо шёл милиционер. После дежурства торопился домой. Хотел бочком пройти мимо скандалиста. Куравлёв остановил его:

— Прошу, помогите! — Куравлёв схватил милиционера за рукав. — Это большой писатель! Всесоюзная величина! Помогите усадить в машину!

— Я не на дежурстве! Пусть его везут в вырезвитель!

— Подойдите к нему и скажите: “Гражданин Домбрович, в машину”!

Милиционер вернулся туда, где раскачивался Домбрович, что-то выкрикивая в холодную пустоту, где ему мерещились ужасные призраки.

— Гражданин Домбрович, в машину пошёл!

Домбрович словно увял. Увидел форму, милицейскую фуражку. Услышал рыкающий приказ. Что-то замкнуло в нём. Он послушно завёл руки за спину и сутулясь пошёл к машине. Куравлёв помог ему сесть.

— Вот, командир, деньги. Отвези пассажира в Сокольники.

Машина ушла, а Куравлёв чувствовал, что совершил низость. Сыграл на реликтовом страхе измученного человека. Вернулся в ЦДЛ. Опустился измождённо за столик, где ждала его Светлана.

— На чём мы остановились? — спросил он устало.

— Какой несчастный, больной человек! Он так настрадался! Ему нужна ласка, тепло, терпеливая женская любовь.

Куравлёва изумило это глубокое сострадание, и тем более он почувствовал совершённую низость.

— Ну что ж, мне пора, — сказала Светлана. — Я здесь всего насмотрелась.

— Я вас провожу.

— У вас роль всех провожать?

— Не хочу расставаться!

Они вышли из ЦДЛ. На ней было пальто с большими костяными пуговицами, лёгкий шёлковый платок прикрывал шею, маленькая шапочка, чуть скрывавшая волосы. Сырая московская темень дышала предзимним холодом. Туманно моросило. Вокруг фонарей расплывались радужные кольца. Высотное здание на площади Восстания казалось туманной поднебесной горой с мутно желтеющими окнами. Автомобили пролетали, отражаясь в мокром асфальте.

Они вышли на Садовую, пытаясь поймать такси. Светлана прижалась к нему, словно хотела спрятаться от холодной сырости.

— Не люблю это московское время. Испытываю тоску, беспокойство, словно впереди какая-то потеря. Я выросла в Крыму. Солнце, синее небо, чудное море. Даже зимой нет печальных дней. Я здесь тоскую по Крыму.

— А я люблю эту темень, мглу, чёрную землю. Зато потом — первый снег, белизна, ожидание Нового года. Будто жизнь начинается заново.

— Мы разные.

Налетал зелёный огонек такси. Куравлёв поднял руку.

— Куда? — спросил водитель, когда они сели на заднее сиденье.

— “Академическая”, — сказала она. — Я покажу.

Они сидели близко друг к другу. При поворотах машины её плечо давило на него, и он старался продлить это тесное касание. Ему казалось, что этот полёт по Москве уже был прежде, длился долгие годы. Что-то случилось со временем. Оно замедлилось, почти остановилось, перестало длиться. Это было, как сон с открытыми глазами.

Американское посольство проплыло мутным желтком. Провиантские склады были нарисованы мокрым мелом. Крымский мост выгнул стальной позвоночник, но сразу ушёл влево. Машина круто свернула на проспект, и женское плечо плотно коснулось его. Он старался продлить чудесное прикосновение. Она отклонилась, но его плечо продолжало ждать нового прикосновения.

Храм “Николы в Хамовниках” нарисовался, как детский рисунок. Дворец Союза писателей пылал античными колоннами. Сон наяву продолжался, и в этом сне возникла чёрная река и за ней похожая на туманную луну арена Лужников.

Снова поворот машины. Теперь качнуло его, он прижался к ней, и пока длился поворот, мысленно её обнимал, и это было объятие во сне. Они въехали в арку большого дома. Остановились у подъезда. Молча поднимались в лифте. Она опустила глаза и улыбалась.

Они вошли в квартиру. Он помог ей снять пальто, но путался с вешалкой. Она отобрала пальто и повесила в шкаф.

— Что же вы, раздевайтесь. Теперь мой черёд вас угощать.

Она показала ему квартиру. Кухня с плитой и деревянной тарелкой на стене. Просторная гостиная с диваном, креслами и мягким ковром на полу. У стены стояла высокая ваза с нарисованными синими быками. Куравлёв подумал, что ваза стоит неудобно, и её можно разбить. Кабинет, в котором давно не появлялся хозяин, с пустым, без бумаг, столом, с фотографией молодого мужчины в офицерской форме, того, кто воюет в Афганистане. Открытая дверь в спальню, где широкая кровать застелена китайским шёлковым покрывалом с драконами.

Он смотрел на всё это. На фотографию офицера, на кровать с драконами, на вазу с синими быками. Испытывал мучительную неловкость. Бесчестно переступив порог дома, где отсутствует хозяин, воровски прокрался в его обитель.

— Наверное, я пойду. Поздно. Вам пора отдыхать.

— Я знаю, что вас смущает. — Она вошла в кабинет и убрала фотографию. — Ему давно пора спать. Садитесь.

Она усадила его на диван и исчезла в ванной. Через минуту явилась. Теперь на ней была короткая юбка и лёгкая блузка. Ноги голые, в маленьких, усыпанных бисером тапочках.

— Хотите, я потанцую?

Она ударила клавишу стоящего на тумбочке кассетника. Хлынула музыка, сладостная, печальная, тягучая, как мёд. Светлана сбросила бисерные тапочки, приподнялась на гибких пальцах. Как ложатся на морскую волну, поймала всплеск музыки. Её подхватило, понесло, закружило. Казалось, воздух, в котором она танцевала, становился густым, плотным, и она разрезала его руками, пролетала сквозь прозрачное облако. Пространство, в котором волновались её руки, мелькали голые ноги, становилось безвоздушным, и она скользила в пустоте, не касаясь стопами ковра. Она подлетела к вазе с синими быками. Куравлёв испугался, что ваза разобьётся. Но Светлана замерла на лету, поводила рукой по спинам быков и отлетела.

Куравлёв с обожанием смотрел на её закрытые глаза и туманную улыбку. Видел, как пальцы ног погружаются в мягкий рисунок ковра, и она взлетает и одно мгновение висит, не испытывая притяжения, и снова пальцы ног мнут ковровый узор.

Куравлёву хотелось целовать её гибкие, мнущие ковёр пальцы. Целовать закрытые глаза и губы, которые улыбались, как в сладком сне. Он молил, чтобы она не пробуждалась. Вдруг подумал, она танцует не для него, а для того офицера, что находится на краю безвестной пустыни.

Кружась, она растегнула блузку, кинула прочь. Куравлёв следил за полётом блузки, а потом увидел её маленькие груди, ключицы, колыхание шеи, кружение живота. А когда она, перелетая с волны на волну, повернулась спиной, он увидел подвижные лопатки и струящуюся волнистую линию от затылка вдоль спины, пропадающую за кромкой юбки. Туда, где волновались её бедра.

Не поднимаясь с дивана, он протянул к ней руки. Не раскрывая глаза, она угадала его движение. Приблизилась и встала. Он почувствовал жар её тела. Обнял, услышал стук сердца, дрожание каждой жилки.

— Чудо моё!

Он целовал близкий дышащий живот, маленькие прелестные груди.

— Чудо моё! — повторял он.

— Подожди... — Она освободилась от его объятий. Подошла к вазе с быками и, усмехаясь, сказала: “Синий бык, синий бык, я к тебе уже привык”.

— Что? — не расслышал Куравлёв.

— Ничего, — сказала она. Пошла по квартире, повсюду выключая свет.

Он слышал шорох срываемого с постели покрывала. Казалось, уловил лёгкий ветер от пролетевшего шёлка.

— Иди сюда, — позвала из темноты.

Она толкнула его в постель. Он пугался её неуголимости, грубой страсти. Когда она нависала над ним, видел светящиеся, как у лесного зверя, глаза, которые смотрели мимо. Она не замечала его, не замечала, что делает ему больно. Она кусала свои губы, что-то невнятно говорила. Ему показалось, что она произнесла имя “Андрей”. Она целовала не его, а другого, того, кто воевал в пустыне. Но от этого он ещё больше её желал. Терпел, когда её ногти рассекали ему плечи.

Она упала рядом, рухнула, будто её подстрелили. Лежала, не касаясь его, громко дышала. Постепенно её дыхание успокоилось. Она обняла его.

— Прости меня. Я очень долго была одна.

Он уходил от неё поздней ночью, ошеломлённый, слыша не умолкавшую в нём тягучую, как мёд, музыку.

Глава четвёртая

Глубокой ночью Куравлёв вернулся домой в свою трёхкомнатную квартиру в Текстильщиках. По дороге он мучился, придумывал ложь, которой станет объяснять жене позднее возвращение.

Жена Вера встретила его в прихожей, в халате, с неприбранными волосами. Она не ложилась, поджидала его. Куравлёв, изображая усталость, раскаяние, обнял жену, боясь, что запах его одежды, волос, и этот торопливый, лживый рассказ выдаст его.

— Почему так поздно, Витя? Я волновалась.

— Как я устал, Вера, от этих дружеских встреч и попок! Нелегко отмечать выход книги. То с редактором, то с рецензентом, а сегодня с друзьями. Этот Марк Святогоров — такая странная фигура. Сам ничего не пишет, но такое влияние.

— Почему же так поздно?

— Сначала в ЦДЛ ужин в Дубовом зале. Не хотелось расставаться. Перешли в Пёстрый зал. Там опять Шамхалов предлагал ксерокопии. Тряпкин пел свои притчи. Показалось мало. В бар. А оттуда Святогоров повёз нас к себе. Прекрасная квартира в высотке на Котельнической набережной. Ходят слухи, что он тесно связан с КГБ. Иначе откуда такое влияние? Писатели перед ним заискивают.

— Неужели нельзя было позвонить? Я места не находила.

— Замотался, заговорился. А потом решил, зачем тебя будить. Извини!

Они сидели на кухне, и Куравлёву казалось, что жена поверила его лжи. Он преодолел самое мучительное в разговоре с ней. Она больше не станет расспрашивать, не заметит его неправды.

Она сидела перед ним на кухне, простоволосая, в поношенном халате. Её лицо расставалось с последней красотой, от которой оставались прекрасные печальные глаза. Куравлёву сделалось невыносимо горько от беззащитного, оленьего взгляда этих карих любимых глаз.

— Как сыновья? Олежка выздоровел?

— Он такой слабый. Пошёл в школу. Какая-то олимпиада по математике.

— А Степан? Как мало я ими занимаюсь. Что там у них на уме?

— Степа не пошёл в институт, а пошёл на демонстрацию. Какой-то профессор, кажется, по истории, рассказывает им об ужасах сталинских лагерей. Читает им Солженицына. Боюсь, его исключат. А тогда в армию, в Афганистан!

У жены задрожали губы. Её мучил кошмар, когда она представляла, что старшему сыну Степану грозит оказаться в неведомой, ужасной стране, о которой каждый вечер показывают бравые репортажи. Горят на трассах грузовики. Солдаты в панاماх с автоматами уходят в горы. А оттуда, как бы это ни скрывалось, идут гробы, и её Стёпушка, её милый мальчик лежит в этом цинковом запаянном гробу.

— Послушай, Витя, я хотела тебя просить. Стёпа, скорее всего, вылетит из института. Ну, не хочет он учиться в автодорожном, не может! И тогда случится ужасное. Военкомат, армия, Афганистан. И там его убьют. Я знаю, я чувствую: убьют! Вижу, как он лежит, истекая кровью! Вижу, как его мёртвого кладут в это ужасное цинковое корыто и переносят по небу к нам. И мы встречаем нашего Стёпушку, нашего мальчика!

Жена закусил губу и дрожала плечами, издавая всхлипы, готовая разрыдаться. Куравлёву было невыносимо смотреть на её постаревшее, несчастное, когда-то прекрасное лицо, которое он по-прежнему любил.

— Ну, подожди! Ну, не надо! Степа закончит институт. Я с ним поговорю. Я же отговаривал его идти в автодорожный! “Нет, люблю автомобили!”

— Не окончит, я вижу! Он не выпутается из своих хвостов! Обещай мне, Витя!

— Что обещать, дорогая?

— Обещай, что пойдёшь в военкомат, поговоришь с их главным начальником. Скажешь, что у Стёпы плоскостопие, он не может бегать по горам. Скажешь, что он не выносит тот климат, у него астма. Придумаем что-нибудь. Пусть его направят хоть на Северный полюс, хоть на Камчатку! Ты меня слышишь?

— Я слышу, слышу. Но как я скажу? Там есть врачебная комиссия. Она определяет болезни. Стёпа, слава Богу, здоров.

— Не слава, не слава Богу! К несчастью, к несчастью! Ты пойдешь, ты влиятельный человек, ты писатель. Писателей уважают! Тебя послушают!

— Да нет же, Вера. Я не Шолохов. Меня не послушают!

— Дай им денег! Они берут деньги. Снимем всё с книжки. Я продам кольцо, кольца. Моё колечко с бриллиантом! Они возьмут. Только бы Стёпушка был живой!

Она стенала, она билась. Она расшибалась о каменную стену, не в силах её пробить. Она звала его на помощь, а он, бессильный, не умел ей помочь.

— Ты знаешь, мой отец погиб под Сталинградом. Он был профессор истории, имел бронь, уберегавшую его от фронта. Знаешь, что он сказал маме? Он сказал: “Когда я иду по улице и вижу новобранцев, которые едут на фронт, я стораю от стыда. Не могу воспользоваться бронью. Я должен идти на фронт. Хотя, скорее всего, меня убьют”. И он ушёл добровольцем. Могу ли я спасти сына от Афганистана? Значит, кто-то другой, какой-нибудь деревенский парень пойдёт вместо него. Ты понимаешь?

— Ты изверг! Чудовище! Тебе не дороги твои дети! Не дорога я! Занят своими фантазиями, своими книгами. Но твои книги никого не спасут,

не сделают счастливыми! Ты ради своих книг готов поставить под пули сына!

В её глазах, всегда тихих, любящих и любимых, горело безумие. Она кричала на него, била его в грудь кулаками, рыдала. И вдруг утихла. Сникла, ссутулилась, руки упали. Он обнял её, не давая упасть. Прижал к себе. Гладил её голову, где в тёмных нечёсанных волосах тянулись серебряные волокна. И так они сидели в ночи, обнявшись. И он не понимал мира, в котором жил. Не понимал, как жить ему в этом мире. Как уберечь родных и любимых от страшных напастей, которые непременно настанут. И вдруг, как наваждение, явилась танцовщица, её гибкие голые пальцы, погружённые в мягкий узор ковра. И он почувствовал к себе отвращение. За один только вечер он совершил три постыдных деяния. Усадил Домбровича в машину, напомнив ему, что он жалкий беспомощный зек. Прокрался в дом, хозяин которого сражался на войне, а он украл у него жену. И теперь лгал Веру, гнусно обманывал.

Стыдясь, горюя, испытывая к себе отвращение, Куравлёв обнимал Веру, гладил её голову, не имея сил её утешить.

— А ты помнишь? — тихо спросила жена.

— Что, родная?

— Помнишь наше свадебное путешествие?

— Свадебное? — переспросил Куравлёв, радуясь, что жена оживает, пусть голос её ещё слаб и тих.

— Мы поженились и раздумывали, куда отправиться в свадебное путешествие. Ты только что прочитал книгу Юрия Казакова “Белое и голубое”. Его дивные рассказы о поморах и Белом море. И мы поехали в Карелию на Белое море.

— Чудесная была поездка.

— Мы сошли ночью с поезда на каком-то полустанке. Забыла его название.

— То ли Кузомень, то ли Кузёма.

— Мы сошли в темноте, только двое, и двинулись по дороге, не зная, куда идём. Ты помнишь?

— Помню.

Он вдруг ясно вспомнил тот безлюдный полустанок, без фонаря, без станционной постройки. Только жёлтый фонарь проводницы, лягг тронувшегося поезда, убежавшее отражение на рельсах хвостовых огней.

— Мы шли с тобой в темноте, сами не знали куда, и мне казалось, что впереди у нас наша жизнь, ещё не познанная, полная неизвестности. Вся наша судьба. Помнишь?

Он помнил, как они шли по ночной дороге, начинало светать, плыли туманы, ему казалось, что они сбились с пути и не будет никакого моря. И вдруг на рассвете они оказались на зелёном лугу, на котором паслись кони — белый, красный и чёрный. И она сказала: “Как три коня апокалипсиса. Сейчас они кроткие и прекрасные. Но настанет час, и они превратятся в бурю”. Траву у самых ног коней заливала вода, мелкая, прозрачная. Ему захотелось пить. Он зачерпнул пригоршней, сделал глоток. Солёная! Боже, да это море!

— Ты помнишь, как мы вышли к деревне. Это была Паньгома. Наш подарок к свадьбе! Паньгома, Паньгома, волшебное слово!

Перед самым восходом они вышли к морю. Перламутровое, бирюзовое, с млечной белизной, с розовыми кудрявыми тучками в синем небе, море восхитило их своей бескрайней ширию. Перед ними текла река, впадала в море, бурлила на камнях, на розовых валунах. На другой стороне темнела деревня. Большие избы вкось и вкривь, плотно вросли в крутой берег. В стёклах уже сверкало солнце. К реке сбегали маленькие тёмные баньки. И весь берег был уставлен лодками. Нос на зелёной траве, а корма чуть касались воды. Лодки казались морскими существами, вылезшими из воды и отдохавшими на берегу.

По камням, перепрыгивая с валуна на валун, они перешли реку. Деревня тихо спала. И над крышами пролетела чайка, серебряная, с жёлтым клювом, оглядела их тёмным глазком.

— А помнишь, как звали карелку, у которой мы поселились?

— Забыл.

— Настя.

— Ах да, Настя!

Карелка Настя была сухая, быстрая, с коричневым от морского солнца лицом и синими глазами, цветом с которыми могли сравниться только васильки. Руки у неё были натёрты веслами, бечевой, бесконечными трудами по дому, на огороде, на рыбных ловах. Она слегка коверкала русский и, потешаясь над собой, рассказывала, как бабка уговаривала её хорошо учиться. Наставляла; “Учись, учись, Настя. Поедешь у Москву, ветлетишь товалися Сталина. Скажешь: “Здластуй товалися Сталина. Явился Настя”.

У неё не было двух передних зубов, но оставалась бабья игривость. Посмеивалась, водила бедром, бедово зыркала синими глазами.

— Видно, в молодости она была красавицей. Но вот судьба! Муж утонул в море, сын разбился на камнях. Но она выстаивает, трудится, горюет, но не подаёт виду.

Они с Верой поселились на сеновале, бросив на сено красное стёганое одеяло. Ночи стояли короткие, дни бесконечно долгие. Какими восхитительными были эти бессонные ночи! Как неутолимы они были! Сколько восхитительных переживаний дарил им этот старый сеновал с шаткой лестницей, под которой стояла бочка с мочёной морошкой. Вера, голая, спускалась по дрожащей лестнице, черпала кружкой морошку и приносила ему, они ели сладкую ягоду, обливались соком и тихо смеялись.

Они гуляли по пустынному берегу, на котором лежали огромные маслянистые листья морской капусты. Летали крикливые красноносики, пищали чайки, пикируя, раскрыв острые злые клювы, низко над морем летела гагара, и однажды пролетел божественный лебедь, шумя крыльями.

— Ты был прекрасен. Я так любила тебя! Мы хотели остаться здесь навсегда и стать поморами, помнишь?

Они отправились в морское путешествие на лодке, которой управляла Настя. Она сидела на корме, где рокотал мотор, и длинный расходящийся клин пены тянулся за лодкой. Они причалили к острову, и трава с полевыми цветами казалась изумрудной под низким солнцем, висящим над морем. Лучи зажигали каждую травинку, каждый цветок. В каменной лунке скопилось дождевая вода. Он шил эту воду, опустив в неё губы, чувствуя сладость. Он запомнил этот чудесный водопад среди бирюзового моря, сверкающих трав и цветов.

— А олени? Ты помнишь оленей?

Он помнил оленей. Лодка шла в протоке между двух островов, и по синей воде плыли олени, олениха-мать и следом малый телёнок. Волшебное зрелище. Олениха, слыша стук мотора, оглянулась на лодку умоляющими глазами. И он подумал, что их глаза, оленя и Веры, похожи своей умоляющей женственностью. Настя заглушила мотор. Лодка тихо покачивалась, и они смотрели, как олени переплыли протоку, нащупали дно и встали, блестя, как стекло. Растворились среди трав и деревьев.

— А какие там были рыбы! Огромные, как зеркала! Мне было страшно на них смотреть.

Тяжёлый карбас, увязший в песке, сталкивают на воду. Рыбаки всакивают и гробут в мелкой волне, туда, где в бирюзе трепещет белая гирлянда поплавок, как присевшая стайка чаек. Рыбак в сапогах суёт в море багор, нащупывает в глубине бечеву и тянет наверх, пока из моря, как огромный дракон, в кольцах, в хлопках, не появятся огромные колёса, оплетённые сетью. Выкатываются в карбас, отекают водой, в ячее блестит солнце, висят волокна водорослей. Дракон являет свою клетчатую спину и вновь погружается в море. Из глубины приближается свет. Огромный серебряный взрыв сотрясает море. Блеск, грохот. Рыбаки тянут в карбас этот громадный сияющий стукот. Рыбины выкальзывают в карбас, льются, как расплавленное серебро, заливают ноги рыбаков. Бьются, встают на голову, хлещут хвостами, шлёпают красными жабрами, открывают злые рты. Рыбак деревянной колотушкой бьёт рыбин по головам, пока не хлынет из жабер алая кровь.

Оглушённые рыбы, сверкающие, как зеркала, лежат на дне карбаса. То одна, то другая поднимет хвост, смотрит на солнце ослепшим глазом.

— Наша дивная жизнь в Паньгоме. Та короткая белая ночь. Красное одеяло на сене. Ты смотришь на меня своими карими золотыми глазами, и я чувствую к тебе такую любовь, такое обожание, такую веру в тебя, в наше будущее. Этой ночью я зачала Стёпушку. Я это узнала по чудесной теплоте, которая меня наполнила, по биению сердца, которое сказало мне, что я уже иная, что во мне зарождается жизнь. В нашем Стёпушке волшебным образом отразилось бирюзовое море, лунка в розовом граните с дождевой водой, плывущие по синей воде олени, летящий серебряный лебедь, и тот сверкающий взрыв, когда из моря вырвались огромные рыбыны, и я чувствовала шлепки их хвостов. Всё это живёт в нашем первенце, в нашем Стёпушке.

Лицо жены было умиленным и прекрасным. Куравлёв целовал её брови, уголки её губ. Смотрел, как она уходит из кухни в своём домашнем халате. А он остался сидеть под ночным абажуром.

Глава пятая

Утром Куравлёв проснулся поздно, когда дети ушли учиться, Олег — в школу, а Степан — в институт. Не было и жены, видно, отправилась в универсам за покупками. Куравлёв оставался один в своей трёхкомнатной квартире в Текстильщиках. Самая маленькая комната служила ему кабинетом. Другую, что была попросторнее, занимали сыновья, теснясь в узком пространстве. Там стояли две их кровати, два стола, и проходила незримая черта, разделяющая их тесное жилище на две половины. Третья комната служила гостиной, где принимали нечастых гостей, праздновали Новый год и дни рождения. Гостиная считалась комнатой жены Веры, хотя в ней не было туалетного столика со множеством флакончиков и баночек с кремом. Не было и зеркала, в котором так нуждаются женщины и отсутствие которого было укором Куравлёву, не умеющему создать жене достойное существование.

Он любил свой маленький кабинет, любил простой стол и диванчик, на котором можно вздремнуть или помечтать, затворив дверь, чтобы не слышать голоса домочадцев. Над столом висели три иконы. Спас, обнаруженный им в северной деревне Лядины. Иконой заколотили окно церкви, где размещался склад удобрений. Никола, обгорелый со всех сторон; из чёрных углей смотрело лобастое спокойное лицо и переты, похожие на гибкие стебли. Эту икону Куравлёв обрёл на Киж-горе, под Каргополом, в рассыпанной на гнилые бревна церкви, поднял из костровища, где рыбаки варили уху. И третья икона — Казанской Божьей Матери — была получена в подарок от священника, который крестил его в бедной церкви в селе Тёсово, что под Вязьмой. Все три иконы смотрели на него с благодарностью, и он иногда думал, что спасение икон зачтётся ему, когда на Суде станут взвешивать его грехи и благие деянья.

За стеклом над диванчиком висела длинная кудрявая, как жабо, беломорская водоросль. Напоминала о Паньгоме, истошно кричащих красноносиках, о карелке Насте, направлявшей ладью в бирюзовое море.

На столе красовалась маленькая коллекция деревянных лошадок, красных, золотистых и чёрных, покрытых лазоревыми цветами. Он купил их у мастера в селе Полхов Майдан под Горьким, где люд промышлял изготовлением игрушек, — цветастых матрёшек, птиц и лошадок. Он помнил, как забрёл на сельское кладбище. Там стояли громадные, выше человеческого роста, кресты, и на одном вырезано: “Мы уже дома, а вы ещё в гостях засились”. Когда он привёз лошадок домой и высыпал перед Олежкой, у которого прорезались два зуба, тот схватил красную лошадку и попробовал её на зубок. До сих пор осталась малая вмятинка.

Рядом с лошадками лежала стальная лопатка турбины, похожая на драгоценный лепесток. Ему подарили её на авиационном заводе, где строились перехватчики.

Эти фетиши создавали вокруг Куравлёва прозрачную непроницаемую завесу, позволявшую скрываться в часы работы от внешней суеты.

Посредине стола стояла печатная машинка, портативная, чёрная, с серебряной надписью: “Рейнметалл”. Этот хрупкий стрекочущий механизм был создан до войны искусным немецким мастером. На нём стрекотал какой-нибудь кропотливый немецкий бухгалтер. В войну, быть может, машинку использовали в немецком военном штабе, печатая боевые приказы. Потом она попала в руки победителей, и комендант немецкого городка одним пальцем набивал интендантские сводки. Переходя из рук в руки, машинка досталась Куравлёву, который купил её в комиссионном магазине. На ней он печатал свои первые рассказы и повести. На чёрном резиновом валике, куда ложился лист бумаги и ударяли стальные буквы, таились все его литературные труды, и если добыть отпечатки этих стрекочущих букв, то можно извлечь все его писания, в том числе и неудачные, уничтоженные, и не удивляйтесь, если вдруг в описание любовной сцены ворвутся строчки из немецкого боевого приказа.

Машинка была его драгоценным оружием, и он относился к ней с благоговением. Куравлёв нежно нажал чёрную клавишу. Палец почувствовал тихий стук металлической буквы, как попадание пули. Куравлёв, окружённый невидимой сферой, хотел воспользоваться тишиной, чтобы уловить таинственные знамения, предвещавшие творчество. После написания “Небесных подворотен” он был опустошён. Иссякло творчество. В мире не возник повод сесть за новую книгу. Не было зачатия. Его лоно, разродившись, теперь пустовало.

Куравлёв не в первый раз испытывал эту таинственную череду превращений. Сначала бессмысленный хаос случайных переживаний, встреч. Шум, какой царит в гулком зале, где все голоса сливаются, и нет главного голоса, который произносит нежданное вещее слово. Потом, если долго слушать, терпеливо ждать, не стремиться отыскать этот голос среди какофонии звуков, голос, наконец, прозвучит. Нет, не слово, а предчувствие слова. Не звезда, а туманность. И ты носишь в себе этот зыбкий туман, страшаешься, чтобы он не рассеялся. Но он не исчезает, сгущается, и в этом тумане, в этой мгле вдруг сверкнёт свет, ещё и ещё. Замысел себя обнаружит. Не ты его нашёл и придумал, а он навеян извне, принесён таинственным ветром, как пернатое семя одуванчика. Этот замысел превращается в мысль, его можно высказать словом. И уже всё многообразие мира, казавшееся хаосом, подчиняется замыслу, втекает в него, и каждый звук, каждая встреча, каждое, вчера ещё раздражавшее событие вливается в замысел. Питает его, и уже видны герои, видны их судьбы, их метания и свершения. И всё это зовётся сюжетом, и ты садишься перед печатной машинкой, долго глядишь на пустой белый лист, словно прицеливаешься, и бьёшь в него метким ударом!..

Зазвонил телефон. Куравлёв снял трубку. Говорил Марк Святогоров:

— Витя, ну вот, получено приглашение. Андрей Моисеевич нас ждёт. Не исключено, что подойдёт Лазарь Семёнович. Он тоже на “Аэропорте”. Готовься к смотринам.

— Мне как-нибудь по-особому одеться? Может, камзол, шитый серебром? Рубашка с жабо?

— Не шути, это очень серьёзно. По сути, тебя второй раз принимают в Союз писателей. Только в высшую лигу. На тебе поставят знак качества, и тебя станут принимать в высших литературных кругах, в том числе и заграничных.

— Ты хочешь сказать, что мне позволят ездить в Париж, как Евтушенке?

— И в Париж, и в Лондон, и в Вашингтон. Не опаздывай, жду у выхода из метро “Аэропорт”. В семь часов. Сегодня я тебе, завтра ты мне.

Визит и в самом деле был важен. Там, на “Аэропорте”, находились развилки, которые могли направить писательскую судьбу по магистральной дороге или перевести её на второстепенный просёлок, а то и вовсе в тупик. Куравлёв волновался. Мысленно репетировал встречу.

До семи вечера оставалось время, и Куравлёв решил отправиться на Пушкинскую площадь, к редакции “Московских новостей”, которые внезапно стали самой популярной газетой “перестройки”. У газетных витрин со

свежим выпуском газеты с утра собиралась толпа. Обсуждали номер, спорили, вели нескончаемые диспуты до хрипоты, до изнеможения, до драки. Куравлёв хотел погрузиться в это толпище, полагая, что, быть может, там прозвучит заветное слово, возникнет завязь нового романа.

Он приехал на Пушкинскую, некоторое время стоял под круглыми часами на фонарном столбе. У здания “Московских новостей” темнел, шевелился народ, напоминал роящихся пчёл. Люди подлетали, погружались в толпу, вносили в неё свои страсти и страхи. Другие с ношей добытых знаний оставляли рой, несли по Москве обретенные истины.

Часть роя переместилась к памятнику Пушкину, облепила его. Клубилась по другую сторону улицы Горького в сквере с фонтаном.

Он вдруг вспомнил, как в детстве мама, держа его за руку, хотела перейти улицу Горького, и на неё набросился гневный постовой с полосатой палкой. Грубо накричал на них: “Какого чёрта суёшься!” Мама в страхе отпрянула. По улице, как в пустоте, пронеслась легковая машина. Сквозь стекло он увидел лобастое, желтоватого цвета лицо. Это был Молотов, такой же, как на портретах, которые носили над собой демонстранты.

Теперь Куравлёв вдруг вспомнил этот давнишний случай, и испытал неистезнующую обиду, нанесённую маме тем безвестным постовым.

Куравлёв кружил в толпе, обжигаясь в мимолетных столкновениях с яростными спорщиками, с их страстью, торжеством и ненавистью. Два старика, с одинаковыми носами в красных склеротических крапинах, насакивали друг, на друга, как петухи.

— Не смей трогать Сталина! Мы с его именем в немецкие окопы врывались, сапёрными лопатками рубились! А ты в это время в Ташкенте булки жевал!

— Баланду я жевал в это время! Меня твой Сталин баландой кормил, и мы все ему смерти желали! Прибрал его чёрт!

— Не смей! Не смей, говорю!

Другая пара в добротных пальто с меховыми воротниками вела дискуссию по-профессорски деликатно:

— Мне кажется, что лучший исход — это постепенно перейти от коммунистической доктрины к социал-демократии. Это и есть европейский путь.

— Нет, друг мой. Надо знать русский народ. Ему либо царя подавай с кнутом и плахой, либо Емельку Пугачёва, тоже с кнутом и плахой. А иначе нельзя!

Немолодая женщина с горящими глазами, чёрными, с сединой, волосами, захлёбываясь, говорила мужчине с аккуратной бородкой:

— Я совершенно согласна с Александром Николаевичем Яковлевым. Надо вернуться к ленинским принципам! К подлинному народовластию! Вы согласны?

Мужчина отмалчивался.

— Нет, вы ответьте, ответьте!

— Тыфу, жидовка! — мужчина сплюнул и отошёл.

Маленький едкий человечек втолковывал увальню с тяжёлым лицом:

— Всех коммуняк надо собрать и ко лбам гвоздями приколотить партбилеты. А потом судить, как в Нюрнберге. И повесить! Ты понял?

— Ну, — промычал увальень.

— Я тебе что втолковываю. Всех коммуняк отловить, да в клетку, да судить, да повесить, хоть бы на этих столбах! — Он указал на фонарный столб. — Дошло до тебя?

— Ну, — односложно ответил увальень.

Появился человек, по виду странствующий монах, в линялом подряснике, с сальными до плеч волосами, беззубым ртом. Воздел руки:

— Аз есмь сошед с небес, дабы вразумить заблудших. А иначе всем быть в геенне огненной!

Вокруг него собрался народ, некоторое время слушал. Потом кто-то кинул в него стаканчик от мороженого, и монах исчез.

Куравлёву казалось, что кругом летят опилки. Они сыпались из-под пилы, рассекающей жилистое дерево. Пилы не было видно, она находилась

где-то ниже по улице Горького, в Кремле. Там работали трудолюбивые дровосеки. Они пилили дерево, именуемое государством. Куравлёва смущало то, что государство уничтожалось теми, кто его возглавлял. У него не возникало потребности защищать государство, которое само на себя ополчилось. Но было что-то неладное, что-то скрытое от понимания, которым обладали сидящие в Кремле дровосеки. Через кремлёвскую стену летели опилки, и Куравлёв слышал, как лопаются одна за одной тугие жилы в стволе государства.

Вернувшись домой, Куравлёв уселся читать рукопись Карповича, где описывалось мужество советского разведчика, внедрённого в ряды Народно-трудового союза. Этим разведчиком был, конечно же, сам Карпович. Это он хитроумными путями добился доверия у антисоветчиков. Он вскрыл их связи с американской разведкой. Он был на грани провала, и только мысли о Родине позволили ему уцелеть. Язык романа был корявый, натужный. Персонажи выписаны убого. Типичный пример графомании. Карпович, представитель Лубянки, курируя московских писателей, постоянно сталкивался с их творчеством. Решил, почему бы ему не попробовать самому. В результате возник роман-уродец, чтение которого причиняло страдание. Куравлёв не решился отказать Карповичу, принуждал себя к чтению, повинаясь реликтовой опаске, которую вызывали люди с Лубянки.

Глава шестая

Куравлёв любил свои “Жигули”, вторую модель, их хрупкий изысканный вид, утончённый рисунок радиаторной решётки, четыре глазастые фары с лучами прозрачного света. Тихий рокот мотора, который был в согласии с биением его сердца. Куравлёв не просто управлял машиной, но разговаривал с ней. Просил совершить поворот, осветить тёмную трассу, подать бархатный сигнал, лишённый скандальной резкости. Его легковушка, как и печатная машинка, была странным подобием его самого. Преображалась из железного механизма в живое чувствующее существо. Именно это ощутил Куравлёв, садясь в машину и отправляясь на свидание с “мудрецами” у метро “Аэропорт”.

Марк Святогоров оглядел его со всех сторон. Что-то смахнул с пальто, поправил шарф. Он готовил смотрины и хотел, чтобы жених выглядел безукоризненно.

— Поверь, уже сегодня вечером ты станешь другим человеком. В тебе ничего не станут менять, ни на чём не будут настаивать. Просто покроют лаком, и ты засверкаешь. Приготовь какую-нибудь забавную историю, чтобы возникла лёгкость общения.

— А на мне появится клеймо: “Сделано на “Аэропорте”?”

— Поверь, многие мечтают о таком клейме!

Дверь им открыл Андрей Моисеевич Радковский, литературовед, профессор университета. Невысокий, с голубыми, чуть навывкате глазами, белёсый, лысеющий, с мягким приветливым ртом. И только нос — небольшой, заострённый, птичий — говорил о пытливости, способности проникать в самые тонкие глубины чувств. На нём был домашний вельветовый пиджак, подомашнему расстёгнутая рубаша, открывавшая на груди редкие седые кудельки.

— Проходите, проходите, молодые люди. — Андрей Моисеевич принял у Куравлёва пальто. — Нет, нет, не снимайте обувь. Да у нас и тапочек нет, — как бы извинялся Андрей Моисеевич, приводя Куравлёва в смущение. Подошвы вошедших были в осенней московской грязи, а паркет был натёрт и блеснул.

В прихожей появилась женщина, полная, милая, должно быть, хозяйка.

— Прошу, Роза Семёновна, моя жена. А это Виктор Ильич Куравлёв, — Андрей Моисеевич представил одного Куравлёва, ибо Марк Святогоров уже бывал в этом доме.

— Дочитываю вашу книгу, — произнесла Роза Семёновна, ласково улыбаясь, — Андрей Моисеевич даёт мне те книги, которые заслуживают его внимания.

— У Розы Семёновны тонкий вкус. Она могла быть стать той, кем была для Хемингуэя Гертруда Стайн.

Через сияющую люстру гостиную они прошли в кабинет. Там стоял письменный стол из карельской берёзы. Из неё же были кресла и диван с высокой спинкой. От этого кабинет казался солнечным, отекал мёдом. Одну стену занимала библиотека, полки от пола до потолка. На другой стене над столом висела картина в простой деревянной раме: арлекин в клетчатом облачении танцевал на одной ноге.

— Это Судейкин, — пояснил Андрей Моисеевич, уловив взгляд Куравлёва. — Садитесь, друзья!

Андрей Моисеевич занял место за столом, усадил Куравлёва в кресло напротив. Марк Святогоров и Роза Семёновна сели на диван.

— Когда-то на этом диване сидели Шкловский и несравненная Лиля Брик, — произнёс Андрей Моисеевич с лёгкой печалью, тем самым давая начало разговору.

Куравлёв увидел свою книгу “Небесные подворотни” на столе хозяина.

— Я прочитал вашу книгу. Надеюсь на дарственную надпись. — Андрей Моисеевич положил голубоватую ладонь на книгу. Куравлёв заметил на его пальце золотой перстень с мелкими бриллиантами. — Поздравляю. Эта книга выделяется из новинок последнего времени. Кстати, она отличается и от ваших прежних работ. В вашей первой книге было слишком много от русского фольклора. Я понимаю, вы отдали дань нашему прошлому. Но эта новая книга, она о будущем. Я ловил себя на том, что в ней есть нечто от двадцатых годов, когда литература стремилась в будущее. Быть может, в ней есть нечто от Замятина. Или от Пильняка. Или от Бабея.

— Ты говорил, что в ней присутствует что-то от Татлина, — промолвила Роза Семёновна.

— В самом деле, эти летающие города, эти космические птицы! Ведь “Башня Татлина” — это винт, который ввинчивается в Космос. Недаром Хлебников назвал его “Татлин — Летатлин”.

— Наши “деревенщики” плохо относятся к Татлину. Говорят, что он воспроизвёл Вавилонскую башню, — смущённый похвалами, заметил Куравлёв.

— Разрушение Вавилонской башни — это библейский миф. Из других источников известно, что Вавилонскую башню достроили. На её вершине сделали молебню и славили космические силы. Не летал ли Гагарин к вершине Вавилонской башни? — загадочно улыбнулся Андрей Моисеевич.

— Ну, конечно! — захохотал Святогоров. — Не на Сухареву же башню он решил присесть!

За время их беседы несколько раз звонил телефон. Андрей Маркович снимал трубку и вкрадчиво, властно давал указания. “Нет, этого не включайте. Включите Востроухова. В делегации должен быть русский”. Или: “Нет, нет, только не в Дубовом зале. Закажите в “Метрополе” на четыре персоны. Как кто? Вы, я, гость и переводчик”.

— Мне кажется, — продолжил беседу Андрей Маркович, — необходимо пополнить ряды тех, кто причисляет себя к последователям Трифонова. Ну, не буквально! Русские писатели не могут потчевать нас рассказами о том, как расгуд овалы или как прекрасен был обряд венчания. Мы должны заглядывать в наше социальное будущее. Трифонов не заглядывает в будущее, но будущее стремительно приближается. У этого будущего должны быть свои исследователи, свои летописцы. Близятся великие столкновения, великие схватки. Литература будет в них участвовать. Каким оно будет, это будущее? В галифе, с синей фуражкой охранника? Или по-европейски свободным человеком? Михаил Сергеевич Горбачёв при встрече сказал мне: “Мы нуждаемся в писателях. Мы надеемся на их поддержку”. Над чем же вы сейчас работаете, Виктор Ильич?

Андрей Моисеевич заглядывал в глаза Куравлёву, и тому казалось, что птичий нос Андрея Моисеевича нацелен в потаённые уголки его души, выскикивает в ней ту сущность, ради которой и состоялась их встреча. Так внимательная синица выклёвывает из древесных щёлок притаившихся там жучков.

— Да, собственно, ни над чем не работаю. Душа, как говорится, пуста. Много езжу, наблюдаю, коплю впечатления.

— Каковы же впечатления? Поделитесь с нами.

Перед визитом Куравлёв перебирал занимательные случаи, случавшиеся с ним в поездках. Остановился на одном, которым надеялся позабавить хозяина.

— Летом в Киргизии я видел, как в самолёты загоняют отары овец и уносят в горы, где альпийские луга, хрустальные ручьи, и там овцы спасаются от пекла долин.

— Боже мой! Овец самолётами? — изумилась Роза Семёновна.

— Я вернулся с гор с букетом альпийских цветов. Пора было возвращаться в Москву. Но рейсовых самолётов не было. Стоял на краю аэродрома какой-то грузовой борт. Я попросил лётчиков захватить меня. “Рога у тебя есть?” — спросил командир. “Конечно. Разве не видно?” — “Тогда полезай!” Я залез в самолёт и понял, почему меня спросили о рогах. В фюзеляже топталось с полдюжину коров и бык, здоровенный, с косматым загривком, набрякшими кровавыми глазами. Из рта тянулась липкая слюна. Бык водил могучей шеей и силно дышал. Он был обвит какими-то тросиками, мешавшими двигаться.

— Боже! — охнула Роза Семёновна.

— Самолёт загрел моторами, разогнался и взлетел. Коровы поняли, что их отрывают от родных пастбищ, от вкусной травы. Заметались по самолёту, стиснули меня боками. Бык захрипел, наклонил голову и пошёл на меня. Боднул, промахнулся, ударил рогами в обшивку.

— Неужели вам не было страшно? — Роза Семёновна испуганно прижала пальцы к губам.

— Ещё как страшно! Я уклонялся от ударов быка, как тореадор. Коррида в небе! Я боялся, что бык рогами проломит обшивку, самолёт развалится, и мы все, коровы и я, посыплемся на землю. Я стал истошно кричать, барабанил в дверь кабины. Оттуда выглянул весёлый пилот. Стал крутить какую-то ручку. Тросики под брюхом быка натянулись, и он повис, болтая ногами и зверски мыча. Так мы долетели до места. Я пересел в рейсовый самолёт и заметил, что люди недовольно на меня поглядывают. От меня пахло коровником. Я заснул, и мне снилось стадо летящих коров, у которых на рогах крутились пропеллеры!

Куравлёв, возбуждённый собственным повествованием, старался угадать, какое впечатление произвёл его рассказ.

— Bravo! — захолопал в ладоши Андрей Моисеевич. — Вы прекрасный рассказчик! Напишите рассказ “Летающие коровы”. В этом есть что-то от Платонова.

Куравлёв почувствовал, что эффектно завершил визит, и стал прощаться. Когда он подписывал книгу, Андрей Моисеевич спросил:

— Кого вы из ваших сверстников могли бы порекомендовать мне?

— Макавина. У него вышла прекрасная книга “Шепчущие камни”.

— Да, да, я слышал о ней. Роза, — обратился Андрей Моисеевич к жене, — достань мне, пожалуйста, эту книгу.

Уже в прихожей, подавая Куравлёву пальто, Андрей Моисеевич спросил:

— Не хотели бы вы поехать в Париж? Там состоится европейский литературный форум.

— Конечно! — радостно согласился Куравлёв.

— Тогда я включу вас в состав группы.

Когда они с Марком Святогоровым оказались на улице, тот восторженно обнял Куравлёва:

— Всё бесподобно! Ты покоришь их сердца! Теперь тебе дорога открыта. И молодец, что назвал Макавина. Это настоящая дружба! — он побежал по промозглой улице, ещё раз мелькнув под фонарём.

Глава седьмая

Куравлёв чувствовал себя победителем. Он прошёл испытание. Он лишь догадывался о том тайном, всемогущем жюри, которое его экзаменовало и которое представлял Андрей Моисеевич. В писательских домах у “Аэропор-

та” обитала неявная власть, управлявшая судьбами писателей и всем литературным процессом. Явная власть, представленная вельможными секретарями Союза писателей, гнездилась в Доме Ростовых, что примыкал к ЦДЛ. Но была не всеильна. Делила своё влияние с “мудрецами” “Аэропорта”, которые часто действовали вопреки желаниям секретарей. И те, имея опору в партийных верхах и в КГБ, уступали бесшумному бархатному давлению “мудрецов”, один из которых, с золотым перстнем в мелких бриллиантах, столь милостив был к Куравлёву.

Он сел в машину, собираясь вернуться домой. Но вдруг почувствовал, что неодолимо, мучительно, нестерпимо желает увидеть Светлану. Её грациозную белую шею, капризные, сладкие губы, маленькую прелестную родинку. Желание было ошеломляющим, разящим. Оно копилось в нём в течение дня, не обнаруживая себя, и вдруг обрушилось, ослепило, превратилось в страдание, в боль, в чудесную сладость. Это желание было пагубным, несло в себе несчастье. Но Куравлёв желал этого несчастья и слепо, не умея сопротивляться, не желая понимать это неодолимое влечение, вышел из машины. Зашёл в телефонную будку, где пахло чем-то прокисшим, и набрал её номер:

— Приезжай, хочу тебя видеть.

— Я думала, ты забыл обо мне.

— Приезжай, сейчас же. Буду ждать тебя в ЦДЛ.

Он прошёл в Дубовый зал, и метрдотель Александра Фёдоровна, любившая подчеркнуть, что носит имя императрицы-мученицы, отвела ему столик у деревянного столба, оплетённого резной виноградной лозой.

Куравлёв пошёл в вестибюль встречать Светлану. Перед входом на стульях сидели две высокие старухи с каменными лицами и лошадиными ногами. Они сдерживали тех, кто, не имея писательского билета, желал проникнуть в заветное заведение. Две чахлая девицы умоляли старух пропустить их, ссылаясь на знакомство с каким-то писателем. Буйно рвался забуддыга, кому за дебоши было отказано в пропуске. Старухи окаменело сидели, как два льва на воротах, пресекая все незаконные проникновения.

Сквозь стеклянную дверь он увидел Светлану. Кинулся навстречу мимо старух, которые, казалось, были недовольны тем, что им помешали проявить их властную волю.

— Как я тебя ждал! Как ты хороша! — Куравлёв снимал с неё пальто, извлекал на свет её лёгкое подвижное тело, вдыхал запах сырых московских улиц и тонких, горьковатых духов. — Чудо, что я вижу тебя!

Им подали двух запечённых карпов с хрустящей корочкой и бутылку “Цинандали”.

— Мы съедим этих карпов и превратимся в двух больших рыб, — сказала она.

— Мы и так две большие рыбы, — он любовался, как она ест, как красиво держит вилку, как подносит ко рту розовый ломтик мякоти, как делает глоток вина. Всё это казалось восхитительным, трогательным, волновало его.

— Я почитала твою книгу. Я редко читаю, но тут захотела узнать того, с кем накануне провела ночь. Хотя и не до утра.

— Будет такое утро, когда ты откроешь глаза и увидишь меня.

— Я под впечатлением от твоего романа. У тебя великолепные, иногда страшные описания города, который стоит на коровьих костях. Здесь есть нечто языческое, связанное с приношением жертв. Твой космический мечтатель, унесёт ли он в Космос эти окровавленные коровьи туши? Ты еще не нашёл ответ. Этот роман — лишь прелюдия следующего, в котором ты найдёшь ответ.

— Найду ли?

— Найдёшь. У тебя блестящее будущее. Я вижу на твоём челе лавровый веночек триумфатора.

— Сегодня мне дали это понять. Я заключил неписанный договор, быть может, с дьяволом.

— Заключи договор со мной. Я принесу тебе удачу. Я буду рядом. Пусть все знают, что тебе принадлежит самая красивая женщина, и завидуют!

Он старался найти в её словах иронию, но глаза её смотрели ясно, словно она была уверена в своей женской силе, во власти над ним.

В зал вошёл Макавин, крупный, статный, поводил весёлыми, чуть раскосыми глазами. Увидел Куравлёва и подошёл.

— Виктор, рад за тебя. Ты никогда не обходил стороной красивых женщин. — Макавин поклонился Светлане. — Мне повезло меньше. — Он оглянулся. В дверях стояла критикесса Наталья Петрова, нервно осматривала зал. Увидела Макавина, махнула ему. Но тут же углядела Куравлёва с женщиной. Её узкое козье лицо стало злым, и она повернулась, желая уйти.

— Натали, я здесь, — позвал её Макавин, и они отошли в дальний конец Дубового зала, где им был приготовлен столик.

— Почему она так зло на тебя посмотрела?

— Ей не понравилось, как я ем рыбу.

— Так смотрит женщина, которую обманули.

— Мне важно, как смотришь ты.

— Смотрю и не верю своему счастью. — Она усмехнулась, уголки её губ чуть дрогнули, и он снова почувствовал, как она желанна, какая таинственная ошеломляющая сила в этой усмешке и как хочется ему поцеловать эти розовые губы.

— Я так устала от ваших тёмных московских дней, от слякоти, сырости! Я родилась в Севастополе, у моря. У нас столько света, тепла. Как бы я хотела оказаться в Крыму. И зимой там синее небо, солнце. Горлинки воркуют, пахнет виноградным вином.

— Вот “Цинандали”, отличное виноградное вино. А вот виноградная лоза, — Куравлёв протянул руку и коснулся резной, обвившей столб лозы.

— У мужа есть машина. Мы сядились и уезжали из города в Батилиман, в Форос. Или в Херсонес. Там такое синее море и развалины храма, в котором крестился князь Владимир. Там пахнет степной полынью, водорослями, а на горизонте, как туманный остров, темнеет авианосец. Как бы хорошо нам с тобой поехать к Чёрному морю, по всем моим святым местам!

— Ты была с мужем в этих местах. Он нам будет мешать.

— Тогда поедem к Белому морю.

— Там мы были с женой.

— Куда же нам с тобой деться? Остаётся один ЦДЛ! А ты бы на мне женился? Я хороша собой, не правда ли? На нас бы заглядывались. Я бы помогала тебе в работе, читала твои рукописи, печатала их. Мы бы прекрасно путешествовали. Тебя бы направляли во Францию, Англию, Америку. Я помогу тебе войти в литературные салоны Парижа и Лондона. В Москве, у себя дома, в нашей великолепной квартире, мы станем принимать гостей, известных писателей, артистов, художников. Илья Глазунов напишет мой портрет, “Дама в голубом”. Женись на мне!

Куравлёв смущённо молчал.

— Ну, прости, я пошутила. Не хотела ставить тебя в неловкое положение.

На пороге зала появился, как привидение, гробовщик, ведающий погребением писателей. “Ангел смерти” с надменно запрокинутой головой оглядел зал чёрными жутковатыми глазами. Исчез.

— Какой неприятный персонаж, — сказала Светлана. — От него стало холодно. Поцупай руку! — он взял её руку в свою, рука была холодная, и он согривал её, перебирал её пальцы.

— Пойдём отсюда, — сказала Светлана. — Давай покатаемся по Москве!

Они подошли к машине.

— Позволь, я сяду за руль.

— Разве ты водишь?

— Муж сажал меня за руль. Я ездила по крымским дорогам, в горах.

— Ну, что ж, садись, я буду дирижировать, чтобы нас не прихватил полевой.

Куравлёв передал Светлане ключи. Они уселись. Светлана, почти не глядя, сунула ключ в скважину. Машина мягко завелась, и они покатали от ЦДЛ на Садовое и дальше, к площади Маяковского. Она вела машину

легко, без рывков, аккуратно вписываясь в поток, не обгоняя, повинуюсь его указаниям.

Они проехали площадь с памятником Маяковскому, покатали к Белорусскому вокзалу с памятником Горькому, свернули на Бутырский вал к Савёловскому вокзалу. Куравлёв чувствовал, что машина послушна ей, повинуется, признала своей. Её пальцы крепко сжимали руль, глаза зорко, спокойно смотрели вперёд.

Но когда выкатили на Дмитровское шоссе, с ней что-то случилось. Она рывком толкнула машину. Двигатель взвыл, словно ему сделали больно. Она прибавила скорость. Машину швырнуло вперёд. Понеслась, виляла среди других машин, подрезала их, выскакивала на встречную полосу, чиркала по тротуару. Куравлёва, как лётчика при перегрузках, вжимало в сидение.

Они пролетели на красный свет. Им истошно сигналили. Она не слышала. Машина теряла управление, подсакивала, готова была опрокинуться, готова была взлететь. Понестись над шоссе, оставляя внизу размытые фонари, мелькавшие фары, уходя в чёрную высь, из которой Москва казалась огромной золотой водорослью.

— Что ты делаешь? Остановись! — кричал Куравлёв. Она не слышала. Губы её раздвинулись в большой улыбке, так что начинали блестеть зубы. Глаза горели счастливым безумием. Руки лежали на руле, почти не управляя. Казалось, бросила руль, и машина мчится слепо, по своей воле, желая кого-то настигнуть, ударить, разбиться, превратить безумный полёт в моментальную вспышку взрыва.

Куравлёву казалось, она испытывает жуткую страсть, стремление к смерти. Желание одолеть земное притяжение и вырваться в другое пространство и время, где нет ничего человеческого, а царят иные стихии. Он сам был таков. Сам искал это гибельное наслаждение, искал безумное мгновение, когда рассекается утлый чехол бытия, и сверкает ослепительная, пусть мгновенная жизнь, ради которой он родился на свет, мучился, искал. И вот теперь сумасшедшая прекрасная женщина дарит ему это последнее счастье.

Они вынеслись за Москву, пролетели стеклянную будку ГАИ. Некоторое время мчались, налетая на встречные слепящие фары. Она сбросила скорость, свернула на боковую дорогу, на какую-то стройку с тёмными недостроенными корпусами. Остановилась, бросила руль. Сидела, закрыв глаза, бессильно свесив руки. Продолжала улыбаться какой-то мертвенной улыбкой.

— Слава Богу! Живы! Выходи, я сяду за руль!

Они поменялись местами. Машина слабо стонала, словно в ней порвались поджилки.

— Боже, что с тобой было? Ты хотела разбиться?

Она медленно, как во сне, потянулась к нему, придвинулась и поцеловала в губы, больно, желая причинить боль ему и себе. Стала шарить ладонью у него под рубахой:

— Ну, что же ты! Что ты!

Он неумело, торопясь опустил её сиденье, стал раздевать её. Она тянула его к себе. Со стройки, подле которой они находились, выкатил тяжёлый самосвал, осветил их машину. Она лежала ослепительная, серебряная, и погасла. Это было похоже на их безумный полёт. Было продолжением смертельного стремления к смерти, которое вдруг сверкнуло небывалым счастьем. Обрушилось огненным ливнем, загухая, мерцающая редкими искрами.

Он отвёз ее домой. Она холодно, скользнув губами, поцеловала его.

— Нет, не надо. Не ходи за мной, — и исчезла. А он остался сидеть, не понимая, где они побывали, в каком поднебесном раю, и вынуждены были вернуться на холодную презимную землю.

Глава восьмая

Была среда, а значит, день, когда из почтового ящика можно извлечь “Литературную газету”. Её влияние было огромным. Она владела умами интеллигенции. На протяжении многих лет готовила “перестройку”. Многие

идеи, провозглашённые открыто Кремлём, теплились, копились в “Литературке”, пока не вырвались на улицы демонстрациями, рок-концертами, паникой в рядах заскорузлых партийцев.

Куравлёв не просто любил газету, но был её автором. Отправлялся в командировки на великие заводы и стройки. Туда, где в целинных степях безбрежно колосилась пшеница. Плыл по Туркменскому каналу, по бирюзовой воде среди раскалённых барханов. Он просыпался на заре в каком-нибудь туркменском кишлаке. Трясся по камням в повозке, запряжённой низкорослой лошадкой. Добирался до районного посёлка и садился на трескучий биплан. Прилетал в областной центр и ближайшим рейсом добирался туда, откуда самолёты шли на Москву. Прилетал в Домодедово и катил по шоссе среди восхитительных, милых и родных березняков. Пересаживался на электричку и вечером, загорелый, усталый, безмерно счастливый, обнимал жену и детей. Выкладывал на стол золотую дыню и коричневые гранаты, полные рубиновых зёрен. Не ведая отдыха, пока в нём ещё не смолкли моторы самолётов и цоканье по камням прилежной лошадки, садился за стол в своём кабинете под пристальным надзором обугленного Николая. И писал очерк, огненный, с колёс, страстный и красочный. С утра относил в газету. Не спорил, не резонился, когда редактор вносил необходимую правку. Читал гранки на жёваной, похожей на оберточную бумаге. И, наконец, держал в руках драгоценную, в шестнадцать полос газету, тихо звенящую тончайшими страницами, среди которых красовался его очерк. Ему казалось, что в напечатанном очерке светится каждая буква.

Куравлёв вынул из почтового ящика газету, принёс в кабинет. Развернул широкие полосы, которые, как ему казалось, слабо звенели, словно тончайшая фольга. Пролистал первую половину газеты, “первую тетрадку”, где рассказывалось о несомненном преимуществе кооперативов перед колхозами. Освещалась встреча Горбачёва с премьер-министром Швеции. Была напечатана статья главного идеолога “перестройки” Александра Яковлева о необходимости вскрыть уродливые явления советского прошлого, смелее использовать демократический опыт западных стран.

Все это Куравлёв пробежал бегом. Стал просматривать вторую половину газеты, “вторую тетрадку”, как её называли. Здесь печатались материалы о культуре, интервью с ведущими актёрами и писателями, критические статьи на литературные новинки. Он увидел статью, от которой возликовал и которую жадно стал читать. Сначала прочитал имя автора — Наталья Петрова. Обещанная статья, посвящённая “Небесным подворотням”. Это была радость, победа. Потом он прочитал заголовок: “Грязь подворотен и шёпот самоцветов”. И подзаголовок. “О книгах Виктора Куравлева и Антона Макавина”.

По мере того, как он читал, его брала оторопь, изумление и никогда доселе не изведенное страдание. В статье книга Куравлёва была названа сгустком мертвящих, кровавых и бессмысленных сцен. Герои ходульные, безвкуско придуманные. Идея книги — воспевание бездушного государства, того, от которого сегодня отрешается общество.

Куравлёв чувствовал, как разрастается страдание. Это была вероломная, несправедливая статья, рассчитанная на истребление. Истребление Куравлёва было тем беспощадней, что тут же воспевалась книга приятеля, утверждалось превосходство Макавина. Макавину в этой статье давался разбег, а Куравлёва останавливали, загоняли в тупик.

Он в панике искал объяснение случившемуся. Петрова по-женски мстила ему. Он отверг её любовное приглашение, на глазах у неё выбрал другую женщину. Вспомнился злой взгляд критикессы, когда уходил со Светланой из Пёстрого зала. Но неужели это всему причина? Неужели невольная мужская бестактность и мимолётная женская обида побуждают к утончённому вероломству, к жестокому отмщению, истреблению обидчика?

Это поражало, но объясняло появление статьи. Ещё большее страдание причиняло вероломство друга. Макавин во время вчерашней встречи в ЦДЛ уже читал статью, обрадовался ей, не восстал, увидев, что статья истребляла товарища. Макавин согласился с этой неблагоприятной ролью. Легкомысленно прошёлся по хребту Куравлёва, и от этого было невыносимо.

Он сидел перед раскрытой газетой. С её страниц несло гарью, будто жгли кость.

Завонил телефон. Сочный властный голос произнёс:

— Виктор Ильич? Приветствую вас!

Это был Сыроедов, заместитель главного редактора “Литературной газеты”. Умный, осторожный, из видных московских партийцев, он, а не главный редактор, вёл повседневно газету. Проводя её по лезвию, допуская идеологические вольности, которые не дозволялись другим. Выполняя установки главного редактора, он самостоятельно публиковал статьи, иногда ошеломляюще смелые. Эти статьи вызывали взрывы среди возбуждённых интеллигентов. Давал выход их фронде, направляя в безопасное русло их едкую разрушительную энергию.

— Виктор Ильич, не могли бы вы зайти ко мне?

Куравлёв подумал, что Сыроедов хочет объясниться по поводу разгромной рецензии, помещённой в газете, которая печатала очерки и репортажи Куравлёва.

— Жду через час у себя! — властно, почти приказывая, произнёс Сыроедов.

Куравлёв вышел к машине и увидел, что идет снег. Мокрые рыхлые хлопья падали на землю и таяли. Он поднял лицо. Снег таял у него на лбу, на щеках, и в этом сыром снегопаде он остро ощутил, что завершилось одно время жизни и наступило другое. И между двумя временами жизни проведена незримая черта, и за этой чертой остались прежние переживания, и среди этих переживаний — боль, причинённая злой статьёй.

Так он себя убеждал, садясь в машину и направляясь в “Литературную газету”, смахивая щётками липнущий снег.

Через час Куравлёв был в газете. Огромное конструктивистское здание на Цветном бульваре было пропитано типографским свинцом, лязгом печатных станков, куревом, шелестом многих бумаг. Ощущалась кропотливая работа множества деловитых, расторопных людей, творящих в своих кабинетах идеологию и политику. Тот дым, которым дышало общество, наполнял лёгкие наркотическими неслышными ядами.

В тяжеловесном лязгающем лифте Куравлёв поднялся на третий этаж, где находился кабинет Сыроедова. Навстречу попался главный редактор Чаковский, с маленькой черепашьей головой, с сигарой во рту. Он шёл вдоль стены, не замечая сотрудников, не отвечая на их приветствия. Казалось, сигара с красным огоньком на конце тянет его вперёд. Он шёл, оставляя за собой синеватые кудельки дыма.

Кабинет Сыроедова был невелик, с телефоном цвета слоновой кости, соединявшим его с ЦК, Министерством обороны, с государственными учреждениями. На стене висело электронное табло с шестнадцатью окнами, по числу газетных полос. Окна загорались по мере изготовления газеты.

— Садитесь, сударь, — доброжелательно пригласил Сыроедов, усаживая Куравлёва в кресло напротив.

Он был крепок, с мясистыми щеками, приплюснутым носом и суровыми глазами из-под нависших бровей. Напоминал породистого бульдога, хмурого и опасного, но вдруг начинавшего резвиться, добродушно вилять обрубок хвоста.

— Вас, должно быть, задела эта критическая статейка? Бросьте! Её никто не заметит. Мелкие интриги в мелкой среде.

— Для меня важно, чтобы близкая мне газета видела во мне сотрудника, разделяющего её ценности. Статья ставит под сомнение мои отношения с газетой.

— Бросьте! Мнение какой-то мелкой критикессы... Чем вы ей досадили? Отказались с ней переспать? Мои любовницы такие же обидчивые! — Сыроедов рассмеялся. Упоминание о любовницах делало разговор доверительным, почти дружеским, хотя прежде между ними сохранялась дистанция. — Я хочу вам сделать предложение. Поезжайте в Афганистан. Мне нужны жёсткие писательские впечатления о войне. Прошли времена, когда мы лакировали эту войну и писали, как наши солдаты роют арыки и сажают

сады. Общество устало от этой войны, устало от гробов. Видимо, войну скоро закончат. Газете нужны правдивые, жёсткие, даже жестокие картины войны. Вы можете писать жестокие сцены. Убийство коров в вашей книге!

— Вы хотите, чтобы я назвал эту войну бойней? — Куравлёв изумился тому, что Сыроедов нашёл время открыть его книгу.

— Ни в коем случае! Пусть её так называют нервные сторонники академика Сахарова. Эту войну ведёт государство, и концепция этой войны остаётся прежней. Мы выполняем интернациональный долг. Но читатель хочет знать правду об этой войне. И не из уст демократов, а из уст государства. Вы, в данном случае, становитесь устами государства.

— Предложение неожиданное, лестное.

— Поезжайте в Афганистан. Наберитесь впечатлений. И напишите свою главную книгу. “По ком звонит колокол”.

— Когда нужно ехать?

— Хоть завтра, хоть через неделю. Я должен оговорить вашу поездку в ЦК и Министерстве обороны.

— Благодарю за доверие.

— Привезите из Афганистана серебряное кольцо с лазуритом. Хочу подарить любимице! — Сыроедов снова засмеялся, уже забывая о Куравлёве. На электронном табло зажглось окно. Ещё одна полоса великой газеты была готова. Бумажный лист, пропитанный дурманами, которых так ждала обкурная “перестройкой” интеллигенция.

Этот день принёс ему множество волнений. Разгромная статья на любимую книгу. Вероломство Макавина, которого считал другом. Неожиданное предложение ехать в Афганистан, что, быть может, позволит написать книгу, которую смутно предчувствовала и звала душа. И, конечно, Светлана. Её муж сражался в Афганистане, и предстоящая поездка мучительно связывала всех троих.

Ему захотелось увидеть Светлану, немедленно, неудержимо. Её появления ждали глаза, руки, грудь, все живые горячие биения тела, которое помнило их вчерашнюю близость, когда она вдруг вспыхнула, обнажённая, серебряная, и эта вспышка сегодня продолжала сверкать.

Он позвонил Светлане, пригласил в ЦДЛ и сам поехал в писательский клуб заказывать столик.

Пёстрый зал уже наполнялся публикой. Уже шумел подвыпивший Шавкута, сияя восторженной синевой глаз. Уже двое хмельных поэтов читали друг другу стихи, бранили Евтушенко и спорили, кто из них двоих есть первый поэт России.

Куравлёв едва сел за столик, как увидел входившего в зал Макавина.

— Витя, я всё видел, всё знаю! Ужасная статья, мерзкая! И мерзость в том, что злобная баба хочет нас с тобой поссорить! Двойной укус — уничтожить замечательный роман и поссорить тебя со мной! Двойной змеиный укус! — Макавин извинялся, был искренне огорчён.

— Но вчера ты уже знал о статье! Петрова показала тебе свой пасквиль. И ты не остановил её. По лицу твоему я видел, ты читал эту пакость, был даже рад!

— Ну что ты, Витя! Какая радость! Я её отговаривал, просил отозвать статью. Но я же не властен! Не виноват перед тобой, но чувствую вину! Ты прости меня, Витя!

Макавин винулся искренне, и Куравлёв поверил ему. Макавин оставался другом, и злая критическая с козлиным лицом была не в силах разрушить их дружбу.

Появились Гуськов и Лишустин. Сначала взяли в буфете водку, бутерброды с колбасой. Подсели за столик к Куравлёву и Макавину. Они не читали статью, и разговор пошёл о другом.

— Писателю не следует носиться по свету, как это делает Куравлёв. Сиди на одном месте, и жизнь сама станет накатываться на тебя. Сиди на берегу моря, и оно будет выбрасывать на берег таинственных рыбин и обломки кораблей. — Гуськов повторил свой укор Куравлёву, осторожно пригубил, а потом выпил залпом.

— Ты сказал о море. — Лишустин вышил. — Я в Москве скучаю по морю. Я помор. Мы, Лишустины, живём у моря, от того и поморы. Ходили на промысел чуть ли не к полюсу. Именем Лишустиных названы острова, которые севернее Новой Земли.

— Ну, и поезжай на море, кто мешает? — сказал Гуськов. — Зачем Москву хулить?

— Москва для России — приворотное зелье. Все в Москву норовят. А она, Москва-то, поцелует и отравит. Ядовитые у Москвы поцелуи.

— Ну, и целуйся со своими рыбами, а нам уж позволь в Москве пребывать.

Они захмелели, им было хорошо, они дружески препирались. Они провели день в своих домах, писали романы, а к вечеру пришли в ЦДЛ, который и впрямь был приворотным зельем. Привораживал к себе, и уже невозможно было отказаться от его сладковатой отравы.

— А я, друзья, отправляюсь в Афганистан. Такая появилась возможность, — сказал Куравлёв и тут же пожалел. С поездкой ещё было неясно, да и сам он до конца не принял решения.

— Куда, куда? — переспросил Макавин.

— В Афганистан. Хочу понять эту войну.

— Ну, не знаю, не знаю. Афганистан — это плохо звучит. Народ не понимает этой войны. Интеллигенция называет участников войны кровопийцами. Витя, ты можешь себе навредить. Многие от тебя отвернутся.

— И вы отвернётесь? — спросил Куравлёв.

— Я — нет, — сказал Макавин. — Я твой друг. А многие назовут тебя кровопийцей.

— Если есть такая возможность, поезжай. Я бы поехал, — сказал Гуськов. — Кто-то едет в Париж, а кто-то — в Афганистан. Поезжай, Витя. Только привези из Афганистана роман, а не пулю в башке.

— Не езд! — отговаривал Лишустин. — Что тебе смотреть на людские страдания? Станешь рассказывать, как русского Ивана убивают? Не надо было воевать в Афганистане. Не проглотим его. Вон, вся исконная Россия обезлюдела. Туда направить русских людей. А эти все к тёплым морям лезут!

— Всё правильно. Россия — империя. Это имперская война. Ещё одна, но не последняя. Границы империи дышат. Один вздох, и Казань наша. Другой вздох, — и Туркестан. Третий вздох, — и Афганистан. Четвёртый — Индия!

— Эх, как бы выдох не был последним, — сказал Лишустин. — Не езд в Афганистан, Витя. Давай лучше махнём на Мезень, покажу дом, где родился.

— Прав Петя, зачем тебе ехать? — искренне огорчился Макавин.

— Все русские писатели знали войну. Пушкин стремился на войну. Лермонтов воевал, Толстой воевал. Гаршин воевал, Гумилёв. Сколько наших писателей прошло войну! Бондарев, Бакланов, Астафьев... Я хочу запечатлеть одну из бесчисленных русских войн.

— От этой войны шарахаются все писатели, художники, композиторы. Нет романов об этой войне, нет картин, нет песен. Не стоит тебе ехать! — продолжал отговаривать Макавин.

— Для меня пример — Верещагин. — Куравлёв уже знал, что поедет в Афганистан непременно. — Художник во стане русских воинов. Со Скобелевым он прошёл Туркестан и Балканы. С честью погиб в Порт-Артуре вместе с адмиралом Макаровым на броненосце “Петропавловск”!

— А тебя подстрелят где-нибудь в грязном кишлаке, и Россия лишится прекрасного писателя, — огорчился Макавин.

В зале появился Марк Святогоров. Он сразу же подсел к их столику:

— Ты рассказал им, как мы были у Андрея Моисеевича? Витя произвёл фурор. Мне потом Андрей Моисеевич звонил: “Достойный преемник Трифонова”. Кстати, Антон, — он повернулся к Макавину, — Витя о тебе прекрасно отзывался. Скоро с тобой пойдём к Андрею Моисеевичу!

— А ты слышал, Маркуша? Наш-то Виктор собрался в Афганистан.

Наскучила ему московская жизнь. Решил повоевать. “Мальбрук в поход собрался. // Бог весть, когда вернётся”, — фальшивя, пропел Гуськов.

— Да ну, вы шутите! — не поверил Марк.

— Я похож на шутника? — зло огрызнулся Куравлёв.

— Нет, это правда? — горестно воскликнул Святогоров. — Ты всё погубишь! Тебе надо ехать в Париж, на писательский форум! Тебя все проклянут! Я старался, я водил тебя к Андрею Моисеевичу! Это катастрофа!

— Ничего, — зло произнёс Куравлёв. — Поведёшь к Марку Моисеевичу Макавина.

Он поднялся и пошёл в вестибюль встречать Светлану.

Глава девятая

Она появилась в дверях между двух лошадиного вида старух. Куравлёв поспешил к ней навстречу. Светлана была в короткой чёрно-бурой шубке, на которой блестел тающий снег. Куравлёв, принимая шубку, успел скользнуть губами по меховому воротнику, от которого веяло серыми снежными небесами.

Светлана была в короткой юбке и красном жакете. Её чудесное лицо, золотые волосы в тающих снежинках восхитили Куравлёва. Он увидел её и своё отражение в высоком зеркале.

— Мы смотримся, как супружеская чета. — Она повернулась на каблучках, и он почувствовал лёгкое дуновение душистого ветра.

Они прошли через Пёстрый зал, и он не оглянулся на сидящих приятелей.

В Дубовом зале было нелюдно. Лишь в стороне, под разноцветным фонарём, где были сдвинуты два стола, сидела компания. Куравлёв узнал двоих. То были академик Сахаров, вернувшийся из ссылки, и Владимир Максимов, редактор журнала “Континент”, выходящего за границей. Ещё недавно он был проклинаем властями, теперь же, во дни “перестройки”, стал обласкан.

Рядом с Сахаровым сидела стареющая, с небрежно причёсанной головой женщина. Она курила, не вынимая изо рта сигарету. Выпускала дым в таком количестве, что цветной фонарь над столом был в тумане. Когда Куравлёв и Светлана проходили мимо застолья, все замолчали и на них оглянулись.

— Кто это? — спросила Светлана, когда они уселись за стол.

— Наверное, это масоны. Здесь когда-то была масонская ложа.

— И ты масон?

— Точно не знаю, но похоже.

— А кто такие масоны?

— Ну, это такие люди, которые устраивают заговоры.

— Значит те, за столами, готовят заговор?

— Очень похоже.

— Они не успеют. Все задохнутся от дыма.

Им принесли две пылающие вырезки с кровью, бутылку “Мукузани”. Куравлёв, разливая вино, подумал, что у неё от виноградного вина почернеют губы, и он станет целовать её винные тёмные губы.

Она выпила свой бокал медленно, закрыв глаза. Куравлёв смотрел, как убывает вино в её бокале.

— Этой ночью мне приснился сон, — сказала она. — Я вижу море. Ты уходишь в это море. Оно расступается за тобой. Я иду следом по мокрому ракушкам. Хочу тебя догнать и не могу. Море смыкается, ты исчезаешь. Я вижу только гребешки тёмных волн. И проснулась. Что бы это могло значить?

— Есть сны, а есть толкователи снов, — глубокомысленно произнёс Куравлёв.

— Растолкуй этот сон.

— Ну, должно быть, это море житейское, и мы идём среди волн моря житейского.

— А почему мне было так тревожно, и я проснулась в страхе?

— Море житейское полно тревог.

— Налей мне ещё вина.

Она жадно осушила бокал, и он увидел, что красное вино сделало её губы тёмными.

— Давай сегодня напьёмся, — сказала она. — Того требует море житейское.

Куравлёв заказал ещё одну бутылку. Он собирался сказать Светлане о своей поездке в Афганистан. Но не решился. Было много мучительного и неясного, что таилось в этой поездке. Того, что касалось их обоих и того офицера, что сражался в азиатской пустыне.

— В этом сне ты от меня уходишь. Ты не уйдёшь от меня?

— Далеко не все сны сбываются.

— От меня все уходят. В детстве у меня был котёнок, и он ушёл от меня. Был чудесный пёстрый попугайчик, и он улетел. Была близкая подруга, и она умерла. Был муж, и он уехал в Афганистан, и там его убьют. Ты не уйдёшь от меня?

— Не уйду.

— Мы поплывём по морю житейскому, а потом нас подхватит ветер и унесёт далеко-далеко, в какую-нибудь неизвестную страну, где горы, пальмы, эвкалипты, рынки, полные смуглых говорливых людей, которые запрягают в тележки маленьких лохматых лошадок, а сами носят широкополые соломенные шляпы. Мы будем жить в скромном домике, и у нас будет своё дерево с плодами манго или с каким-нибудь сладким орехом. Я буду срывать плод и приносить тебе. Мы забудем о России. Тут будет смута, война, а мы станем жить у гор и любоваться своим деревом. У нас родятся дети. Вырастают и разъедутся, а мы останемся вдвоём. Будем стариться вместе с нашим деревом. Ты станешь старичком, будешь сидеть под деревом, а я стану закрывать тебе ноги пледом. Хорошо?

— Хорошо.

— Интересно, какая я буду в старости?

— Ты будешь красивой. Такие, как ты, и в старости остаются красивыми.

— Я красивее твоей жены? Не отвечай. А ты красивой моего мужа.

Было видно, что она опьянела. Её глаза стали уже, а слова — медленными, она произносила их нараспев. Куравлёв видел её, как сквозь волнистое стекло. Всё сладко плыло, а то вдруг разгоралось и мягко гасло.

Компания за дальним столом поднялась и двинулась к выходу. Впереди шла курящая женщина. Она не расставалась с сигаретой. Дым шёл изо рта, из ноздрей, из волос, из карманов жакета. В ней что-то тлело. Академик Сахаров послушно за ней поспевал.

— Как паровоз, а они прицепные вагоны, — сказала Светлана.

— Я еду в Афганистан, — произнёс Куравлёв.

Казалось, она не услышала. Её глаза замерли и оставались недвижимыми, словно сказанные Куравлёвым слова она не сразу поняла.

Она медленно повернулась к нему и спросила:

— Зачем?

— Командировка. Посылает газета.

— Зачем тебе ехать?

— Хочу написать об этой войне. Там нет писателей, и никто не пишет об этой войне. А я напишу.

— Зачем? Тебя убьют. Я больше никогда тебя не увижу. Боже мой, какая несчастная судьба! От меня все уходят!

— Я вернусь, и мы будем вместе.

— Там ты встретишься с моим мужем, с Андреем. Вас убьют обоих. Не езд, умоляю!

— Еду ненадолго, на месяц.

— Что ж, поезжай, — вяло сказала она. — Поезжай. — Голос её стал тусклым, и вся она померкла, погасла, хотя только что сверкала своей красотой.

Куравлёв увидел, как в зал вошли Макавин и Петрова. Макавин пробирався к столику крадучись, виновато, не глядя в сторону Куравлёва.

— Пойдём погуляем, — сказала Светлана. — Что-то мне душно. Должно быть, я много выпила.

На улице мело. Под фонарями летело, мелькало. Окна домов мутно желтели. На плечах и шапках прохожих белел снег.

Они спустились к Тверскому бульвару. Памятник Тимирязеву одиноко высился в снегопаде. На голове у него сидел белый колпак. Они шли по бульвару туда, где далеко сквозь деревья сверкала Пушкинская площадь. Останавливались, и он её целовал. Её губы были вялые, не откликались на поцелуи, глаза закрыты.

В стороне за оградой мутно белела церковь. В церковном оконце теплился огонёк.

— Я хочу зайти в церковь, — сказала она. — Я грешная, негодная. Я изменяю мужу, который в это время умирает в пустыне. Я хочу увести тебя из семьи. Бог меня за это накажет.

Она потянула Куравлёва в сторону, туда, где светил огонёк.

Церковь была пустой, с погашенными огнями. Только светились несколько лампад, и догорали в подсвечниках свечи. Но воздух был тёплый, душистый, в нём ещё летало дыхание прихожан, тихое эхо песнопений. В тёмных углах притаились кадильные дымы. Иконостас в сумраке продолжал светиться ликами, крыльями и плащами.

В храме оставалась круглая, как колобок, старушка. Шаркала по полу башмаками. Вынимала из подсвечников огарки и складывала в картонную коробку. Увидев вошедших, пошаркала к ним:

— Пришли помолиться? Молитесь, молитесь. Каждая молитва дорога. Может, вашу молитву Господь и услышит, — она осмотрела Светлану и Куравлёва маленькими синими глазками. Была рада, что после многолюдья, проповеди священника теперь ей никто не мешал наставлять случайную пару.

— Последние времена подошли. Антихрист-обольститель явился. Лицом ласковый, голос — мёд, а на лбу — клеймо. И по всему телу клейма, сквозь одежду не видно. Люди все к нему побежали, поверили, а он, обольститель, их метит, шестёрки на лоб ставит. Вот так-то! — старушка замолчала, словно выжидала, когда её вещие слова лягут в души. — Впереди для России большие беды, многие смерти, неумытые слёзы. Третью народа умрёт от болезней, другая треть перебьёт друг друга, а третья спасётся. От той трети пойдёт новый народ, народ Божий, который будет жить по заветам и на ком не будет клейма. А Антихрист уйдёт и спрячется, чтобы снова прийти и искусить Божий народ. Но Господь его отвадит и прогонит навек в преисподнюю, а России даст царя, и Россия станет жить спокойно, во славу Господа. Вот так! — старушка вздохнула, словно ей стало легче после того, как она пересказала свои вещие мысли другим.

— Я хочу поставить свечку, — сказала Светлана. — Можно купить у вас свечку?

Они отошли со старушкой к конторке. Светлана купила две свечки:

— За тебя и за Андрея, — сказала она. Пошла к подсвечнику, где теплилось несколько огарков. Стала зажигать свечи, неумело крепила их. Куравлёв смотрел, как падают её свечки, как освещён её лоб, пальцы, рукав меховой шубки. Свечка снова упала, и меховой рукав вспыхнул. Куравлёв кинулся к ней. Стянул горящую шубку, кинул на пол, накрыл своим пальто и стал топтать, затапывал огонь. Светлана в своём красном жакете беспомощно стояла среди церкви, окружённая дымом. Старушка охала, крестилась:

— Должно, в вас дьявол. Не принимает храм. Ступайте отсюда!

Куравлёв поднял опалённую шубку. Помог Светлане одеться. Надел пальто. Повёл Светлану из храма. Она едва шла, висела на его локте.

Они поймали такси, и Куравлёв отвез Светлану домой. Дома она бесильно легла на диван.

— Я тебя попрошу, наполни ванну тёплой водой. И помоги мне раздеться.

Куравлёв пошёл в ванную, пустил воду. Дождался, пока шумящая струя перестанет обжигать руку. Вернулся к Светлане. Она лежала бледная, с тёмными винными губами.

— Должно быть, и впрямь во мне дьявол. Все от меня бегут. И в церкви мне нет места. Раздень меня и отнеси в ванну.

Он помог ей раздеться. Отнёс на руках в ванну и бережно, как ребёнка, опустил в воду. Закрыл кран. Вода успокоилась. Только слегка колыхалась от её дыхания, и бежали круги от редкой, падающей из крана капли.

Куравлёв смотрел, как она лежит в ванне. Её золотые волосы потемнели от воды. Глаза закрыты. Казалось, она спит. Куравлёв сквозь воду смотрел на её девичью грудь, на дышащий живот, на острые плечи и длинные бессильные ноги. Она была так красива, так беззащитна, так дорога ему. Такая боль и любовь к ней были в нём. Он наклонился и поцеловал ее пальцы, лежащие на краю ванны.

— Я пойду, — сказал он.

Она слабо кивнула. Он оделся, лязгнув дверным замком, вышел в снег.

Мело, холодало. Куравлёв шёл в московской метели и думал, как неожиданно появилась в его жизни эта прекрасная и надломленная женщина. Ждут ли их впереди потрясения или несказанное счастье? И что предвещал этот огонь в церкви, где она так и не сумела поставить две задранные свечки?

Глава десятая

До поездки в Афганистан оставались дни. Куравлёв торопился уехать. Его ожидала загадочная страна с верблюдами, горными ледниками, смуглыми мужчинами в цветных тюрбанах, с женщинами, скрывавшими под паранджой пленительные тела. Его ждала война, опыт, прежде не ведомый, который он использует для написания своей главной книги.

Он хотел оказаться в горах, где побывал Рёрих и написал свои мистические закаты, высеченные в скале огромные статуи, духов пустыни и духовидцев-отшельников. Куравлёв мечтал увидеть азиатскую страну глазами Верещагина, где переливаются изразцами мечети, блестят кривые сабли воинов, с минаретов кричат певучие муэдзины.

Эта война в его воображении напоминала романтическую испанскую войну. Там, как и в Испании, накануне кромешной схватки сошлись будущие враги. Война неотступно следовала за народами. Его страна непрерывно, из века в век воевала. И он хотел отобразить эту войну, не дать ей потеряться среди бесчисленных не запечатлённых войн.

Его томили предчувствия, мучили страхи. Он ехал в страну, где стреляют, на войну, где его могут убить. Эти предчувствия были похожи на тягучую боль, унылую печаль, на расставание с жизнью. Он стыдился этих страхов, стыдился своего малодушия. Утешал себя тем, что, должно быть, и отец, отбывая под Сталинград, испытывал те же предчувствия, которые оправдались. Отец был убит в одном из бессчётных боёв, и могила его поросла бьельём.

Куравлёв хранил яркое воспоминание детства, когда проснулся в ночи, и в этом кратком пробуждении увидел в дверях мать в ночном уборе и рядом с ней неизвестного военного в солдатских обмотках. Он удивился ночному незнакомцу и тут же уснул. Только позже, годы спустя, понял, что это был отец перед уходом на фронт.

В страстных нетерпеливых ожиданиях и в тайных предчувствиях шли последние дни Куравлёва перед поездкой на афганскую войну.

Жена Вера собирала чемодан. Умело, как только она могла, укладывала вещи, используя в чемодане каждый уголок.

— Возьми ещё одну чистую рубашку. Там пыль, песок.

— Не надо. Мне выдадут форму.

— И свитер второй возьми. Там же зима.

— Надену зимний бушлат.

— Возьми коричневые туфли. У них подошва потолще. Там же камни...

— Ну, туфли положи, я согласен.

Жена стояла, забыв опустить в чемодан туфли:

— Зачем ты едешь? Ведь у тебя семья, дети. О нас ты подумал? Никуда тебя не пуццу!

Куравлёв обнял Веру за плечи:

— А помнишь, что я тебе сказал, когда мы решили пожениться? Я сказал, что буду с тобой навек. Никогда не покину. Но ты станешь меня отпускать во все поездки. Мое писательство требует непрерывных путешествий. Помнишь?

— Помню, — обречённо сказала Вера, опуская туфли в переполненный чемодан. В комнату вошли сыновья. Старший — Степан — подвижный, крепкий, с гибкими молодыми движениями. Казалось, ему не хватало свободы, и он искал её в спорах, в спорте. Был похож на птицу, готовую покинуть ветку. Птица то вытягивала шею, готовая взлететь, то вновь замирала. На его свежем темновобровом лице был виден пушок, еще не ведавший бритвы. Младший — Олег — имел круглое ясное лицо с вопрошающими глазами, в которых ещё не было иронии, отрицания, какая появилась в глазах Степана.

Братья ладили между собой, лишь иногда вступали в перепалки, начало которых таилось в далёком детстве.

— Папа, правда, что война, на которую ты уезжаешь, грязная? — Степан спрашивал вызывающе, будто уже знал ответ и желал испытать искренность отца. — Мы напали на незащищенный народ, который даёт нам отпор?

— Мы защищаем своё государство. Американцы хотят превратить Афганистан в оплот, с которого станут откалывать от нас Таджикистан и Узбекистан, — без особой убеждённости ответил Куравлёв.

— А правда, что наши самолеты и танки стирают с лица земли мирные кишлаки с женщинами и детьми? Как американцы во Вьетнаме.

— У армии нет такой цели. В некоторых кишлаках скрываются банды, и приходится с боем брать эти кишлаки.

— А прав академик Сахаров, который говорит, что наши вертолёты расстреливают наших солдат в окружении, чтобы они не попали в плен?

— Об этой войне демократы складывают много отвратительных небылиц, чтобы разжечь ненависть людей к своему правительству. Это одна из этих небылиц. — Куравлев начинал раздражаться расспросами сына, которого уже коснулось неверие, царящее среди молодёжи.

— Я тоже хочу попасть в Афганистан и всё увидеть своими глазами, — сказал Степан.

— Ты сначала доучись. Дотяни два года. А потом посмотрим.

— Не стану доучиваться. Тоска. Мертвечина. Я курсовую работу задумал — электромобиль. Провёл расчёты, построил модель. Мне отменили тему. Заставляют разрабатывать асфальтовое покрытие с использованием старых автомобильных покрышек. Уйду из института.

— Стёпка лентяй. У него нет глубоких увлечений, — сказал младший Олег.

— Молчи, энтомолог! — шикнул на него старший.

— Энтомология — наука, в которой могут преуспеть только очень умные и трудолюбивые люди, — съязвил Олег.

Он собирал бабочек. Над его столом висела застеклённая коробка с подмосковными капустницами, шашечницами, переливницами, перловицами, траурницами и адмиралами. Он изловил их на даче, днями пропадая в окрестных лесах и лугах. Он читал книги по энтомологии. Часто открывал определитель бабочек, изданный в Англии, с великолепными цветными фотографиями бабочек Африки, Азии, Латинской Америки.

— Папа, поймай для меня в Афганистане бабочку.

— Вряд ли у меня для этого будет время. Да и зима, какие бабочки?

— Я читал, что в Афганистане есть зоны субтропиков. Там тепло, цветы и водятся бабочки. Особые афганские аполлоны.

— Не приставайте к отцу. Дайте ему собраться, — жена застёгивала плотно набитый чемодан, тяжело его перевёртывая.

Куравлёв ушёл в кабинет. Дождавшись, когда жена хлопочет на кухне, позвонил Светлане.

— Ну вот, уезжаю. До встречи.

— До встречи, — тихо сказала она.

— Я буду скучать. Люблю тебя.

Она помолчала:

— Приезжай. — И только. Таково было их прощание.

К ночи за Куравлёвым пришла из газеты служебная машина. Дети спали, он поцеловал жену, вышел в морозную московскую ночь и помчался в Домодедово. Он дремал в самолёте под металлический рокот турбин. На крыле вспыхивал и гас габаритный огонь. За хвостом самолёта летели, запутывались и распутывались, как бесконечная пряжа, воспоминания и предчувствия. Отец, молодой и прекрасный, в красиво повязанном галстуке, к его плечу приникла мама, исполненная чудесной женственности. Светлана с винными губами подносит свечу к подсвечнику. А вот она лежит в автомобиле, раздетая, в свете налетающих фар, как серебряная вспышка. Жена, молодая, среди бирюзового моря, и в волнах пыли два красных оленя. Макавин, его чуть раскосые глаза и уральские скулы, когда вместе потешались над Сергеем Михалковым, его заиканием, его дурацкими шуточками.

Куравлёв уснул и проснулся, когда в иллюминаторе сиял перламутровый рассвет, и самолёт шёл на посадку в Ташкенте. Здесь Куравлёва ждала пересадка на другой борт, который через хребет перенесёт его в Афганистан.

Глава одиннадцатая

Плыли белёсые, медленные горы, далёкие голубые ледники. Самолёт уныло тянул, словно повис в солнечной слепой высоте, в сонливом безвременье. И вдруг слабый толчок, лёгкий крен. Самолёт стал мягко ложиться на крыло, делая разворот, и казалось, разворот не кончается, самолёт описывает круг. Горы стали ближе, их пепельные склоны окружали самолёт, который снижался по спирали, ввинчивался в тесное пространство гор. И вдруг мелькнула земля, странное, похожее на каменное солнце строение. Сочно блеснула вода. Замелькали клетчатые поля, сшитые из цветных лоскутов. Изумрудно-зелёные, бархатно-чёрные, бледно-розовые, они были вставлены в оправы неровных изгородей. Плоские крыши домов, крохотные, как соты, дворики, груды оранжевых плодов на плоских крышах.

Земля казалась слепленной, сшитой, скрепленной умелыми пальцами. Живая, восхитительная, неведомая, влекла неповторимостью своих полей и жилищ. Звала к себе Куравлёва, и он робел, ликовал, изумлялся, словно встретился с чем-то загадочным и чудесным.

На кабульском аэродроме к нему подошёл офицер в полевой форме. По виду — из штаба, так аккуратно, разглаженно выглядел его камуфляж.

— Майор Торобов. Приказано вас встретить, Виктор Ильич, определить в гостиницу, а завтра утром доставить к командиру.

На военном “УАЗе” они покинули аэродром и отправились в Кабул. Куравлёв жадно смотрел на дорогу. Глухие глинобитные стены, мальчишки пускают змея, худые, с красноватыми лицами люди в шароварах и просторных накидках что-то копают, взмахивая кирками. На обочине стоит запылённая боевая машина пехоты, на броне лениво откинулся солдат без головного убора с белёсой головой.

Куравлёв собирал крохи первых впечатлений, складывал их в копилку, откуда извлечёт, когда сядет за книгу. Стоял декабрь, но воздух был сух, поля бесснежны, небо ярко-голубое, глиняные постройки казались сухими, звонкими. Город возник внезапно, шумно, с чёрной густой толпой. Улицу теснили горы, склоны были в бесчисленных лепных ячейках, похожих на ласточкины гнёзда. Над ними стояла дымка — дыхание жилищ, в которых притаилась невидимая жизнь.

Куравлёву хотелось рассмотреть толпу, разглядеть узкую, уходящую в гору улочку, по которой катила повозка. Но машина свернула и остановилась перед гостиницей вполне европейского вида с латинской надписью: “Кабул-отель”.

— Вот ваш номер, Виктор Ильич. В восемь утра буду вас ждать в холле, — офицер отдал честь и ушёл.

А Куравлёв принял душ, развесил в шкафу рубашки и устремился на улицу. Та самая людная улица, ошеломляющая своей восточной неповторимостью,

была сразу за углом отеля. Куравлёв, едва вышел, погрузился в горячий вар чёрных бород, красных лиц, лавок с жестяными вывесками и кудрявыми надписями. Люди шли по обеим сторонам улицы, их чёрные бороды, загорелые красные лица, бурлящие шаровары, развевающиеся накидки окружили Куравлёва. Не давали остановиться, утягивали в неведомую глубину, откуда во все века исходили народы и куда, проделав земной путь, удалялись.

Он смотрел на брадобрёя, что сидел на сундучке, держал за нос покорного человека и водил лезвием по его голой шее. Чистильщик обуви метал взад и вперёд щётки, натирая до блеска стоптанные башмаки. Водоноши с бурдюками подходили к водокачке, наполняли кожаный мешок, отчего становились видны обрубки бараньих ног. Водоноша взваливал на спину литой бурдюк, жидкий, как с набухшими венами, тащил бурдюк на гору, где была сушь. И другой водоноша подходил к водокачке, тощий, жилистый, подставлял бурдюк под хлещущую струю.

Куравлёву всё казалось в диковину. Пробежал рикша, запряжённый в двуколку. На голове — какая-то тряпка, а двуколка нагружена литыми мешками, в которых либо мука, либо зерно. Чернобородый прохожий ел на ходу арбуз, его белые зубы вонзались в алый полумесяц арбуза, и тёмные косточки вместе с розовым соком летели на землю. Две молодые женщины в коротких юбках, с открытыми лицами, чернобровые, с тонкими прямыми носами, поражали особой резкой и даже жестокой красотой.

Всё было внове, прежде не видано. Но Куравлёв испытывал странное чувство, что уже прежде знал об этом городе, мечтал о нём, видел во сне. Этот азиатский мир был ему родным, был старинной забытой родиной. Был мечтой, сказкой, тайным влечением, и не только его, а многих русских, которые оставляли свои избы и просёлки и шли на восток, чтобы увидеть вот такую же маленькую кибитку, украшенную цветами, изображением птиц и животных, запряжённую мускулистым возницей. Не война, а тайное влечение, как картинка в сказочной книге, привело сюда Куравлёва, делало этот город родным и желанным.

Он достиг реки. Грязная набережная спускалась вниз к глинистому берегу. Река бежала мелкая, серая, пахнущая нечистотами. Женщины на берегу мыли клубни картофеля, помидоры, морковь, перья лука с белыми головками, складывая вымытые плоды в ящики, на продажу. Куравлёв вспомнил стих Киплинга “Брод через реку Кабул”. Но не было английской кавалерии, перебредаящей реку, метких стрелков, плывущих по течению мёртвых лошадей и наездников.

За рекой открывалась площадь с огромной мечетью и зелёным, переливчатым минаретом. Площадь шевелилась, гудела. Так шевелится, опадает сочными комьями пчелиный рой. Куравлёв шёл мимо лотков, за которыми торговцы предлагали четки из лазурита и цветного стекла, стеклянные сосуды небесной лазури — изделия стеклодува, складные ножи с деревянными ручками, картонные арабески с летящими в небесах крылатыми конями, всадниками и затейливой арабской вязью.

Всё нарядно, шумно, с едкой азиатской музыкой. Не было войны, солдат, бронжилетов, а были раскатанные по земле ковры с чёрно-красным узором, и люди ступали на эти ковры, мяли, топтали, разминая жёсткие шерстяные узелки.

И вдруг Куравлёв поймал на себе взгляд. Смотрел молодой мужчина в чёрной чалме, жгуче, с огненной ненавистью, держа под накидкой руки, быть может, с ножом. Куравлёву стало жутко одному среди чужой толпы, которая расплавит его в своей горячей смоле, и он канет бесследно.

Куравлёв повернулся и пошёл обратно в отель, не оглядываясь, боясь увидеть огненные ненавидящие из-под чёрной чалмы глаза.

Утром в холле его ждал майор Торбов. На машине они проехали длинную улицу, которую майор назвал Дар-уль-Амман, с мастерскими, лавками, утлыми глинобитными хижинами. Оказались за городом, где в солнечных холмах красовался жёлтый, как мёд, дворец. Тот самый, где был убит президент Амин. Теперь во дворце располагался штаб Сороковой армии.

Куравлёв был представлен командующему. Невысокий, с обветренными губами, выгоревшими на солнце соломенными усами, командующий подвёл Куравлёва к карте:

— Через день начинается войсковая операция в Шинданте. Дивизия выдвинется в район Мусакалы. Это база моджахедов, которая контролирует часть провинции. Там же находится тюрьма, где содержатся наши пленные. Глава моджахедов Мулла Насим. Его не удаётся ликвидировать, и, по данным разведки, он находится в Мусакале. — Командующий перестал водить указкой по зелёно-коричневой карте, где были нанесены очаги сопротивления, значились имена племенных вождей и численность банд. — Операция начинается завтра. Сегодня в Шиндант идёт борт. Если хотите, можете полететь.

— Хочу. — Куравлёв был рад, что сразу, без проволочек окажется в районе боевых действий.

— Майор Торобов будет вас сопровождать. Желаю удачи.

Они успели заскочить в отель, Куравлёв взял несколько нужных в походе вещей. Через час они садились в четырёхмоторный транспорт с закопчёнными двигателями и уже летели над горами в Шиндант.

Кругом была сухая жёлтая степь. Командование дивизии размещалось в старых казармах. На пыльном плацу развевался линейный красный флаг. В стороне сушилось бельё. Перед входом в каменный дом на верёвке был привязан баран. Его узкая морда с маленькими тоскливыми глазками повернулась, когда Куравлёв проходил мимо.

Начальник штаба был замотан, то и дело звонил телефон, входили офицеры.

— Извините, полковник Романов, — начштаба недовольно взглянул на Куравлёва. — Комдив на марше. Завтра мы вас представим. Утром пойдёт вертолёт. Пока располагайтесь в гостинице. — И полковник Романов забыл о Куравлёве, зло набросился на вошедшего офицера.

На складе выдали тёплый бушлат, брюки, шапку с козырьком — “чепчик”, как назвал её прапорщик.

Вечером с майором Торобовым они пили чай в гостинице. Из окна была видна вечерняя краснеющая равнина. В капонирах стояли боевые машины пехоты, направив орудия в степь.

— Какая обстановка? — спросил Куравлёв майора. — Какая она, война?

— Воюем потихоньку. Конца не видно.

— Побеждаем?

— Сидим в городах. Все кишлаки у противника. На дорогах наши заставы. Днём проводим колонны, ночью “духи” выходят, минируют бетонку. Мы утром мины снимаем, проводим колонны, а ночью опять минируют. Так и воюем.

— А купить нельзя? Они же продажные.

— Даём и деньги, и оружие. Они грузовик автоматов получают, благодарят, в дружбе клянутся, а потом из этих автоматов наши колонны расстреливают.

— А этот Мулла Насим что за фрукт? Удастся его уничтожить?

— Едва ли. Они за неделю знают о начале операции. Пока мы дивизией до Мусакалы доберёмся, он из кишлака в горы уйдёт и народ уведёт. Операция впустую. Для устрашения, как говорится.

— Что же, у них такая разведка сильная?

— Везде глаза. Мы языка берём, потрошим, иной раз, чего греха таить, током пытаем. А он, едва жив, выдает дезинформацию. Вот как недавно... — Майор замолчал, словно жалел, что раскрылся едва знакомому человеку.

— Что недавно? — выпрашивал Куравлёв.

— Взяли языка, из автобуса вытащили. Мурыжили его, всю печень отбили. Просили указать, в каком кишлаке укрывается Мулла Насим. Наконец, указал кишлак. Посадили его в вертолёт: “Показывай!” А он навёл вертолёт на “дружескую банду”, ну, то есть на тех, что есть на тех, что нам в дружбе клялись. Мы с вертолёта кишлак в пух разнесли. Когда обман открылся, выбросили его из вертолёта.

Майор неторопливо отпивал чай. За окном темнело. Боевые машины пехоты были почти не видны.

— А что в Союзе? — спросил майор. — Отсюда непонятно, что там творится. Когда уходили воевать, называли героями, сынами Отечества, а сейчас чуть ли не палачи. Куда Горбачёв смотрит?

— Нам тоже не всё понятно. Должно, скоро войска начнут выводить.

— И я так думаю. Тогда зачем людей губить? Кишлаки разорять? Ну, это не наше дело. Будем спать, Виктор Ильич.

Они разошлись, и Куравлёв, засыпая, видел, как в Пёстром зале ЦДЛ пьяный Шавкута называет себя лучшим прозаиком России.

Глава двенадцатая

Вертолёт летел низко над трассой. Сквозь иллюминатор Куравлёв видел бетонку, сплошь уставленную машинами, танками, артиллерией. Тяжёлые кунги тянулись один за другим, как неуклюжие слоны. Катили самоходные гаубицы, вытянув тупые стволы. Колонна боевых машин шла, изрыгая серые дымы, похожие на волчьи хвосты. Шли зачехлённые установки залпового огня. Над трассой висела пыль, ветер сносил её в сторону клетчатых возделанных полей.

Куравлёв прижимался к иллюминатору, чувствуя, как дивизия мерно и неуклюже вторгается в хрупкий мир рукодельных полей, гончарных кишлаков, хрустальных струек арыков. Этот хрупкий мир расступался, послушно пускал в свою нежную мякоть железный стержень колонны.

Вертолёт опустился на площадку возле гранатового сада. На жухлых деревьях кое-где висели забытые плоды, коричневые, с вмятинами, словно лепные. Хотелось снять с ветки тяжёлый плод, сломать кожуру и всосать сладкий сок красных зёрен.

Куравлёву казалось, что здесь царит неразбериха. Танки вращаются на месте, едва не задевая друг друга бортами. Два кунга сцепились, мешая один другому проехать. Прапорщики матерились, требуя уступить дорогу. Офицер в танковом шлеме, охрипший, торчал из люка, вызывая по радиации "соседей". Группа сапёров, вооружённых щупами, сошла с бетонки и продвигалась по просёлку.

Рыжий сапёр посмотрел на Куравлёва зеленоватыми глазами и улыбнулся. Он был свеж, с золотой головой, розово-белыми щеками, гибкий, ладный, втыкал щуп в мягкую землю.

— Откуда? — спросил Куравлёв, любуясь парнем.

— Мы из Воронежа. В Воронеж дорогу чистим, чтобы скорее дойти.

Он с товарищами стал удаляться по просёлку, по-кошачьи ступая, золотая голова.

С майором Торбовым, который, казалось, отлично разбирался в царящем столпотворении, они перемахнули холм и оказались в спокойном и благоустроенном месте.

— Здесь переночуем в кунге, а завтра с утра на командный пункт, — майор переговорил с суровым прапорщиком, который раздувал паяльную лампу, направляя синее пламя на банку с тушёнкой. — Располагайтесь, Виктор Ильич.

Куравлёв занял верхнюю застеленную койку, но не остался в кунге. Решил осмотреться. Майор куда-то пропал, и Куравлёв двинулся среди холмов.

В ложбине была развёрнута связь. Стояли грузовики, работали дизели. В небе висели сети антенн, штыри, овалы и ромбы. Чашы были направлены все в одну сторону, туда, где за горами и реками находилась Москва. С ней дивизия связывалась через космос. За операцией следили в штабе армии, в Министерстве обороны, в военных отделах ЦК.

Куравлёв мысленно поместил себя в чашу антенны и послал свой образ через спутник жене Вере, приятелям в Доме литераторов и Светлане, которая в эту минуту смотрела на синюю вазу и думала о нём.

Куравлёв поднялся на соседний холм и увидел батарею самоходных гаубиц. Гусеничные машины холодно отливали под вечерующим небом, их

стволы были нацелены туда, где, невидимая, находилась Мусакала. Куравлёв ощутил всю тяжкую мощь артиллерии, готовой рвать на куски хрупкие строения с людским скарбом, месить поля с посевами, отрывать от земли зёрна с корешками и пучками зелени. В стороне стояла батарея “Ураганов” — связки труб на грузовиках, рядом двигались люди.

Куравлёв представился офицеру.

— Вы бы отошли и уши закрыли, — предостерег офицер. — Сейчас сделаем залп.

— По каким целям? — спросил Куравлёв.

— По горе. Разведка докладывает, там замечена группа. Приказано уничтожить.

Далёкая гора поросла лесом. Там, подумал Куравлёв, мог скрываться Мулла Насим.

От установки отбежали люди. Некоторые присели и закрыли уши руками. Ахнуло, тряхнуло, полыхнуло огнём. Из труб рванула белая плазма, понеслась к горе, прожигая в воздухе длинные русла, по которым с воем катилась огненная река. На далёкой горе зачернели взрывы. Офицер смотрел в бинокль. Трубы установки остывали. На земле оставались рыжие пятна гари.

— Поразили цель? — спросил Куравлёв.

— Так не скажешь. Если попали под залп, одни угольки.

Это был первый боевой эпизод, который Куравлёв поместит в свою книгу. Не знал, куда, но там будут харкающие плазмой тубы, огненные реки, жёлтые залысины выжженной земли.

Он двигался в холмах, наблюдая работу военных. Кололи дрова, что-то чинили в машинах, рыли землю, тянули телефонные провода. У палатки с красным крестом санитары раскладывали носилки. Военврач в очках расставлял какие-то склянки.

— Ожидаются большие потери? — Куравлёв представился, заметив настороженность военврача.

— Потери всегда бывают. Не такие, когда прочёсывали “зелёнку”. Тогда был поток. Теперь “зелёнку” приказано не чистить, потери снизились.

Раздался далёкий надсадный вой. Приблизился. Из-за холма, взрезая гусеницами склон, появилась танкетка с красным крестом. Остановилась у палатки. Задние двери раскрылись. Два солдата вытянули носилки с телом, которое было накрыто бушлатом. Бегом, потряхивая носилки, вбежали в палатку.

— Кто? — спросил военврач.

— Подорвался. Две ступни напрочь.

Куравлёв заглянул в носилки. Там лежал рыжеголовый сапёр. Его золотая голова была пепельной, грязной, лицо серое, в брызгах крови. Глаза с рыжими ресницами закрыты. Он слабо вздрагивал грудью.

— На стол! — приказал военврач. Санитары внесли сапёра в палатку, положили на стол. Стянули бушлат. Куравлёв увидел две ноги, укороченные, в комьях бинтов, сквозь которые проступила кровь. Вид красных обрубков, серое лицо в брызгах крови... Куравлёва качнуло, и он вышел из палатки, пошёл к кунгу.

Глава тринадцатая

Дивизия, словно многолапый зверь, разлеглась в холмах.

Наутро Куравлёва и майора Торובה доставили на командный пункт. Он размещался в траншее, выстланной по брустверу брезентом. На брезенте стояли полевые телефоны, рации, лежали бинокли, высилась бинокулярная труба. Траншея была полна офицеров, которые связывались с аэродромом, артиллерийскими батареями, с блокпостами. Кричали в трубки, мешали друг другу, прикрывали трубки ладонями.

Траншея проходила по срезу холма, ниспадавшего в просторную долину. Блестела река, виднелись наделы. По другую сторону долины волновались холмы. На них виднелись блокпосты, боевые машины пехоты. В отдалении, где долина, начинало туманиться, что-то нежно белело, дышало, мерцало.

То была Мусакала, похожая на драгоценный цветок, выросший среди вод и небес.

Командир дивизии, невысокий, загорелый генерал с выцветшими волосами, спросил у Куравлёва, хорошо ли тот устроился.

— Благодарю. Разрешите присутствовать? — Куравлёв кивнул на траншею.

— Пожалуйста, — сказал генерал и тут же отвлекся, принимая доклад офицера.

Куравлёв и Торобов поместились в дальнем углу траншеи, где выкрики позывных, хриплые команды, то и дело звучащая брань сливались в неразборчивый гвалт.

Куравлёв осматривал окрестность. По холмам переваливались неповоротливые боевые машины разминирования. Вдалеке мчалась колонна БМП. В низине среди блеска реки катила машина с репродуктором, звучали гулкие неразборчивые слова. И всё это надвигалось на бело-розовый цветок, беззащитно раскрывший свои лепестки. За машиной с динамиком двигалась гурьба в шароварах и накидках, у некоторых автоматы.

— Кто такие? — спросил Куравлёв.

— “Партизаны”, так их у нас называют. “Дружественные бандиты”. Кишлак обрабатывают артиллерией, а их пускают на зачистку. Они и чистят все сундуки.

— А что говорят в мегафон?

— Психологическая обработка. “Граждане декхане, просьба покинуть кишлак”. И всё такое.

Гулкий металлический рокот двигался к Мусакале. Машина толкала железный звук. Гурьба “партизан” не обгоняла звук, следовала за машиной. Машина достигла невидимой черты, умолкла и покатила обратно. Звук продолжал лететь, ощущивал кишлак железными пальцами.

— Сейчас нанесут бомбоштурмовой удар. — Торобов, казалось, уловил среди неразличимого гвалта сильный голос начальника авиации, который вызывал самолёты:

— “Баклан”, “Баклан”, я “Беркут”!

Куравлёв смотрел в высокое небо, которое своей синевой переливалось в изразцы мечетей, в лазурные вазы стеклодувов. Эта пустота была прекрасна, взрастила волшебный цветок, что распустил свои белые и розовые лепестки. Куравлёв услышал едва различимый звон, возникший в глубине синевы. Два мимолётных проблеска мелькнули на солнце. Самолёты рассыпали белые пучки ложных целей и скрылись.

А внизу тяжко ахнуло. Из кишлака поднялись два дымных столба, закачались на тонких ногах, словно хотели сохранить равновесие.

— Сейчас пойдут вертолётчики! — Торобов предсказывал ход операции, которая имела свою непреложную логику, словно была из учебника; рассказывал, как следует уничтожать города. Офицеры в траншее гудели, бурлили, были поглощены упорной задачей, как уничтожить кишлак, затоптать цветок.

С тихим треском над долиной появились два вертолётчика. Удалились к Мусакале. Сделали медленные красивые развороты и хищно, страстно прыгнули вниз. Из-под рыбьих голов брызнули чёрные острия. Так выплевывают чернила каракатицы. В кишлаке прошелестели взрывы. Вертолётчики кружили над кишлаком, словно высматривали среди дымов цель. Вновь прыгнули чёрные острия. Прошелестели, прохрустели взрывы. Что-то горело, поднималась жирная сажа. Вертолётчики ушли, а в воздухе медленно таяли чёрные трассы.

— Ну, теперь артиллерия, бог войны! — Торобов взволновался, порозовел. Он тоже участвовал в истреблении кишлака. Не отдавал команды, но его воля, страсть торопили это разрушение.

По холмам покатился грохот. То слышались отдельные орудия, то рокотала вся мощь дальнбойных гаубиц. Мусакалы не было видно. Там, где недавно что-то нежно белело и розовело, теперь бурлили рыхлые взрывы. Снаряды терзали кишлак, крошили, вырывали с корнем.

Куравлёв испытывал муку. Он присутствовал при истреблении восхитительной неповторимой жизни, которую ему не дано было узнать, а его прикосновение к этой жизни обрекало её на гибель.

Прогрохотало и смолкло. Там, где находился кишлак, стояло пыльное грязное облако.

— Теперь “прочёска”. Пойдут “партизаны”. Что не сгорело, разграбят. — Торобов облегчённо вздохнул, словно завершил утомительное дело.

Гурьба разношёрстных людей вновь появилась, двинулась, нестройно гомоня, вдоль реки к дымящему кишлаку.

— Я с ними! — сказал Куравлёв, вылезая из траншеи.

— Куда вы, Виктор Ильич? Опасно!

— Хочу увидеть своими глазами.

Куравлёв спустился с холма в долину. С ним Торобов и два автоматчика. Они двигались к Мусакале, окружённые гомонящим людом. Высокий худой афганец в чёрной чалме улыбался Куравлёву, встряхивая автоматом, приглашал Куравлёва радоваться победе. Другой белозубо улыбался, прикладывал ладонь к груди, повторяя: “Шурави! Шурави!”

Они перебредали мелкую реку, широко, множеством русел наводнившую долину. Навстречу брела корова. Шатко переставляла ноги в воде, останавливалась, качала головой, будто её оглушили. Она шла из кишлака, контуженная взрывной волной. Афганец с автоматом прицелился, выпустил очередь. Корова плюхнулась боком. Не двигалась. Её омывала мелкая вода. Несколько афганцев кинулись к ней, доставая ножи. Проходя мимо, Куравлев увидел коровью голову, утонувшую в воде. Сквозь прозрачную воду был виден открытый печальный коровий глаз.

Они вошли в кишлак. Глинобитные стены, такие же глиняные башни с бойницами, дома с плоскими крышами — всё было разбито, сквозило дырами, развалилось на глиняные глыбы. Деревянные перекрытия ещё дымились. “Дружественные бандиты” кинулись в дома, тащили наружу ткани, ковры, выносили самовары, медные чайники. У разгромленных ларьков собирали по земле часы, уцелевшие кассетники. Кругом была беготня, радостные крики. Открывали сундуки, совали в мешки халаты, платья. Разрушенный снарядами кишлак открывал спрятанные от глаз дворы, где рос виноград, стояли повозки, была разбросана домашняя утварь.

Куравлёв боялся заходить в дома. Боялся этого неистового страстного грабежа. Мечеть, та, что издалика казалась белым цветком, была разрушена прямым попаданием. Тлели ковры, ветер шевелил страницы книги. Куравлёв испытывал острое любопытство писателя, которому война показала скрытую изнанку жизни. Война распорол чехол и вывернула наружу потаённую подноготную жизни. Теперь эта жизнь, изуродованная, беззащитная, явилась его острому, всё подмечавшему взгляду. Лоскутное одеяло, усыпанное ломтями глины. Столбики террасы, увитые виноградной лозой с сухими коричневыми листьями. Повозка, разукрашенная рисунками листьев, цветов, верблюдами и стоящими на одной ноге цаплями.

Он вдруг почувствовал страшную слабость, вялое бессилие, будто из него истекли все духовные силы. Торобов и автоматчики следовали за ним. Торобов негромко матерился.

Улица расширилась, превратилась в подобие площади. Кругом были лавки. Взрывы расшвыряли по площади коробки чая, апельсины, грецкие орехи. Куравлёв увидел на земле калошу, блестящую, с загнутым носом, высланную внутри алым. Эта оброненная калоша говорила о бегстве впопыхах, столь быстром, что не хватило секунд, чтобы подобрать соскочившую с ноги калошу.

Он повёл глазами вперёд, на площадь. Глаза испугались чего-то. Он снова посмотрел на калошу, и снова на площадь. И уже не мог отвести ужаснувшийся взгляд. На площади были врыты два столба. Между ними протянута жердь. К этой жерди, с заломленными локтями, были привязаны четыре русских солдата, изуродованных взрывами. У одного осколком снесло половину головы, и виднелся мозг в кровавых сосудах. Другой был смят взрывной волной, бесформенно обвис, его глаза выдавились из головы с огромными, как

куриное яйцо, белками. У третьего не было обеих ног, висели чёрные, пропитанные кровью лохмотья. У четвертого не было руки, из плеча торчала сломанная кость.

Куравлёв вдруг ошеломлённо подумал, что пикирующие самолёты, атакующие вертолёты, удары гаубиц убивали этих пленных солдат, и вся операция по уничтожению Мусакалы свелась к убийству этих солдат.

— Мать честная! — ахнул Торобов. — Тут у Муллы Насима была тюрьма, держали пленных. Сами ушли, а пленных оставили!

Послышался металлический лязг. На площадь ворвались две боевых машины. Встали. С передней прыгнул комдив. Смотрел на убитых, боясь подойти. На его лице скулы ходили ходуном. Мимо бежали возбуждённые мародёры, подбирая на ходу банки с чаем.

Куравлёва на боевой машине пехоты вывозили из кишлака. На блокпосту он попросил остановиться.

— Кто-нибудь из кишлака выходил? — спросил он прапорщика, сидящего на башне.

— Никого. Только раненые собаки уходят.

Мимо пробежала собака с окровавленным боком, за ней другая проковыляла на трёх лапах.

— А из людей никого, — сказал прапорщик.

Переехали мелкую реку. На берегу горел огромный костёр, толпились люди.

Держали над огнём насаженную на кол корову, медленно поворачивали.

Поздно ночью Куравлёв вернулся в Кабул. Засыпая в номере, видел блестящую чёрно-алую калошу с загнутым носом.

Глава тринадцатая

Утром Куравлёв позвонил в редакцию “Литературной газеты”. Стенографистка записывала его репортаж. Он рассказал о разрушении Мусакалы, о рыжем сапёре, о реактивном вое “Ураганов”, о бомбоштурмовых ударах, о пленных, которых Мулла Насим использовал как “живой щит”. Рассказал о войне без прикрас, умолчав о минутах тоски, о корове, чей меркнувший глаз смотрел на него сквозь воду, и о чёрно-алой калоше, которая предшествовала зрелищу убитых солдат.

Через день репортаж появится в газете, и люди узнают об афганской войне из уст фронтового писателя.

В назначенный час появился майор Торобов. Сообщил, что желание Куравлёва познакомиться с работой спецназа удовлетворено. Но ему придётся лететь в Кандагар одному. В кандагарском аэропорту его встретят, посадят в вертолёт и доставят в Лашкаргах, в “Лошкарёвку”, как говорили военные. Там базируются батальон спецназа, перехватывающий караваны с оружием.

Куравлёв летел в Кандагар на транспорте, где, помимо него, находились два прапорщика, переправлявшие в часть двигатель БТРа. Перед взлётом Куравлёву выдали парашют, он набросил лямки, чувствуя спиной твёрдую упаковку парашюта. Смотрел в иллюминатор на близкие вершины, покрытые снегом. Снег блестел, как глазированный. Вершины, сменяя друг друга, были похожи на чайные сервизы. Куравлёв представлял, как опустится на парашюте на глазированный наст, который будет хрустеть и крошиться. И вдруг остро, сладко подумал о Светлане, как она танцует, едва не касаясь вазы с синими быками. Устремил к ней своё желание, веря, что его страстная мысль донесёт до неё вид этих снежных вершин, снега с переливами солнца.

В Кандагаре его встретил грузный, усталый, плохо выбритый подполковник. Сообщил, что вертолёт будет только к вечеру. Повёл к зданию аэропорта. Аэропорт имел вид ажурных арок, когда-то сверкавших белизной и хрустальными стёклами. Теперь же стёкла были побиты, на белых арках лежала копоть, виднелись следы осколков.

— Посидим, погреемся на солнышке, — сказал подполковник, усаживаясь на продавленный, вынесенный наружу диван. Куравлёв сел рядом.

В Кандагаре было теплей, чем в Кабуле. Пахло невидимыми цветами. На бетонном поле стояли штурмовики, серые, остроносые, с тусклым блеском кабин.

— Отсюда пятнадцать минут лёта, и, пожалуйста, бомби американские авианосцы в Персидском заливе. Вот они, тёплые моря... — Подполковник был не прочь поговорить.

— Как обстановка? — поинтересовался Куравлёв.

— Лезут из всех щелей. Ты их бьёшь, а они идут и идут. Тащат из Пакистана оружие. Их бьёшь, а они идут.

— Слышал, скоро войне конец?

— Войну начать легко, да трудно кончить. К весне, говорят, начнут выводить полки.

— Здесь, в Кандагаре, мне говорили, самое горячее место?

— А где холодное? Везде нашего брата поджаривают. И в Джелалабаде, и в Кундузе, и в Гардезе, и в Газни. Повоевал, будет что вспомнить.

— Что вспоминать будете?

— Да всякие истории. Вам, как писателю, интересно.

— Какие истории?

Подполковник погладил небритую щёку, и было слышно, как шуршит его щетина. Помолчал, будто из всех бесчисленных историй выбирал ту, которую хотел поведать.

— Под Гератом год назад или больше “духи” сбили вертолёт, который ходил на удары и пожёг кишлаки. Все погибли, второй пилот выжил. Его, раненого, притащили в кишлак и там на верёвке водили, а все камнями в него кидали. Мстили, значит. Его прибили к кресту, две доски крест-накрест. Кастрировали и пустили по реке. Он плывёт, а с берега мальчишки в него из рогаток стреляют. Его подобрала наша, сняли с креста, вылечили. Теперь он где-то в Союзе живёт, из семьи, говорят, ушёл.

Подполковник пошуршал щетиной. Помолчал, словно хотел, чтобы Куравлёв запомнил рассказ.

— Под Файзабадом самое тяжелое место. Туда вертолёт ущельем идёт, а его “духи” с двух сторон обстреливают. Там служить тяжелее всего. Один солдатик не выдержал, перебежал к “духам”, чтоб не воевать. Ротный день ждёт, два ждёт, а на третий на заставу голову солдата подбросили. Не приняли “духи” предателя. Такая история.

Куравлёв слушал рассказы утомлённого службой подполковника. Знал, что когда-нибудь в книге опишет этот кандагарский аэропорт, и продавленный диван, и штурмовики, готовые лететь к тёплым морям, и этого усталого, постаревшего на войне подполковника. И себя самого, не умеющего понять этот ужасный и прекрасный мир.

— А вот ещё, под Газни. БТР с четырьмя солдатиками заглох. То ли горячее кончилось, то ли поломка какая. “Духи” БТР окружили: “Шурави, сдавайся!” Ребята отстреливались, пока боекомплект не вышел. “Духи” из гранатомёта пальнули. Всех оглушило. “Шурави, сдавайся!” А они в БТРе закрылись, не сдаются. “Духи” БТР дровами обложили, бензином облили и подожгли. Ребята зажарились заживо, но в плен не сдались. А каждому лет по девятнадцать.

Подполковника позвали. Он неохотно встал и ушёл, а Куравлёв остался сидеть. Он прикрыл глаза, и солнце Кандагара распушилось на его ресницах павильными перьями.

Ближе к ночи, когда стемнело, его позвали на борт. Рядом с его вертолётном крутил винтами другой, огромный, который военные называли “коровой”. На концах лопастей у “коровы” были габаритные огни, которые очерчивали в воздухе кольцо света.

Куравлёв покидал Кандагар, так и не увидев его рынки, мечети, караван-сарай. С большой высоты он видел висящие над землёй жёлтые, как лимоны, осветительные бомбы, мерцанье разрывов. Там, на ночной заставе, шёл бой. Артиллерия гвоздила по виноградникам, остаткам кишлаков, где прятались моджахеды, пускавшие по заставе реактивные снаряды.

Вертолёт опустил, когда была ночь и сверкали звёзды, светились туманности и весь простор переливался, дышал. Куравлёв загляделся на это великолепие, когда к вертолёту подкатила машина. В свете фар мелькнула тень. Перед ним предстал человек. Отдал честь и назвал себя:

— Командир батальона войск специального назначения майор Пожарский.

Куравлёв почти не удивился встрече. Предчувствовал и боялся её ещё в Москве. Вероятность этой встречи была ничтожна. Среди стотысячного контингента, разбросанного по огромной стране, такая встреча была почти невозможна. И всё-таки Куравлёв знал, что она состоится, что существует загадочная воля, задумавшая эту встречу, завязавшая двух мужчин и женщину в мучительный узел.

— Что ж, поедем в часть, Виктор Ильич. — Майор Пожарский пригласил Куравлёва в машину.

Освещённые фарами, растворились ворота, караульный отдал честь. Машина остановилась, фары погасли, и опять была дивная ночь с разноцветными, словно поющими звёздам.

Темнели строения. Майор провёл Куравлева в комнату, где горела керосиновая лампа. Куравлёв понял, что это жилище Пожарского. Саманные стены из сухой глины. Висящий автомат. Рядом — гитара. Тут же на стене какие-то ремни, постромки с медными бубенцами и кистями раскрашенной шерсти, должно быть, сбруя верблюда.

— Располагайтесь, Виктор Ильич, с дороги поужинайте, чем Бог послал.

Куравлёв ел гречневую кашу с тушёнкой, запивал из кружки сладким чаем. Его охватила паника. Мучился, презирал себя. Хозяин, который простодушно пустил его в своё жилище, накормил и напоил, не знал, что пустил к себе вора, нечестивца, осквернившего его жизнь. Был порыв подняться, бежать, прервать эту нестерпимую муку. Но это было невозможно. Куравлёв давился кашей, боялся, что выдаст себя. Задал дежурный вопрос:

— Какая у вас обстановка?

Пожарский кратко, будто делал доклад, отвечал:

— Обстановка сложная. Караваны с оружием идут через пустыню, как правило, ночью. На вертолётах нет приборов ночного видения, нет тепловизоров. Большинство караванов из Пакистана пересекают пустыню, уходят в “зелёнку”, где разгружают оружие. Мы работаем днём, и эффективность нашей работы невелика. Завтра с утра мы летим в пустыню. Если пожелаете, увидите всё своими глазами.

— Конечно, я с вами.

Куравлёв смотрел на сидящего перед ним майора. Его лицо было освещено красноватым светом керосиновой лампы. В этом лице чувствовалась жёсткость, почти жестокость, и наивное простодушье, открытость, даже беспомощность. Эта двойственность таилась в уголках губ под белёсыми, полинявшими на солнце усами, на широком лбу с одинокой морщиной, в глазах, которые Пожарский прищуривал, будто боялся, что в них попадут песчинки пустыни.

У Куравлёва возник порыв признаться Пожарскому в своём вероломстве, покаяться, испросить прощения.

— Вы москвич, Виктор Ильич?

— Да, москвич.

— А где живёте?

— В Текстильщиках

— А я на “Академической”.

— Хороший район, — чувствуя свою лживость, сказал Куравлёв.

— Мы с женой выбирали район, когда меняли квартиры. Жена у меня из Севастополя, квартира с видом на море. Поэтому обмен получился удачным.

— Эту саманную квартиру будет трудно поменять на московскую, — жалко пошутил Куравлёв.

— А я надеюсь, что скоро поменяю. Может, к весне состоится частичный вывод полков. Кажется, наша часть попадает под вывод.

— Дай Бог, чтоб попала.

— А я, вы знаете, жду не дождусь. Засыпаю и думаю. Вот проснусь, и я дома. И знаете, что мне снится? Не жена, не друзья, а ваза, которая у нас в доме стоит на полу. Такая большая ваза с нарисованными синими быками. Я её купил в комиссионном магазине. Хотел сделать жене подарок. “Светик, выбери!” Я-то думал, она себе выберет шубу или французские туфли. А она: “Хочу вазу”, — и ни в какую. Пришлось купить. Я её сначала терпеть не мог. А потом привык. Даже песенку сочинил. “Синий бык, синий бык, я к тебе уже привык. Не обижу я быка, его синие бока”. Свете очень понравилось.

В голосе Пожарского звучала нежность, умиление. А Куравлёв вдруг почувствовал к нему острую неприязнь, враждебность. Этот сидящий перед ним офицер видел Светлану нагой, быть может, так же относил её в ванну и любовался ею, восхищался её танцем, целовал маленькие девичьи груди, милую родинку на шее.

Эта неприязнь накатила и схлынула.

— Вы устали с дороги, Виктор Ильич. Давайте спать. Я вам постелил в соседней комнате. Там жил мой зам. Теперь там пусто.

— А где зам?

— Убили.

Куравлёв лежал на кровати, на которой недавно лежал убитый замкомандира. И всё в нём путалось, томило, ушлывало. В эти минуты под звёздами пустыни идут караваны с оружием. Стеклообразные вазы с синими быками. Лимонного цвета осветительные бомбы. Шевелящиеся под усами губы Пожарского. Лицо жены Веры, милое, усталое, в вянущей красоте.

Глава четырнадцатая

Куравлёв проснулся, когда в оконце синел рассвет. Вышел наружу. Небо было светлое, предрассветное, студёное. Кругом теснились саманные постройки, видимо, казармы, склады. Стояли бок о бок три БТРа. Сонный караульный, увидев Куравлёва, поёжился и отдал честь.

— Комбат проснулся? — спросил Куравлёв.

— Давно.

— А где он?

— В контейнере. — Солдат куда-то кивнул. Куравлёв направился в сторону кивка и увидел контейнер, наполовину врытый в землю. В таких контейнерах трейлеры перевозят грузы. Дверь приоткрыта, к ней вели земляные ступеньки. Куравлёв спустился, вошёл внутрь контейнера. Сквозь прорубленное оконце лился свет. На табуретке сидел афганец в безрукавке, в мятых шароварах и драной рубахе. Борода всклокочена. На лице синяки от побоев. Грязная чалма съехала на лоб. Глаза, слезящиеся, с жёлтыми белками, испуганно посмотрели на вошедшего Куравлёва.

Перед афганцем, тоже на табуретке, сидел Пожарский. Рукава у него были засучены, виднелись сильные, в жилах, руки. Лицо было серое, злое. Морщина на лбу глубоко проступила. Он недовольно оглянулся на незваного Куравлёва.

Тут же высился огромного роста прапорщик с тяжёлыми кулаками и шрамом на хмуром, точно высеченном из песчаника лице. Ещё на одной табуретке сидел солдат, чернобровый, смуглый, по виду узбек или таджик. У окна стоял стол с полевым телефоном.

— Я не вовремя? — спросил Куравлёв, собираясь уйти.

— Оставайтесь, — сказал Пожарский. — Через полчаса вылетаем. Надо этого хорошенько тряхнуть. — Он повернулся к афганцу: — Скажи, когда пойдёт караван? Когда его ждёте в “зелёнке”?

Таджик перевёл вопрос. Афганец затряс бородой, прижал ладони к растерзанной рубахе, залопотал.

— Говорит, не знает никакого каравана, — перевёл таджик. — Говорит, он мирный человек, собирал хворост в “зелёнке”.

— Лыско, помоги ему вспомнить, — обратился Пожарский к прапорщику. Тот молча, без размаха, ткнул кулаком афганца. Тот слетел с табуретки. Прапорщик рывком поднял его и посадил.

— Скажи ему, пусть укажет место, где принимают оружие. Иначе мы его так прижжём, что запахнет жареным.

Таджик перевёл, афганец молитвенно сложил руки и что-то слёзно произнёс.

— Говорит, не знает никакого оружия. Он мирный человек. Собирал хворост. Дома холодно, дети мёрзнут.

— Согрей его, Лыско, — приказал Пожарский.

Прапорщик подошёл к столу, стал крутить ручку полевого телефона. Афганец затрясся, замахал руками. Что-то слёзно стал выкрикивать:

— Говорит, караван придёт днём, к Нагахану. Он, говорит, мирный человек, лобит шурави. Дома дети мёрзнут.

— Хорошо, проверим. — Пожарский опустил засученные рукава. — Если соврал, ток пропустим. Будет светиться, как “лампочка Ильича”.

Лицо Пожарского, вчера казавшееся Куравлёву мягким, беззащитным, теперь было злым и жестоким.

Пожарский зашёл в свое саманное жилище и вышел с автоматом на плече. Повёл Куравлёва на вертолётную площадку, где их ждали два готовых подняться вертолёта. Около каждого стояла группа спецназа из шести человек. На ногах у них были кеды, на груди — самодельный лифчик со множеством карманов, в которых находились автоматные рожки, гранаты, фонари и другие предметы, необходимые в боевой обстановке. Солдаты разминались, подпрыгивали, гибкие, стройные, похожие на спортсменов. Среди них был замечен прапорщик Лыско, который только что участвовал в допросе афганца.

За вертолётной площадкой находилась свалка со множеством пустых консервных банок. Жёсть банок сухо блестела на солнце. Над помойкой кружили грифы, раскрыв широкие чёрные крылья с растопыренными маховыми перьями. Несколько грифов сидело на земле, среди консервных банок. Из могучих плечистых тел поднимались голые розоватые шеи, увенчанные маленькими головами. Головы были с громадными загнутым клювами и маленькими злобными глазками.

— Полетим в головном вертолёте. — Пожарский пропустил вперёд свою группу из пяти человек, посадил Куравлёва, сел сам, поднял лестницу и захлопнул дверь. — Садитесь в кабину пилотов. Оттуда лучше видно.

Куравлёв прошёл к кабине, и его усадили на железный стержень, который лётчики закрепили между двух кресел. Заработали, засвистели винты. Вертолёт отжался, взлетел. Шёл близко к земле, почти на бреющем, над плоскими крышами. На некоторых лежали оранжевые плоды. Небольшие наделы в оправе глиняных изгородей мелькали сочными зелеными. Миновали ржавого цвета зимние виноградники, и вертолёт набрал высоту.

Сначала тянулась серая безжизненная степь. Потом вдали что-то туманно возникло, бескрайнее, рыже-красное. Лётчик сквозь гром винта прокричал Куравлёву:

— Пустыня Регистан! Подходим!

Среди серой степи возник круглый красного цвета холм, похожий на пузырь, который выдавила из себя земля. Холм исчез, но сразу возникло два других, потом три. Множество красных, цвета перца холмов слились в единую, до горизонта, пустыню. Она обняла вертолёт, понесла над красными барханами. Куравлёву казалось, что они летят над Марсом. Вначале он смотрел на пески, ожидая увидеть караван, вереницу верблюдов или машин. Но пустыня была девственной, безлюдной, без всяких следов человека. Только скользила по барханам тень вертолёта.

На Куравлёва вдруг накатился морок, странная сонливость, сон наяву. Пустыня околдовывала, лишала воли, усыпляла. Он подумал, что все, кто появлялся в пустыне, засыпали, исчезали, превращались в красные пески. Он почти уснул. Его толкнул локтем пилот. Что-то говорил неразборчиво сквозь рокот винтов. Указывал вниз. Куравлёв очнулся, взглянул. Под вертолётном на барханах виднелся след, похожий на надрез.

— Караван прошёл ночью! — кричал ему в ухо пилот. — Караван, говорю, ночью прошёл!

След уплыл, и снова была одурь, от которой слипались глаза.

Возник ещё один след — тонкая, прочерченная в песках колея. Вертолёт летел вдоль следа, который оборвался, уткнулся в пятно чёрной копоти, замаравшей пески. Куравлёв вгляделся. Пятном оказался грузовичок, разбитый и обугленный, с разбросанным горелым мусором.

— Позавчера замочили! — кричал лётчик. — Позавчера, говорю, сожгли!

Грузовичок и уткнувшийся в него след уплыли. Пустыня Регистан катила свои красные марсианские волны, по которым скользила тень вертолёта.

— Вот он, голубчик! — Пожарский навалился на спину Куравлёва, глядя в стекло кабины. — Долбани из курсового пулемёта, пусть встанет!

Внизу тянулся рыхлый след, который оставляли два бредущие по пустыне верблюда. Сверху были видны тюки на верблюжьих спинах. Крохотные люди шли рядом с верблюдами.

Пилот нажал на гашетку. Глухо сквозь гул винтов простучал пулемёт.

— Садимся! — крикнул Пожарский.

Куравлёв, глядя на караван, испытал азарт. Это не был азарт писателя, который обнаружил долгожданный сюжет. Это был азарт охотника, увидевшего добычу, которую нельзя упустить.

Вертолёт сел, подымая вихри песка. Второй вертолёт оставался в небе, совершая круги над караваном. Пожарский открыл дверь, выпуская одного за другим солдат. Те выпрыгивали, исчезая в туче песка. Куравлёв прыгнул в свистящий вихрь, чувствуя лицом уколы песчинок. Ноги утонули в песке. Рядом, мягко присев, появился Пожарский. Куравлёв бежал за ним, торопясь вырваться из-под свистящих лопастей.

Солдаты с автоматами приближались к каравану.

Куравлёв задышался, ноги проваливались в песок. Пожарский длинными прыжками опередил его. Они подбегали к каравану, окружённому бойцами спецназа. Куравлёв, задыхаясь, остановился. Прямо перед ним стояли два верблюда, выгнув зобатые шеи, с высоко поднятыми толстогубыми головами. На верблюдах навьючены полосатые, переполненные тюки. Рядом стояли два погонщика, худые, с чёрными, прокалёнными солнцем лицами, в долгополых хламидах. У одного чёрная чалма, у другого — белая. Руки опущены. Чёрно-фиолетовые глаза тревожно смотрели на солдат, на проносящийся вертолёт.

Куравлёв жадно запоминал. Ключки свалывшейся шерсти на верблюжьих боках. Полосатые тюки, литые, наполненные чем-то тяжёлым, сыпучим. Руки погонщиков с длинными чёрными пальцами. У одного на пальце кольцо.

Куравлёв дорожил прикосновением к загадочной жизни, обитавшей в пустыне со времён сотворения мира, когда Господь создавал эти пески, покрасив их в красный цвет. Он старался запомнить толстогубых верблюдов с жёлтыми зубами. Этих иссохших на солнце людей, принадлежавших к таинственному народу пустыни.

— Белуджи, кочевники, — сказал Пожарский. — Обернулся к солдатам. — Обыскать!

Солдаты вывинтили из автоматов шомполы и стали втыкать их в тюки. Шомполы оставляли в тюках проколы, и оттуда сыпались белые струйки риса. Шомпол уткнулся во что-то твердое.

— Режьте! — приказал Пожарский.

Солдаты штык-ножами рассекли мешки. Оттуда хлынул рис, и на гору риса выпали два автомата и гранатомёт с остроносой гранатой. Они лежали на зёрнах, а их продолжал засыпать рис.

— Собрать оружие! — приказал Пожарский. — Лыско, — повернулся он к прапорщику, — с этими двумя разберись.

Прапорщик ткнул погонщиков дулом автомата, отогнал их в сторону. Куравлёв смотрел, как встали они рядом, худые, длиннорукие, с фиолетовыми глазами, в которых исчезла тревога и появилась спокойная величавость. Солнце было в зените, и погонщики стояли на круглых маленьких тенях, как на островах.

Вертолёт с грохотом прошёл над их головами. Прапорщик поднял автомат и полоснул очередь. Оба погонщика упали, головами в одну сторону,

в чёрной и белой чалме. Теперь они будут лежать, иссыхая на солнце, и их тощие тела обгрызут голодные лисицы пустыни.

Куравлёв был потрясён. Он впервые видел убийство, был соучастником, был повязан этим убийством с Пожарским — ещё одной страшной, мучительной связью.

Прапорщик подошёл к убитым и снял у одного с пальца кольцо. Солдаты ударили верблюдов шомполами, и те послушно пошли. Медленно брели в пустыню, оставляя на песке отпечатки.

Так же бегом они вернулись к вертолёту, который не глушил винты. Пробрались сквозь песчаную бурю и расселись по лавкам. Вертолёт взлетел, и Куравлёв с высоты увидел двух верблюдов, бредущих в красных песках.

Вечером Куравлёв улетал из расположения батальона. Его провожал Пожарский.

— Просьба, Виктор Ильич. Когда вернётесь в Москву, позвоните жене Светлане. Расскажите, как мы живём. Что у меня всё нормально. — Пожарский протянул Куравлёву листок из блокнота, на котором был написан номер телефона, хорошо знакомый Куравлёву.

Глава пятнадцатая

Из Кандагара в Кабул Куравлёв возвращался ночью на “Чёрном тюльпане”. Самолёт-гробовщик раз в сутки летел по кругу, посещая все наши гарнизоны Афганистана. Собирал цинковый урожай войны. Самолёт был разделён на две половины. Ту, где размещались пассажиры, и другую — в хвостовой части, именуемой “барокамерой”, где находились гробы.

Полная луна светила в небе, окружённая радужным кольцом. Внизу проплывали ночные горы, как синие чайные сервизы. Свет луны блеснул на ледниках.

Лётчики пригласили Куравлёва в отсек рядом с кабиной. Все вместе они пили спирт, отдающий соляжкой, потому что, как объяснили лётчики, спирт незаконно везут из Союза в цистернах, где до этого перевозили соляжку.

Заунывно гудели моторы. Винты расплёскивали свет луны. Лунный свет отражался в стаканах. Куравлёв, запивая спирт водой, испытывал странное недоумение, большое непонимание жизни, в которой светит луна, синее ночной ледник, в “барокамере” лежат гробы с безвестными солдатами, которых поджидают матери в русских деревнях и посёлках, и он летит в небесах над чужой, непознанной им страной, и ему когда-нибудь суждено умереть, так и не разгадав тайну своего рождения и смерти. Эта смерть уже где-то записана, быть может, на этих ледяных вершинах, но он об этом никогда не узнает.

Утром в отеле “Кабул” он заказал телефонный разговор с “Литературной газетой”. Надиктовал стенографистке текст репортажа об истреблении каравана в пустыне Регистан. О солдатах спецназа, с которыми бежал по пескам. О верблюдах с полосатыми тюками. О погонщиках, фиолетовых, как чернослив. Умолчал о расстреле погонщиков, о гробах в “Чёрном тюльпане”. Надеялся, что репортаж успеет попасть в текущий номер газеты.

Роясь в карманах бушлата, который предстояло вернуть интенданту, он вынул листок бумаги с телефоном Светланы. Скомкал и бросил в урну. Он больше никогда не наберёт этот номер. Больше не станет встречаться с ней. Покончит с мучительной расщеплённостью, с большой укоризной, которая его разрушает.

До отлёта в Москву оставался день. Куравлёв отправился в город, чтобы купить подарки. В магазинчике, торгующем золотом и серебром, он купил серебряный браслет с голубой струей лазурита. Любезный продавец пояснил, что лазурит привезен из Файзабада, где идут бои. Дороговизна изделия объясняется трудностями доставки. Браслет предназначался Сыроедову, который собирался преподнести его любовнице.

В другом магазине продавались предметы традиционного пуштунского быта, который ушёл в прошлое. Продавец в бараньей шапке, в безрукавке, шитой шелками и серебряной ниткой, на ломаном русском предлагал Куравлёву купить старинный пистолет с длинным стволом и рукоятью, украшенной

перламутром. Вынимал из ножен кривую, тронутую ржавчиной саблю. Снимал с полки седло из разноцветной кожи. Предлагал особую пуштунскую мандолину. Куравлёв всё это внимательно рассматривал, вдыхая запах старинной кожи. Но выбрал коллекцию женских украшений из сердолика, яшмы и лазурита, с металлическими блёстками, в которых пуштунские красавицы появлялись на людях. Этот подарок предназначался жене Вере.

В соседней лавочке он приобрёл шкатулку, искусно склеенную из ломтиков лазурита, яшмы и малахита, и блюдо из тех же склеенных камней. Шкатулка украсит стол старшего сына Степана, блюдо достанется младшему Олежке.

Совершив покупки, Куравлёв ещё погулял по городу. Смотрел, как в огненной яме пекут лепешки, лепят кругляки теста на пылающие стены ямы. В харчевне ел кусочки мяса, завернутого в лаваш, под взглядами посетителей харчевни, куда не часто заходят русские.

Он улетал из Кабула, глядя в иллюминатор на разноцветные наделы, на глиняные строения, на удалявшиеся виноградники и арыки. Прощался со страной, которую больше никогда не увидит.

Пока он летел в Ташкент, за ним клубились воспоминания. Разрушение Мусакалы, ревущие “Ураганы”, красные пески пустыни, упавшие на песок погонщики. Но когда после Ташкента он пересел на московский рейс, все мысли устремились вперёд. Хотел узнать, как встретили его афганские репортажи. Что скажут о них приятели Макавин, Афанасьев и Лишустин. Взял ли для перевода Саша Кемпфе его “Небесные подворотни”. И когда состоится поездка в Париж, обещанная всемогущим Андреем Моисеевичем.

Он торопился обнять жену, расцеловать детей. Благодарил судьбу за то, что подарила ему грозные незабываемые впечатления и оставила в живых. И ещё он думал, как пригласит на прощальный ужин Светлану, всё объяснит, и они расстанутся. И наступит облегчение. Он начнёт писать книгу, проводя утро за рабочим столом. А к вечеру отправится в ЦДЛ, в гомон Пёстроного зала, где пьют, ссорятся, хвастают и иногда даже говорят о горнем.

По дороге из Домодедова в Москву он любовался чудесными березняками, которые сверкали среди русских снегов.

Ночью, обнимая жену, он вновь подумал, как странен и необъясним этот мир, в котором убивают, любят, идут на подвиг во имя правды, которая порою оборачивается ложью.

Глава шестнадцатая

Утром Куравлёв достал из почтового ящика сразу два номера “Литературной газеты”, что вышли в его отсутствие. В обоих были его репортажи. Один назывался “Штурм Мусакалы”, другой — “Охотники за караванами”. Репортажи занимали почти целые полосы. Их сопровождали снимки военной фотографии. Куравлёв наугад выхватывал фразы, был горд своей работой. Газеты уже прочитали в домах, в библиотеках, в министерствах, в метро и электричках.

Сыроедов встретил его весёлой похвалой, в которой звучала благодарность:

— Здравствуйте, воин! Мне звонили из ЦК, из идеологического отдела. Просили, чтобы я подробнее о вас рассказал. Звонили от имени Александра Николаевича Яковлева. Я думаю, в вашей судьбе зревают серьёзные изменения. Поздравляю!

Куравлёву было лестно слышать, что им интересуется главный идеолог “перестройки” Яковлев. Он извлёк из кармана серебряный браслет с волной лазурита:

— Вы просили привезти. На запыстье вашей любовницы это будет красиво.

— Вы действительно поверили, что у меня есть любовница? Теперь придётся вести. — Сыроедов, похотывая, принял подарок.

После визита в газету Куравлёв отправился в ЦДЛ. Хотелось в присутствии друзей выпить бокал вина, рассказать о поездке и почему-то о чёрнолой калоше, найденной в Мусакале.

Он позвонил Светлане, услышал её тихий голос, по которому нельзя было понять, рада ли она его возвращению. Назначил свидание в ЦДЛ для прощального ужина.

Он шёл в ЦДЛ среди капели, которая случается среди зимней оттепели. Асфальт был мокрый и синий. С крыш сбивали сосульки. Их солнечные люстры падали, звонко ударялись о землю, рассыпались блестящими взрывами.

Куравлёв входил в ЦДЛ, как герой, быть может, как Симонов с фронта. Овеянный славой, известностью, вызывал восхищение одних и скрытую зависть других.

Первым, кого он встретил, оказался Олег Васильевич Волков, худощавый бодрый старик с седой благородной бородкой. Когда-то он состоял членом кадетской партии, водил знакомство с Милюковым и Набоковым, за что получил двадцать лет лагерей. Он отбыл под Каргополом весь срок и не погиб потому, что умел ставить петли на зайцев и куропаток, и его добычей кормились и узники, и конвоиры. Теперь он писал милые детские рассказы о животных, и по этим рассказам нельзя было судить о перенесённых им ужасах.

Волков встретился Куравлёву в фойе. Куравлёв радостно устремился к нему, поздоровался. Но Волков прошёл мимо, глядя поверх головы Куравлёва. Куравлёв удивился рассеянности старика. Догнал, забежал вперёд:

— Здравствуйте, Олег Васильевич!

Но Волков не ответил. С какой-то брезгливостью обошёл Куравлёва и скрылся.

Раздосадованный Куравлёв вошёл в бар, где надеялся встретить друзей и выпить коктейль “Шампань Коблер”. Ему повстречалась поэтесса, слышавшая уточнённым мастером акростиха, получила за это какую-то европейскую премию. Она всегда с симпатией относилась к Куравлёву, и однажды они вместе поужинали. Он её окликнул, шутливо раскланялся:

— Верно ли, что акростихом в России владели только Пушкин и Саша Чёрный?

Поэтесса посмотрела на него и повернулась спиной.

Сидевшие за столиком писатели, дружившие некогда с Трифоновым, увидев Куравлёва, умолкли и отвернулись. На него наткнулся куда-то спешивший Святогор. Хотел увильнуть, но Куравлёв схватил его за рукав:

— Маркуша, что происходит? Почему от меня шарахаются, как от чумы?

— От афганской чумы. Твои репортажи обсуждаются в писательской среде, и писатели выражают тебе своё презрение. Ты нерукопожатный.

— Да в чём дело?

— Я предупреждал тебя: не ездь в Афганистан. Теперь все считают, что ты трубадур грязной войны, которую развязал преступный режим.

— И ты так думаешь?

— Я нет, — замыляет Марк. — Но Андрей Моисеевич сказал: “Куравлёв — моё самое горькое разочарование”.

— Значит, мне не видать Парижа? — зло засмеялся Куравлёв.

— В Париж поехал Макавин. Я его водил к Андрею Моисеевичу. Андрей Моисеевич от него в восторге. Ты сам всё испортил. Кто-то едет в Кабул, а кто-то в Париж.

— Выходит, мне объявили бойкот?

— Саша Кемпфе взял к переводу книгу Макавина “Шепчущие камни”, а от твоей отказался. Сам во всём виноват!

— Но, надеюсь, ты так не думаешь?

— Извини, я должен бежать. — Святогор трусливо оглянулся на сидящих за столиком писателей. Сунул Куравлёву мятый номер “Московских новостей” и убежал.

Куравлёв сел в Дубовом зале за стол, ожидая Светлану. Развернул “Московские новости”, уже побывавшие во многих руках. Стал бегло читать. Выступление Горбачёва в Америке, в университете Джорджа Вашингтона. Выступление Яковлева перед профессорами в Москве. Воспоминания узника ГУЛага. Правда о мяснике — маршале Жукове. Интервью с ведущим программы “Взгляд” Владиславом Листьевым. И вдруг статья Натальи

Петровой: “Охотник за “цинковыми мальчиками”. В ней говорилось, что русские писатели часто описывали войну: Толстой написал “Севастопольские рассказы”, Лермонтов — “Валерик”, Леонид Андреев — “Красный смех”. Но везде война предстаёт как ужасное, отвратительное явление. Другое дело — война в очерках Виктора Куравлёва. Здесь воспевание войны, смакование кровавых сцен, упоение картинами разрушения. Такое чувство, что автор поехал в Афганистан полюбоваться на цинковые гробы, покрасоваться на фоне “цинковых мальчиков”. Это отвратительно, является трупными пятнами большевизма, проступающими сквозь тексты писателя-”баталиста”.

Куравлёв был опрокинут. Статья написана хлётско, с яростью, неистовой ненавистью. Природа этой ненависти, как казалось Куравлёву, скрывалась не в литературных или политических пристрастиях, а в оскорблённом женском чувстве. Та маленькая оплошность, допущенная Куравлёвым в Пёстром зале, разбудила в женщине неистовую ненависть. Статья расстреливала Куравлёва в упор. Куравлёв вдруг остро ощутил, представил воочию борозду, расчленившую надвое его писательский мир и, более того, всю страну. Борозда была полна крови. По одну её сторону скопились те, кто объявил Куравлёву бойкот, торопил гибель страны, хулил воюющую армию, издевался над героями войны, забрасывал страну костями ГУЛага. По другую сторону борозды находился он и множество растерянных людей, не понимающих, откуда веет бедой, кто породил чудовищный оползень, в котором страна сползает в бездну. И с этой минуты кончается его романтическое писательство, а начинается смертельная схватка с теми, кто провёл борозду и напился её кровью.

С этими мыслями ожесточённый, ненавидящий Куравлёв пил вино, дожидаясь прихода Светланы. Через зал шли Гуськов и Лишустин. Увидели Куравлёва и подсели к нему.

— Вы разве не знаете, что я нерукопожатный? Вам не страшно заразиться “афганской чумой”?

— Да брось ты, Витя! Наплой! Радуйся, что после их рукопожатий руки мыть не надо! — Лишустин кивнул туда, где за столом собрались поэты, недавние диссиденты. — Хорошо написал, сочно. Но в Афганистан нам не нужно было соваться. Весь наш Север, вся Центральная Россия пустыне, как Батый прошёл. Там наше дело, а не в Афганистане!

— Империя всегда воюет на своих окраинах, — философски произнёс Гуськов. — Она не может не воевать. Иначе она не империя. Другое дело, как воюет. Ты, Куравлёв, рассказал, как воюет. Тебе за это хвала. Но теперь ко многим не подходи. Ты, Витя, на Наташку наплой. Она была замужем за племянником Андрея Моисеевича. Его поля ягода. Как и Маркуша Святогоров.

Они ушли. Куравлёв был благодарен друзьям. Они не изменили дружбе. Пошёл встречать Светлану.

Она была в короткой дублёнке, отороченной мехом. На дублёнке — тёмные пятнышки от упавших капель. Помогая раздеться, Куравлёв вновь уловил горький запах её духов. Он почувствовал, что не сможет с ней расстаться.

Официантка Лариса приняла у них заказ.

— С возвращением, — сказала Светлана.

— Спасибо. — Куравлёв отпил вино, чтобы она не заметила, как у него дрожит голос.

— Виделся с Пожарским?

— Да.

— Ты ему всё рассказал?

— Нет. Но мне было так тяжело. — Куравлёв искал слова, чтобы произнести прощальную фразу.

— Я беременна, — сказала Светлана.

— Что?

— Я беременна.

— Как? — Куравлёв забыл все прощальные фразы, которые тщательно готовил.

— Я беременна. Но ты не пугайся. Я сделаю аборт.

— Что ты говоришь! Ты действительно беременна?

— Я сказала, я сделаю аборт. — Её голос был резким и злым. Она видела, как он испугался. Была готова встать и уйти.

— Ты не можешь сделать аборт! Не можешь его убить! — Куравлёв старался её удержать.

— Ты считаешь, что я рожу, вернётся Пожарский, и я радостно покажу ему младенца? — Она засмеялась, и в смехе её были слёзы.

— Подожди, давай всё обдумаем. Мы что-то решим. Ты не можешь сделать аборт и убить моего ребёнка!

— Хочешь сказать, что уйдёшь из семьи, я разведусь с Пожарским, и мы счастливо заживём втроем: ты, я и наш ребёнок?

— Подожди, мы что-нибудь придумаем. Ты не можешь убить ребёнка!

Он путался, не находил слов. Ужасная двойственность, которой он хотел положить конец, стала ещё ужасней. Он был беспомощен. Любил её. Любил вместе с той жизнью, которая теперь наполняла её. Это была и его жизнь. И страшно было подумать, что эту робкую чудесную жизнь убьют из-за него, Куравлёва. Какой-нибудь изверг в белом халате вонзит отточенное железо в его любимую. И в ней убьёт хрупкое крохотное тельце, крохотный клубочек, из которого может родиться богатырь-сын или красавица-дочь.

Всё в нём продолжало путаться, он говорил что-то невнятное, беспомощное и любил её бесконечно.

— Обещай не делать аборт. Мы что-нибудь решим.

— Хорошо, — устало сказала она. — Конечно, что-нибудь решим.

Он отвез её домой на “Академическую”. Она лежала в постели, в сумерках. В гостиной горела настольная лампа. Куравлёв видел вазу с синими быками. Целовал её живот, который чуть вздрагивал от его поцелуев. Целовал не родившегося ребёнка, вдыхал в него свою нежность.

Глава семнадцатая

Утром Куравлёв завтракал вместе с детьми. Младший Олежка деловито укладывал в портфель учебники и тетрадки. Старший Степан неохотно собирался в нелюбимый институт. Вера хлопотала, раскладывала по тарелкам омлет. Куравлёв, глядя на детей, на утреннюю, домашнюю, в синем халатике жену, понимал, что никогда не сможет с ними расстаться. Никогда не нарушит данный жене обет оставаться с ней на всю жизнь, какой бы мучительной и горькой эта жизнь ни казалась.

Он думал о Светлане, вспоминал их вчерашний вечер, её дышащий живот, её руки, которыми она гладила его волосы. Тосковал, укорял себя, понимал, что не может с ней расстаться. Любит её и неродившееся дитя.

Позвонил телефон. Женский голос произнёс:

— Виктор Ильич, с вами говорят из приёмной Георгия Мокеевича Маркова. Георгий Мокеевич просит вас зайти.

— Когда? — удивлённый звонком, спросил Куравлёв.

— Чем скорее, тем лучше. Георгий Мокеевич вас ждёт.

Это приглашение было неожиданным. Георгий Мокеевич Марков, первый секретарь Союза писателей СССР, член ЦК КПСС, был недостижимо высок. В дни государственных торжеств и скорбей стоял на трибуне Мавзолея рядом с высшими лицами страны. Между ним и Куравлёвым не могло быть близких отношений. Лишь иногда издалека Куравлёв видел высокого, стареющего Маркова, который в прежние годы воевал с Японией и выпустил несколько блёклых военных романов. Он был спокоен, с доброжелательным лицом, в котором, как и у многих забайкальских сибиряков, просматривались черты малых, населяющих Сибирь народов.

“Большой Союз” размещался в старинной усадьбе, примыкавшей к Дому литераторов и носившей имя “усадьба Ростовых” — якобы она описана Львом Толстым. Помимо “Большого Союза” существовал Союз писателей России, который помещался в великолепной, с колоннами, усадьбе на Комсомольском проспекте в Хамовниках. Два эти Союза тайно соперничали, хотя “Большой Союз” возвышался над “Малым”.

Секретарша доложила о прибытии Куравлёва, и он прошёл в кабинет. Он оказался невелик, обставлен старинной мебелью. На стене висел ковёр с изображением какой-то литературной знаменитости, то ли узбекской, то ли туркменской. На столе белел телефон правительственной связи.

Марков поднялся навстречу Куравлёву. Его рукопожатие было мягким, радушным. Ладонь тёплой.

— Как афганская поездка? Наше поколение всё прошло через войну. Из вашего, пожалуй, вы единственный.

— Я не воевал, Георгий Мокеевич. Только соприкасался с войной.

— Ваши репортажи — это тоже война.

Марков усадил Куравлёва в кресло и некоторое время молча двигал губами, словно пробовал на вкус слово, которое был готов произнести.

— Я вас позвал, чтобы передать приглашение. В Вёшенской будет выездной пленум Союза писателей. Делегация вылетает сегодня.

Марков снова умолк, шевелил губами, и в этом старческом шевелении была неуверенность, те ли слова он подбирает. Убедился, что те, и заговорил:

— Многим захотелось познакомиться с писателем нового поколения, продолжающим традиции советской литературы. Что вы на это скажете?

— Я готов.

— Тогда собирайтесь. Сегодня вечером вылет в Ростов.

Куравлёв покидал кабинет Маркова взволнованным, воодушевлённым. Только что писательское сообщество осудило его, сделало изгоем, нерукопожатным. Статья Петровой ставила крест на его репутации. Но теперь его огорчения и печали отступили. Вечером он вылетел в Ростов. Спецборт поднялся из правительственного аэропорта во Внуково.

В салоне стоял стол, за которым собрались секретарь ЦК Зумянин, министр культуры, замминистра обороны Асов, секретарь Союза писателей Марков. Нашлось место и для Куравлёва. Собравшиеся хорошо знали друг друга, по-семейному спрашивали о здоровье, шутили, чуть искоса поглядывали на Куравлёва. Тот смущался, глядя на этих властных и теперь столь доступных в одном с ним застолье людей.

— Виктор Ильич Куравлёв, — представил его Марков. — Писатель, только что опубликовал репортажи из Афганистана.

— Читал, — сказал Зумянин. — Нам нужна правдивая литература об Афганской войне. А то появилось много вредоносных фальшивок. А отпора им нет.

— Как так получается? — спросил замминистра обороны. — Армия героически воюет. Ей в лоб стреляют афганские гранатомёты, а в спину бьют перья продажных писак.

— А написали бы пьесу об Афганистане? — обратился к Куравлёву министр культуры. — Мы её поставим на сценах ведущих театров.

— Не знаю, почему дана такая свобода писакам, хающим советскую власть? — посетовал замминистра обороны.

— Мы контролируем этот процесс. Михаил Сергеевич Горбачёв допускает критику органов власти, — сказал Зумянин.

— Мы сталкиваемся с ростом нигилизма, — заметил Марков. — Нам дороги писатели нового поколения, которые отстаивают советские ценности. — Он посмотрел на Куравлёва.

Стюардесса застелила стол скатертью. Появилась рыбная и мясная закуска. Рюмки наполнились дорогим коньяком. Поднимали тост за Шолохова, за армию, за генерального секретаря Горбачёва. Куравлёв чокался со всеми и думал, не на эти ли перемены в его судьбе намекал Сыроедов?

В Ростове они переночевали в гостинице. У Куравлёва был прекрасный люкс с буфетом, где стояли сервизы, хрустальные рюмки. Здесь можно было принимать гостей. Куравлёв позвонил Светлане, но она не сняла трубку. Должно быть, уже спала.

Утром в самолёт Як-40 подсели новые пассажиры. Секретарь Ростовского обкома, начальник военного округа, директор “Атоммаша”, профессора университета. Лёгкий самолёт перенёс их в Вёшенскую, опустившись на снежное

поле. Все пошли в гостиницу, чтобы через несколько часов отправиться в дом Шолохова.

Куравлёв шёл вдоль Дона. Берега были белые, в талом снегу, а Дон — чёрный. Вода лениво текла мимо круч, темнели корявые вёстры, лежала на снегу лодка. Куравлёв шагал по мокрому снегу, который оседал под ногами, и думал. По этой тёмной воде протекло грохочущее кровавое время, когда люди рубились шашками, вешали и стреляли друг друга, и из этой окрашенной кровью воды родилась великая книга. И если долго смотреть на воду, в ней зарыдают от горя, захрипят от ненависти, зашепчут любовные признания, запоют казачьи песни герои этой великой книги. И если испить донской воды, то откроется тайна сотворения этой книги, тайна творца, который доживает свой век в усадьбе на крутом берегу.

Куравлёв слепил снежок и кинул в Дон. Снежок поплыл, и он шагал, глядя на плывущий снежок. Подумал об отце, который воевал в штрафном батальоне на Донском фронте, и, быть может, вода запомнила отца, как теперь запоминает его. Куравлёв остановился, словно хотел, чтобы вода лучше его запомнила.

На берег, на снег слетел скворец. Чёрный, с лиловым отливом, в жемчужных крапинках, он сел перед Куравлёвым, посмотрел блестящими глазками и побежал, перебирая быстрыми лапками. Остановился и оглянулся на Куравлёва, словно подзывал. Куравлёв пошёл к скворцу, но когда приблизился, скворец быстро засеменял лапками, отбежал и снова остановился, подзывая его. Тот снова пошёл, думая, что скворец улетит. Но скворец подпустил к себе Куравлёва и побежал, темнея на снегу воронёным тельцем, оглядывался на него крохотными глазками.

Куравлёв вдруг подумал, что это не просто скворец, а вещая птица, которая явилась ему на берегу Дона, и эта вещая птица ведёт его, указывает путь. Не только сегодня, но и всегда вела, невидимая, вещая, протаптывала хрупкими лапками путь Куравлёва. С самого детства, когда бабушка вела его в детский сад по розовой морозной Москве, и он чувствовал сквозь варежку её крепкую руку. И когда мальчиком шёл по лесу в предчувствии чуда, зная, что оно близко, где-то за берёзой, и чудо явилось: он нашёл белый гриб, темневший в траве бархатной шляпкой. И когда шёл за гробом матери, боясь отпустить деревянный косяк гроба, желая продлить свою земную связь с мамой. И когда двигался по тропинке в Останкинском парке и увидел художницу, рисующую усадьбу Шереметьева, и эта художница стала его женой. И когда торопился к родильному дому, из которого вышла жена, прижимая к груди белый свёрток, где попискивал его первенец Стёпушка. И тогда, в Пёстром зале, когда увидел Светлану с чашечкой кофе и пошёл к ней, уже обожая её. И в Афганистане, когда бежал по красному песку, и впереди, на бархане маячили верблюды. И теперь, на берегу Дона, куда как бы позвал его великий летописец, послал ему вещую фиолетовую птицу.

Скворец вспорхнул и улетел, а Куравлёв стоял на берегу, чувствуя предрешённость своей жизни, предрешённость своей судьбы.

К обеду гости собрались у дома Шолохова. Гурьбой, теснясь, вошли в прихожую. Развешивали шубы, пальто, шинели и по одному проходили в гостиную на первом этаже. Здесь стояли столы вдоль стен, уставленные букетами, бутылками коньяка, вина и водки. Куравлёва поразило обилие цветов. Сочные, яркие, с холодным оранжевым запахом, они напоминали цветы, которые приносят ко гробу.

Начались восхваления. Зумянин говорил о роли Шолохова в становлении государства, о книгах, на которых воспитано несколько поколений советских людей. Тост за тостом продолжались восхваления.

Когда все понемногу утомонились, вышел писатель Виталий Закруткин, такой же казак, как и Шолохов, его друг и обожатель. Запел, сначала невнятно, ломко, но потом всё сочнее, вольнее, навзрыд. Он пел о соловье, что летает по чужим садам и никак не может вернуться в родной сад. Пел о казаке, которого военная доля носит по чужим краям, и он всё не может вернуться домой, испить воды из Дона.

Покинув дом Шолохова, отправились в сосновый лес, что начинался сразу за Вёшенской. Там уже горел костёр, пылали поленья, озарялись вершины сосен, летели вверх красные искры. Продолжали пить, и всё за Шолохова, за казачество, за литературу, за русский язык, за Михаила Сергеевича Горбачёва.

Марков подошёл к Куравлёву:

— Мы посоветовались и решили ввести вас в Секретариат Союза писателей. Скоро съезд, и я думаю, вашу кандидатуру утвердят. Что вы на это скажете?

— Так неожиданно, Георгий Мокеевич!

К ним подошёл Зумянин:

— Виктор Ильич, вы член партии?

— Нет.

— Почему? Партия, особенно в период “перестройки”, нуждается в честных писателях. Вступайте, вступайте в партию.

Зумянин и Марков отошли, их заслонило пламя костра. Казалось, что они сгорели. Голова Куравлёва пьяно кружилась. Он смотрел, как от поленьев отваливаются красные угли, как тает снег вокруг костровища.

Глава восемнадцатая

Из аэропорта Куравлёв торопился позвонить Светлане. Услышать её слабый, испуганный голос. Успокоить, обещать, что всё наладится, всё устроится само собой. Из аэропорта он приедет к ней, станет целовать её заплаканные глаза, дышать на живот, где уже теплится их будущее дитя. Хотел рассказать о вёселе скворца, о казачьих песнях. Позвонил, но Светлана не сняла трубку. В дороге ещё несколько раз звонил из автоматов. Светлана не откликнулась.

Огорчённый, встревоженный, он вернулся домой, жене и детям рассказал о поездке.

Утром раздался звонок. Звонила Светлана:

— Где ты была? Я так волновался, — принялся он её укорять.

— Я в больнице. Я сделала аборт. Приезжай, заberi меня.

— Как? — ужаснулся Куравлёв. — Ты не могла это сделать!

— Ничего не говори, просто заberi меня. — Она назвала адрес больницы.

— Что-нибудь случилось? — Вера, ещё сонная, неприбранная, стояла на пороге кабинета.

— Ничего, — ответил Куравлёв. — Срочно вызывают в Союз.

— Хотя бы позавтракал.

— Да нет же! Сказал, очень срочно!

Он катил по Москве, опрокинутый, бессильный. Не понимал, как она могла совершить такое. Воспользовалась его отсутствием и совершила ужасное дело. Накануне, когда с ней встречались, она уже знала, что сделает это. Когда целовал её дышащий живот, она знала, что пойдёт к хирургу, и тот вонзит ей в лоно отточенную сталь. И как это все ужасно, как преступно... Какое непоправимое зло она совершила!..

Он ехал по дымным трассам, полным машин. Видел, как по тротуарам идёт народ. На перекрёстке заметил высокую новогоднюю ёлку. И боль его была беспредельна. Многолюдный город казался опустошённым. Тот, кого он уже любил, кому подыскивал имя, был зарезан. Никогда не увидит этой ёлки с голубыми шарами.

Он подъехал к больнице, зашёл в вестибюль. Былолюдно, стояли большей частью мужчины, толгались, не смотрели один на другого. Все поворачивали головы к дверям, в которых появлялись женщины. Здесь были молодые, почти ещё девочки. Средних лет, достигшие зрелой женственности. Были стареющие. Но у всех сквозил одинаковый взгляд, растерянный, угнетённый, ищущий. Куравлёв подумал, что все они были детоубийцами.

Куравлёв ждал появления Светланы, готовился сетовать, упрекать, жестоко укорять. Но вот она появилась в дверях, и всё в нём опустилось, утихло,

все укоризны померкли, такая она была бледная, с выцветшими губами, с тусклыми, утратившими блеск волосами. И только глаза казались большими, испуганными, слезными. И Куравлёв понял, как любит её, как жалеет и её, и себя, и того, исчезающего в ней навеки. Кинулся к ней:

— Моя милая, милая! — принял от неё какой-то кулёк, обнял за плечо, повёл к машине.

Она была вялой, пустой, словно у неё вырезали сердцевину. Он сравнил её с рыбой, которая без внутренностей лежит на столе, ещё живая, хлопает жабрами, вращает глазами.

Дорогой она молчала. Дома, когда он ввёл её в квартиру, сказала:

— Спасибо тебе. Только ничего не говори. Не тревожь меня несколько дней. Поговорим позже.

И он послушно ушёл, благодарный за то, что она его пощадил. Отложила на потом все объяснения, утешения, раскаяния.

Куравлёв приехал в ЦДЛ. Здесь, как всегда, было людно, шумно. В баре появился Макавин. Увидев Куравлёва, шагнул к нему. Они обнялись, стали пить водку. Куравлёву казалось, всё начинает тихо уплывать. Макавин со своим уральскими скулами. Барменша Валентина, встряхивающая коктейль “Шампань Коблер”. Светлана, передавшая ему нищенский кулёк. Бегущий по снегу лиловый скворец. Всё уплывало, а он стоял на берегу и смотрел, как оно уплывает. И была таинственная сладость видеть исчезновение всего и запомнить, чтобы когда-нибудь воскресить из мёртвых.

— Как Париж? — спросил Куравлёв.

— Отлично! Пили французское вино, заедали устрицами. Было много писателей из Европы и Латинской Америки. Я подписал договор с “Имка-пресс” на издание “Шепчущих камней”.

— Говорят, на немецкий тебя будет переводить Саша Кемпфе.

— Да, у меня договор с “Бертелсман”.

— Поздравляю. — Куравлёв испытал неприязнь к Макавину. Тот вместо него укатил в Париж, оттеснил от толстяка Кемпфе, который отказался переводить “Небесные подворотни”, занял место в сердце Андрея Моисеевича Радковского, изгнав оттуда Куравлёва.

Макавин уловил эту неприязнь:

— Витя, я слышал, что на тебя начались нападки за твою афганскую поездку. Какие-то чухлые диссиденты, какие-то детские писатели, дура Наташка Петрова. Поверь, это легко исправить. Объясни, что это редакционное задание, что кто-то должен освещать “горячие точки”. Хочешь, я это объясню Андрею Моисеевичу? Твою репутацию можно восстановить.

Куравлёв почувствовал, как неприязнь превращается в бешенство.

— Ты будешь восстанавливать мою пошатнувшуюся репутацию? Станешь хлопотать за меня перед Андреем Моисеевичем или Генрихом Исааковичем? Да я горжусь, что был с моей армией в трудную минуту, а не распивал шабли в ресторанах Парижа!

— Ну что ты, что ты, Витя! Не хотел тебя обидеть!

Куравлёву показалось, что Макавин доволен этой нервной вспышкой, до которой довёл Куравлёва. Между ними пролегла та же борозда, что продолжала расчленять человеческие связи и дружбы. Эта борозда ещё не слишком широка, через неё ещё можно друг до друга дотянуться и обменяться рукопожатиями, но обняться уже невозможно.

Ночью Куравлёву привиделся сон. Будто Макавин, седой, с закрытыми глазами, идёт по сельскому кладбищу среди металлических, тускло блестящих крестов, останавливается у открытой могилы. У Куравлёва страх, что Макавин с закрытыми глазами упадёт в могилу, и надо его предупредить, отвести от могилы. Он проснулся с колотящимся сердцем. Думал в ночи, чем он провинился перед Макавиным, в чём согрешил против друга.

Утром в его кабинете раздался звонок. Звонила Светлана. Её голос был резким, требовательным, торопливым, словно она боялась, что Куравлёв не выслушает её и положит трубку.

— Хочу сегодня тебя увидеть. Можно?

— Конечно, очень рад. Как себя чувствуешь?

— Вечером в ЦДЛ... — На последних словах она задохнулась, и Куравлёву показалось, что этот вздох предшествует рыданию.

Вечером он встречал её в ЦДЛ, поглядывая на каменных истуканов со старушечьими головами, охранявших вход. Светлана появилась из холодной синевы московского вечера. На ней была знакомая, отороченная мехом дублёнка. Волосы, уложенные как прежде, отливали позолотой, и на них таял снег. Она по-прежнему была свежа, хороша. Губы вновь розовые, покрыты прозрачной помадой. Куравлёв, помогая Светлане раздеться, посмотрел на её живот, в котором вчера она убила их неродившегося младенца.

Они уселись за столик у готического окна. Пышногрудая Таня предложила сделать заказ.

— Нет, нет! — отказалась Светлана.

— Ну, может, по бокалу вина? Танечка, принеси бутылку “Цинандали” и жюльены. Остальное закажем позднее.

— Позднее? А что будет позднее? — в голосе Светланы дрогнули близкие слёзы.

— Что случилось? — Куравлёв почувствовал, что приближается нечто ужасное, о чём он не желает знать. Не давая этому ужасному открыться, отодвигая его, заколдовывая.

— Я должна тебе что-то сказать. Я пришла сказать, что мы расстаёмся. Больше не увидимся.

— Почему? Почему? — То ужасное, которого он не хотел знать, которое отгонял, заговаривал, теперь это ужасное открылось. — Почему?

— Всё, что у нас случилось, не имеет будущего. Ты не уйдёшь из семьи. Скоро возвращается Пожарский. Он мой муж, я люблю его. Мы отправляемся в Турцию, он будет военным атташе в Анкаре. Всё, что у нас с тобой было, это случайность, моё помрачение. Теперь оно кончилось.

— Но я люблю тебя! Уйду из семьи. Мы уедем. Нас никто не найдёт. Ведь ты этого хотела, правда?

— Перестань, будь мужчиной. Благородным мужчиной.

— Вздор, я тебя никуда не пущу! Я люблю тебя! — Куравлёв протянул руку, желая её коснуться.

— Не смей меня трогать! Ухожу! Не преследуй меня!

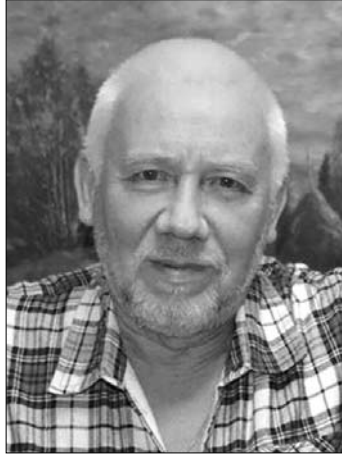
— Не отпущу! — Он схватил её руку, но она отдернула её:

— Не смей касаться меня! Я тебя не помню, не знаю, кто ты! Тебя нет, нет! — Она встала и пошла, гневно стуча каблучками по паркету. Официантки смотрели ей вслед. Куравлёв остался сидеть, без сил, опрокинутый, не понимая, почему случилась эта беда.

“Но нет! — Он очнулся. — Надо бежать, догнать, остановить! Уехать в солнечный Крым, где её любимое море, греческий храм в Херсонесе. Догнать её!” Куравлёв вскочил, выбежал из Дубового зала, пробежал Пёстрый зал, тусклый от табачного дыма, с изображением рогатого Вельзевула. Вылетел в вестибюль, мимо каменных старух, без пальто, в холод, в снег. Устремился к Садовой, которая мерцала огнями. Добежал до угла. Её не было. Мимо с воем сирен, разбрасывая фиолетовые сумасшедшие огни, промчался кортеж, как стая хищных глазастых животных. И этот кортеж унёс её, оставил его горевать. Он не понимал, что это было, прекрасное, мимолётное, сделавшее его несказанно счастливым, а потом до конца дней — неутешно несчастным.

(Окончание следует)

ВАЛЕРИЙ ФОКИН



ЦВЕТЕНИЕ КАК СИМВОЛ ЧИСТОТЫ...

ДЯДЯ ПАВЕЛ

Старший и единственный брат моего отца-фронтовика, мой дядя Павел сражался и погиб в 1942 году в партизанском отряде в Белоруссии, где и похоронен в братской могиле

Дядя Павел,
дядя Павел,
что ж ты сына не оставил —
у меня бы был братан,
мы бы вместе с ним махнули
в те края, где пели пули
над отрядом партизан.
Дядя Павел,
дядя Павел,
о твоей посмертной славе
книга есть и не одна.

ФОКИН Валерий Геннадьевич родился в 1949 году в вятском селе Пищалье. Выпускник семинара Ю. П. Кузнецова на ВЛК. Автор тринадцати поэтических сборников, книги прозы “Всего-навсего” и документального издания “Вятская гармоника”. Член Союза писателей России. Лауреат Всероссийской литературной премии имени Николая Заболоцкого, премии “Нашего современника”-2019. В 2014 году после речной аварии стал инвалидом. Живёт в г. Кирове (Вятке), а с апреля по октябрь — в лесном посёлке Разбойный Бор.

А на родине в Пищалье
над сквозной и чистой далью
чаша звёздная видна.
Дядя Павел,
дядя Пава,
с неба звёздочка упала
в белорусский мрак болот,
только шапку с лентой красной
из твоей могилы братской
уж никто не заберёт.
Дядя Павел,
дядя Паша,
где былая гордость наша?! —
всё развеяли, как дым...
Эта боль, как от ожога,
не суди, однако, строго —
всё равно мы победим!
Дядя Павел,
дядя Па...
Обрывается тропа.
Окружают гады нас.
Дай гранату про запас!..

ДРАКОНЬИ ЗУБЫ

Скалится чушка трёхглавья.
Тянутся руки к мечу.
Юность давно прогулял я,
старым я быть не хочу.
Да и пока не умею,
просто, видать, не дано.
Срублены головы змею.
Налито в кубок вино.
Выпито зелье хмельное.
Весь белый свет, как в дыму.
Очи закрыв под луною,
землю во сне обниму...
Мир отдыхает от бойни.
Тают столетья во мгле.
Только вот зубы драконьи
вновь прорастают в земле.
Под обостряющий чувства
и раздражающий гул
я попытаюсь проснуться
точно таким, как уснул,
чтоб, потянувшись до хруста,
дрёму стряхнув, словно грусть,
снова рубить, как капусту,
скалящих зубы на Русь...
Стая несметная тварья —
с нею не справится мне:
ведь полдержавы проспал я,
силы утратив во сне.
Жаром пылают ладони,
ноги горят от земли,
будто бы зубы драконьи
и сквозь меня проросли.

МНОГАЖДЫ

*В одну реку
нельзя войти дважды.*
Гераклит

Родины радостный вид.
Вятка течёт за спиной.
Ранняя осень стоит.
Скоро мне ехать домой.
Листья летят на траву.
И наяву, а не в снах
я на два дома живу,
словно в двух разных мирах.
Легче не станет беда
от пожеланий благих,
и безвозвратна вода,
словно в часах водяных.
Бабьего лета тепло.
Дни эти наперечёт.
Сколько воды утекло...
Сколько ещё утечёт...
Снова я всё о своём.
Мысли об этом легки,
словно вхожу в тот же дом
возле любимой реки:
печку с приезда топлю;
всё, как всегда, — каждый год.
Вечное слово “люблю”
свежей травой прорастёт...

НЕ УЛЕТАЙ!

Гале

Замрём на миг от дивной красоты,
и словно наша жизнь пойдёт с начала:
два лебедя, как символ чистоты,
которой нам так часто не хватало.
И ничего, пожалуй, лучше нет
на этом и на том, наверно, свете,
чем тот высокий, тот небесный свет,
что принесли на землю птицы эти.
Они сюда спустились с высоты,
а мы сюда пришли путём недлинным,
но я — не я, и ты — уже не ты,
тебя крылом я глажу лебединым...
Запутавшись, где “это”, а где “то”,
опять местоимения тасую,
зато меня не убедит никто
сменить на небо красоту такую.
Пусть небеса немного подождут
и нас с тобой оставят, бога ради,
хотя бы ненадолго —
только тут,
где лебеди скользят по водной глади.
А может, чистота лишь там, где рай,
и чистый свет идёт нам лишь от Бога?
Но я тебя прошу: не улетай!
Крылом к крылу поплаваем немного...

АНДРЕЙ УБОГИЙ

МОЯ ХИРУРГИЯ

СЛОВАРЬ-ПОВЕСТВОВАНИЕ

Рентген

Интересно, а не свечусь ли я в темноте? Проведя много времени под рентгеновской трубкой, в потоке гамма-лучей, я вполне мог бы и сам сделаться радиоактивным и теперь пугать среди ночи прохожих, являясь им наподобие привидения или светящейся баскервилевской собаки.

Вот ещё одно из чудес нашей жизни: рентген. Имя немецкого физика стало названием удивительного явления, и более века медицина без него — как без глаз и рук. Сейчас ни хирург-травматолог без снимка костей, ни терапевт без снимка лёгких даже не станут смотреть пациента, а, скорей всего, направят его в рентгенкабинет.

Да и мы в урологии без рентгена мало что можем. Многие годы главным моментом обхода или консилиума был тот, когда доктора с задумчивым видом рассматривали рентгеновский снимок, пытаясь сообразить: а как эта вот мешанина чёрных и белых пятен на плёнке соотносится с тем, что творится внутри пациента? И как-то ведь соображали: диагностика в урологии всегда была одной из самых достоверных. Теперь, правда, чаще рассматривают не плёнки, а цифровые экраны, и исследование называется “компьютерная томография”, но его рентгеновская природа никуда от этого не исчезла.

Иногда диагностика не ограничена тем, чтобы просто положить пациента на рентгеновский стол, сделать серию снимков — и потом с умным видом произнести: “Да, батенька, операции вам, похоже, не избежать...” Порою болезнь ускользает даже от взгляда рентгенаппарата, и, чтобы увидеть её, приходится пускаться на всякие хитрости, например, на введение контраста. Дело это хлопотное и не очень приятное для больного: поди-ка вставь в человека катетер, чтобы уже по нему ввести дозу контрастного препарата, — зато при удачном раскладе получаются замечательно красивые снимки. Их даже жалко бывает сдавать в архив; и у каждого доктора, как правило, есть собственная коллекция особо удачных снимков — где камни, стриктуры и опухоли видны, как на картинке в учебнике.

Для меня же лично рентген — ещё и многолетний помощник в рентгеноперационной при тех вмешательствах, что проходят под включённой рентгеновской трубкой. Без неё как узнать, что творится внутри пациента и где там находятся твои инструменты? Ведь у человека, лежащего перед тобой ничком, ты видишь только небольшой участок кожи на пояснице, отгороженный простынями, а то, что скрывается в глубине его тканей, для тебя тай-

на за семью печатями. Но стоит нажать педаль, включающую режим рентгенографии, — и тайное вмиг становится явным. Перед тобой на экране, как по волшебству, возникает скелет человека. Видишь его позвоночник, подвздошные кости и рёбра, и свою иглу, что движется между этими костями, толчками преодолевая сопротивление фасций и мышц. Это так неожиданно и при этом очевидно, что кажется, всё и возникло в тот самый момент, когда ты включил рентгенаппарат.

В каком-то смысле так оно и есть. Ведь нечто для нас появляется только тогда, когда мы о нём узнаём; поэтому рентгеновские лучи, делающие невидимое видимым, — они словно и создают для нас, скажем, вот этот скелет человека, прежде как будто и вовсе не существовавший. Мгла неведения, в которую он был для нас погружён, словно была мглой небытия. И сколько бы я ни оперировал под рентгеновской трубкой, я всё не мог отделаться от ощущения, что я, уже пожилой человек, играю в детскую увлекательную игру. Азарт, возникавший во мне при охоте за почечным камнем, — а именно этот тип операций выполнялся чаще всего, — был сродни тому азарту подростка, с каким я, бывало, ловил рыбу или майских жуков.

Я порой так увлекался, что начинал уже и разговаривать со всеми неодошевлёнными участниками этой игры: с камнем, чья бледная тень, словно глубоководная рыба, переплывала от края до края экрана, с почкой, во внутренних закоулках которой всё это происходило, и со своим инструментом, чьи неуклюжие branши пытались схватить ускользающий камень. “Постой-постой, милый, не убегай!” — шептал ты камню, боясь спугнуть его громким словом или неловким движением; “Потерпи, родная, ещё немного...” — упрямил ты почку, уже истекавшую кровью от затянувшейся этой охоты; “Ну, что ж ты, растяпа!” — в сердцах выговаривал ты инструменту, branши которого в очередной раз смыкались, но мимо камня... И всё это происходило не просто под взглядом рентгеновской трубки, передававшей изображение на экран монитора, — но рентген-то, казалось, и создавал все коллизии и перипетии вашей охоты. Стоило снять ногу с педали, как экран погасал, и всё исчезало. Но стоило вновь надавить на педаль, как всё появлялось опять: и бледное облако камня, и грубая тень инструмента, и контуры человеческого скелета. Рентген был волшебною силой, выводящей реальность из неведомой тьмы — к очевидности; не будь удивительных этих лучей, целого мира для нас как бы вовсе не существовало.

Я порой думаю: а не есть ли и эти страницы воспоминаний что-то вроде гамма-лучей, обращённых во мглу минувшего, всё более отдалённую и поэтому всё более недостоверную? Не будь их — кто бы знал о той жизни, что скрылась из глаз и какой-то лишь необъяснимою силой порой возвращается к нам?

Руки

О важности рук для хирурга как-то даже смешно говорить. “Хирургия” и переводится как “работа руками” — или, точнее, “рукотворчество”.

В известном смысле хирург — это и есть его руки. Все остальные части его тела, включая голову, в хирургии играют роль второстепенную и существуют, по сути, только затем, чтобы работало главное: руки. В этом месте коллеги, возможно, начнут возмущаться: как же, мол, так — что же ты нас выставляешь тупыми ремесленниками? А как же великое правило хирургии: руки не должны забегать вперёд головы? Верно, конечно, и это — вся жизнь состоит из противоречий и движется ими, — но свою скромную песню в честь хирургических рук я всё же спою.

Начнём с тех минут, когда хирург моется на операцию. Именно в этот момент происходит то, что я называю “обособлением рук”. Да, руки начинают жить своей собственной жизнью — и скоро, уже на самой операции, их самостоятельность достигнет предела. Но и сейчас, под шумящей струёй воды, в рыхлых хлопьях вспухающей мыльной пены им уже словно никто и не нужен, кроме их же самих. Они так деловито, привычно, поспешно, споровисто-ловко потирают друг друга, так увлечённо то ныряют под напористую

струи (отчего во все стороны разлетаются брызги), то выскакивают из-под неё, что как-то уже и неловко вмешиваться в их, рук, общение. Порой кажется, что ты здесь вроде бы лишний, и лучшее, что ты можешь сделать, — это предоставить рукам свободу. Что ж они, не сообразят без тебя, что после мытья нужно высушить пальцы стерильной салфеткой? И что потом, когда кисти станут сухими, надо локтем нажать на дозатор флакона — и поймать ладонью пахучую порцию антисептика? Да они столько раз всё это проделывали, что ты сейчас совершенно спокойно можешь отвлечься и говорить о другом, а руки сами прекрасно сделают то, что положено.

Но вот они вымыты и обработаны, и тыходишь в операционную — следом за собственными руками. Они влажно блестят, они подняты вверх — с локтей на пол падают капли, — и они движутся в гулком пространстве операционного зала с высокопарной торжественностью: возможно, так совершается выход августейших особ к почтительным подданным. С пути твоих рук сейчас всякий испуганно посторонится, потому что самое недопустимое, что может произойти, — осквернение стерильных рук нечистым прикосновением.

Твои руки давно привыкли к тому уважению, что им здесь оказывают, и снисходительно-благосклонно принимают участие во всех церемониях. Вот кисти шуршат сквозь ещё теплые рукава стерильного халата; вот они ожидают, чуть пошевеливая пальцами, пока сестра завяжет тесёмки манжет; а вот уже пальцы ныряют в тугую резину перчаток. И всё это время, пока твои руки готовили к предстоящей работе, ты опять глядел на них словно со стороны, со странною смесью удивления, уважения и надежды, — и мысленно просил их: “Пожалуйста, не подведите...”

А уж когда началась операция — так руки и подавно работают сами собой, не дожидаясь приказов. Причём они работают сами как в рутинные моменты — посушить рану салфеткой или тупфером, пересечь лигатуру, переставить крючки, — так и в моменты неожиданные и, что называется, “стрёмные”, словно у рук есть свой собственный ум. Если из раны вдруг выпрыгнет струя крови, то руки быстрее, чем ты что-либо сообразил, уже прижимают повреждённый сосуд или защёлкивают на нём зажим.

А иногда руки словно сопротивляются, не хотят делать того, чего ты от них требуешь, — например, “тормозят”, не желая рассекать ткани в сомнительном месте. И если ты не совсем молод и глуп, ты их послушаешь: руки нередко бывают умней головы. Но они же порой могут быть и смелей головы. Есть пословица, которая сложена будто нарочно для хирургических рук: “Глаза страшатся, а руки делают”. Я вспоминал её на операциях множество раз. Бывает, окажешься ну в таком тупике — хоть бросай инструменты с перчатками в таз и в отчаянии уходи из операционной. Но, к счастью, руки не столь малодушны и не намерены так просто сдаваться. И пока ты предаешься панике или отчаянию, руки продолжают работать. Они что-то пальпируют и продвигаются буквально по миллиметру вглубь тканей, они переставляют крючки и сушат рану, пытаются “войти в слой” или обойти опасное место — и, глядишь, что-то там, в глубине раны, начинает освобождаться и проясняться.

Так что чем хирург старше и опытней, тем он более доверяет рукам. И вот интересно: я много раз замечал, что руки хирурга стареют медленнее, чем он сам. То ли они чаще подвергаются тщательному мытью, которое их освежает, снимая изношенный слой эпидермиса, то ли рукам на операциях достаётся хорошая порция омолаживающей гимнастики... Но как бы то ни было, руки старых хирургов часто молоды и выразительно-живы: держат ли они сигарету или коньячную рюмку, или задумчиво почёсывают лысину, или рассеянно постукивают по столу — или даже грозят тебе, молодому и непутёвому, пальцем. И всегда залобуешься внутренней силой, что заключается в них: словно вся жизнь, вся энергия, воля и ум старика перешли не куда-нибудь, а в его руки.

Сандалии

Что самое характерное в облике классического хирурга? Может, халат? Но его носят не все, не всегда — он не очень удобен при нашей работе, —

и поэтому чаще увидишь хирурга в костюме: просторных штанах и рубахе.

Тогда, может быть, шапочка? Да, когда-то она была непременно составляющей хирургического облачения: то накрахмаленно-строгая, в каких важно ходили профессора на обходах, то смятая и съехавшая набекрень на чьей-нибудь хирургической лысине, то даже использованная вместо платка, — когда доктор утёр ею вспотевший лоб, а затем небрежно сунул в карман. Но сейчас шапочки надевают только в операционных и перевязочных: похоже, к нам перешла вольготная мода американских хирургов ходить по коридорам клиник, гордо неся непокрытую голову с безупречной причёской и белозубой улыбкой кинозвезды.

Или облик хирурга связан с классической марлевой маской — той, которая закрывает половину лица, которая так эффектно облегает скулы хирурга, когда он вздыхает, и на которой в конце операции иногда видишь строчку кровавых брызг? Маска, конечно, хирургу к лицу, — но, опять-таки, только в перевязочной и операционной. Да и нынешние одноразовые маски жидкого голубоватого цвета очень уж, честно сказать, неудобны: резинки, которыми их зацепляешь за уши, легко рвутся — и такая маска плохо фильтрует дыхание, поэтому очки над ней тут же запотевают.

И вот так, перебирая облачение хирурга, мы наконец-то спустились к сандалиям. Название это, конечно, условно — кто-то расхаживает в туфлях, кто-то сует ноги чуть ли не в банные шлепанцы, — но чаще всего это именно что-то вроде сандалий: нечто лёгкое, дырчатое и непременно растоптанное. Разношенность необходима, чтобы легко, без помех и возни, их снимать-надевать. Вот хирург вошёл в ординаторскую, скovyрнул на пол сандалии и завалился, задрав ноги, на скрипучий диван, чтобы дать себе отдых после беготни по больнице или стояния в операционной. Но затрещал телефон на столе — или запиликал мобильник в кармане — и надо, быстро сунув ноги в сандалии (которые, как запряжённые лошади, словно ждут этой секунды), снова куда-то бежать: тут уж, понятное дело, не до возни с обувным рожекком или путающимися шнурками. А если приходится перетаскивать пациента с каталки на кровать? Тогда хирург тоже сбрасывает сандалии и запрыгивает ногами на койку, чтобы перетянуть на кровать тяжёлое тело со всеми его капельницами и дренажами. И затем, выдернув стопы из-под большого и отодвинув каталку, он соскакивает обратно — к своим верным сандалиям, которые дожидаются возле кровати.

А ночные подъёмы во время дежурств? Сквозь дрему слышишь очередной звонок, со вздохом садишься, напариваешь ногами сандалии — иногда они путаются, правый с левым, — и вот ты уже шагаешь, на ходу поправляя стоптанный задник, по ночному пустынному коридору. Иногда идти в приёмное настолько неохота, что, кажется, только сандалии и несут тебя на себе: так лошади, хорошо знающие привычный им путь, сами довозят до хаты задремавшего или хмельного хозяина.

За несколько лет, что ты в них проходил, ты так привыкаешь к сандалиям, а они привыкают к тебе, что эта потёртая обувь уже начинает казаться частью собственных ног. Ты столько в них отшагал — и, что куда тяжелей, отстоял, — что неизбежное расставание с ними превращается для тебя в небольшую трагедию. Может, ты походил бы в них и ещё, однако когда не только коллеги, но и больные начинают поглядывать искоса на изношенную обувь доктора, ты понимаешь: пришло время расстаться со старыми, верными и испытанными друзьями.

В последний раз ставишь их перед собой и с печальной нежностью смотришь на тех, кто долго служил тебе верой-правдой. Это за сколько же операций так стоптались подмётки, так залоснились стельки и так поистерлись ремешки? И что это за бурые пятна, которые ты многократно пытался отмыть, но в итоге не смог? Ведь это, скорей всего, чья-то засохшая кровь, которая некогда на операции пропитала бахилы и намертво въелась в кожу сандалий. Иногда даже кажется, что ты помнишь ту самую операцию, когда ты так изгваздал обувь: помнишь, как кровь буквально выплёскивалась из раны тебе на живот и текла по ногам, как бахилы хлопали в кровавой луже и как санитарка-старуха с кряхтением пыталась её подтереть...

А помнят ли, интересно, тот день сандалии? Ведь им тогда тоже досталось: когда в операционную спешно ввозили каталку с тяжёлым больным, её колесо проехало краем по твоей ноге. Пальцы-то, к счастью, остались целы — спасибо сандалиям! — но вот сами они надорвались, и пришлось их потом зашивать.

В том, что у предметов есть своя память, я не сомневаюсь: если бы хирургические сандалии могли говорить, им было бы что поведать о жизни хирурга. Иная жена не знает и не расскажет нам столько, сколько знает и могла бы рассказать эта пара изношенной обуви. Вот поэтому и бросаешь сандалии в мусорное ведро с горьким вздохом — будто в этот момент расстаёшься с немалой частью собственной жизни.

Износив и выбросив несколько пар хирургической обуви, я могу о них вспомнить и написать: эти страницы порой воскрешают былое и позволяют поверить, что я действительно жил и работал хирургом, и моя жизнь не прикинулась и не привиделась мне.

Санитарки

Когда-то работать санитарками в госпиталях не гнушались княгини: наоборот, считали за честь послужить таким образом людям и Богу. Но в годы, когда я пришёл в хирургию, эта профессия совсем обесценилась, и найти расторопную, да ещё и непьющую санитарку стало почти невозможно. А уж если такая работала — всё отделение было счастливо и только что не носило её на руках. Да и сама санитарка себя ощущала царицей: что, дескать, вы будете делать, если я возьму да уволюсь?

Потом времена изменились. Безработица и нищета, о которой мы раньше читали лишь в книгах, вошли в нашу жизнь — и санитарок не просто стало достаточно, но между ними даже началась конкуренция. В больницы пришли пожилые интеллигентные женщины, не выживавшие на позорные пенсии, вчерашние школьницы, не поступившие в мединституты, — словом, те, кто нуждался хоть в какой-то работе и кому милосердие было не чуждо.

Что делают санитарки в больнице? Да много чего. Напоить-накормить больного, который не может есть сам, вытащить из-под него судно и перестелить испачканную постель — это всё санитарка. Помыть полы, оттащить в прачечную мешок с грязным бельём, а в лабораторию отнести ящик с банками жёлтой или кровавой мочи — это тоже она. А если надо обмыть того, кто в беспамятстве обделался или обмочился прямо в постель? Тут тоже не обойтись без санитарки, без её тряпки, тазика с тёплой водой и без её ворчания — иногда раздражённого, а иногда добродушного.

А перевозка — живых или мёртвых? Это немалая часть медицинской работы, которая редко кем замечается или берётся в расчёт, но которая огнивает и время, и нервы, и силы. Легко ли какой-нибудь божьей старушке (а в санитарки нередко идут и такие) помогать докторам перетаскивать тело — ещё хорошо, если тело живое, — с кровати на жестяную каталку, затем везти её по коридорам, переходам и лифтам, затем переключивать пациента на рентгеновский или операционный стол, а спустя некоторое время проделывать всё то же самое, но в обратном порядке?

А если везти приходится мёртвого — так это ещё тяжелее. Даже странно: отчего бездыханное тело всегда, кажется, весит больше живого? Вряд ли смерть, что его наполняет, сама по себе тяжела: ведь смерть — это минус, ничто, вычитание жизни. Скорее, душа, что жила в этом теле недавно, теперь перестала его облегчать, приближать к небесам — и бездушный телесный остаток налился мертвецкою тяжестью. Вот и грохочут колеса каталки под мёртвым как-то особенно жёстко; а старая санитарка, ковьялющая за ней, удивляется: что ж это те, кто намного моложе её, один за другим обгоняют старуху на смертной дороге?

Конечно, всё это — помыть, отнести, привезти — очень нужно и важно; но едва ли не более важно просто-напросто побыть рядом с тем, кому плохо. Родственники есть не у всех и приходят далеко не всегда; врачу, как правило, некогда побыть с пациентом — хирург залетает в палату на пять

минут утром, чтобы затем надолго уйти в операционную, откуда он выйдет, возможно, без сил, — вот рядом с больным и остаётся, бывает, одна санитарка. Недаром их раньше называли “нянечки” (непривычное, нежное слово в суровом больничном быту); а “нянчить” и означает ласкать, утешать, утирать сопли и слёзы. И как младенцу необходимо, чтобы его нянчили, — иначе не выжить в безжалостном мире, в котором он только что появился, — так и тому, кто из этого мира уходит, бывает нужна и рука, и сочувственный взгляд санитарки.

Поэтому роль санитарки чем-то даже и выше роли врача. Ведь хирург бьётся за жизнь пациента, пока это ещё в человеческих силах — пока его опыт, ум, руки способны что-то переменить. Но рано или поздно всегда наступает момент, когда хирург обречённо разводит руками и говорит: “Здесь, увы, остаётся только уход...” Какой из двух смыслов этого слова он имеет в виду, сказать трудно, — возможно, что оба сразу, — но вот тут и должна войти санитарка. Она словно бы отодвинет хирурга и скажет ему: “Всё, сокол мой, твои дела здесь закончены; иди помогай, кому ещё можно помочь. А уж уход — это дело моё”. И она, санитарка, становится как бы повивальной бабкой наоборот, помогая больному родиться из нашего мира — в мир лучший...

Скальпель

Как ни меняй прогресс лицо современной хирургии, какие новые инструменты он ни изобретай — без скальпеля до сих пор не обойтись. Даже для того чтобы ввести внутрь человека хитроумные эндоскопические приспособления, всё равно нужно сначала рассечь кожу. Даже робота “Да Винчи”, напоминающему марсианина из “Войны миров”, который навис над больным и впился в него своими научными лапами, — даже и этому инопланетянину скальпель необходим. И у истоков нашего ремесла стоял тоже скальпель, пусть сначала его роль исполнял какой-нибудь остро сколотый кремниевый резец. Можно сказать, хирургия и возникла тогда, когда первобытный человек взял в руки каменный скальпель, чтобы рассечь им ткани сородича.

Мне довелось повидать одни из древнейших скальпелей в мире. Это было в Греции, в Эпидавре, в музее Асклепия. Скальпели, лежавшие за витринным стеклом, были точь-в-точь как наши — те, которыми я оперировал накануне поездки. А ведь им не менее трёх тысяч лет; и хотя они не из нержавеющей стали, а из потемневшей от времени бронзы, хотя они изрядно подзатупились за те века, что пролежали в бездействии, но, если привести их в порядок и прогнать через стерилизатор, ими вполне можно работать. А всё оттого, что скальпель уже в момент зарождения сразу достиг совершенства. Что можно улучшить в этом узком ноже, так удобно ложащемся в пальцы и предназначенном для послышного рассечения тканей? Разве только менять его размер да варьировать форму лезвия (конечно, “глазной” крошечный скальпель отличается от ампутационного военно-полевого ножа); но в принципе скальпели все одинаковы. У них есть рукоять и лезвие с режущей кромкой. Различия между скальпелями — скорее в стиле работы: в том, как хирург держит их и насколько небрежно или осторожно пользуется ими на операции. Скальпель можно взять в руку, как берут перо, и работать с кропотливостью каллиграфа, выводящего строчку за строчкой; а можно держать, как скрипач держит смычок, и вести операцию, как вдохновенную музыкальную партию. То есть разница уже не в самих инструментах, а в людях, которые ими работают. В движениях скальпеля проявляется тип и характер хирурга — решительного или осторожного, торпливо-азартного или мелочно-щепетильного, бодрого или уставшего, старого или молодого.

Взяв скальпель в руку, меняешься сам. Ещё недавно ты был как-то несобран, думал сразу о множестве разных вещей, большей частью никчёмных, — и каша мыслей, клубившаяся в голове, утомляла не меньше, чем каша эмоций в душе. Но стоило переодеться в просторные штаны и рубашу, вымыть руки и обработать их антисептиком, затем просунуть влажные кис-

ти рук в ещё тёплые рукава халата, а через некое время — и этот момент был, пожалуй, важнейшим — ощутить в пальцах тяжёлый и гладкий холодок скальпеля, как ты становился другим человеком. Хирургический нож словно отсекал от тебя лишнее. Решительность, вялость, растерянность, даже болезнь (если ты, например, был в это время простужен) куда-то вмиг исчезали, и в душе у тебя оставалось лишь то, что было таким же уверенным, твёрдым, решительным, острым, как этот блистающий скальпель. Можно сказать, что ты превращался в него, а он становился тобой: на краткое время, за миг до разреза, ты словно сливался со своим инструментом. И уже можно было не думать о положении пальцев, высоте локтя и повороте кисти, силе нажима, наклоне лезвия и ещё о множестве тех мелочей, из которых складывается первое движение оперирующего хирурга; достаточно представить себе, каким должен быть твой разрез, как кожа уже распалась надвое за лезвием, наполовину в неё погружённым и продолжающим туго её рассекать. Сначала разрез был сухим, но вот там и сям набухали кровавые капли (а кое-где даже прыгал алый фонтанчик), и через три-четыре секунды дно раны заполнялось кровью.

Теперь скальпель ни к чему: он своё сделал. Ты клал его на столик сестры — она тут же протирала лезвие салфеткой — и начинал или хрустеть кремальерами зажимов, или прижигать сосуды пинцетом коагулятора. Над раной вился дымок, пахло жареным, а скальпель всё это время, сучая, лежал на столике рядом и словно ждал: когда же ты снова возьмёшь его в руку?

Сны хирурга

Что ни говори, жизнь хирурга отлична от жизни прочих людей; несомненно, что так же особенны и его сны. Думаю, что и кошмаров наш брат хирург видит больше, чем другие люди. Да и как же иначе: если во сны с неизбежностью переходит та тревога и напряжение, те переживания и опасения, что сопровождают нас наяву? Ещё хорошо, что ночные кошмары как непрошено-быстро заявляются к нам, так же быстро и забываются; я, например, помню лишь несколько.

Однажды мне снилось, что я хожу по коридорам больницы с только что удалённой почкой в руке — с неё ещё капает кровь — и пристаю ко всем встречным с вопросом: “Как думаешь, а её в самом деле нужно было убрать? Или, может, пока больной спит, вернуть эту почку обратно?”

Или снилось, что я не могу собрать операционную бригаду и начать операцию, хотя больной уже на столе и спасать его нужно немедленно. Пока отыщешь и приведёшь анестезиолога с анестезисткой, куда-то пропадёт операционная медсестра; стоит с криком и руганью, буквально за руку притащить её — снова куда-то теряется анестезиолог; когда ж, наконец, все собрались, и я, торопясь и волнуясь, занёс скальпель — куда-то исчез больной...

А как я много раз опаздывал на работу? Снилось, что я тороплюсь на планёрку, — мне нужно докладывать о погибшем больном, — впопыхах забегаю в конференц-зал, но вдруг замечаю, что стою перед всеми в чём мать родила...

А сон об экзамене? Хоть это и не настоящий кошмар, но видеть его было до крайности неприятно, тем более что он повторялся с завидной регулярностью. Мне во сне сообщали, что завтра высочайшая комиссия будет экзаменовывать меня по хирургии; и я с ужасом понимал, что пропал: ведь завтра всем станет ясно, что я ровным счётом ничего не знаю, не смыслю и ничего не умею...

Но бог с ними, кошмарами: всех не расскажешь. Тем более что в пересказе градус переживаний заметно снижается: как будто ночные видения выдыхаются и остывают на свету дня и под критическим взглядом рассудка. Поговорим лучше о тех переходах из яви в сон и обратно, что каждый хирург совершает дежурной ночью. Говоря строго, дежурство в “скоромощной” больнице официально именуется “дежурством без права сна”. Но, несмотря

на это лишение прав (совершенно, надо сказать, бесчеловечное: известно, что среди множества пыток, изобретённых злым гением человека, одной из самых изощрённых является именно лишение сна — люди от этого быстро сходят с ума), почти каждый хирург в течение ночи хоть ненадолго, но смыкает глаза. Хотя, опять-таки, каждый, кому приходилось дежурить, хорошо знает, что легче не спать вовсе, чем несколько раз за ночь заснуть и проснуться, и снова проделать этот мучительный путь — из сонных глубин всплыть на поверхность сознания. Но трудно, когда ты вернулся из операционной в три часа ночи, устоять перед искушением завалиться на старый диван в ординаторской — порой даже не постелив простыню и забыв про одеяло. Кажется, в тот самый миг, когда ты переведёшь тело в горизонтальное положение, ты и отключишься: словно кто-то невидимый повернёт в твоей голове выключатель рассудка, и ты тут же исчезнешь из мира.

Да, так бывало, но далеко не всегда. Иногда, особенно если операция была непростой, ты, даже рухнув на долгожданный диван, всё ещё мысленно продолжал оперировать. В глубине раны хлопала кровь, отсос гудел судорожными рывками (его трубка то и дело забивалась обрывками жира и сгустками крови), а лампа съезжала в сторону, и операционное поле темнело. Ты беззвучно кричал: “Да поправьте же кто-нибудь свет!” — и диск лампы возвращался на место. Но скоро опять в глубине раны всё темнело и расплывалось; впрочем, ты уже был не в силах понять, что виновата в убыли света не лампа, а сон, который наконец-то одолевал тебя...

Сколько длился твой сон, сказать трудно: ты мог пролежать в забытии целый час — или всего пять минут. Но вот телефонный звонок безжалостно рвал темноту. Интересно, что тело отзывалось на звонок раньше, чем просыпалось сознание: ты уже сидел на диване и нашаривал ногами сандалии, но ещё не вполне понимал, что случилось.

В этот момент совершался мучительный переход из глубин забытья — в ночь, что тебя окружала. Эта ночь была бесконечно к тебе равнодушна, — но в то же самое время взывала к тебе (телефон продолжал надрываться) и чего-то ждала от тебя. Пожалуй, вот это и было самым трудным во время дежурства: напрячься, встать и сделать шаг навстречу темноте. Что за сила тебя изгоняла из сна в тот ночной мир, которому (в этом ты был убеждён) ты несколько не нужен, но который при этом не может без тебя обойтись? Ты никогда не испытывал столь же острой, глубокой тоски, как в тот момент, с телефонною трубкой в руке, в бледном свете ночного окна, когда твой безжизненный голос сипло произносил: “Да, что там? Хорошо, сейчас буду...”

И такие “качели” чуть не каждую ночь раскачивают дежурного доктора, то унося его в сонное забытьё, то возвращая в грубую явь. Думаю, именно эти “качели” — причина того, что хирурги в старости (если, конечно, они до неё доживают) так часто страдают бессонницей. Ведь наши сны — некий покров, что ночами скрывает от нас суматошное копошение реальности. Но если этот покров то ненадолго набрасывать на себя, то резко сдёргивать, чтобы вскоре снова пытаться прикрыть им свой ум и душу, — и делать так не одну-две ночи, а многие сотни и тысячи бесконечных дежурных ночей, — то ткань наших снов неизбежно износится и прохудится. И утешением хирургу — тому старику, что лежит в одинокой постели, коротая бессонную ночь, — будет лишь то, что эта бездонная и бесконечная ночь (что некогда выпила все его силы) больше не позовёт его ни в приёмное отделение, ни в операционную.

Спина

Сколько ни пой гимнов рукам, но спина — часть тела, не менее важная для хирурга. Страдает и терпит, во всяком случае, она куда больше. И если руки хирурга, как правило, сохраняются лучше и кажутся много моложе, чем он сам, — то спина, увы, старится раньше, чем хирург в целом. Обратите внимание на характерную сутулость хирургов — на то, как нередко покаты их плечи и согнуты спины, как они словно придавлены грузом тех лет,

что пришлось отстоять за операционным столом. А для меня спина — это ещё и то, что превратило меня из доктора, оперирующего других, в пациента и дважды уложило на хирургический стол.

Сейчас, с расстояния в несколько лет, я вспоминаю эти две операции с благодарностью. И я уверен, что побыть в роли больного для каждого доктора, — а для хирурга особенно! — просто-напросто необходимо. Причём больного настоящего, не того, кто страдает каким-нибудь насморком или ангиной (такие-то хвори знакомы любому), а того, кто заболел всерьёз, лег в больницу и на собственной шкуре познакомился с тем, что может ему предложить медицина. Приходилось читать, что в американских медицинских колледжах студентов — здоровых парней и девушек — укладывают на пару недель в госпиталь и подвергают многому из того, что они в будущем станут назначать своим пациентам. Им делают уколы и ставят капельницы, их водят на гастроскопию и клизмы, заставляют лежать в общих палатах и есть больничную пищу, — словом, превращают из студентов в больных. Несомненно, что опыт, который медицинская молодёжь получает при этом, бесценен. Я-то сам приобрёл его, уже много лет отработав врачом; но хорошо, что я его всё-таки приобрёл.

Главным чувством, которое сопровождало меня в дни, когда я лежал в нейрохирургическом отделении, — сначала до операций, потом после них, — было чувство покоя и облегчения. Этот покой не могли нарушить даже неизбежная госпитальная суета и мелкие неприятности, что связаны с ней: проколы пальцев и вен для анализов крови, вождения в рентгенкабинет и введение клизменных наконечников, болезненные осмотры, бритьё спины, да ещё обращение сестёр к тебе не по имени-отчеству, как ты привык, а безликим словом “больной”. Всё это были сущие мелочи по сравнению с покоем, приходившим к тебе всякий раз, как ты ложился в больницу. Это было похоже на то, как если бы ты, долго выгребая против течения — или хотя бы перебивая сильный поток поперёк, — вдруг махнул рукой на все эти изнурительные попытки, глубоко вдохнул, лёг на спину, и река понесла бы тебя, безо всяких усилий с твоей стороны, на своих волнах, которые вмиг (стоило перестать грести против них) сделались ласковы и дружелюбны.

Вот что-то подобное происходило со мной, когда я передавал груз собственной жизни и попеченье о ней врачам, санитаркам и сёстрам отделения нейрохирургии. И это при том, что я всё-таки оставался доктором и прекрасно себе представлял все опасности и осложнения, вплоть до самых серьёзных, что мне угрожали. Но редкое счастье отдать свою жизнь в другие (я очень надеялся, что хорошие) руки оказалось столь велико, и покой, приходивший с ним вместе, был так глубок, что я, пожалуй, не вспомню в своей жизни дней, столь же беспечно-блаженных, как те, когда я, опираясь о трость, хромал коридорами областной больницы.

В день операции я широко проснулся ещё до рассвета — ночью я спал, как младенец: помог, видимо, феназенам, — умылся и помолился, и потом долго стоял у окна, наблюдая рождение зимнего дня. Больница располагалась в сосновом бору, окно палаты обращено на восток, — и я мог, как пушкинская Татьяна, “предупреждать зари восход”. На душе было так же спокойно и чисто и так же тихо светало, как было чисто на нежно светлеющем, синем в прозелень небе. Над лесом остро мерцала Венера и пролетел, помню, медленный ворон, который чуть не задел своим угольно-чёрным крылом голубоватую искру планеты.

А потом меня, раздетого догола и прикрытого простыней, долго везли на каталке. Потолки коридоров и переходов с их лампами убегали назад; в окнах, мелькающих по сторонам, я видел то зелень сосен, то дорожки заснеженного двора, то красно-белые “скорые” возле приёмного отделения; но всё время, пока меня везли в операционную, меня не покидало чувство необъяснимого счастья, которое я ничем, кажется, не заслужил, — и поэтому опасался, что оно скоро кончится. Но чувство покоя и счастья не ушло от меня даже тогда, когда каталка въехала в операционную и меня попросили перебраться на узкий стол. Я впервые видел операционную в таком ракурсе — в стекле многоглазой лампы отражалось моё обнажённое тело с раскинутыми

на подлокотники руками, — и я ощутил себя по-детски маленьким и беспомощным, особенно рядом с большими и громогласными сёстрами, которые, смеясь и переключаясь, ходили вокруг стола. “Славные бабы!” — последнее, что мелькнуло перед тем, как я исчез в тёплой ласковой тьме...

Пришёл в сознание я уже в реанимации — и это возвращение в мир тоже было прекрасным. Казалось, я лежу в толще тёплой воды и вижу всё сквозь её зыбкий слой — наверху всё плывёт и двойится, — и могу по собственному желанию то подвсплывать (есть такой термин у подводников) и почти возвращаться в реальность, то вновь погружаться в тёплые сумерки предбытия. Думаю, это и было той самой нирваной, к которой стремятся буддисты, — зависанием в некоем зазоре между жизнью и смертью, состоянием, когда меня в мире ещё как бы нет, но я в то же время уже как бы есть.

Блаженное состояние! Тихая, незамутнённая радость существования наполняла душу, но груз и тяготы мира, его суета и тревога ещё не коснулись меня. Я словно скользил по касательной к жизни и смерти, я плыл между двух берегов, выбирая, к какому причалить, и понимая, что выбор, каков бы он ни был, неизбежно меня обеднит, потому что нет ничего прекраснее такого свободного и безостановочного скольжения...

Но нирвана на то и нирвана, что она ускользает от слов и от мыслей, от чувств и предчувствий; там, где она, вряд ли встретишь привычные формы пространства и времени. Я и думать не думал, что больная спина, — которая некогда так досаждала и мучила, — станет мостом к одному из важнейших открытий. Благодаря ей я узнал, что между жизнью и смертью существует не просто граница, но есть некий зазор, пребыванье в котором наполнено радостью жизни — и полным отсутствием смертного страха.

Спирт

Спросите, пил ли я чистый спирт? Ну, ещё бы: для молодого хирурга это своего рода инициация, проверка того, на что он способен. К тому же в те времена, когда я начинал, и спирта у медиков водилось вволю, и относились к нему как-то запросто. Больше того: на непьющих смотрели неодобрительно. Говорили: “Кто не пьёт — тот стучит”. Да и автомобилями тогда почти ни у кого не было, поэтому отговорка: “Я за рулём”, — не работала.

Медицинский спирт тех времён пах не только самим же собой, но ещё и резиной — от пробки, которой был заткнут флакон. Разливали его обычно по пластиковым мерным стаканчикам — и так, чтоб хватило как раз на глоток.

— Ты пей “с проводничком”, — советовали доктора, опытные не только в хирургии, но и в распитии спирта.

— Как это? — спрашивал ты.

— А вот так: учись, салага!

И старший товарищ показывал: сначала делал глоток воды, затем — без промедления, пока глотка смочена, — швырял в неё обжигающий спирт и запивал снова водой.

Да, “с проводничком” пить легче, но всё равно казалось, что тебе в горло вбили огненный кол. И опьянение, что наступало от спирта, было резким и грубым. Ты испытывал не размягчение и умирление, как после стакана вина, а напряжённую собранность и готовность ко всему, чему угодно. Взгляд делался цепким, движения — решительными, голос — громким, характер — не терпящим возражений. Теперь-то ты понимал, почему бойцам перед атакой выдавали “наркомовские сто грамм”: ты и сам после пары хороших глотков бесстрашно поднялся б в штывки.

Но в штывковую атаку ходить мне не доводилось, как, к счастью, не доводилось и оперировать навеселе. Словно и впрямь некий ангел-хранитель витал над мной и над больными: за годы работы как-то не было случая, чтобы распитие спирта случилось перед операцией. Нет, если мы и выпивали, то в конце рабочего дня, рассевшись за шатким столом в ординаторской. Закуска бывала случайной и скудной (иногда её не было вовсе); чашки,

из которых мы пили воду и спирт, были разномастными и разнокалиберными; и никакого порядка и стройности не наблюдалось в наших случайных застольях. Один вставал и уходил, другой присаживался на его место, чтобы вскорости тоже встать и уйти; разговор шёл урывками, то и дело перебываясь и меняя направление. Забегали сёстры что-то спросить или сообщить результаты анализов, — и порой тоже ненадолго присаживались за наш стол; иногда заглядывали больные, но, увидев дым коромыслом и услышав нестройный гул голосов, испуганно притворяли неосторожно открытую дверь.

А ты, захмелевший, сидя посреди этой неразберихи, восхищался сложностью и полнотой того мира больницы, в котором тебе выпало жить. Ты себя ощущал словно в потоке — да, порой мутном и бурном, несущемся беспорядочно и торопливо, — но зато отдающем тебе часть своей жизненной силы.

И нередко во время этих застолий наступал эффект отстранения. Какой-то частью ума и души ты ещё был погружён во всю эту суету-беготню, что кипела вокруг, а отчасти смотрел на всё уже как бы со стороны. Спирт, как ракетное топливо, приподнимал тебя над реальностью и выводил на орбиту, с которой ты мог наблюдать происходящее, уже будучи не всецело в него погружённым, но способным и на отстранённое созерцание. Недаром латинское *spiritus* означает “дух”; а дух и есть то, что уже не всецело зависит от конкретно-материального, а способно над ним испариться.

Тем, кому доводилось пить чистый спирт (то есть большинству моих сверстников-медиков), знаком и ещё один, отдалённый во времени интересный эффект. Стоит наутро, в состоянии похмельного “сушняка”, выпить кружку воды, как опять начинаешь хмелеть. То есть действие спирта распространяется даже на воду и заряжает её небывалыми ранее свойствами. Вот что делает *spiritus*, этот жидкий огонь, тот, которым мы грелись когда-то, который кого-то из нас опалил, но без которого не вспоминается молодость — и хирургия.

Суета

Один из наших профессоров хирургии говаривал: “Запомните, юноши: мужчину губит не работа, а суета”.

Уж если в обычной жизни её, суеты, предостаточно, то тем более хватает её в больнице. Порой кажется, все только и делают, что суетятся: куда-то бегут, второпях разговаривают по телефону, на ходу бросают реплики больным, пытающимся что-то спросить (а смысл этих реплик: “Отвяжись — сейчас не до тебя!”), спешно перелистывают истории болезней, пытаясь найти нужный анализ, а пока ищут, забывают о том, что искали, потому что будут отвлечены или больным, заглянувшим в дверь, или вопросом коллеги.

Даже и непонятно, кто и зачем задаёт такой бешеный темп работы и жизни? Умом понимаешь, что это нехорошо, что надо бы остановиться и делать всё вдумчиво, основательно и неторопливо, — ведь мы занимаемся вовсе не пустяками, — но трудно, почти невозможно жить, говорить, думать медленнее, чем это делают все, кто тебя окружает, трудно не разделить с больницей её суету. Тебя словно подхватывает потоком — несёт, крутит, бьёт о подводные камни, — и думаешь только о том, как бы держать голову на поверхности и не нахлебаться воды. И скоро тебя самого так заводит и возбуждает эта больничная гонка, что в ином ритме ты уже не можешь существовать. Тебя раздражает и злит уже не сама суета, а те задержки и паузы, что время от времени случаются в ней.

Вот тебе нужно, скажем, подняться в реанимацию или операционную, — а они расположены на шестом и седьмом этажах, — и ты нетерпеливо хлопаешь по кнопке вызова лифта. Она загорается красным, но лифта всё нет и нет: видно, его перехватывают такие же торопыги, как ты. Ждёшь, нетерпеливо переминаясь, пять, десять, потом — о ужас! — целых пятнадцать секунд и, не выдержав мучительного бездействия, пускаешься бежать вверх по лестнице, только во время этого бега совпадая с лихорадочным ритмом больницы.

Вы спросите: разве можно так жить? Разве можно день за днём и год за годом проводить в изнуряющей, иссушающей, губящей нас суете — причём той, что не может не сказываться и на больных, которых мы лечим? Разумеется, нет; и то, что мы в эту суету неизбежно погружены, есть не просто психологическая проблема для многих медиков, но беда, угрожающая и медицине, и всей нашей жизни.

Ещё слава богу, что есть операционная и операции, во время которых вся эта “жизни мышья беготня”, как правило, отступает. Да, это может показаться странным, но самое неторопливо-спокойное место в больнице — операционная. Операция, как и служение музам, не терпит суеты, но о покое, который нередко приходит к оперирующему хирургу, я рассказывал отдельно. А суета — она, конечно, ужасна. Её зловерные свойства лучше других понимали наставники, учившие нас хирургии и жизни, — поэтому и боролись с ней, как могли. Помню, один из старых заведующих — измождённый, худой седовласый хирург — увидел, как доктор его отделения понёсся по коридору на крик медсестры о помощи (в палате что-то случилось с больным). Так вот, заведующий поймал за локоть бегущего доктора, остановил его и строго сказал:

— Слава, никогда никуда не бегай! Пять секунд никого не спасут, а тебе будет время подумать. Иди не спеша!

Не раз я потом вспоминал это наставление Михаила Ивановича и нередко о нём рассказывал молодёжи, хотя сам, увы, далеко не всегда следовал мудрым советам.

Но сейчас, на закате своей хирургической жизни, я всё же хочу внести посильный вклад в борьбу с суетой, этим вечным врагом человека. И я призываю медицинскую молодёжь: ради бога, не торопитесь! В любой медицинской работе, — а уж тем более в работе хирурга! — надо следовать правилу, существующему для людей, терпящих бедствие, — путешественников, охотников и рыбаков. Оно гласит: “Не спеши, не рискуй и думай, что делаешь”. Я написал бы эти слова на стене каждой ординаторской и операционной, поскольку на собственном опыте знаю, как дорого стоят эти простые советы и во что обходится их нарушение.

Саму суету вам, конечно, не победить, — похоже, она является таким же неизбежным условием нашего существования, как причинность, пространство и время. Но, по крайней мере, вы сможете хоть иногда придержать суету и не будете ей подчиняться всецело. А это значит, что вы не станете всю свою жизнь изо дня в день плыть в сумбурном потоке, а будете хоть иногда выбираться на берег, чтобы обсохнуть и отдохнуть, перед тем как снова нырнуть в торопливо бурлящие воды.

Тело

Помните, у Мандельштама: “Дано мне тело — что мне делать с ним, таким единым и таким моим?”

И в самом деле: что делать? Этот вопрос встаёт перед нами ежедневно и чуть ли не ежеминутно. Тело всегда, днём и ночью, требует своего: то — как добрый приятель, то — как властный хозяин. Желание поесть и поспать, отдохнуть, предаться плотским утехам, желание, в конце концов, сделать вдох и выдох — это всё желания нашего тела, которое иногда нехотя подчиняется нам, но чаще проявляет неукротимое своеволие.

Больше того: когда мы произносим, вслух или мысленно, слова: “Я хочу...” — чьё желание мы выражаем? Порой невозможно понять, разделить, кто же именно хочет — я сам или та оболочка из кожи, фасций и мышц, в которую я заключён?

С одной стороны, то неуловимое “я”, которое каждый из нас в себе чувствует и сознаёт, не сводится только к телу; но, с другой стороны, разделить нас с ним почти невозможно. И хочешь, не хочешь, но каждому приходится вступать в непростые отношения с собственным телом. Можно, конечно, во всём ему подчиниться, следовать его воле и прихоти или даже подобострастно служить ему, как верный раб служит своему господину. И что греха

таить, каждый из нас бывал таким верным рабом: кто не заискивал перед собственным телом и не старался ему угодить? И, казалось бы, в этом служении нет ничего постыдного: что же ещё нам любить и лелеять, как не то, что нам ближе всего и что можно отнять у нас только с жизнью?

Но, во-первых, раболепное подчинение телу и исполнение всех его прихотей вредит, прежде всего, ему самому. Все мы знаем, во что превращаются наши тела, если им во всем потакать, если не ограничивать их ни в еде, ни в питье и давать им полную волю лениться. Очень скоро наше поджарое и мускулистое тело, которое не стыдно при случае обнажить на пляже или стадионе, превращается в жирную, потную и одышливую обузу. Недаром порой само тело как будто просит нас: “Не давай же мне воли, держи меня в рамках, в узде — иначе и мне, и тебе будет плохо”. А во-вторых, наше тело, как за ним ни ухаживай, всё-таки бrenно. Время, старость и смерть никто ещё не победил — в лучшем случае чуть отодвинул, — и самое безупречное, сильное и неутомимое тело всё равно рано или поздно станет прахом и пищей могильных червей. Поэтому слишком заботиться о собственном теле, посвящать ему все свои силы и мысли, время и жизнь — то же самое, что вкладывать все свои деньги в банк, про который точно известно: этот банк в недалёком будущем лопнет.

Так что же — следует относиться к телу с презрением? Мучить его, истязать, унижать, чтобы оно не смело и пикнуть, не смело и думать о собственной выгоде и интересе? Существует и такой взгляд; и как есть гедонисты, что превращают тело в кумира, так есть и аскеты, для которых цель жизни состоит в обуздании и подчинении тела.

Но бог с ними, аскетами и гедонистами: мы с вами, надеюсь, находимся где-то меж ними, и нам нужно пройти некой средней тропой. Нам нужно не впасть в поклонение телу, но и не опускаться до прямой вражды с ним. Всё же тело есть дар, вручённый нам свыше. Вот как бы вы сами отнеслись к тому, кто нарочно испортил или на ваших глазах выбросил в мусорное ведро подарок, который вы ему с любовью вручили?

Мне кажется очень удачным сравнение тела с одеждой. Стали бы вы уважать человека, который к собственным брюкам или пиджаку относится с трепетом, переходящим в благоговение: сдувает с них пылинки и боится лишний раз сесть, чтобы не измять и не испачкать костюм? А как бы вы посмотрели на того, кто, напротив, изгваздал всю одежду в грязи, изодрал её в клочья и думать не думает о том, чтоб привести её в божеский вид? Вряд ли бы вы и к нему отнеслись хорошо: ведь такая небрежность оскорбительна, прежде всего, для того, кто изготовил и подарил неряхе одежду. Вот и с телом хорошо бы держаться в отношениях уважительно-доброжелательных, не переходящих ни в унижительное поклонение, ни в презрительное высокомерие. Тело, как и одежду, стоит держать в порядке, чинить, когда это необходимо, — и, главное, быть благодарным ему за ту защиту от бед и напастей, за ту возможность существовать в этом мире, какую оно нам обеспечивает.

Я потому с таким увлечением рассуждаю о человеческом теле, что посвятил ему почти всю свою жизнь; правда, служил я не только собственному, но и тысячам чужих тел. Эта служба длится почти сорок лет; как же теперь не задуматься о её смысле? И как мириться с печальной мыслью, что все, кого мы лечим и оперируем, в конце концов умирают? Утешает лишь то, что мне кажется: лечил я людей не только ради их тел, но и ради чего-то другого. Как раз с телами я обращался достаточно бесцеремонно: протыкал их иглами, резал скальпелями и порой удалял части тел, угрожающие жизни больного. Это было не столько заботой о теле, сколько напряжённой и драматической борьбой с ним — за возможность продлить земное существование человека. А само тело, случалось, этой возможности сопротивлялось: невзирая на наши, хирургов, потуги, оно всё же упрямо двигалось к смерти.

Получается, что с нею-то, смертью, ты и боролся всю свою жизнь. А тело, лежавшее перед тобой на столе или койке, было одновременно и полем сражения, и главным трофеем в этой борьбе. И ведь иногда, после долгих усилий, нам удавалось-таки удержать очередное тело на берегу, а угрюмый

гребец-перевозчик отчаливал с пустой лодкой, так и не получив ожидаемой драхмы за переправу...

Узел

Студента-медика, который решил стать хирургом, узнать легко: он всюду, где только возможно, вяжет узлы. Нити свисают со спинки его кровати и с перекладки стула, с рукояти портфеля или сумки, а в его кармане всегда есть катушка, с которой он время от времени сматывает очередные полметра для тренировки.

И ему кажется: от того, насколько сноровисто, быстро и ловко он может вязать узлы, зависит его будущая жизнь. Это уж после, поработав какое-то время, он поймёт, что дело не только в узлах, а во многом и многом другом; но, разумеется, и без узлов не бывает хирургической операции. Некоторые умельцы доходили до того, что ухитрялись накинуть и затянуть узел одной рукой, а уж это, как вы понимаете, фигура высшего пилотажа. Я вот тоже учился этому фокусу, даже показывал его девушкам, но в реальной работе, конечно, не применял. Всё же живой человек — не тренажёр для отработки навыков и для самоутверждения хирурга.

А в студенчестве мы узлами прямо-таки бредили: возможно, и ночью во сне наши пальцы перебирали воображаемые лигатуры. И порой мы ревниво спрашивали друг друга: “А вот так ты умеешь? А так — слабо?” — и с гордостью показывали приятелям то, чему недавно выучились сами. Чудесное было время! Всё было как-то яснее и проще: люди тогда, например, делились на тех, кто умеет вязать узлы, — и кто не умеет. А потом, уже к последним курсам, деление совершалось по иному признаку: сделал ли ты уже самостоятельную аппендэктомия — или до сих пор ходишь только ассистировать? И я сейчас вижу, до чего же хорош был тот юный спортивный азарт, та жадность и ревность к работе, что наполняла многих из нас: не будь этой тяги, вряд ли бы мы сумели войти в непростой хирургический мир и освоиться в нём.

Когда из студентов мы стали врачами, то первым критерием, по которому наши наставники — и, кстати, операционные сёстры — оценивали, на что мы способны, тоже были узлы. Помоешься, бывало, на ассистенцию, отстоишь часа три, а потом, снимая халат в предоперационной, с гордостью услышишь, как старый хирург говорит о тебе медсестре:

— Ну что, парень вроде толковый — узлы вязать может...

А мысли мы на операции часто, пропадали в больнице и дни, и ночи, и помню, как указательные пальцы были буквально изрезаны лигатурами, что приходилось усердно затягивать. Даже перчатки тогда не спасали — и боль от порезов на пальцах осталась одним из отчётливых воспоминаний хирургической юности. Потом, по мере того как мы матерели и у нас появились собственные ассистенты и даже ученики, вязать узлы нам приходилось всё реже. Мы за это брались в самые серьёзные моменты: вязали, как говорится, “ответственные” узлы. Это были или узлы при наложении анастомозов, где нельзя было ни распустить лигатур, ни затянуть их слишком сильно, или узлы на крупных сосудах, которые, если (не дай бог!) распустятся — мало не покажется никому.

А потом, с развитием лапароскопии, вязать узлы стали уже не пальцы хирурга, а зажимы, введённые через гильзы-порты внутрь тела больного. И это, конечно, неузнаваемо изменило все ощущения — и зрительные, и тактильные — при хирургической операции. Больной от тебя как-то враз отдалился: ты перестал держать в пальцах те нити — одна из них была красной от крови, а вторая пока оставалась нетронутым-белой, — которые словно и соединяли тебя с ним.

Лично я к вязанию узлов зажимами и вообще к лапароскопии так и не привык. Нет, я, конечно, старался осваивать модные новшества и даже съездил в Казань, где прошёл начальный курс обучения лапароскопической технике. И сама Казань, и учёба в ней мне очень понравились; но изменить своей первой любви — традиционному вязанию узлов вручную — я так и не

смог. Да и поздновато, честно сказать, мне было переучиваться. На этот счёт есть американская поговорка: “Кто учится играть на банджо в старости — концерты будет давать уже на том свете”. Вот я и не стал осваивать игру на банджо и оставил модную лапароскопическую хирургию в покое.

Тем большее наслаждение я теперь получаю от обыкновенных — уже архаичных — узлов. Какое, действительно, счастье: взять в руку иглодержатель, — а сестры старой закалки умеют как-то особенно ловко, с прихлопом, впечатать его тебе в ладонь, словно подбадривая: “Давай, доктор, действуй!” — и, прицелившись, погрузить тонкий серпик иглы в податливые ткани. Вот острый кончик иглы всплыл по другую сторону раны, блеснул в лучах лампы, и ты, хрустнув замком иглодержателя, поймал этот игольчатый блеск. Потом, вывернув иглу, протащил лигатуру сквозь ткани — отчего она вмиг покраснела — и, отложив инструмент, взялся пальцами за концы хирургической нити.

Понятно, что вязать узел на операции много сложнее, чем это было в студенчестве, когда мы оплетали нитками перекладчины стульев и спинки кроватей. Большой дышит, и скользкие ткани его выползают из-под крючков; перчатки порою тебе велики, к тому же испачканы кровью и жиром, а влажные лигатуры лишнут к резине перчаток. Но когда ты преодолел все эти неудобства, накинуд узел, упёрся в него указательным пальцем и послал узел вглубь раны, раздаётся то самое поскрипывание лигатуры, услышать которое — наслаждение для хирурга. Ведь когда узел спустился к разрезу, когда ткани сблизилась и аккуратно сомкнулись, а ты, ещё несколько раз потянув лигатуру, сделал узел потуже (пока он не перестал отзываться хрустом на осторожные эти потяги), — тогда во всем мире словно бы сделалось больше порядка и смысла, и он, этот мир, стал прочнее — благодаря твоему узлу.

Утро больницы

О том, как трудна ночь больницы, я уже написал; воздадим теперь должное утру. А посмотреть на больничное утро лучше, пожалуй, глазами пациента: ведь врач, да ещё на дежурстве, бывает замотан настолько, что ему не до времени суток и ни до чего вообще, кроме своей бесконечной работы. Но и пациентам ночью бывает несладко, и они на своём опыте знают, до чего же верна поговорка испанцев: “День бел, ночь — черна”. Я и сам, хоть играл в основном роль врача, но несколько раз оказывался и в роли больного; и мне приходилось встречать наступающий день или лёжа в палате, или стоя возле окна, за которым светало так медленно и неохотно, как будто не только я сам, но и весь окружающий мир ослаблен болезнью.

Всего памятней зимние утра, когда отделение, где я лежал, просыпалось намного раньше, чем мир за окном. Здесь, в больнице, первым признаком наступающего дня были голоса и шаги медсестёр, которые начинали выполнять утренние назначения: делать уколы, разносить по палатам таблетки, термометры и банки для сбора мочи и вести на бритвё животов тех больных, кому сегодня назначена операция. Голоса медсестер были осипшими — они сами недавно проснулись, — но все равно слышать их было отрадно. Ведь пока ты коротал непростую больничную ночь, пока мучился болью, бессонницей и тоской одиночества, начинало казаться, что в мире уже ничего больше нет, кроме тебя самого и твоей изнурительной боли. Ночь, как кислота, растворила весь мир, превратив его в нечто бесформенно-вязкое, но при этом мучительно-тесное; а то последнее, что ещё оставалось, — ты сам и твоё одинокое тело, — тоже вот-вот должно было исчезнуть под натиском ночи и тьмы...

Но как в деревне хриплые голоса петухов поутру гонят разную нечисть, приветствуя наступающий день, так голоса медсестёр объявляли: ещё поживём! Они словно тебе возвращали весь мир — тот, который совсем уж готов был исчезнуть в ночи; в этих утренних сестринских голосах, осипших и как бы помятых спросонья, дышало столько энергии жизни, что они действовали лучше любых лекарств: звенели радостной вестью о том, что ночь отступила и жизнь продолжается.

Вот на голоса сестёр ты, жмурясь, и выходил из тёмной палаты. Если тебе полагались уколы, хромал в процедурную комнату, ждал своей очереди — и смиренно спускал штаны перед сестрой. Затем, освежённый уколом, продолжал путь по больничному коридору. Подробно описывать посещение ватерклозета я, пожалуй, не буду; хотя в завывании труб, в шуме сливных бачков и в шипении тугих струй воды тоже есть что-то бодрящее и жизнеутверждающее.

Справив нужду и умывшись, ты шёл постоять у окна. Больничный двор всплывал из потёмок: всё различимее делались одноэтажное здание морга, длинный корпус прачечной, плоская крыша больничного гаража и мусорные баки за ним, и дорожки, по которым к больнице шагали люди. Шла на работу новая смена, и ты прямо-таки ощущал, как в больницу вместе с бодро шагающими людьми вливаются новые силы и свежая жизнь. Этот вливающийся с разных сторон и проникавший в разные двери поток жизни был главным, что люди несли в больницу, — был тем, чем они в предстоящие сутки будут делиться с больными. Мысль об обмене энергией тебя так увлекала, что ты долго стоял у окна, наблюдая всё прибывавший людской поток, в котором шагали врачи и медсёстры, буфетчицы и санитарки, лифтеры, шофёры и прачки. Ты и впрямь чувствовал, как в тебе, изнурённом и слабым, прибавляется сил: их несли люди, которые вовсе об этом не думали, но всё равно укрепляли тебя.

А из больницы шагали те, кто уже отработал. Конечно, они шли по-другому: сверху хорошо была видна понурость их плеч, нерешительность шага — вялость движений, какая приходит вместе с усталостью. Им, отдежурившим ночь, ты был благодарен ещё больше: ведь сотни больных могли, как и ты, стоять сейчас возле окна, прохаживаться по коридорам или даже перешучиваться с медсёстрами в том числе и потому, что дежурная смена отдала вам часть своей жизни.

Ты, может быть, и ещё постоял бы возле окна — уж очень нечасто в больнице тебе выпадала роль праздного наблюдателя, — но в дальнем конце коридора, у лифта, слышался лягз дверей, стук колёс — и до тебя доносился сытный запах рисовой каши. Да, то гремела тележка буфетчицы, и близился завтрак, апофеоз больничного утра. Ведь до него, завтрака, ещё нужно было дожить, и не всем, кто ночевал здесь вместе с тобой, выпадала такая удача. Вон тот, к примеру, кто лежал под простыней на холодной каталке, в закутке возле лифта — на его голой лодыжке виднелась бирка из красной клеенки, — он уже никогда не попросит порцию утренней каши.

Но, как ни странно, присутствие смерти никогда не влияло на мой аппетит. Напротив, я чувствовал: чтобы бороться и жить, мне как раз нужен некий “боезапас”, например, эта горка разваристо-дымного риса, которую буфетчица щедро швырнула половником в мою тарелку.

Шов

В хирургии разных швов много: от самых грубых, применяемых при соединении костей, когда шовным материалом подчас служит проволока, до деликатнейших швов, выполняемых нитями толщиной с паутину. Такие нити и глазом-то не разглядеть, а тем более как взять их пальцами, да ещё сквозь резину перчаток?

Но такие сверхтонкие швы лично мне не знакомы: я работал где-то посередине между травматологами и микрохирургами. А в обычной хирургической клинике — такой, как наша больница, — первейшими мастерами швов являются сосудистые хирурги.

Я бы сам никогда не смог заниматься сосудистой хирургией — именно потому, что швы в ней кажутся бесконечными. Ведь что такое, к примеру, положить венозную заплату на участок длинного сужения какой-нибудь бедренной артерии? Это порой означает до полуметра непрерывного сосудистого шва — причем шва тончайшего, медленно-мелкого, где каждый шаг измеряется даже не миллиметрами, а их долями. Оттого-то сосудистые операции длятся часами: ну как, скажите, молодому нетерпеливому парню (каким я некогда был)

выдержать это занудство? Нет уж, думал я, нам подавай что-нибудь побыстрее да попроще: убрать камень, вырезать опухоль, вставить дренаж.

К тому же усилия сосудистого хирурга порой всё равно заканчиваются ампутацией, и кровь и пот, что были пролиты, — как и непростые сантиметры сосудистых швов, — в итоге оказываются напрасны. Но хоть сам я и не способен к таким трудовым подвигам (а может быть, как раз в силу своей неспособности), к сосудистым хирургам я относился и отношусь с великим почтением. А один из тех, кого я считаю своими учителями, — Михаил Ильич Абрамовский — был именно сосудистым хирургом. И вот с ним, с доктором Абрамовским, — точнее, с операцией на повреждённой артерии, которую он выполнял глухой ночью, а я ему ассистировал, — связано важное для меня воспоминание.

Дело в том, что я, тогда молодой доктор, уже занимался литературой и даже написал повесть, — как нетрудно догадаться, о хирурге. Мой герой, которого звали Бурцев (почему-то хотелось дать ему такую, бурчливо-ворчливую фамилию) оперировал, уже на исходе ночи и собственных сил, уголовного с ножевым ранением бедренной артерии. С трудом и не сразу моему герою удалось ушить рану артерии, но оказалось, что в области шва образовался изгиб сосуда — и была высока вероятность тромбоза в этом месте. Девять из десяти хирургов, пожалуй, махнули бы рукой — жизнь спасена, кровоток восстановлен — чего ещё требовать от измученного врача в три часа ночи? — но мне было важно показать, что доктор Бурцев — человек и хирург, каких мало. И вот я придумал, что он, несмотря на усталость и ночь, решает иссечь повреждённый участок и выполнить сосудистый анастомоз, — а это ещё, как минимум, час кропотливой работы. И ассистенты, и операционная медсестра возмущались и даже спорили, но доктор Бурцев остался непреклонен и начал, стежок за стежком, класть сосудистый шов.

Все, о чём я сейчас написал, я придумал, а в реальности с подобным не сталкивался никогда. И даже немного переживал: а не перегнул ли я палку, не отступил ли от истины жизни?

И вот, когда повесть была уже завершена и даже напечатана в книжке, я моюсь на ассистенцию доктору Абрамовскому. Глухая ночь — завершается непростое дежурство, — и оперируем мы как раз ранение бедренной артерии. Да и раненый наш — чуть ли не уголовник; во всяком случае, татуировку на его животе я смутно помню. И вот — я не верю глазам! — на операции происходит всё то же самое, что я когда-то придумал и о чём потом написал... И артерия оказалась изогнута там, где лёг шов, и доктор, подумав, со вздохом сказал: “Нет, так оставлять не годится — надо всё переделать”; и даже измученная операционная сестра воскликнула с тем же отчаянием: “Да что же нам, жизни лишаться из-за этого урки?”

И вот тогда, сквозь усталость и наплывающий сон — я всё боялся ослабить натяжение шовной нити и усердно сушил рану тупфером — я сделал одно из важнейших открытий. Я осознал: а ведь слово и вправду влияет на жизнь, и то, что написано точно, — оно непременно сбывается. Жизнь идёт как бы вслед за текстом, вновь и вновь подтверждая ту мысль, какой открывается Евангелие от Иоанна.

Шприц

Прежний многоцветный шприц назывался “Рекорд”, и он являлся одним из символов медицины наряду со стетоскопом и белым халатом. Устройство “Рекорда” было далеко не простым. Тут и стеклянная трубка с делениями — ёмкость, куда набиралось лекарство, — и металлическая окантовка ее торцов, и разборный штوك-поршень с уплотнителем и упором для пальца, и наконечник, к которому подсоединялась игла, и, наконец, сама игла с канюлей и косо срезанным кончиком, который так часто тупился или загибался, что втыкание, а затем извлечение иглы становилось мучением для медсестры и пациента.

Недаром на языке наркоманов тот шприц назывался “машинка”: это действительно был непростой механизм, нередко выходивший из строя

и требовавший деликатного и умелого обращения. Стерилизация шприцев с иглками была непременно частью работы медицинской сестры. В любом отделении, в каждой из процедурных комнат, на газовой или электрической плитке всегда стояла блестящая коробка стерилизатора, которая негромко побулькивала, пока в ней кипятились шприцы. А в сияющих гранях стерилизатора отражалось все, что происходило вокруг: мелькали халаты и лица сестёр, а иногда тряслись заголённые ягодички больных и качались иголки, воткнутые в них.

Понятное дело, шприцев всегда не хватало, особенно по выходным. Стерилизатор, случалось, кипел непрерывно, но всё равно приходилось шприцы экономить. Я и сам, когда работал медбратом, порой вводил препарат из одного шприца сразу нескольким пациентам, меняя только иголки. А что было делать? Никакая аптека не успевала восполнять убыль шприцев, которые так и норовили выскользнуть из пальцев и со звоном разбиться на кафеле пола.

Мне шприц марки “Рекорд” дорог тем, что он — стоит только представить, как поршень, туго поскрипывая, движется внутри его стеклянного тела, — воскрешает и всё остальное, что связано с юностью, проведённой в больнице. Когда я работал медбратом, рассвет чаще всего заставал меня в процедурной комнате за разведением лекарств и раскладыванием ещё тёплых шприцев по блестящей и влажной от пара крышке стерилизатора. Звякали иглы и поршни, спиртовой запах ватных тампонов остро бил в ноздри — и всё это, взятое вместе, наполняло тебя той особенной бодростью, что бывает лишь на рассвете — и жизни, и нового дня.

А когда ты, неся перед собой крышку стерилизатора с полдюжиной набранных шприцев, входил в женскую, скажем, палату — то все шесть женщин при твоём появлении дружно отбрасывали одеяла и, как по команде, поворачивались ничком, покорно подставляя тебе свои обнажённые ягодички. “Эх, — думал ты, — вот бы так было всегда! Как зашёл к женщине, только взглянул на неё, а она уже и твоя...” И ты ещё больше ценил шприц “Рекорд”, ибо он наделял тебя столь же волшебною властью над женщинами, какой обладали разве лишь султаны в восточных гаремах.

Но шприц “Рекорд” имел сложный характер: кроме того, что он делал тебя повелителем женщин, он мог и огрызнуться, показать зубы и в прямом смысле слова укусить за руку. Именно из-за “Рекорда” я однажды чуть не остался без пальца. Это случилось, когда я уже стал хирургом и обрабатывал в перевязочной рану предплечья. Чтобы осмотреть рану и иссечь загрязнённые ткани, надо было, естественно, раненого обезболить. Я взял в руки старый добрый “Рекорд” ёмкостью двадцать “кубов”, набрал в него раствор новокаина и стал окружать рану “лимонной коркой”. Так называют эффект, когда при внутривенном тугом нагнетании раствора кожа действительно напоминает пористую лимонную корку. Давить на поршень шприца приходилось изо всех сил — моя рука аж дрожала от напряжения, — и вдруг “Рекорд” лопнул, распавшись на несколько острых стекляшек! В первые секунды сильной боли я не ощутил, а увидел, как рана быстро наполнилась кровью — и не сразу сообразил, что это кровь уже не больного, а моя собственная. Вот так за одно мгновение благодаря “Рекорду” я из доктора сам стал пациентом. Оказалось, что у меня, кроме артерии, рассечено сухожилие разгибателя третьего пальца правой кисти — одного из самых “рабочих” пальцев хирурга. Так что мой хирургический путь мог прерваться в самом начале; но, слава богу, сухожилие зажило без последствий, и палец остался рабочим.

Но моя любовь к шприцам “Рекорд” нисколько не ослабела после этого случая. Так, бывает, продолжаешь любить даже ту женщину, которая тебе изменила и причинила немало боли: потому что любовь неподвластна тому, кого ты полюбил. И когда в обиход вошли одноразовые пластиковые шприцы, — конечно, неизмеримо более удобные и безопасные, — я долго не мог привыкнуть к нововведению. Я не понимал: да как это можно взять и выбросить шприц — целый шприц, со всем его сложным устройством — после одного всего-навсего укола? И потом я в глубине души чувствовал, что эти

одноразовые пластиковые предметы, — которых, помимо шприцев, с каждым днём становилось всё больше — угрожают всему тому миру, в котором я вырос и который успел полюбить. “Что, если, — думал я, швыряя в мусорное ведро очередной использованный шприц, — что, если и мы, люди со всей нашей памятью, жизнью, любовью, станем такими же одноразовыми — как и предметы, которые нас окружают?”

Эндоскопия

Как ни ругай научно-технический прогресс и его последствия — нельзя отрицать того, что он меняет мир, причём не всегда в худшую сторону. А уж за его, прогресса, достижения в медицине можно простить ему многое. И поражает скорость тех перемен, что происходят буквально на наших глазах. Вот я не такой уж глубокий старик и работаю в медицине всего-то немногим более тридцати лет: срок по историческим меркам ничтожный. Но трудно поверить, что я начинал в медицине, во всех смыслах слова, прошлого века. У нас не было ни ультразвука со всеми его удивительными возможностями, ни компьютерной томографии, ни магнитного резонанса — не было ничего из того, что сейчас является столь же рутинно-обыденным, как измерение давления или температуры.

А вот то, в чём прогресс в медицине проявился заметнее всего, — это, пожалуй, эндоскопия. Буквально этот термин означает “взгляд внутрь”. Справедливости ради надо сказать, что попытки заглянуть внутрь самого себя человек предпринимал давно, и даже с некоторым успехом. Скажем, первая цистоскопия — осмотр мочевого пузыря — была описана ещё в 1806 году. Но что это был за удивительный инструмент: первый в истории цистоскоп! Задача ведь заключалась даже не столько в том, чтобы ввести внутрь человека трубку, в которую можно смотреть, сколько в том, чтобы ввести внутрь луч света — иначе что можно увидеть в потёмках? И была придумана система зеркал, которая направляла в мочевой пузырь лучи света от простой свечи, что горела за ухом врача, прижавшего глазом к цистоскопической трубке. Воистину это было устройство не для исцеления, а, скорее, для пытки; и если уж ставить памятник первому эндоскопу — это должен быть, прежде всего, памятник тому пациенту, который выдержал (или, может, не выдержал? — мне о том ничего не известно) первую процедуру цистоскопии.

Я застал ещё цистоскопы завода “Красногвардеец”, осветительная система которых не очень-то далеко ушла от свечи первого цистоскопа. Источником света в “Красногвардейцах” служила обыкновенная лампа накаливания, которая навинчивалась на торец цистоскопа. Эта лампа перегорала так часто, что исследование превращалось в сущую муку. Только-только введёшь под стоны пациента инструмент в мочевой пузырь, только-только блеснёт там, внутри, свет и озарит складки слизистой, как лампочка гаснет, всё тонет во мраке, и приходится извлекать инструмент, менять лампу и затем повторять эту пыточную процедуру.

А каково нам, урологам, было сгибаться в три погибели, чуть ли не утыкаясь лбом в промежность больных, и долго разглядывать тайны их мочевых пузырей? По сравнению с цистоскопиями прошлого века нынешние исследования — просто забава, что-то вроде похода в кино. И сами цистоскопы деликатнее, и обезболиваем пациентов мы куда лучше (терпеть и стонать, как когда-то, им теперь не приходится), и освещение много надёжнее (волоконный оптический световод — это вам не лампочка “Красногвардейца”!), и, главное, изображение теперь выводится на большой экран, и не надо подслеповато щуриться, прижимая глаз к крошечному окуляру. Даже сам пациент, если хочет, может взглянуть, как он выглядит изнутри. В конце концов, одна из важнейших задач нашей жизни, — познать самого себя. А как познать, если не посмотреть, если не заглянуть хитроумным прибором внутрь, в глубину — под покровы и оболочки, скрывающие нас от самих же себя? Конечно, я понимаю, что возможности эндоскопии ограничены только телом, которым мы с вами вовсе не ограничены, но ведь и тело является нашей неотъемлемой частью.

Эндоскопия ценна ещё и тем, что она показывает нам недоступную ранее красоту. Вот, например, входишь в почку, — пройдя ли инструментом по изгибам интимных путей или проделав небольшое отверстие в области поясницы, — и если хотя бы на пару секунд отрешиться от стоящей перед тобой задачи (а это обыкновенно поиски камня), можно почувствовать прямо-таки эстетическое наслаждение, какое и в залах музеев тебя посещает нечасто. Когда оптика инструмента, — а с ней вместе и ты, — скользит над нежною слизистой в паутине едва различимых сосудов (её перламутрово-розовый блеск даже трудно с чем-либо сравнить), когда вашему взгляду открываются новые полости и закоулки (которых не видел ещё ни один человеческий глаз!), когда красноватые сгустки крови или белёсые нити фибрина проплывают пред вами наподобие диковинных рыб, то порой себе кажешься кем-то вроде ныряльщика, что погрузился в глубокие воды, полные разнообразных красот и чудес. Наконец, где-то там, на краю поля зрения, замечаешь искрящийся кристаллический блеск... И, наверное, даже Али-Баба, оказавшись в пещере сокровищ, не был так же обрадован, как рад сейчас ты, увидевший этот сверкающий камень!

Эпикриз

Каждый практикующий врач обыкновенно мрачнеет, услышав слово “эпикриз”, особенно если речь о том, что ему предстоит это самый эпикриз писать. Самый же тягостный из всех эпикризов, — конечно, посмертный. Описывать смерть человека — само по себе не очень приятное дело; к тому же нередко бывает, что за таким печальным финалом стоит — как бы это выразиться поделкатнее? — врачебная недоработка. Где-то ошиблись или задержались с диагнозом, где-то превысили показания к операции, где-то вовремя не догадались позвать консультанта, — словом, лечащий врач не всегда может сказать, что в летальном исходе нет совсем никакой вины медиков. Как не бывает безгрешных людей вообще, так нет и безгрешных врачей; какие-то, хоть небольшие, ошибки мы допускаем всегда.

И вот как прикажете писать посмертный эпикриз, чтобы, с одной стороны, не слишком грешить против совести и истины, а с другой — не слишком уж подставлять и себя, и коллег? Порой подобрать нужные формулировки бывает не проще, чем пройти по лезвию бритвы. Ещё хорошо, что посмертные эпикризы приходится писать далеко не каждый день: большинство больных всё-таки выздоравливает. И вот им — тем, кто поправился и покидает больницу, — выдают на руки выписной эпикриз, или попросту “выписку”.

Готовить выписки — нудное и тошнотворное дело. А тут ещё страховые компании с каждым годом ужесточают правила и штрафуют нас чуть ли не за каждую опечатку, помарку или неточность в истории болезни и в эпикризе, и поэтому главным делом врача давным-давно стало не лечение больных (как думают наивные пациенты), а сидение за клавиатурой компьютера и набивание строк эпикриза. Не слухавлю, сказав: половина, а то и две трети сил, нервов и времени — даже у нас, хирургов — уходит на эту тупую работу. Как в дурном сне, каждый день видишь перед собою всё то же: экран монитора, буквы клавиатуры, лежащую рядом историю — и строки, плывущие на экране. Причём эти строки почти всегда одинаковы: “Поступил... Жалобы на... Обследован... Установлен диагноз... Оперирован... Получал лечение... Состояние при выписке удовлетворительное... Рекомендовано...”

Нередко приходит и мысль: а для того ли я стал хирургом — да и вообще появился на свет, — чтобы превратиться в придаток компьютера? Если так пойдёт дальше, то врачи будут общаться уже не с больными, а исключительно с мониторами и клавиатурой: просто-напросто посмотреть в глаза пациента им будет некогда.

Но повернём эту горькую тему другой стороной. Что остаётся, в конце-то концов, от наших трудов и усилий? Все пациенты, которых мы лечим, рано ли, поздно ли, но умирают. А память о том, что мы делали и как жили, — она, как вы понимаете, угасает вместе с мозгами, которые день за днём всё ближе к старческому склерозу. Выходит, от всего, что было с нами

и нашими пациентами, — от рабочих дней и ночей, от смертей, операций, ошибок, от рек пота и крови, что пролиты нами, от всей этой необозримой и непредставимой по сложности и напряжению жизни — остаются лишь эпикризы, которые мы когда-то писали. Они-то и хранятся в больничных архивах вместе с историями болезней, как минимум, пятьдесят лет; и эти истории большей частью переживают своих персонажей и авторов. Больше того: наше прошлое приобретает именно тот облик и содержание, какое ему придают эпикризы. Узнать, что и как происходило на самом деле, уже по прошествии малого времени будет почти невозможно. И вот этот листок под названием “эпикриз” становится не просто единственным свидетелем того, что совершалось некогда, но и как бы творцом минувшего. Разве не удивительно сознавать, что доктор, который сейчас, в настоящем, печатает осточертевшие ему эпикризы, созидает прошлое, в которое превратится его настоящее в будущем, то есть спустя уже несколько лет? И взгляду будущего это самое прошлое предстанет в единственном свете: в свете слов эпикриза.

А теперь я спрошу самого же себя: что я делаю, сочиняя вот эти страницы? Ведь я, в сущности, пишу эпикриз своей хирургической жизни — и по ходу его написания как бы заново воссоздаю её. И какой уж она, эта жизнь, была на самом-то деле — знаю лишь я да Господь; но моя память слабеет и гаснет, а Бог, как гласит пословица, хоть правду и знает, да не скоро скажет.

Вот и выходит, что моё прошлое останется жить лишь на этих страницах — и оно будет таким, каким я его напишу. Слова, что ты пишешь сейчас, обретают волшебную силу и власть: им подчиняется даже былое. Отчасти оно и возникает в то самое время, когда рука водит пером и на бумагу ложатся слова эпикриза...

Юность в больнице

Когда я и мой друг Алексей впервые переступили порог нашей больницы, мне было всего двадцать два года. И мы оба выглядели так молодо — худые и загорелые, в белых рубашках, с весёлыми лицами, — что главный врач Клеопатра Николаевна Шевченко приняла нас за вчерашних школьников и воскликнула:

— Как же я рада, когда школьные выпускники приходят к нам санитарями! Вас, мальчики, в какое отделение определить?

Когда же мы объяснили, что мы уже доктора и хотим работать хирургами, она сразу к нам охладела: санитары ей были нужнее. Мы с Алексеем потом много раз вспоминали, как нас принимали в больницу, — уже сами не веря тому, что были когда-то столь молодыми. Вот именно юность и позволяла нам жить такой наполненной жизнью, какую даже тридцатилетнему уже было бы выдержать трудно. Мы так часто дежурили и так мало, урывками, спали, что порой даже дома, проснувшись среди ночи, спросонья искали дорогу в приёмное отделение.

А какие у нас тогда были дежурства? В бригаде числилось всего трое хирургов — и это на весь трёхсоттысячный город! Случалось, что мы заходили в операционную в полдень, а выходили уже на рассвете следующего дня. Один за другим поступали аппендициты и ущемлённые грыжи, ножевые ранения и кишечные непроходимости, внематочные беременности или острые холециститы. А поскольку ультразвука и лапароскопии тогда в нашем арсенале не было, мы действовали по принципу: “Не знаешь, что в животе? Открой и посмотри: от лапаротомии ещё никто не умер”.

А ведь кроме дежурств, были ещё и молодые гулянки — коллектив в той больнице сложился на редкость компанейский, — спорт и байдарочные походы, субботники, завершавшиеся непременно пикниками, концерты художественной самодеятельности, — и, конечно же, было то, что называется личной жизнью. Вот как мы могли всё это выдерживать и вовсе не чувствовать ни раздражения, ни изнеможения от работы, а, напротив, каждое утро бодро шагать в больницу, предвкушая ещё один день (или целые сутки) почти непрерывного праздника? Кто нам помогал, кто нас заряжал той энергией

жизни, которая, кажется, возвращалась к нам тем быстрее и изобильнее, чем охотнее мы делились ею со всеми: и с больными, и с молодыми медсёстрами, и друг с другом?

Или нас, молодых докторов, подпитывал энергией сам незримый, но вездесущий дух хирургии, витающий в больнице? Ведь он, несомненно, присутствовал в операционных и перевязочных, в палатах и коридорах, на чёрных лестницах и в ординаторских, на пищеблоке и в лаборатории, — словом, всюду, где нам приходилось бывать и где мы дышали особенным воздухом нашей любимой больницы.

И смешно сказать, но, оказываясь вне больницы, вне её напряжённо-тревожной и вместе с тем радостно-бодрой атмосферы, мы почти задыхались от скуки. Так глубоководные рыбы, извлечённые на поверхность, начинают ловить пустой воздух жабрами: им не хватает того давления глубины, в котором они привыкли существовать. Вот и нам вне больницы и хирургии недоставало давления и напряжения жизни: без привычной работы всё казалось каким-то пустым и ненужным, глупым и мелким.

Зато с каким счастьем — и, как ни странно, чувством глубинного облегчения и успокоения — мы, наконец, возвращались в больницу! Мы не просто входили в неё — а вот именно что погружались в её напряжённый и полный жизни поток. Каким-то мистическим образом всё, что лежало вне этих стен, за больничной оградой — то есть город, страна и весь мир, — словно переставало для нас существовать. Мир сужался — но одновременно и расширялся — до размеров больницы, потом до размеров операционной, — а потом до границ этой раны, в которой твои руки что-то делали и которая с каждой минутой представлялась всё более сложной и бесконечной...

Я

В самом деле: а кто я такой? Ведь моя жизнь уже, очевидно, клонится к закату, и если я не отвечу себе самому на этот вопрос — получится, что я жил как бы зря. Вот, допустим, приблизишься к тем самым вратам, что сделаны, как пишет евангелист Иоанн, из цельных жемчужин, тебя спросят: “А ты, братец, кто?” — и что ты ответишь? Нет уж, лучше обдумать ответ заранее, пока жив: неизвестно, дадут ли подумать о жизни, когда она кончится?

И вот странное дело: когда я был юношей и жизнь лежала передо мной, как ещё не знакомое и не обозримое поле, — уже в те ранние годы я воображал себе не столько то, кем я хочу быть в ней, сколько то, каким хочу стать, прожив жизнь, оставив житейское поле за своей, к тому времени утомлённо согбенной спиной. Так школьник или студент мечтает, конечно, не об экзаменах как таковых — эта пора всегда и у всех хлопотливая и напряжённая, — а о том времени, когда экзамены останутся позади и можно будет облегчённо вздохнуть: худо ли, бедно ли, но я их всё-таки сдал. И самой заветной мечтой из всех, какие в юности приходили ко мне, — точнее, тем образом, в какой я мечтал воплотиться, прожив жизнь, — был образ совершенно определённый, описанный очень короткою фразой: “измученный старый хирург”. Причём в этой формуле важны все три её составляющие: ни одной из них нельзя опустить, не потеряв при этом полноты и гармоничности образа. Да, мой образ-мечта (современный психолог сказал бы “гештальт”) должен был быть непременно хирургом — потому что я не знал тогда, как не знаю и ныне, дела более достойного, нужного и интересного, чем хирургия. Затем, этот хирург должен был быть непременно измучен: во-первых, это говорило бы о том, что он много работал, — а значит, прожил жизнь не зря. И потом, измученность хирургической жизнью снимала бы многие из упреков и угрызений совести: ведь она уже есть своего рода искупление грехов. Ну, а старым он должен был быть потому, что только старик уже почти никому ничего не должен — и может, как сдавший экзамен студент, облегченно вздохнуть. Долги отданы, дела сделаны, и груз жизни почти доставлен в пункт назначения: как же не радоваться долгожданному облегчению?

Этот измученный старый хирург представлялся мне часто в мечтах и во снах, когда мне самому было каких-то пятнадцать или двадцать лет, — и казалось, что до желанного образа мне никогда не дожить. Но мечты, как ни странно, сбываются. И вот, год примерно назад, посмотрев утром в зеркало, я встретил измученный взгляд старика с совершенно седой бородой. Потом я вспомнил, что этот старик ещё и хирург; и трудно передать чувство покоя и облегчения, охватившее меня в тот момент, когда я подумал: “Господи, ну наконец-то! Наконец я стал тем, кем хотел стать всю жизнь, — измученным старым хирургом...”

На этой радостной ноте можно было бы и завершить эту книгу. Действительно: о чём писать после того, как мечта жизни сбылась?

Но писать есть о чём — пусть и в будущих книгах. Дело в том, что я чувствую: жизнь, как она есть сама по себе, неудержимо проваливается в бездну беспомысленности и пустоты. Вот, скажем, мои тридцать три года работы хирургом: казалось бы, ничего не могло быть полней и богаче тех лет, проведённых в трудах и тревогах, в бессонных ночах, в непрерывной борьбе с чьей-то смертью и собственной немощью. Но сейчас, когда я ушёл из больницы, где проработал почти всю жизнь, мне порой кажется: это всё было сном. Причём сном, который гаснет и забывается так стремительно-быстро — такова участь всех сновидений, — что скоро даже я сам не смогу ничего различить в тумане, каким всё плотнее затягивается прошлое. По этой причине, пока я живу — я ещё и пишу. Я пишу, в сущности, чтобы убедить самого себя в том, что действительно жил, и в моей жизни было то, что в ней было.

С каждым прожитым годом и с каждой страницей во мне всё прочнее уверенность в том, что ненаписанная, не запечатлённая в слове реальность словно вовсе и не существует. Это ещё как бы только набросок, эскиз, черновик, и лишь только воплотившись в слове, реальность приобщается к полноценному бытию. А ты, описавший и тем как бы заново сотворивший её, проживаешь её ещё раз, но уже не так наспех и начерно, как это было когда-то, а неспешно, весомо и полно, с осознанием и ощущением смысла, что в ней теперь заключён.

И высшая награда, какая возможна на этой земле для меня, есть сознание того, что теперь я не просто измученный старый хирург, но и старый писатель, и у меня не отнять ни того, что я сделал, ни того, что я написал.

2019–2020

ЮРИЙ КЛЮЧНИКОВ



ИЗ ПОЭТИЧЕСКИХ ПЕРЕВОДОВ

ЛИ ЦИНЧЖАО (1084–1151)

* * *

Мы с тобою в хмельном забыты
До заката сидели в беседке.
Хмель угас. На обратном пути
Солнце скрылось за тёмные ветки.
Сели в лодку. Поплыли назад,
Раздвигая в дороге кувшинки.
В наших полузакрытых глазах
Тихо таяли счастья пушинки.
Налегая на вёсла, гребли,
Возвращались к излюбленным гнёздам.
Тьма сгущалась, в закатной дали
Чайки взмыли к проснувшимся звёздам.
Птицы, лотосы, звёзды, вода...
Это то, что во мне навсегда.

КЛЮЧНИКОВ Юрий Михайлович родился в 1930 году в г. Лебедине Сумской области. Окончил филологический факультет Томского университета. Работал учителем русского языка и литературы, завучем и директором средней школы. В Новосибирске работал радиокорреспондентом, главным редактором радиокомитета. С середины 80-х годов начал печататься в местных и столичных журналах и издательствах. Живет в Новосибирске.

ХАФИЗ ШИРАЗИ (1325–1390)

* * *

Дует ветер быстрокрылый из Шираза на восток.
С ним я шлю далёкой милой грусть и радость этих строк.

Я ликую, что на свете есть цветок, и это ты.
Я грущу, что только ветер знает все мои мечты.

Донесёт тебе поэма грусть мою издалека.
Изо всех красот Эдема краше розы нет цветка.

Но не ветром быть желаю, как Хафиз, могу терпеть.
Я огнём любви пылаю, словно птица, стану петь.

ДЖОН ДОНН (1572–1631)

РАСТУЩАЯ ЛЮБОВЬ

Зимой любовь предметом отдалённым
Казалась, как зелёная трава.
Живёт отдельно по своим законам,
Растёт, где хочет, и всегда права.
Я думал, что сильнее, чем в эту пору,
Любить не доведётся никогда,
И долго верил собственному вздору,
Пока не растопила лёд вода
И половодье его вдаль не унесло,
Ведь будущие жизни построенья
Диктуют Небеса и их тепло.
Поэт попался заблуждёнью в узы,
Иных друзей не зная, кроме Музы.

Когда весной всё расцветает вновь,
Сияют ярче звёзды, и цветами
Вскипают ветви дерева, меж нами
Людская пробуждается любовь,
Подземные подпитывая корни,
Разыгрывая свой дневной концерт.
Смычку светила люди тем покорней,
Чем точка пожирней в земном конце.
Любовь и целомудренна, и страстна,
Растёт всегда, свой расширяя круг.
А центром Птолемея пространства
Являешься лишь ты, мой милый друг.
Так и в любви: мелькают вёсны, зимы —
Заботы же её растут необозримы.

РАБИНДРАНАТ ТАГОР (1861–1941)

* * *

Та, что душе моей близка,
Жила в далёкой деревушке
Вблизи Джамуны* и леска,
Куда гоняли скот пастушки.

* Деревушка в Западной Бенгалии.

Мостки дубовые к воде
Вели и были слишком шатки.
Неугомонные в труде —
Скользили люди и лошадки.
Край открывался всем ветрам,
Душистым, благостным, усталым.
Стоял в деревне древний храм,
Покрытый мхом таким же старым.
Туда с подругой иногда
Мы заходили, трепет пряча.
...Стоит в глазах весна, вода,
Лесные ветры... Память зряча.
Я помню, женщины несли
На голове своей кувшины.
Зрочки хранили блеск весны
И отражали танец Шивы.
Порой пересекала вплавь
Моя подруга эти воды...
Незабываемая явь!
Невысыхающие годы!
Она в деревне на краю
Жила, и мало что сменилось.
Мечту нетленную мою
Хранит поныне Божья милость.
Крестьяне ждут на берегу
Через Джамуну переправы.
Забывать селенье не могу,
Его строенья, лица, нравы...

ГИЙОМ АПОЛЛИНЕР (1880—1818)

ЕСЛИ Я ТАМ ПОГИБНУ

Если я упаду в неудачной атаке,
Ты представь себе поле, июньские маки.
Быстро высохнут слёзы, и дай только срок,
Где упал я, поднимется красный цветок.
Растворит мою память малиновый воздух,
На закате окрасятся кровью моря,
И рубинами вспыхнут далёкие звёзды,
И наполнится алою силой заря.
Я приду к тебе утром, живой, невесомый,
Обниму, поцелую уста и чело —
Сразу Лу, дорогая, ты станешь весёлой,
Даже если тебе не скажу ничего.
Это кровь моя брызжет и мир обновляет,
Словно солнце, свершает свой огненный круг.
О творениях новых своих объявляет.
Я тебя не забуду, мой ласковый друг.
Но и ты вспомянай, ну, хотя б на мгновенье,
Драгоценные паузы тихих речей...
И не плачь обо мне. Молчаливою тенью
Я с тобою всегда, о, моё наслажденье.
Тот волшебный огонь наших долгих ночей...
Моя кровь превратилась в прозрачный ручей.
Ты о том не горюй, благотворно забвеньё,
Если только в бреду родилось вдохновенье.

АЛЕКСЕЙ ШЕПЕЛЁВ



МОСТ СКВОЗЬ ЗЕРКАЛО

РАССКАЗ

Эту собаку знает, наверное, едва ли не каждый житель городка: её трудно не заметить — в самом центре, на мосту через речушку Кожурновку, бегаёт вдоль трассы за машинами и лаёт. И здесь она каждый день в любую погоду, кто-то даже её подкармливает. Я, однако, хоть и ходил каждый день мимо, долго не мог посочувствовать незавидной её собачьей участи, да и что мне до собаки какой-то уличной!.. Аня же мне сразу разъяснила: и что псина породистая, и что кидается она, вылетая на полотно, не ко всем машинам, а только на легковушки определённого типа и цвета — тёмно-синие и “такие грязно-баклажановые”... И что сбивали её уже, но всё хромает — хозяина ищет, — говорят, уже лет семь.

Подмосковные Бронницы — городок по-своему тихий и уютный, по стремлению властей спортивный. Для пеших и велосипедных кружений — опоясанное асфальтовой дорожкой Бельское озеро, вполне живописное, особенно летом — в цветах и травнице, да и зимой тут не так уж уныло: коты, например, скачут — в сугробах и в кустах, а то пробираются по льду — к полыньям, что ли, за рыбкой... Я столько тут нарезал кругов на ногах и колёсах, — видимо, не совсем физкультурно-спортивно, как

ШЕПЕЛЁВ Алексей Александрович родился в 1978 году в селе Сосновка Тамбовской области. Окончил филфак Тамбовского университета и аспирантуру Тамбовского технического университета, защитил диссертацию на тему “Достоевский в художественном мире Набокова”. Прозаик, поэт, литературовед, рок-музыкант, радиоведущий, лидер группы “Общество зрелищ”, кандидат наук. Лауреат премии “Нонконформизм”. Автор романов “Echo”, “Маххитит еххтретит”, повести “Мир-село и его обитатели”, рассказов. Член Союза писателей Москвы. Публиковался в журналах “Дружба народов”, “Новый мир”, “Нева”, “Урал”, “Волга” и др. С 2020 года стал автором и “Нашего современника”. Живёт в Анапе.

местный молодежь, — что знаю здесь каждый куст и каждого кота... Да всё одно и то же, не по-спортивно сонно даже, с остатками местечкового гопарства, зато без столпотворенья, как в *далёкой* и неправдоподобной отсюда столице — тут, например, не надо даже особо приобочиваться на узкой, плохо заасфальтированной дорожке, давая проход мирно гуляющему, ничем не выделяющемуся мэру... И лишь весной однажды всё побережье вдруг было завалено здоровенными, если не в рост человека, то точно с второклассника или хорошую овчарку, каким-то образом повыпрыгнувшими из-под льда рыбинами... Быстро стали разлагаться на припёке, котам тоже не взять — в общем, недобрая аномалия...

Но это чуть в низине, за домами, а главная улица — как в Тамбове, да, наверно, и многих городах, Советская — прямая магистраль, совпадающая с злосчастной федеральной трассой, ближайšie точки косо — Москва и Рязань. Круглые сутки я вижу из окна поток машин, стёкла трещат от гула, башка трещит даже без похмелья, а сквозь стекло — и кажется, что из зеркала рядом тоже, — даже свист какой-то... Зеркало стоит косо в ящике от трельяжа, размером в пол-окна, в нём тоже всё гудит, дрожит и мчится, — быть может, чуть быстрее, чем на самом деле... С пятницы по воскресенье здесь возникает гигантский затор, летом от гари без преувеличенья мутнеет в глазах, да и смотреть на эту рябь блестящих, супермощных, циклопических, но покамест не летательных аппаратов, шкурой уже чувствуя, как сидящие в них гуманоиды-Голиафы поминутно дают рывком то одну педаль, то другую, всем существам устремившись куда-то вперёд, в заветные дали, в коттеджи-дачи, к клочку огороженной, не изъеденной дымом природы, где жарятся только купаты на решётке барбекю... А тут катишь на велике — и километр за километром всё эта плавающая на солнцепёке, гудящая, бампер к бамперу и бок к боку пробка... Она как-никак движется, а выплеснутые отрицательные эмоции, иной раз, кажется, остаются — оседают, как грязь и гарь на подтаявший снег... Как та собака, которую вышвырнули из авто посреди города.

Подтаявший снег — это уже из того дня, на него я словно из любой точки пространства тамошнего и времени сбиваюсь... Центр Бронниц — высокая колокольня красного кирпича, что называется, доминанта, растущая из земли чуть-чуть набок, как будто современная вокруг асфальтовая накатка грешит против исконного ландшафта. Как проезжает мимо автобус с туристами — всех высаживают у подножья поразмяться, поглазеть — рядом ещё XVIII века храм Архангела Михаила. Вытянутый вывес собор увенчан пятью большими куполами — некрашеными, свинцовыми, словно тучи, но для нас с Аней не давяще-тяжёлыми, а больше напоминающими взлёт дирижабля... К собору примыкает вытянутая уже по горизонтали церковь, более поздней постройки, с колоннами. В оградке у собора похоронены Пущин и Фонвизин; кажется, в первый Анин приезд мы, выйдя бродить ночью, что называется, распивали тут из горла шампанское!.. Потом узнал: церковь в честь иконы Иерусалимской Божьей Матери, спасшей город от мора, а Фонвизин — не тот, а его племянник-декабрист и сочинитель-утопист, после смерти которого жена его вышла замуж как раз за Пущина.

Вообще я, как водится, достопримечательности изучал именно таким способом, а по ночам — и в два, и в три — по старой привычке шастал по ларькам за подкреплением по слабо освещённым магистралям и тёмным закоулкам, практически никого не зная, никого не боясь. Иногда я, правда, попадал в некую пространственно-временную лауну, для меня самого неочевидную: когда меня уже дома ждала Аня, она ждала часа по два, мне же казалось, что я вполне укладываюсь в заявленное “десять минут до магазина, десять обратно”, а когда звонила, я отвечал не сразу или отвечал нечто “невообразимо странное”...

В привычных координатах всё прямолинейно. Посмотришь: напрасно растёкшиеся по брусчатке и дальше по асфальтово-квадратной пустоши этой присоборной мини-площади туристы ищут туалеты — их тут нет. Тут есть только неуклюжий параллелепипед с пыльно-стеклянными, как в советских универмагах, витринами — какой-то полузаброшенный дом культуры или творчества, за одним углом коего всё же справляют нужду, а из второго его угла вытарчивает мигающая пальмами вывеска некоего заведения, по нашим

догадкам и отзывам местных, действительно значного... Чуть пройти вперёд — тоже кардинальнейшая, что называется, формирующая контекст вывеска: “Бронницкий поссож” — вроде бы торгово-бытовой центр, на деле — никем не посещаемая одноэтажка (работая в газете, я заметил опечатку, на что дизайнер закоренело отмахнулся: “Да хоть *поссож* напиши — всё равно не заблудишься!”); и тут же, у начала центра, светофорный переход через ту самую главную дорогу, чтоб попасть уже на собственно главную площадь у автовокзала, где в тот день мне вечером надо было встретить Аню...

Я дал круга три моциона по озеру (тогда ещё не бегом, но ночные походы по ларькам уже совсем оставил), при отсутствии освещения тут уж стемнело до полного неприличия — настолько, что иногда в движущаяся навстречу паре человек-собака мерещится если не Мальдорор “со своим псом” (как мне), или мефистофелевский пудель — “с хозяином и гигантский” (как Ане), то уж вообще такое, от чего Анютинка, только схватившись за мою руку, физически бьёт меня страхом, как током. (И знаем мы, что помним: что с мешком ужасным за плечами и с головой в руках, что сам в том пуделином облике явился. И забываем, и не знаем!..) Мгновенная передача информации — мгновеннее, наверно, и полнее не бывает! А то в лесу здешнем, вроде и небольшом совсем, когда мы заблудились и что-то мелькнуло в бесконечных зарослях, таким же электрошоком меняхватила, только оголодавшего уже, отчаявшегося и измотанного куда сильнее... Но здесь-то мне плевать, хотя вот один случай потом и меня окоротил...

Но покамест я знаемыми и впотьмах тропами выбрался по набережной к собору. Посмотрел на телефон — девять, как раз ко времени, даже каких-то пять минут лишних... Тут уже фонари светят вдоль трассы, хотя и коричневато-желтоватым еле копят, да с Нового года висят гирлянды из простых, как встарь, крашенных лампочек, тоже вполнекала и через одну уже потухших...

Прошёл наискосок, но очень быстро, чтоб шеей особо не вертеть на стройки, высота, мощь и значение которых, мне показалось, и без того чувствуются. Выскочив на пустынный асфальтовый квадрат у ДК, я всё же решил оглянуться — бросить взгляд на классический, всюду тиражируемый вид города. Захотелось даже вернуться — рассмотреть, коль есть минутка, поближе, но тут же поймал себя на мысли, что, вероятно, здесь как-то *не принято*, как и везде в провинции, расхаживать неспешно и тарашиться, задирая голову и фотоаппарат, на всем привычные домины. Я остановился в нерешительности, ещё и ещё раз оглядываясь...

— Эй, ты! — тут же моим опасливым мыслям пришло воплощение. — Ты с ДСУ?

Может быть, они спросили про МТУ или ещё что-то подобное, я не слышал и не понял, а только, наверно, вздрогнул и посмотрел на них.

— Гля, с рыжей бородой, точно он, падла, — переговаривались они, оторвавшись от угла заведения, на ходу застёгивая куртки или ширинки, приближаясь ко мне едва ли не бегом.

— Тебя Лёха зовут? С ЛСУ?! Пстой, стоять, стоп-машина!

Магический оклик по имени, боюсь, всё же заставил меня затормозить, я и впрямь замешкался, поглядывая, стараясь не кивнуть.

Двое — не подростки и не мужичьё местное, два тридцатилетних бритых лба в кожаных куртках — выходцы из 90-х. Сразу дать дёру, — но не-solidно, да и куда здесь...

Главное, мелькали автоматические уже мысли, не зависнуть, хоть как-то продвигаться вперёд, надо что-то ответить... Но что ответить, когда вопрос... И когда уже тебя схватили под руки и куда-то тянут.

Страх парализует — не думал об этом... И вообще всё же не вмещается в просвещённое наше сознание, чтоб людей на улице хватали, в самом что ни на есть освещённом центре, а если и вопиют факты, так это “не у нас”.

Случай, сейчас перебею и расскажу, был как раз *с собачками*. С первого взгляда, смешно даже... Я облюбовал для променадов вокруг озера тьму и ненастье, чтоб поменьше двуногих... Вот и нарвался.

По одному берегу водоёма тянутся домики-дачи, — хоть и маленькие, но обзавидуешься: балконы, мостки, спускающаяся из оградок к воде, дичая и разрастаясь, облепила. В другой стороне — теремок какой-то в загородке,

с продажей алкоголя — *дикий привал и пустынный*: просто утоптанное место меж полуобвалившихся вётел, за столы и стулья — неровно напиленные, порядком подгнившие пеньки, музыка орёт каждый день, а посетителей — ноль, такое ощущение, что заседают в сем тереме токмо сами торгующие... Как только приехал, по своему неопитству я посидел пару раз на некомфортных пеньках, а потом даже дорвался ночью — и сплясал на них, и пораскидал все... Да и вдвоём с Анютинкой в какую только полночь где мы только на лавочках с бутылочкой не заседали!..

Но оказался я уже в самое свинцово-нависшее морозное неурочье на другом берегу, дальнем от города... — где летом зеленеют лужайки, ровные, как для гольфа (на самом деле футбольные), и мы после дождя выматриваем тут белеющие шариками воображаемой игры шампиньоны... А вечером зимой — пустырь в сугробах, наледь, пронизывающий ветер!..

В темноте я не сразу заметил их — ускоряя ход, буквально наткнулся: они сидели прямо на тропинке, по обеим сторонам, как два стража. Две здоровые тёмные собаки — как два древних сфинкса или льва свирепых окаменелых. Рядом, в оледеневших рывтинах, залегала вся стая...

Я знал про эту стаю бродячих собак и видел их не раз: то в стужу они у Вечного огня греются, то у рынка за автовокзалом трутся, а часто и здесь по берегам скачутся. Ну, скачутся — и тьфу на них, хотя ведь тоже кто-то повыкидывал: гадекая эта мода на больших собак, а потом кормить и ухаживать неохота. И набралось их с десятков здоровенных разномастных псин, от голода и стужи совсем освирепевших. Как раз в те дни, недель, может, раньше, мы краем уха слышали о случаях, что на детей они напали, и настолько дико, что ватаге школьников было не отбиться, кого-то даже загрызли насмерть. Аня работала на местном ТВ и сообщила мне, что брошен клич, после чего мужики с ружьями их день-другой гоняли, но убили лишь пару, а остальные семь-восемь так и скрылись, на том всё и улеглось.

Дать по тормозам и драпануть сразу — вот что надо было сделать. Сначала обычным шагом, а дальше — что есть мочи. Но я, признаться, сначала так и принял в воображении их за нечто призрачно-непонятное, за смутных сфинксов, за двух сторбавившихся прямо на белеющей дороге чёрных химер — и, думая развеять наваждение, подскочил к ним слишком близко. По тормозам-то я дал, но тут же вспомнил, что не дита я, а мужик, что коли боишься — они это почувствуют и почуют. И — была ни была — рванул вперёд всё тем же быстрым шагом, авось проскочим!

Но где там — эти два загонщика и стража так сразу на меня и бросились. Размер недетский, зубищи, злость в глазах звериная. Я, правда, как-то отскочил всё ж вбок — хоть из тисков их вырвался. Они примериваются, морщат морды, клыки ещё те... И из засады повыскакивали все остальные — тоже разъярённые, с горящими глазами и оскалами!.. Ну, думаю, попался. Какую-нибудь хоть палку или камень. Но где там — кругом лишь наледь голая, мороз и тьма (я без рукавиц или перчаток по своему обычаю), лишь ветер свищет...

В эти мгновенья у меня промелькнули вспышкой-молнией в сознании, как бы на миг осветив подсознание, давнишние, но не осознанные мысли о том, чего я боюсь больше всего, о так называемой природе страха. Больше всего, я понял, мы боимся... я боюсь... чего-то, кого-то *антропоморфного*, то есть именно *кого-то, личность*. Как в фильме Линча "Шоссе в никуда" самый страшный момент — секундная смена кадра, неуловимое размазанное движенье, когда *этот кто-то*, прячущийся в мусорных баках, просто перебегает куда-то. Снежный человек, демон, пришелец-гуманоид, призрак, маньяк-убийца, карлик, полужверь, но тоже осознающий, по сути, твой двойник, мельком отражённый в зеркале, кем, задержавшись, взглядевшись и оскалившись, и ты можешь стать. Выражаясь выпренно и книжно, он *разум* попрали и употребил во зло. А химеры, сфинксы — уже чуть проще, искры Божьей искорёженной в них нет, львы, собаки — зверьё...

Понятно, что если эти сейчас начнут рвать, то и остальные кинутся. Волки, если в клетке, куда тщедушнее и жалкие такие... В детстве меня покусала собака, и неплохо. Виноват был сам — хотел в перетяжку каната сыграть:

тыкал прутом, травил, чтоб за зубы вытянуть её из будки. С тех пор чураться их, всегда мне неприятно, чего Анютинка, слегка подтрунивая, не понимает: она их подзывает, треплет, разговаривает с ними, угощает, отсылает прочь...

Но есть же хоть на волос превосходство человека?! Я стал кричать: “Пошёл!” — и из кармана хоть телефончик вытащил — он маленький, — им замахаясь. Адреналин и мне ударил в голову. Минут через пять, выкрикивая, как мог, брутальней, замахаясь, будто бы в руках дубина, поворачиваясь к ним лицом, глядя в глаза с такой же дичью, но пятясь, я кое-как “отбился”, чуть отдалившись. Спокойно, но уж на ватных, дрожащих ногах отошёл, с поднятой, как факел рукой... всего, наверное, метров пять, перевёл дух и — запустил бегом.

Потом, за неимением лучшего, я стал ходить на прогулку-пробежку с молоточком за подкладкой куртки. Он небольшой, но всё же...

Но в тот *обычный по всем приметам* день я молоток не взял. Да хоть бы взял — и что? Меня хватают, тащат. Кричать? Вы издеваетесь? Смешно... Вот самый центр — вокруг же ни души. Да и случись прохожий или прохожие, три взрослых мужика заочевряжились — кто вступится, да хоть бы остановится?! Естественно, лишь ускорят шаг!

Я чуть рванулся и зацепился рукой за дорожный знак — по-идиотски выглядит!

— Пойдём-ка с нами! — ухмыляются они. — Давай его, тащи!

И рванули. В голове — мгновенная лихорадочная калькуляция: как рвануться, как кого ударить, куда рвануть. Но понятно тут же: всё бесполезно. Уже заламывают руку...

Мне в доли секунды как никогда ясно представилось, что сейчас будет и куда тащат. Вон в тот закоулок за *посожем* — там только спиной об стенку с розовой побелкой и следующий жест невзрачный — ножом в трубу, после чего, обмякнув, приседаю и валюсь, держась за живот, нелепо улыбаясь... “Что же Аня, а Аня как же?” — думаю, рассматривая уже подтаявший грязный снег совсем вблизи и похолодевшую (или горячую) ладонь в чём-то сером, жидко-липком. “Как же мне домой — ползти? звонить?” — всё вспыхивают, быстро, правда, угасая, нервно-весёлые, зряшные мысли: уж и ползти я не могу и не хочу, и даже звонить.

В животе ощущаю... Непонятную, непривычную, сладковато-саднящую разрастающуюся лёгкостью брешь. И вижу их: обчирнув лезвие об глыбу снега, сплонув, закурив, отчалили. Чуть поспешая, как ни в чём не бывало, удаляются. За поворотом один пристал к забору, возясь с ширинкой, второй ругается. В итоге помочились оба и тут же сразу в “джип” тот чёрный у порога заведенья — их, а чей же. Простецки всё, смешно и жутко.

Вся жизнь... вся кутерьма, вся боль, стремления, старания... *Амбиции...* лю-бовь... Один тоже любил — Еву Браун, овчарку Блонди, рисовать!.. Снег этот неиззясно и по-весеннему просто пахнет жизнью — талой водой, грязью, собачьим дерьмом, бензином, штуркатуркой, корой деревьев, землёй, сосульками, льдом и снегом.

...Будет ли это, как сейчас, подтаявший, в сосульках, вечер; будет ли трескучая и бело-выюжная, до бездорожья, пора — как и когда я появился на этот свет... жаркое ли, давящее удущье стоящего пространства-воздуха, так что от гроба, будто бы висящего на двух точках, вытянутого на привычных в другом качестве табуретках, придётся распахивать все окна и форточки, и всё равно мало... Будет ли жирная пора скользящей грязи и реденькой, гвоздиками в расчёске, зелёненькой травки; будет ли невообразимое взрывное буйство яблонь, одуванчиков, соловьёв, лягушек и черёмухи; или спрессованные, промокшие листья под ногами... — всё равно. Всё равно: единственное, что мы можем стопроцентно предсказать, это то, что мы умрём.

Даже в зелёных вспышках на багряно-красном зареве неба, — как фейерверк или ракетница, или салют, только в тысячу крат больше и ярче, даже в красных вспышках-цветах на нестерпимо зелёном небосводе, — когда Звезда Полюнь стоит в зените, кислотно-горьким насыщая наш дух и воздух, и рушатся-свистят вокруг кометы... Даже здесь мерещится всё та же гибель безвозвратная, всё одно же.

...И я не встречусь больше со своей Анютинкой — никогда. Даже за порогом конечно-здешнего, убитый грехом уже здесь, протравленный, как семена, и давший плод причудливо-обманчивый — блестящий кожей, но сладковато-прелый и червивый, я вряд ли увижу её там... Может, только чудом её молитвы и любви, может, чудом надежды — всё равно пока чудом не выгрызенной и до конца не изгнившей — надежды на что? — на то самое чудо нездешнее — на сопутствующую нам изначальней, чем грех, любовь и милость...

О, если бы можно было всё вернуть, что-то исправить... Анютинка моя, никогда не называемая полным именем, неизвестная АН-НА! Маленькая, хрупкая, но имя какое мощное — как и голос... она бы на них крикнула!..

Вот он — *Мост сквозь зеркало* — рассказ с таким названием и всё хотел написать, присматриваясь к большому мосту на выезде из Бронниц и даже по нему выхаживая... Да сколько тут мостов... Зеркало, мост — те самые, таинственные, но со значением символы, только не даётся мне обычный мистицизм, теперь подавно литературщина всё это...

Но вот на миг я заглянул туда.

— Точно он? Уж сколько...

— Я не с ДСУ! — услышал я их голоса, услышал свой голос, почувствовал боль и страх, с которым, я понял, уже совладал.

— Я журналист! — выкрикнул я в порыве ветра, но несильном, тёпловато-сыром, пахнущем тем, чем пахло в той подворотне.

И дальше твёрже, внутренне уже чуть спокойней, но всё равно с агрессией — как на тех собак: что на ТВ работаю, здесь живу, никакого ДСУ или МТУ я не знаю, и не из Дзержинска я, а если что — меня весь город знает, вас найдут!

Про ТВ, наврал, конечно. Уже настолько стал добропорядочен, даже вежлив, что твой урождённый интеллигент-воспитанник хорошосемейный — самому стыдно. “На дядю фраера собака лаяла!..”

Они чуть ослабили хватку, усомнившись-совещаясь, и я вырвался и отскочил. Бежать я, однако, не пустился. Придав некую напускную человечность равнодушно-недобрым бандитским лицам, они откланялись:

— Ты, брат, извини — обознались. Нормально. Если не ты, то ладно...

Я тоже едва не снял, как д’Артаньян, шляпу. Как только загорелся зелёный, я обычным быстрым шагом погнался к автовокзалу.

Как раз приехала Аня. С ней молча дошёл до дома, стараясь быстрее. На вопросы огрызался и обрывал. Меня чуть отпустило, но ощущение в животе всё ещё ныло, зубы сжимались, потрясывало — хотя уже не физически, а как-то внутренне, метафизически. Она, конечно, сразу заметила, а дома и подавно. “Ты бледный весь!” Я рассказал, но тоже отчуждённо, как будто стараясь, чтоб меня не коснулась её жалость.

“Всё понимаешь, — подумалось мне (а ещё сам собой родился странноватый, какой-то скоморошный образ), — и ослепительно ясно, как прозревший... Но одно с другим не складывается — как лёд и масляный блин горячий”.

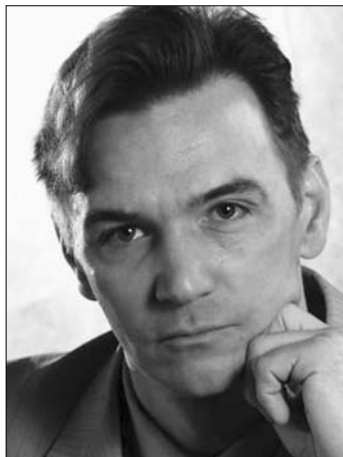
Всё забывается, и стараешься забыть. Всё стало, как и прежде. В нашем мире заведённого, заедающего механизма *любовь* — лишь краткий миг, когда блеснёт *оттуда?*.. На берегу озера, примерно где я встречался с собаками, выстроили огромный стеклянный спорткомплекс; купола на соборе заменили на более привычные (золотой и аккуратные синие); на колокольню водрузили часы, по-старому отсчитывающие новое время.

Вскоре мы поженились и переехали на другую квартиру на окраине — “возле Моста”. А под самим тем мостом мы как раз и праздновали свою импровизированную свадьбу.

Это для меня — только проснулся, бросил взгляд на зеркало — ненавистный поток машин, гудовень и копоть, случайные слепящие блики в окне и в зеркале, и этому нет конца. А для неё другое: вот, показывает, сдвинув штормку, кот на остановке сидит. “От дождя, наверно, спасается. Смешно так: как будто он сейчас сядет в автобус и поедет!” И действительно — как только дождь, кот тут как тут.

И у нас здесь уже свой кот, тоже на улице найденный, на окошко вспрыгнул.

ВАДИМ БАКУЛИН



ОЩУЩЕНИЕ БОЛЬШОЙ НЕПОГОДЫ

* * *

Еду поездом. Утро дождливое.
Вдоль реки — вековые избышки.
Деревеньки Поволжья тоскливые
И на станциях — с рыбой старушки.

На холмах вереницы всклокоченных
Пышных елей и тонких осинок.
Здесь всё больше дворов заколоченных,
Нерасчищенных к хатам тропинок.

Жаль, что людям простым в повседневности
Красоту эту некогда видеть;
Утопая в заботах и бедности,
Каждый думает только, как выжить!

Все на заработки разъезжаются,
Бросить дом — это здесь не в новинку.
Неужели Россия останется
Без родимой озябшей глубинки?

БАКУЛИН Вадим Валерьевич родился в Оренбурге. Окончил музыкальное училище и факультет журналистики ОГУ. Публиковался в газетах, антологиях и журналах "Москва", "Подъём", "Студенческий меридиан", "Гостинный двор", "Невский альманах", "Новый Енисейский литератор", "Отчий дом", "Жарки сибирские" и др. Лауреат литературной премии имени П. И. Рычкова, автор пяти поэтических книг, член Союза писателей России. Живёт в Оренбурге.

Еду-еду, а сердце сжимается
Ощущением большой непогоды...
Слёзно роща со мною прощается,
Стынут Волги тревожные воды...

ОДУВАНЧИКИ

Одуванчики отцвели,
Стали майской прощальной песней.
Отрываются от земли
Парашютики в поднебесье.

Звёзды белые на ветру
Кружат в танце шальном, весеннем.
Кто придумал эту игру:
Вальс прощания с воскресеньем?

Жаром солнца ужалив нас,
Шкуры крыш подрумянит лето.
Одуванчиков седина
Полыхнёт на углях рассвета.

* * *

Треск зажигалки, зажжённой дрожащей рукой.
Я всё стараюсь запомнить портрет твой на фоне
Нас удручающей, мрачной толпы городской,
Сумерек влажных, застывших на грязном перроне.

Запечатлеть твои жесты пытаюсь сейчас,
Как поправляешь ты волосы быстрым движеньем.
В сумерках синих читая печаль твоих глаз,
Вижу автографы слёз — две прозрачные тени.

Всё, уходи, не смотри, как сажусь я в вагон,
Не дожидайся момента, как тронется поезд.
Вот застучали колёса с дождём в унисон,
Стал отдаляться перрона распущенный пояс.

Сколько же будем прощаться мы в жизни с тобой,
Вздрагивать, поезда слыша тревожные звуки?
Словно была нам подарена встреча с судьбой,
Только затем, чтобы множить и множить разлуки.

СНЕГИРИ

Ягоды рябины не опали...
За зиму никто их не склевал.
Долго снегири не залетали
В город, что для них чужбиной стал.

Раньше был он тихим и уютным,
Зимами светился изнутри.
Пролетели годы. Почему-то
К нам не прилетают снегири.

Помню с детства: старые рябины
В отблеске рубиновой зари...

В парках, где деревья не рубили,
На ветвях сидели снегири.

Маленькие, солнечные птицы —
Красногрудки, головы черны.
Больше никогда не повторится
Детский мой восторг — ушёл во сны.

Снегири исчезли. Словно кем-то
Отнята частица доброты,
Счастья веры, теплоты и света...
Детские, высокие мечты.

ВАЛЕНТИНА КОРОСТЕЛЁВА



ПОВЕРИТЬ ДРУГ ДРУГУ

ТО ЛИ... ТО ЛИ...

Непогодь, лес некрасивый,
Неба бессмысленный взгляд...
Эти сиротские зимы
Тело и душу знобят.

Воздух — как серая вата,
Полдни, и те не звенят.
То ли дожди виноваты,
То ли года не щадят,

То ли увяла улыбка, —
Радости негде алкать,
То ль роковая ошибка —
Свет на чужбине искать?..

ТОНКАЯ НИТЬ

...И вихры поседели твои,
И меня одолели сомненья...
Это хрупкое счастье любви,
Это грубое жизни давленье...

КОРОСТЕЛЁВА Валентина родилась в Кирове (Вятке), окончила Литинститут им. Горького. Издано 20 книг, из них 11 поэтических. Член Союза писателей России, лауреат литературных конкурсов имени Андрея Платонова и Алексея Толстого, "Добрая лира", "Литературная Вена", а также им. Фёдора Тютчева и Андрея Белого. Засл. работник культуры РФ. Живёт в подмосковной Балашихе.

Чувства давнего тонкая нить
Так натянута — страшно порою.
Как её и тебя сохранить,
Дальний свет, что за синей горою?

А, быть может, тебе ни к чему,
А, быть может, тебе и не надо?
И себя я порой не пойму,
И себе я порою не рада.

Но когда свирепеет гроза
И земля — ходуном под ногами, —
Это наши влажнеют глаза
И встречаются руки с руками.

ЧАША

Лес да опушка, неброские птицы, —
Вот и потрафило сердцу уже...
Счастлив, кто вовремя с этим родился,
Счастлив, коль это созрело в душе.

...Юга полночного звёздные стразы,
Гор и ущелий причудливый ряд...
Но никакие красоты Кавказа
Лики просёлков моих не затмят.

Чем нам больше, тем души живее,
И разлетается в прах вороньё...
Кто ещё так о Руси разумеет,
Как простодушные дети её?

Надо им, в общем, для счастья немного:
Чтоб не тонули надежд корабли,
Ибо от века дарована Богом
Чаша щемящей и верной любви!..

ПОВЕРИТЬ

*Земля — наш прекрасный удел,
И нет среди нас виноватых...*

Ст. Куняев

И нет виновных, и есть.
Так много связуется нами.
О, как равновесье обрести,
Огонь не поспорив с волнами?

А гордость сдружить с простотой,
Дать сердцу рассудок в охрану?

И всё-таки быть молодой,
Врачуя бессонные раны.

И нет виноватых, и есть.
Черствеют унылые души.
Несите же радости весть,
Не мучайте сплетнями уши!

До сердца дойти, до звезды.
Подать ослабевшему руку.
В нас столько живёт доброты!
Осталось поверить друг другу.

* * *

А мне бы избушку, а мне бы избушку,
И чтобы — река, чтобы рядом — река,
Чтоб песни свои распевала кукушка,
А я бы за ней не считала пока...

И чтобы крылечко, пускай не резное,
Где каждая щёлка, как жилка, на нём...
И небушко-небо, такое родное,
Что сердцу светло даже пасмурным днём...

В земле отыскать и морковку, и репку,
И древнее наше вспомнить житьё,
И выйти к реке, и, не думая крепко,
Всё слушать нехитрые песни её...

СТАНИСЛАВ КУНЯЕВ

“К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ ТАИНСТВЕННАЯ СТРАСТЬ...”

* * *

*Давайте после драки
помашем кулаками...*

Б. Слуцкий

1 апреля 2017 года умер Евгений Евтушенко, омрачив своим единомышленникам и поклонникам праздник смеха, который они вот уже много лет празднуют именно в этот день. Ну, бывают такие огорчительные совпадения, что делать...

После этого целые две недели, вплоть до панихиды и похорон, назначенных на 14 апреля, вся страна прощалась с самым знаменитым поэтом всех времён и народов. И если бы выставить гроб с телом покойного не в ЦДЛ, а в Колонном зале Дома Союзов, где народ прощался с Лениным и Сталиным, то всё было бы похоже на те исторические панихиды, одна из которых так ярко была описана пером ныне справедливо забытой поэтессы Веры Инбер: *“И потекли людские толпы, // неся знамена впереди, // чтобы взглянуть на профиль жёлтый, // на красный орден на груди”*.

По завещанию покойного его похоронили на кладбище в Переделкино рядом с могилой Пастернака. Но, как пишет “Комсомолка”, протоиерей Владимир Вигилянский, друг Евгения Александровича, посетовал, что *“волю жены было выполнить непросто, – вроде нашли участок, недалеко от Пастернака, смотрим, а там старые большевики похоронены. Нам показалось не совсем уместным хоронить рядом и Евгения Евтушенко. И тут как Божий промысел – видим место подходящее”*.

На мой же взгляд, лежать Евгению Александровичу рядом со старыми большевиками вполне уместно. Он их всех боготворил, оплакивал Бухарина (*“крестьянский заступник, // одно из октябрьских светил”*), мечтал о памятнике *“невинно убиенному сталинскими палачами Ионе Якиру”*, стиравшему с лица земли донские станицы во время рассказывания, преклонялся перед вдовами расстрелянных старых большевиков (*“старухи были знамениты тем, // что их любили те, // кто знамениты. // Накладывал на брэнность птичьих тел // причастности возвышенную тень // невидимый масонский знак элиты”*), мечтал, подобно Булату Окуджаве, о времени, когда *“продолжится революция и продолжится наш комиссарский род”*; да и сам искренне клялся: *“погибну смертью храбрых за марксизм”*. Так что самое место ему было лечь рядом со старыми большевиками. А если бы у нас продолжилась традиция

захоронения праха в Кремлёвской стене, то он вполне мог бы претендовать и на такое почётное место.

Многие его стихи пылают таким пафосом и таким страстным революционным косноязычием, как будто они написаны в эпоху гражданской войны и военного коммунизма, как будто он перевоплотился в Демьяна Бедного, в Александра Безыменского, в Иосифа Уткина, Михаила Светлова и прочих “пролетарских поэтов”, вместе взятых:

*И от нас ни умельцы ловчить или врать,
Ни предателей всех лицемерие
Не добились неверья в Советскую власть,
Не добились в Коммуну неверия!
И Коммуну, на сделки ни с кем не идя,
Мы добудем своими руками.
Пусть же в нас не умрёт:
“Никогда, никогда
Коммунары не будут рабами”.*

(1967)

Думаю, что такие клятвенные призывы были бы по душе Розалии Землячке-Залкинд, прах которой покоится в Кремлёвской стене в окружении других старых большевиков и большевичек. В любом случае, у нас в России таких похорон давно не было.

В течение двух недель – с 1-го по 14 апреля – все СМИ, электронные и бумажные, прощались с поэтом, не скупясь на комплименты.

“Гений Евтушенко – явление нескольких эпох... Человек с большой буквы, любящий сын своей родины” (из телепрограммы министра культуры РФ В. Мединского. “Общеписательская Литературная газета” № 4, 2017). “Последний великий русский поэт” (“Комсомольская правда” 12.04.2017). “Он – второе правительство” (“Новая газета” 12.04.2017). “К нему не зарастёт народная тропа”, “Пушкин – наше всё. Евтушенко – наш весь”, “Творец с хрустальной душой” (“Московский комсомолец” 12.04.2017).

“Когда Евгений Евтушенко обратил своё перо против влиятельных сил советского антисемитизма и неосталинизма, он рисковал жизнью своей семьи” (Стивен Коен. “Общество” 11.04.2017) и т. д.

На состоявшейся гражданской панихиде в ЦДЛ были зачитаны телеграммы от президента, от премьер-министра, от Олега Табакова, от Александра Ширвиндта. Над телом усопшего выступили два крупных чиновника – глава федерального агентства по печати и массовым коммуникациям Сеславинский и бывший премьер-министр ельцинской эпохи Степашин, вслед за которыми к микрофону потянулись и литераторы с артистами. Жаль, что Евтушенко не слышал их.

Е. Сидоров (критик): “Его смерть – конец послесталинской литературы в стране. Страна на время охрипла, лишившись его голоса”. Е. Герасимов (актёр): “Он для меня после Пушкина”. Мухтар Шаханов (Казахстан): “Евтушенко не только великий поэт России, но и великий мыслитель всего земного шара”. В. Смехов (актёр): “Ты – параллельная Россия”, “Если бы Евтушенко написал один “Бабий Яр”, достаточно было, чтобы причислить его к классикам”. И. Волгин (телешоумен): “Не было бы Евтушенко – это была бы другая страна”. Е. Попов (прозаик): “Прощаемся с великим поэтом. Последний из великой пятёрки “шестидесятников”, “Ушёл океан”. М. Розовский (режиссёр): “Я всё время читаю “Наследников Сталина”. С. Никитин (бард): “Он не выносил, когда видел, что кого-то чествуют больше него”. В. Вишневский (стихотворец): “Никто в XX веке не сделал для поэзии столько, сколько сделал он”. В. Яков (бывший главный редактор “Новых известий”): “Он уходит недооценённым, недопонятым, недолюбленным Россией”.

На фоне этих эмоциональных, высокопарных, искренних, а порой даже комических оценок чиновников, функционеров, актёров и журналистов наиболее глубоким был некролог Александра Проханова (газета “Завтра” 12.04.2017). Приведу из него несколько отрывков. “На протяжении всей своей писательской деятельности он всё время находился в круге света, среди прожекторов, аплодисментов, обожателей, в литературных и политических

схватках, поездках, путешествиях. Был кумиром и в Советском Союзе, и на Западе.

Он был абсолютно советским поэтом, повторяя все акценты, все синусоиды советской идеологии разных периодов. Мальчиком, зелёным юношей он писал хвалебные стихи Сталину. Затем его подъём, его всплеск был связан с хрущёвской “оттепелью”, когда расцвела полная гроздь талантливых, ярких молодых поэтов, которые заявили о себе, начав воспевать ленинский период. Евтушенко тоже был ленинцем, он был среди тех, кто воспевал “комиссаров в пыльных шлемах”, Кремль его обожал и посылал во все нужные для себя точки мира. Он был неофициальным послом Кремля на Западе. Он был в авангарде разрушения всего советского литературно-идеологического наследия. Но потом, когда, казалось бы, он и близкие ему силы и люди победили, когда на дворе торжествовали “демократы”, он просто уехал из страны, ушёл, исчез. Он уехал в американскую глушь, в Огайо, в абсолютную провинцию. В этом – загадка Евтушенко. Каждый может по-своему отгадывать её”.

Восторгаюсь великодушием Александра, оставшегося верным латинской поговорке: “О мёртвых или хорошо, или ничего” (aut bene, aut nichil), промолчавшего о том, что именно Евгений Евтушенко 23 августа 1991 года после захвата им и его соратниками власти в Союзе писателей СССР на Поварской заявил, что надо “обсудить вопрос о подстрекательской роли газеты “День”, чьё слово, как мы предполагали, – и это к сожалению оправдалось, – могло превратиться в антинародное действие... Бондарев, Распутин, Проханов, подписавшие “Слово к народу”, должны подать в отставку... Мы считаем, что они не имеют нравственного права быть в руководстве Союза” (“Литературная газета” № 34, 24.08.91).

Вот так в августе 1991-го Е. Е. возглавил с группой своих соратников (Черниченко, Адамович, Нуйкин, Приставкин, Оскоцкий, Карякин, Шатров) переворот в Союзе писателей, где эта либеральная хунта вынесла постановление “Расценить публикацию “Слова к народу”, подписанную Ю. Бондаревым, В. Распутиным, А. Прохановым, как идейное обеспечение антигосударственного заговора и потребовать подать в отставку с постов секретарей правления СП СССР и СП РСФСР. Расценить идейную направленность газет “День”, “Литературная Россия”, “Московский литератор” и журналов “Наш современник” и “Молодая гвардия” как проповедь национальной розни, как вольный или невольный призыв к антидемократическим действиям”.

Вёл секретариат, принявший это постановление, не кто-либо, а самый знаменитый поэт Советского Союза. Сколько воды утекло с тех пор! 40 лет прошло, и Евтушенко уже нет в живых, и Распутина уже нет с нами. А зачем я всё это вспоминаю, если о мёртвых – “aut bene, aut nichil”? Да, наверное, потому, что посмертная жизнь каждого значительного писателя – дело неизбежное, она продолжается до сих пор у Пушкина, у Достоевского, у Булгакова, у Есенина... Надо, чтобы историки будущих времён понимали картину нашей жизни не по клеветническим наветам борзописцев из “5-й колонны”, а во всей её сложности и широте, и чтобы они оценили великодушие Проханова, “забывшего” о требовании Евтушенко закрыть его детище – газету “День” – и так объяснившего причину отъезда Е. Е. в Америку:

“Мне кажется, что он был страшно разочарован тем, что вместо блистательного нового государства – носителя новой великой культуры, – после 1991 года здесь в России наступила тьма, затмение, бескультурие. И возобладали не идеальная революция, не герои, не сподвижники, а возобладали коммерсант, киллер, банкир, человек денег, приземлённая, абсолютно бездуховная тварь, с которой он не мог примириться”.

А мне кажется, что Александр Андреевич идеализирует внутренний мир Евгения Александровича, который в исторические минуты 1990-1991 годов, на мой взгляд, не мог не видеть, куда катится его родина. Он ведь каждый год приезжал в Россию для выступлений в Политехническом музее, на поэтические встречи с читателями на Байкале, путешествовал по сибирским рекам, останавливался в родном Переделкино, где обустраивал свой музей на даче, которую отсудил у Литфонда (приватизировал), раздавал многочисленные интервью телевидению, радио, газетам, где и стихи постоянно печатал, заезжал на станцию Зима, снимал по своим сценариям кинофильмы – “Детский сад”, “Похороны Сталина”... Уж за это время мог бы такой талантливый человек рассмотреть, как вымирает его народ и как разваливается страна.

А во-вторых... Во-вторых, дело обстоит сложнее и требует тщательных раздумий о том, что с ним произошло, с ним, всю жизнь клявшимся в любви к России, коммунизму и советской власти. Как он сам сказал в юности: "Со мною вот что происходит..." — это надо понять.

Я не завидую будущим несчастным исследователям "эпохи Евтушенко", которые будут копать в горах его многообразного творчества, словно бомжи на свалке современных отходов уходящей в прошлое цивилизации, на свалке, где можно найти и вполне ещё приличные штотки, и устаревшую, но ещё способную послужить людям мебель, где порой попадаются телевизоры, ковры, книги и даже продукты, ещё годные к употреблению. Столько на этих свалках ещё полезных, ещё годных для общества потребления вещей, столько оригинальных рифм и вполне пригодных для жизни афоризмов, обломков быта, а может быть, и призраков бытия, плавающих в испарениях этих мировых монбланов из соблазнительного мусора. Думал о мировой славе, а сделал неоченимый вклад в мировую свалку, где все мы, наверное, со временем окажемся.

Но вспоминать его и думать о пролетевшей жизни и о посмертной судьбе необходимо хотя бы потому, чтобы новое поколение мыслителей, историков и биографов знало, что допустимо в литературе, а чего нельзя делать, понимало, как уживаются с литературными судьбами понятия "честь", "совесть", "память" и что такое посмертная жизнь поэта.

* * *

Через несколько дней после трёхдневной августовской 1991 года провокации в Союз писателей России, что на Комсомольском, 13, пришла толпа — некий 267-й "батальон нацгвардии". На второй этаж поднялись трое шпанят-хунвейбинов с бумагой, подписанной префектом Центрального округа Музыкантским, о том, что наш Союз закрывается как организация, "идеологически обеспечившая путч". Я разорвал эту бумагу и бросил обрывки к ногам хунвейбинов. Но именно тогда мы узнали, откуда ветер дует: оказывается, не кто-нибудь, а Евтушенко в эти подлые дни отправил за своей подписью письмо мэру Москвы Гавриилу Попову с требованием закрыть как оплот реакции "бондаревско-прохановский" Союз писателей. Сам автор письма уже восседал в бывшем кабинете Георгия Маркова на улице Воровского. Незадолго до этого он и его соратники — Черниченко, Адамович, Нуйкин, Савельев — выгнали старых секретарей из кабинетов (якобы за связь с ГКЧП), плюхнулись в их тёплые кресла и вцепились в правительственные телефоны-вертушки. Памятуя о наших некогда неплохих отношениях и не до конца веря, что поэт Евтушенко мог написать Гавриилу Попову такой донос, я вскочил в машину и помчался с Комсомольского проспекта на Воровского. Евгений, сидевший в кабинете один, поднял на меня свои холодные глаза:

— Женья! Как бы мы ни враждовали, но так опускаться! Ведь в нашем Союзе Распутин, Белов, Юрий Кузнецов, которых ты не можешь не ценить. Зачем вы возрождаете чекистские нравы? Одумайтесь!

Он с каменным лицом и ледяным взором поджал и без того тонкие губы:

— Стасик! Хочу сказать тебе откровенно: не ошибись, сделай правильный выбор, иначе история сомнёт тебя. Не становись поперёк дороги. Ты что, не понимаешь — время переломилось. Извини, больше разговаривать не могу. Мне надо ехать...

Мы вышли во двор усадьбы Ростовых, где у дверей Союза стоял его чёрный "мерседес". Я шёл за ним, ещё не потеряв последней глупой надежды в чём-то переубедить его... Но он уже открывал сверкающую дверцу лимузина, и тут, как на грех, когда он уже садился в кресло, натянулась пола его пиджака и одна из роскошных золотистых пуговиц отлетела и покатила под машину. Раздосадованный поэт, чертыхаясь, присел на корточки и стал искать пуговицу, чуть ли не ползая по асфальту. При виде его согнувшейся озабоченной фигуры я вдруг понял, что зря приехал к нему и зря начал этот пустой разговор. Пуговицы он так и не нашёл — терпения не хватило, и, наверное, моё присутствие раздражало его, — выпрямился, отряхнул брюки на коленях, сел с несколько перекошенным от такой неожиданной неудачи лицом за руль, молча закрыл стекло, включил зажигание, нажал на газ, и "мерседес"

с мягким шумом рванулся, огибая согбенную статую Льва Толстого – молчаливого свидетеля нашего короткого разговора. Я тупо и растерянно взглянул на асфальт, где стояла машина, увидел золотистую пуговицу, пнул её ногой так, что она отлетела в траву, и вспомнил строки из своего пророческого стихотворенья, написанного в 1987 году:

*Ах, Фёдор Михалыч, Ты видишь, как бесы
Уже оседлали свои “мерседесы”,
Чтоб в бешеной гонке и в ярости лютой
Рвануться за славою и за валютой...*

Я бы не стал так подробно вспоминать о прошлых событиях, если бы не лживые воспоминания Евгения Евтушенко, который таким образом изобразил в “Комсомолке” (3.8.2000) мой вышеописанный приезд к нему:

“После неудавшегося путча ко мне в кабинет секретаря Союза писателей пришёл Станислав Куняев... У него тряслись руки от страха, и он почти шептал: “Женя, ты же помнишь, мы с тобой дружили”. Это был самый отвратительный момент в моей жизни, когда я увидел человека, который боится...”

Ах, ты сочинитель!.. Да я на глазах десятков людей разорвал бумажку префекта, спровоцированную твоим письмом к Гавриилу Попову, и при этом руки у меня не тряслись. А в ночь с 19-го на 20 августа 1991 года меня разбудил телефонный звонок. Звонила корреспондентка “Независимой газеты” Юлия Горячева. Она спросила о моём отношении к ГКЧП. Я ответил, что понимаю и поддерживаю людей, сопротивляющихся горбачёвщине, что согласен на все ограничения свободы слова ради сохранения государства. С тем же вопросом той же ночью ко мне обратились из радиостанции “Свобода”, и я ответил им теми же словами. Через три месяца в интервью для “Независимой газеты” я демонстративно заявил следующее: “Если бы мне предложили подписать “Слово к народу”, считающееся идеологическим обеспечением действий ГКЧП, я, не сомневаясь, подписал бы его”.

К этому времени наши пути в литературе и жизни, начавшиеся весьма дружелюбно, постепенно развели нас по разные стороны баррикад. Да так и должно было случиться после всяческих диссидентских демонстраций и процессов, после дискуссии “Классика и мы”, после моего письма в ЦК КПСС по поводу альманаха “Метрополь”, после его стихов о “русских коалах”, после моих статей о культе Высоцкого и о поэзии Окуджавы, после его письма в августе 1991 года о необходимости закрытия Союза писателей России.

Начиная с конца семидесятых, он замечал каждый мой рискованный шаг. Впрочем, он не только стремился уязвить меня лично. Его цель была в том, чтобы, пользуясь своей бешеной популярностью, оттеснить русское патриотическое сопротивление, которое стало поперёк дороги силам, постепенно начавшим разрушение страны. Вот всего лишь несколько фраз из его статей и выступлений 80-х и 90-х годов прошлого века.

“Присуждение Государственной премии РСФСР им. М. Горького С. Куняеву как критику-публицисту у меня вызвало чувство возмущённого недоумения. Признаться, я не верил, что ему могут присудить эту премию, которая носит имя человека, плакавшего, когда он слушал чужие стихи...”. “Как русский поэт, русский читатель я возражаю против решения о присуждении С. Куняеву Государственной премии РСФСР” (из “Литературной газеты” 13.01.1988).

“Шовинистическое оплёвывание таких дорогих для нас поэтов, как Багрицкий, Светлов, а заодно издевательство над целой плеядой погибших на войне поэтов...”. “Мне не нравится – и очень серьёзно не нравится его точка зрения на национальный вопрос” (из газеты “Советская культура” 7.11.1987).

Из выступления Е. Евтушенко на дискуссии “Классика и мы” (21.12.1977):

“В выступлении Куняева была какая-то, я бы сказал, ретроспективная склонность, ну, ей-богу, ну, опять было неприятно. Я не знаю, кто из них лучше, но оба они прекрасные поэты – и Мандельштам, и Багрицкий. Но зачем же Мандельштамом бить Багрицкого! И Станислав Юрьевич сделал здесь уж совсем нехороший жест, когда он стал Багрицкого бить Смеляковым. <...> Зачем же, используя какие-то отдельные строчки Багрицкого, <...> зачем его

называть как человеконенавистника... Русская классика гневными устами Короленко высказала своё отвращение к насаждавшемуся царской бюрократией антисемитизму! И это осталось навсегда наследием сегодняшних настоящих русских интеллигентов”.

А вот комментарий Е. Евтушенко к моему стихотворению “Очень давнее воспоминание” из составленной им поэтической антологии “Строфы века” (Минск-Москва, 1995).

“Станислав Куняев, р. 1932 г., Калуга. Окончил филфак МГУ в 1957-м. Затем работал журналистом в Тайшете. Первая книга “Звено” – в 1962 г. Ученик Слуцкого, некоторое время считался либеральным поэтом-“шестидесятником”. Ничего не скажешь, приводимое в антологии стихотворение написано здорово. Но есть мнение, что в нём не столько осуждение антинародного террора, сколько упоение силой власти. Однако и в литературе всё происходит так же, как на площадках молодняка. На месте молочных зубов либералов иногда обнаруживаются опасные резцы национализма. А от них и до клыков недалеко. Национализм чаще всего вырастает на личной неудовлетворённости. Запомнились иронические строки Куняева: “Я один, как призрак коммунизма, на стокгольмской площади брожу”. Но прославился он строкой, которая ему не принадлежала: “Добро должно быть с кулаками”. Эту строку дал нам, студентам, для упражнения Светлов. Может быть, слава, полученная благодаря чужой строке, начала разъедать самолюбие Куняева. Он написал письмо в ЦК, жалуясь на засилье евреев и прочих нацменьшинств в издательствах, приписал поклонникам Высоцкого, что они якобы растоптали его могилу, выступил против песен Окуджавы, поддержал ГКЧП. Всё это, к сожалению, не способствовало гармоническому развитию того дарования, которое, несомненно, было заложено в нём с ранней юности”.

И это лишь малая часть выпадов, публичных доносов и политических обвинений, которыми удостоил меня Евгений Александрович. Даже странно, что при всей своей всемирной славе и гордыне он потратил на споры со мной столько сил и времени.

Он не мог или не хотел внимательно вчитаться в страницы, мной написанные, но “проработывал” их, словно какой-нибудь сотрудник “теневого” ЦК КПСС, упрощая мои мысли до идиотизма, отделяясь примитивными идеологическими штампами вроде “антисемитизма”, “национализма”, “зависти” и т. д. Он так и не увидел, что в статье, посвящённой судьбе Высоцкого, я не столько думал о его творчестве, сколько о слепом фанатичном идолопоклонстве публики перед своим кумиром. Мало того, Евтушенко не понял всей серьёзности и значительности мировоззренческого спора, который разгорелся в Большом зале Центрального Дома литераторов 21 декабря 1977 года на дискуссии “Классика и мы”, где он и его друзья Борщаговский, Эфрос, Е. Сидоров проиграли это сражение, условно говоря, “националистам” с “клыками” и “резцами”. Ну, это естественно: нельзя же всю жизнь ходить с “молочными зубами”!

А что касается стихотворенья о “добре с кулаками”, то Евтушенко, как потом я узнал, тоже написал стихотворение на заданную Светловым тему и напечатал его в “Дне поэзии” в 1961 году почти одновременно с моим, вошедшим в сборник “Землепроходцы” (1960) и ставшим сверхпопулярным. Он, обвинив меня за использование “чужой строчки”, использовал её тоже, но умолчал об этом. Не хотелось ему сознаться в своей неудаче. А почему его стихотворение забылось, я до сих пор не понимаю.

Однажды мы с женой сидели у телевизора и смотрели передачу профессора Вяземского “Умники и умницы”. Речь среди его учениц зашла о добре, и кто-то вспомнил мою строчку.

– А кто всё-таки автор этой строки? – спросил профессор.

Одна из девушек подняла руку:

– Я думаю, что это был Ленин, – ответила девушка, и мы с женой расхохотались.

А однажды я наблюдал по ТВ войну в Донбассе: небритый, загорелый ополченец с автоматом быстрым шагом спешил на боевую позицию. За ним семенил тележурналист, который, протягивая к ополченцу микрофон, выкрикивал:

– Скажите, почему и за что вы здесь воюете?..

Ополченец, видимо, чтобы отвязаться от журналиста, резко повернул к нему голову и выкрикнул:

*Добро должно быть с кулаками,
добро суровым быть должно,
чтобы летела шерсть клоками
со всех, кто лезет на добро.*

И тут я понял справедливость изречения: “Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется”. С тех пор я перестал сомневаться в достоинствах своего стихотворения. Если его читают вслух люди, идущие в бой, — значит, оно содержит в себе энергию борьбы и победы.

* * *

Почти во всех откликах на смерть Евтушенко его фанаты утверждают, что чёрная зависть съедала души евтушенковских идейных противников, современников, бесталанных конкурентов из всех жанров литературы и эстрады. Что они всю жизнь завидовали его сумасшедшей славе, его жизненной энергии, его умению делать дела, его связям с сильными мира сего. Наверное, в этих утверждениях есть доля правды. Но тогда почему к Е. Е. с иронией, а порой с негодованием и даже брезгливостью относились многие люди культуры из отнюдь не официального или патриотического лагеря, а, скорей, из мира ярких либералов, из третьей эмиграции, из прослойки настоящих антисоветчиков?

Остроумнее всех написал о Евтушенко философ и бывший лётчик-фронтвик Александр Зиновьев в книге “Зияющие высоты”. Евтушенко у Зиновьева выведен, правда, под какой-то несерьёзной кличкой “Распашонка”, в то время как Галич именуется Певцом, Солженицын — Правдецом, Эрнст Неизвестный — Учителем, Бобков — Сотрудником, а Зимянин — Заведующим; Андропов проходит под кликухой “Сам”. Все они живут в государстве Ибании и говорят на ибанском языке.

“Что Вы скажете о поэзии Певца, — спросил Журналист у Распашонки. — Поэзия непереводаима, — сказал Распашонка. — Меня, например, невозможно перевести даже на ибанский язык. — А на каком же языке Вы говорите, — удивился Журналист. — Каждый крупный поэт имеет свой голос и свой язык. Попридержи свой язык, — сказал Начальник. — А не то останешься без голоса. Собирайся-ка в Америку. Вот тебе задание: покажешь всему миру, что и у нас в Ибанске полная свобода творчества. Только с тряпками поосторожнее. Знай меру. А то сигналы поступали. Не больше десяти шуб, понял?”

Приехав в Америку, Распашонка прочитал стихи:

*Не боюсь никого,
Ни царей, ни богов.
Я боюсь одного —
Боюсь острых углов.
Где бы я ни шагал,
Где бы ни выступал,
Во весь голос взывал:
— Обожаю овал!*

— Как он смел, кричали американцы! И как талантлив! Ах, уж эти ибанцы! Они вечно что-нибудь выдадут такое! Мы так уже не можем. Мы зажрались. “Как видите, я здесь, — сказал Распашонка журналистам. — А я, как известно, самый интеллектуальный интеллектуал Ибанска. Когда я собрался ехать сюда, мой друг Правдец сказал мне: “Пропой, друг Распашонка, им всю правду про нас, а то у них превратное представление”.

— А ведь в самом деле смел, — сказал Учитель. — Цари и боги — это вам не какие-то пустячки вроде Органов. Тут ба-а-а-льшое мужество нужно.

Сослуживец, завидовавший мировой славе Распашонки, сказал, что это вшивое стихотворение надо исправить так:

*Где бы я ни стучал,
Чей бы зад ни лобзал,
С умилением мычал:
— Обожаю овал!*

Вернувшись из Америки, Распашонка по просьбе Сотрудника написал обстоятельную докладную записку о творчестве Певца. Для Самого, сказал Сотрудник. Так что будь объективен. И Распашонка написал, что, с точки зрения современной поэзии, Певец есть весьма посредственный поэт, но как гражданин заслуживает уважения, и он, Распашонка, верит в его искренность и ручается за него. . . “Граждан у нас и без всяких там певцов навалом, – сказал Заместитель номер один, – а посредственные поэты нам не нужны. Посадить!” Либерально настроенный Заведующий предложил более гуманную меру: выгнать его в шею! Зачем нам держать плохих поэтов? У нас хороших сколько угодно!

– И я смог бы написать что-нибудь такое, за что меня взяли бы за шиворот, – говорит Распашонка. – А смысл какой? Сейчас меня читают миллионы. И я так или иначе влияю на умы. В особенности – на молодёжь. . . А сделай я что-нибудь политически скандальное, меня начисто выметут из ибанской истории. Двадцать лет труда пойдёт прахом. – Конечно, – сказал Учитель. – А надолго ли ты собираешься застрять в ибанской истории? В официальной? А стоит ли официальная ибанская история того, чтобы в ней застревать? А расчёт на место в истории оборачивается, в конечном счёте, тряпками, дачами, мелким тщеславием, упоминанием в газете, стишком в журнальчике, сидением в президиуме. – Ты на что намекаешь, – возмутился Распашонка. – Погоди, – сказал Учитель. – Учти! Ибанская история капризна. Она сейчас нуждается в видимости подлинности. Пройдёт немного времени, и тебя из неё выкинут, а Правдеча впишут обратно. Торопись, тебя могут обойти!

Распашонка побледнел и побежал писать пасквиль на ибанскую действительность. Пасквиль получился острый, и его с радостью напечатали в Газете. . . Молодому поэту Распашонке, любимцу молодёжи и органов, за это дали сначала по шее, а потом дачу!”

Об этой же способности Е. Е. к выживанию в любых обстоятельствах беспощадно написала в своих мемуарах Галина Вишневская:

“Быстро научился он угождать на любой вкус, держать нос по ветру и, как никто, всегда хорошо чуял, когда нужно согнуться до земли, а когда можно и выпрямиться. . . Так и шарахало его с тех пор из стороны в сторону – от “Бабьего Яра” до “Братской ГЭС” или, того хлеще, “КаМАЗа”, который без отвращения читать невозможно, – так разит подхалимажем. . .”

Однажды она сама прямо прорычала ему в лицо:

“Вы подарили Славе (Растроповичу. – **Ст. К.**) несколько книжек Ваших стихов. Я их прочла, и знаете, что меня потрясло до глубины души? Ваше гражданское перерождение, Ваша неискренность, если не сказать – враньё, Ваше бессовестное отношение к своему народу”.

Из воспоминаний Сергея Довлатова:

“Бродский перенёс тяжёлую операцию на сердце. Я навестил его в госпитале. Лежит Иосиф – бледный, чуть живой. Кругом аппаратура, провода и циферблаты.

И вот я произнёс что-то совсем неуместное:

– Вы тут болеете, и зря. А Евтушенко между тем выступает против колхозов. . .

Действительно, что-то подобное имело место. Выступление Евтушенко на московском писательском съезде было довольно решительным. Вот я и сказал:

– Евтушенко выступил против колхозов. . .

Бродский еле слышно ответил:

– Если он против, я – за. . .”

Из дневника Юрия Нагибина, который писался не для публики, а для самого себя и был издан уже после смерти Нагибина в Москве в 1996 году:

“Евтушенко производит смутное и тягостное впечатление. Он, конечно, исключительно одарённый человек, к тому же небывало деловой и энергичный. Он широк, его на всё хватает, но при этом меня неизменно в его присутствии охватывает душный клаустрофобический ужас. Он занят только собой, но не душой своей, а своими делами, карьерой, успехом. Он патологически самоуверен, тщеславен, ненасытен в обжорстве славой. “Я!Я!Я!Я!..” – в ушах

звенит, сознание мутится, нет ни мироздания, ни Бога, ни природы, ни истории, ни всех замученных, ни смерти, ни любви, ни музыки, нет ничего – одна длинновязая, всё застывшая собой, горластая особь, отвергающая право других на самостоятельное существование. Он жуток и опасен, ибо ему не ведомо сознание греха. Для него существует лишь один критерий: полезно это ему или нет.”

Поэт Д. Голубков, из книги “Это было совсем не в Италии” (М., 2013): “Он не русский. Он американец. Грубая сентиментальность. Знает инстинкт толпы, зверино чувствует потребу времени. Журналист. Хватает на лету. Людьюми по-настоящему не интересуется: никогда не дослушивает, не слушает – только смотрит – быстро, цепко, хватательно”.

Некогда ранее Евтушенко уехавший в Америку Г. П. Климов так отозвался о нём: “Сам Евтушенко – величина спорная и противная. И, что интересно, настолько противная, что его даже свои, даже евреи не любят и оплёвывают. Потому что он человек двуличный, настоящий хамелеон, который, угождая всем, угодить всем не может”.

И словно бы подтверждая эту мысль русского диссидента Г. Климова, язвительное перо Валентина Гафта начертало такую эпиграмму о знаменитом поэте:

*Он сегодня снова странен,
Он почти киноартист
И почти что англичанин,
Наш советский скандалист.*

*Находившись не под банкой,
Вовсе не сойдя с ума,
Породнился с англичанкой
Он со станции Зима.*

*Историческая веха —
Смелый вроде бы опять,
Будет жить, почти уехав,
Политическая блядь...*

Прочитав эту эпиграмму, один из поклонников Евтушенко чрезвычайно огорчился и утешился только тогда, когда ему кто-то сказал, что Валентин Гафт не еврей, а немец.

Но беспощаднее всех к огорчению поклонников Евтушенко написал о его связях с Лубянкой покойный Владимир Войнович, один из самых значительных прозаиков либерального стана:

“Я думаю, когда-нибудь ещё будет написана его биография, а может, даже роман о нём (вроде “Мефисто” Клауса Манна), и там будет показано, как и почему человек яркого дарования превращается в лакея полицейского режима. “Талант на службе у невежды, // привык ты молча слушать ложь. // Ты раньше подавал надежды, // теперь одежды подаёшь”. Эти написанные им слова ни к кому не подходят больше, чем к нему самому. Известна его роль посланника “органов” к Бродскому и Аксёнову. Евтушенко публично говорил, что каждого, кто на его выступлениях будет допускать антисоветские высказывания, он лично отведёт в КГБ. Уже в начале “перестройки”, приветствуя её, но всё ещё распинаясь в верности своим детсадовским идеалам, обещал в “Огоньке” “набить морду” каждому, от кого услышит анекдот о Чапаеве”.

* * *

На закате жизни Евгению Евтушенко пришлось пережить немало унижений не от патриотов, а, что обиднее всего, от своих по убеждениям и по мировоззрению “шестидесятников”, которые, в отличие от “многоликого” поэта, были “упёртыми” диссидентами.

Двадцать первого декабря 2000 года на юбилее “Независимой газеты” в Московском гостином дворе случилась история, о которой свидетель и участник происшедшего Марк Григорьевич Розовский написал в письме главному

редактору газеты: “Я хотел бы дать маленький комментарий к одному замечательному фотоснимку. На этом снимке изображён Глеб Павловский, показывающий яростную фигу Евгению Евтушенко. Ваш покорный слуга стоит рядом в качестве невольного свидетеля их разговора <...> считаю своим долгом донести до Вашего читателя подлинный смысл услышанного, и да простят меня оба участника полемики: придя домой после юбилея, я почувствовал потребность записать всю беседу по памяти, не откладывая в долгий ящик... Разговор начал Евтушенко, который взял за локоток проходившего мимо Павловского:

– Господин Павловский, хотел давно с Вами познакомиться и сказать в глаза всё, что о Вас думаю.

Павловский оторопел, но, узнав Евтушенко, благосклонно задержался в своём движении. Далее Женя с места в карьер дал Глебу по очкам, как сказали бы в нашей школе в далёкие послевоенные годы:

– Вы, как я слышал, даёте советы президенту. Что же Вы, вроде бы бывший диссидент, не отговорили его от этого гимна? Вы же вроде бы сами сидели, так должны были отговорить! Вы и себя тоже подставили! Вы понимаете, что Вы сделали!?

– Прекрасно понимаю, – сказал Павловский и чисто провокативно спросил: – А почему это Вас так волнует?

– Как почему? – зашёлся Евтушенко. – Да в России всего шесть поэтов, которые могли бы написать новый гимн! Новый! На новую музыку! И не было бы этого позора, который Вы устроили!

– Я ничего не устраивал, – сказал Павловский.

– Но отвечать будете Вы! Именно Вы будете отвечать!

– Пап, кто это? – спросила девушка, стоящая рядом с Павловским.

Тут я, признаться, расхохотался внутренне, но виду не подал. Однако не успел я посетовать, что молодёжь не знает великого русского поэта в лицо, как сам Евтушенко буквально выпалил:

– Я великий русский поэт!

– Как фамилия? – простодушно спросила девушка.

– Евтушенко! – не выдержав напряжения, подсказал я. – Это, девушка, Евгений Александрович Евтушенко!

К моему удивлению, это нашего поэта не смутило. Всю свою страсть гражданина он обрушил на самого знаменитого пиарщика России XX века:

– Да Вы знаете, что теперь будет?

– А что теперь будет? – Павловский посмотрел на Евтушенко поверх очков. – Я-то знаю как раз, что будет! – Наверное, он был прав. В отличие от поэта, который в России сейчас больше, чем пиарщик.

– Не знаете! – гневно воскликнул Евтушенко. – Так я Вам скажу! Многие не встанут, когда зазвучит этот гимн, и как Вы тогда будете спать? Спокойно? Нет! Вы не будете спать спокойно, потому что, когда арестуют первого человека, который не встанет при этом Вашем гимне, Вы не сможете спать спокойно!

Ответ был нагляден: всё кончилось интеллигентной фигой. В “Независимой газете” была опубликована фотография, как Павловский, стоя рядом с дочкой и Марком Розовским, сунёт в нос Евтушенке, стоящему с открытым ртом и выпученными глазами, как говорится, “фигу с маслом”, которую Е. Е. заслужил, оклеветав новый гимн за его изначальную великую музыку Александрова. Беда Евтушенко заключалась в том, что он сидел даже не на двух, а на четырёх стульях – советском, антисоветском, еврейском и русском, и, сообразуясь с обстоятельствами, всегда ловко и естественно пересаживался с одного стула на другой, за что “идейные” диссиденты вроде Иосифа Бродского презирали его не меньше, чем идейные патриоты. Но самым прискорбным для Е. Е. в этом трагикомическом конфликте является то, что неприятие и даже презрение к его особе исходило от землян еврейского происхождения, не купившихся ни на его “Бабий Яр”, ни на его экзальтированные зарифмованные проклятья в адрес “охотнорядцев”, “погромщиков” и прочих антисемитов. И все четыре стула, на которых он сидел, одновременно выскочили из-под его задницы. Но бывало и так, что в его адрес неслись такие оскорбления, которые мог выносить только этот “сверхчеловек”.

Помнится мне, что стихотворение “Наследники Сталина” вызвало возмущение не только “антисемитов” и “сталинистов”. Поэт Моисей Цейтлин (1905–

1995), опубликовавший при жизни лишь одну книжку в 1986 году, которую высоко оценил Вадим Кожинов за гражданское мужество, сразу же после появления в "Правде" "Наследников Сталина" ответил Евтушенке стихотворением, которое ни за что не могло быть опубликовано в то время:

Автору стихотворения "Наследники Сталина"

*Термидорьянец! Паскуда! Смазливый бабий угодник!
Кого, импотент, ты порочишь блудливым своим языком?!
Вождя, что создал эту землю, воздвиг этот мир, этот дом,
Порочишь, щенок, последней следуя моде!
Кого ты лягнуть вознамерился, жалкая мразь,
И твякаешь ты на него, рифмоплёт желторото-слюнявый?
Ведь он полубог, не чета вам, погрязшим в бесславье,
Пигмеям, рабам, подлипалам, зарывшимся по уши в грязь!
Он древних трагедий герой, им ныне и присно пребудет!
Эхил и Шекспир! Резец флорентийца суровый!
Канкан канныбальский у трупа уже ль не разбудит
Презренье и гнев вашей грязной обжевшейся своре?
(1962)*

Гнев Моисея Цетлина – это гнев "высшей пробы". Никакие "проклятия в рифму" по поводу антисемитов, в изобилии слетавшие с пера Евтушенко, никакое его демонстративное юдофильство не могли примирить автора "Бабьего Яра" с Моисеем Цетлиным, который громил его репутацию подобно ветхозаветным пророкам Израиля, изобличавшим фарисеев и книжников.

Из статьи Владимира Максимова "Осторожно, Евтушенко!" (журнал "Континент"):

"Едва ли рыцарь простодушного доноса Фаддей Булгарин в XIX веке догадывался, что при известной гибкости мог бы, оставаясь агентом Третьего отделения, выглядеть в представлении современников и потомков мучеником Сенатской площади.

Другое дело Евтушенко. Он, к примеру, пишет и печатает стихотворение "Бабий Яр", а затем в качестве члена редколлегии журнала "Юность" поддерживает резолюцию об израильской "агрессии". Он посылает в адрес правительства широковещательную телеграмму против оккупации Чехословакии, но вслед за этим делает приватное заявление в партбюро Московского отделения Союза писателей с осуждением своей первоначальной позиции.

Он громогласно защищает Солженицына и тут же бежит в верхи извиняться и каяться, и пишет ура-патриотическую поэму о стройке коммунизма – Камском автомобильном заводе, – где прозрачно намекает на того же Солженицына: "Поэта вне народа нет!"

И, представьте себе, это не мешает ему оставаться в глазах наших, да и не только наших, "интеллектуалов" представителем культурной оппозиции".

Андрей Тарковский о поэме Е. Е. "Под кожей статуи Свободы":

"Случайно прочёл... Какая бездарь! Оторопь берёт. Мещанский авангард... Жалкий какой-то Женя. Кокетка. В квартире у него все стены завешаны скверными картинами. Буржуй. И очень хочет, чтобы его любили. И Хрущёв, и Брежнев, и девушки..." (из книги "Евтушенко. Love story" М.: Молодая гвардия, серия ЖЗЛ, 2014).

Из "Записок" Л. К. Чуковской об Анне Ахматовой, которая произнесла следующий монолог:

"– Мне кажется, я разгадала загадку Вознесенского. Его бешеного успеха в Париже. Ведь не из-за стихов же! Французы стихов не любят, не то что иностранных – родных, французских. Там стихи печатаются в восьмистах экземплярах. Если успех – ещё восемьсот. И вдруг – триумф! Русских, непонятных... Я догадалась. Вознесенский, наверное, обьявил себя искателем новых форм в искусстве – ну, скажем, защитником абстракционистов, как Евтушенко – защитник угнетенных. Может быть, и защитник, но не поэт. Эстрадники!

А меня их поэзия – или их эстрада? – как-то не занимает. Конечно, причину успеха интересно было бы исследовать. С социально-исторической точки. На Западе, говорит Анна Андреевна, не понимают по-русски, а стихов вообще не ценят. Пусть так! А в России понимают? По-русски? И ломаются на вечера Вознесенского и Евтушенко... В чём дело?" "Сейчас прочла Евтушенко в "Юности". Почему никто не видит, что это просто очень плохой Маяковский?"

Зато какие лестные отзывы он, которого принимал и Ричард Никсон, и Аллен Даллес, и Генри Киссинджер, и Роберт Кеннеди, получал из Белого дома в самое трудное для его родины время!

"Провожая меня, – вспоминает автор жэзэловской книги о поэте Илья Фаликов, – Евгений Александрович достал из почтового ящика почту. Пробежав глазами одно из писем, он протянул его мне. Письмо из Вашингтона от Билла Клинтона:

"Дорогой Евгений, благодарю Вас за книгу Ваших избранных стихов, которую мне передал губернатор Уолтерс. Я хочу поддержать историческое движение к демократии и свободному предпринимательству, происходящее сейчас в бывшем Советском Союзе. Я буду иметь в виду Ваши исполненные мысли слова, пытаюсь справиться с многочисленными вызовами, которые бросает мне быстро меняющаяся Россия. Искренне Ваш Билл Клинтон".

Это были годы, когда в голодные обмороки падали учителя и офицеры, шахтёры и лесорубы, вымирающие от безработицы и недоедания в северных посёлках. В моей родной Калуге, где мы встречались с Е. Е. на съёмках фильма о Циолковском, мои земляки с утра становились в очередь за говяжьими костями – всё-таки в пять раз дешевле мяса. А в его родной Зиме бродили подростки с остекленевшими от наркотиков глазами... И в это время он с гордостью показывал личное письмо Билла Клинтона, в котором этот "саксофонист" "имеет в виду мысли и слова" Евтушенко о том, как президенту Америки "справиться с многочисленными вызовами, которые бросает" ему "быстро меняющаяся Россия".

Вскоре после этого письма Клинтон приказал бомбить Белград. Справились...

Когда я во время одной из наших встреч с композитором Георгием Свиридовым вспомнил о том, что Шостакович написал музыку на стихи Евтушенко "Бабий Яр" и что, несмотря на сопротивление чиновников от идеологии, оратория была исполнена в Большом консерваторском зале, Свиридов нахмурился: "Значит, мировая антреприза, которой было суждено это исполнение, сильнее партийной идеологии, а мы с вами – слабее..."

Достоин внимания суждение о поэтах – "шестидесятниках" тоже "шестидесятника" Юрия Карабчиевского, составителя альманаха "Метрополь", конечно, антисоветчика, уехавшего в 1990 году в Израиль, через два года после этого вернувшегося в Россию, чтобы умереть и быть похороненным на родине, где на короткое время стала знаменитой его книга "Воскресение Маяковского", выдержавшая несколько переизданий.

В ней он пришёл к мысли, что воскресение Маяковского состоялось в советской действительности "сразу в трёх ипостасях. Три поэта – Евтушенко, Вознесенский, Рождественский. Каждый из них явился пародией на какие-то стороны его поэтической личности.

Рождественский – это внешние данные, рост и голос, укрупнённые черты лица, рубленые строчки стихов. Но при этом в глазах и в словах – туман, а в стихах – халтура, какую разве лишь в крайнем бессилии позволял себе Маяковский.

Вознесенский – шумы и эффекты, комфорт и техника, и игрушечная заводная радость, и такая же злость.

Евтушенко – самый живой и одарённый, несущий всю главную тяжесть автопародии <...> ни обострённого чувства слова, ни чувства ритма, ни тем более сверхъестественной энергии Маяковского – этого им было не дано <...> они заимствовали одну важную способность: с такой последней смелостью орать верноподданнические клятвы, как будто за них – сейчас на эшафот, а не завтра в кассу".

Действительно, трудно себе представить Маяковского, преподающего какой-то курс по русской поэзии в какой-то Оклахоме.

Однако Маяковским, отчеканившим: “Землю, где воздух сладкий, как морс, // бросишь и мчишь, колеся, // но землю, с которою вместе мёрз, // вовек разлюбить нельзя”, – можно только гордиться.

* * *

“Я писал не чернилами, а молоком волчицы, спасавшей меня от шакалов. Не случайно я был исключён из школы с безнадёжной характеристикой – с “волчьим паспортом”. Не случайно на меня всегда бросались, чуя мой вольный волчий запах, две собачьи категории людей, утробно ненавидящие меня, а заодно со мной и друг друга – болонки и сторожевые овчарки (профессиональные снобы и профессиональные “патриоты”)... “Шестидесятники” – это Маугли социалистических джунглей” (из книги “Волчий паспорт”. Е. Е. Воспоминания).

Однако в первой его книге “Разведчики грядущего” (1952), изданной ещё при жизни Сталина, есть стихи, написанные отнюдь не “молоком волчицы”, а скорее елеем, которым не пользовались даже такие официальные поэты, как Грибачёв или Лебедев-Кумач:

*Я знаю, вождю бесконечно близки
мысли народа нашего.*

*Я верю, здесь расцветут цветы,
сады наполнятся светом,
ведь об этом мечтаем я и ты,
значит, думает Сталин об этом!*

*Я знаю: грядущее видя вокруг,
склоняется этой ночью
самый мой лучший на свете друг
в Кремле над столом рабочим.*

Прочитав стихи своего племянника, “родная сестра отца “тётя Ра” была первым человеком на земле, сказавшим мне, что Сталин убийца” (из книги “Волчий паспорт”).

Но, как признаётся Евтушенко, несмотря на откровения “тёти Ра”, “я всё же поверил тому, что врачи хотели отравить нашего родного товарища Сталина, и написал на эту тему стихи”. Написал, да еще прочитал вслух не кому-нибудь, а еврейской семье Барлас: “Никто из убийц не будет забыт, // они не уйдут, не ответивши. // Пусть Горький другими был убит, // убили, мне кажется, эти же”. Поскольку “дело врачей” было сенсационным, то эту сенсацию подхватил начинающий поэт, и эта ставка на сенсации стала главной чертой его натуры. И когда “великий вождь всех времён и народов” почил в Бозе, наш отрок, почувствовавший, что лишается “покровителя”, обратился к великой тени другого основоположника. Сам он вспоминает об этом с искренней образностью, достойной восхищения: “Я принадлежу к тем “шестидесятникам”, которые сначала сражались с призраком Сталина при помощи призрака Ленина”. Но опять же обратиться к “призраку Ленина” ему помог спившийся антисоветчик:

“Небольшой сборничек цитат из Ленина, составленный Венедиктом Ерофеевым под названием “Моя Лениниана”, поверг меня в глубокую депрессию, сильно поколебал меня в моих прежних самых искренних убеждениях”.

Вот так-то: тётя Ра открыла ему глаза на Сталина, а Веничка – на Ленина. И пришлось Е. Е. излить свои чувства новому генсеку: “Меня глубоко тронули, заставили задуматься слова Никиты Сергеевича о том, что у нас не может быть мирного сосуществования в области идеологии... если мы забудем, что должны бороться неустанно, каждодневно за окончательную победу идей ленинизма, пострадавших нашим народом, – мы совершим предательство”.

Представляете себе его состояние в конце 80-х, когда кумиры начали рушиться на глазах? Надо было сочинять стихи об очередном хозяине – Горбачёве: “Как он прорвался к власти сквозь ячейки всех кадровых сетей, их

кадр – не чей-то?! Его вело, всю совесть изгрызя: “Так дальше жить нельзя!”. Однако, к несчастью, коварный и сильный Ельцин начал побеждать не менее коварного, но более слабого своего конкурента, и Е. Е. понял, что без стихов о Ельцине ему не обойтись. Стихи сочинились как раз вовремя – 20 августа 1991 года на митинге у Белого Дома, где надо было подтвердить свою преданность новому хозяину. Довольный тем, что он успевает прочитать стишок в самый нужный исторический момент, он, однако, засомневался, разом вспомнив, как прокалывался со Сталиным, с Хрущёвым, с Лениным, с Фиделем, с Горбачёвым: “Опасно упоминать в стихах живых политиков, даже если в данный момент истории они вызывают восхищение... Не надо слова “Ельцин” в этом стихотворении... Откуда ты знаешь, каким он станет потом? Но я резко осадил себя. Стоп-стоп, Женя. Хватит отравлять себя подозрениями... Я не вычеркнул фамилии...”

Ну, как им не восхищаться?! Восславил Сталина – проклял его же благодаря Хрущёву, заклеил еврейских врачей-отравителей – искупил свой грех, написав “Бабий Яр”, восславил Ленина, – отказался от Ленина при помощи Венички Ерофеева, восславил Горбачёва – сдал Горбачёва после победы Ельцина...

И всё от сердца, всё от души. Язык не поворачивается упрекнуть. Я уж не говорю о том, как искренне он “исправлял” свои стихи, даже самые заветные, самые хрестоматийные. Написал стихотворение о том, как он любит Россию: “Дух её пятистенков, дух её кедрача, её Пушкина, Стеньку и её Ильича”. Но меняется идеологическая конъюнктура, и строка меняется вместе с ней: “Дух её пятистенков, дух её сосняков, её Пушкина, Стеньку и её стариков”, а из поэмы “Братская ГЭС” изымаются главы о Ленине и о партбилете.

А что происходило со знаменитым “Бабьим Яром”? В первом варианте поэт утверждал, что там фашисты убили только одних евреев. Но когда советские идеологи поправили его, мол, и людей других национальностей гитлеровцы расстреливали в Бабьем Яру тоже, Е. Е. всё поправил: “Здесь русские лежат, и украинцы с евреями лежат в одной земле”. Однако в эпоху горбачёвщины, когда переиздавался “Бабий Яр”, он, скорее всего под давлением еврейского лобби, выбросил из хрестоматийного шедевра “русских” и “украинцев”, и снова в “Бабьем Яру” остались одни евреи...

* * *

Однако “еврейская тема”, начиная со стихотворения о врачах-отравителях (1952), стала важнейшей во всём творчестве Е. Е. до последних его дней и всегда выручала его в самых драматических обстоятельствах.

“Горжусь тем, что Всемирный конгресс русского еврейства, объединяющий 27 стран мира, выдвинул меня на Нобелевскую премию по литературе. Я тронут, потому что у истоков этой организации стояли люди, которые вышли из гитлеровских концлагерей. Это люди, о которых я писал” (из интервью одесскому журналисту Александру Левиту).

“В 1990 году по предложению Рождественского мы вместе написали письмо Горбачёву с просьбой, переходящей в требование, чтобы он раз и навсегда осудил антисемитизм. Уже теряющий своё положение лидер перестройки сделал это, но недостаточно громко, как-то боком” (из предисловия Е. Е. к стихам Роберта Рождественского).

Но откуда у него, девятнадцатилетнего юноши, в жилах которого, по его же собственным словам, текла какая угодно кровь, кроме еврейской, – русская, белорусская, украинская, немецкая, шведская, польская, латышская и т. д., – узнавшего лишь из газет в 1952 году о “врачах-отравителях” и заклеившего этих “отравителей” в искренних стихах, откуда у него с той поры и до конца жизни угнездилась в душе мания преследования? Почему всю взрослую жизнь он был убеждён, что живёт в мире, сплошь заселённом антисемитами, и его больное воображение то и дело рисовало ему ужасные картины антисемитских расправ над бедными сынами Израиля?..

*Я, сапогом отброшенный, бессилен,
Напрасно я погромщиков молю*

*Под гогот: “Бей жидов, спасай Россию!” —
Насилует лабазник мать мою.*

Вот уж поистине он был из числа тех талантливых демагогов, кто ради красного словца не жалел ни мать, ни отца. Может быть, эта вульгарно понятая антисемитская тема подпитывалась у него еврейскими женами — Галей Сокол и Джен Батлер? Может быть, дружеское еврейское семейство Барласов так пристыдило его за стихотворение о “врачах-отравителях”, что он запомнил этот урок на всю жизнь? А может быть, он сам, как человек со звериным инстинктом, уже в эти ранние годы осознал, что путь к мировой славе лежит через связи и дружбу с “мировой антрепризой”, в руках которой ключи и к успеху, и к прессе, и к деньгам? Как бы то ни было, Е. Е. не просто стал борцом с антисемитизмом и “защитником угнетённых еврейских масс”, но каким-то чудом перевоплотился во время своеобразного религиозного обряда в “русского Давида”, бросившего вызов всемирному многоликому антисемиту-Голиафу:

*Страх — это хамства основа.
Охотнорядские хари,
вы — это помесь Ноздрёва
и человека в футляре.*

*Что разбираться в мотивах
моторизованной плётки?
Чуешь, наивный Манилов,
хватку Ноздрёва на глотке?*

Даже политическое стихотвореньё “Танки идут по Праге”, осуждающее наше вторжение в Чехословакию (август 1968), он попытался превратить в своеобразный манифест борьбы с антисемитами, организовавшими это вторжение.

Но вы можете себе представить, дорогой читатель, что в советском танке, вошедшем в Прагу, сидит “помесь” — гибрид гоголевского Ноздрёва и чеховского Беликова, двух странных, смешных, курьёзных персонажей, предков шукшинских “чудиков”? Безвредных, беззлобных. Один — хвастун, другой — молчун. Ни Гоголь, ни Чехов не испытывают к ним ненависти, ненависть к ним испытывает Евтушенко. Больное воображение? Психическое расстройство? Страх? Почему? Да “ни почему”! Потому что ему надо заклеить ввод советских танков в Чехословакию. “Что разбираться в мотивах?” — кричит он, забывая, конечно, что чехи дважды топтали русскую землю — во время чехословацкого мятежа 1918 года и во время гитлеровского нашествия, когда “коричневые швейки” садились в “Тигры” и “Пантеры”, сделанные на чехословацких заводах и в составе войск III-го рейха утюжили землю нашей Родины. Недаром после войны их в качестве военнопленных в наших лагерях насчитывалось более 60-ти тысяч! Так что счёт у нас к ним и “мотивы” в 1968 году были более чем весомые, и в них надо было “разбираться”.

“Чуешь, наивный Манилов, хватку Ноздрёва на глотке?”

Представьте себе “наивного” Манилова-Швейка или Манилова-Кафку, который схвачен за глотку антисемитской рукой русского шовиниста Ноздрёва! Душит их этот курчавый, пьяный, хвастливый дворянин-“охотнорядец”. А Гоголь смотрит на этот евтушенковский цирк и чуть с ума не сходит...

Но размах стихотворения о танках, идущих по Праге, таков, что, проехавши по Гоголю и по Чехову, эти бронированные чудовища не останавливаются:

*Боже мой, как это гнусно!
Боже — какое паденье!
Танки по Ян Гусу,
Пушкину и Петефи.*

Эти строчки звучат не просто “гнусно”, а “гангнусно”, простите за игру слов, потому что Будапештское восстание 1956 года, тоже “подавленное” советскими танками, разгоралось не только под антисоветскими, но и под

антисемитскими лозунгами. Так что Евгению Александровичу нужно было бы приветствовать подавление нашими танками в 1956 году венгерских фашистов и антисемитов, но — запутался, историю плохо учил, из школы выгоняли, аттестата за окончание 10-го класса не выдали... Получил “волчий паспорт”... Однако и насчёт Яна Гуса с Пушкиным он не прав, и я не отдам Пушкина нашему, как он сам себя называл, “пушкинианцу”. Он уверен, что танки наши идут не только по “Праге”, но и по “Пушкину”. Значит, Пушкин должен осудить танковый бросок на Прагу и подавление чешской свободы?

Ах, если бы Евтушенко был жив, я бы ему напомнил отрывок из пушкинской “Бородинской годовщины”, в которой Александр Сергеевич бросает в лицо западным витиям, предающим в своих парламентах анафеме Россию за подавление польского восстания 1831 года:

*Ступайте ж к нам: вас Русь зовёт!
Но знайте, прошенные гости!
Уж Польша вас не поведёт:
Через её шагнёте кости!..*

Вспоминая, как сотысячная польская армия Понятовского, будучи частью наполеоновской армады, вошла в Москву и участвовала в мародёрстве и сожжении нашей столицы, Пушкин подчёркивает русское великодушие: “врагов мы в прахе не топтали”, “мы не сожжём Варшавы их”, и поляки, по его словам, “не услышат песнь обиды // от лиры русского певца”, а это был его ответ Мицкевичу, всю жизнь “обижавшемуся” на Россию.

А в 1968 году в чешскую Прагу вошли советские танки. Но писать, что они вошли туда гусеницами “по Пушкину”, может только фантазёр, не знающий Пушкина, ибо Пушкин был и сын Руси, и патриот России, и певец Российской империи, приветствовавший появление её войск и под украинской Полтавой, и в армянском Арзруме, и в польской Праге. Надо понимать такие вещи, коль уж ты назвался “пушкинианцем”.

* * *

Однако всё не так просто с мировым антисемитским заговором. На рубеже тысячелетий разрывающийся между “социалистической тиранией” и демократией, между сапогами “лабазников” и танковыми гусеницами “тридцатьчетвёрок”, между Байкалом и Бродвеем Е. Е. очутился в пустоте и, чтобы не пропасть, опять схватился за спасительную антисемитскую палочку-выручалочку:

*И вдруг я оказался в прошлом
со всей эпохой своей.
Я молодым шакалам брошен,
как черносотенцам еврей.*

Но оглянулся вокруг себя Евгений Александрович и понял, что “лабазники” и “охотнорядцы” — это были “цветочки”, давным-давно увядшие, а тут вокруг него сплелись нити всемирного заговора антисемитов “всея земли”:

*Бьют фашисты, спекулянты
всех живых и молодых,
каблучищами таланты
норовя пырнуть под дых.*

*Бьют по старому надлому
мясники и булочники. (?! — Ст. К.)
Бьют не только по былому —
бьют по будущему.*

*Сотня чёрная всемирна.
Ей, с нейтронным топором,*

*как погром антисемитский,
снится атомный погром.*

Неужто “лабазники” и “охотнорядцы”, “мясники и булочники” стали явлением мирового масштаба? Кто стоит во главе всемирного заговора и “атомного погрома”? Американские “неоконы”? Северно-корейский диктатор? Вожди ИГИЛа? Путин с Трампом, протянувшие руки к атомным чемоданчикам? Или всё это приснилось Е. Е. в тихом Переделкино, и надо было не хвататься за перо и бумагу, а вызывать “скорую помощь” с командой психиатров? Но поэт находил себе утешение в своих же собственных словах:

*Ничего, что столько маюсь,
С чёрной сотней в борьбе
не сломался... Не сломаюсь
от надлома на ребре.*

Надлом на ребре у него случился в Хельсинки, где он подрался с местными то ли фашистами, то ли антисемитами...

Стихи о “всемирной чёрной сотне” — это отрывок из громадной мало кем прочитанной поэмы Е. Е. “Фуку”, в которой присутствуют Сальвадор Альенде, Пиночет, Че Гевара, Фидель Кастро, генералиссимус Франко, Адольф Гитлер, Лаврентий Берия. Есть там, конечно, и Пабло Неруда с Уитменом, и знаменитые художники Южной Америки Сальвадор Дали и Альфаро Сикейрос, антисемит, в своё время покушавшийся на великого еврейского революционера Троцкого. Это не смущает Евтушенко, который хочет разузнать у Сикейроса, остался ли у Маяковского после его поездки в Америку сын. Художник успокаивает поэта: “Конечно, остался, погляди на себя в зеркало”.

Иногда вместо антисемитов у него в стихах, выполняя ту же функцию наивысшего зла, появляется Сталин, и это так же доводит его до болезненного отчаяния:

*И я пребываю в смертельной тоске,
когда над зеркальцем в грузовике
колымский шофёр девятнадцати лет
повесил убийцы усатый портрет...*

Однако это не мешало ему писать проклятия Сталину в сталинских высотках — сначала в своей квартире на Котельнической набережной, а потом в другой высотке, где гостиница “Украина”. Жил в сталинской ауре — не брезговал.

Но между прочим, никакой этой сверхчеловеческой борьбы с антисталинизмом могло бы не быть. Но тогда бы не был Евтушенко таким, каким мы знали его.

Из воспоминаний В. В. Кожина: “Много лет спустя после 1953 года я оказался в кафе Центрального дома литераторов за одним столом с давним близким приятелем Евтушенко — Евгением Винокуровым, <...> он выпил лишнего, к тому же был тогда, вероятно, за что-то был зол на давнего приятеля и неожиданно выразил сожаление, что те самые стихи о врачах-отравителях (евтушенковские. — Ст. К.) не решились в начале 1953 года опубликовать:

— Пожил бы Сталин ещё немного, — глядишь, стихи о врачах напечатала бы, и тогда никакого Евтушенко не было бы! — не без едкости объявил Винокуров. И был, вероятно, прав...”

* * *

Если бы Евтушенко сейчас был жив, то я сказал бы ему:

— Женя! Ты в своём творчестве докопался до настоящей золотой жилы, цену которой сам не знаешь. Только не останавливайся, продолжай её разрабатывать. Она, эта жила, неисчерпаема. Но будь осторожен. Вот ты пишешь

о себе, что ты не только “пушкинианец” и “некрасовец”, но и “я Есенин и Маяковский. // Я с кровинкою смеляковской”, а я недоумеваю, как ты сумел в себе объединить Есенина и Маяковского? Маяковский – интернационалист и честный юдофил, породнившийся с семейством Бриков. В стихотворении “Жид”, написанном в 1928 году, он доказывает это каждой строчкой: “Чёрт вас возьми, черносотенная слизь”, “Сегодня шкафом на сердце лежит тяжёлое слово – “жид”, “Помните вы, хулиган и погромщик, помните, бежавшие в парижские кабаре, – пишет он об эмигрантах белогвардейцах, – вас, если надо, покроет погромче // стальной оратор, дремлющий в кобуре”. А вот строчка из этого же стихотворения, имеющая прямое отношение к суду над поэтами Есениным, Клычковым, Орешиним и Ганиным: “Поэт в пивной кого-то // “жидом” честит под бутылочный звон”... Всех четверых судил товарищеский суд, который, слава Богу, взял их на поруки, чтобы они не попали в ЧК.

Но, Евгений Александрович, неужели ты не знаешь есенинские строчки из поэмы “Страна негодяев”, в которой один из персонажей говорит в лицо человеку по фамилии Чекистов: “С каких это пор ты стал иностранец? Я знаю, что ты настоящий жид <...> фамилия твоя Лейбман”, – а последний отвечает: “Ха-ха! Ты обозвал меня жидом! Нет, Замарашкин! Я гражданин из Веймара и приехал сюда не как еврей, а как обладающий даром укрощать дураков и зверей”.

Как же, Евгений Александрович, у тебя получается быть одновременно и Маяковским, и Есениным?

В знаменитом стихотворении “Бабий Яр” ты вообще являешь чудеса перевоплощения: обращаясь к “интернациональному” “русскому народу”, возмущаешься, что “антисемиты пышно нарекли себя “Союзом русского народа”. Но всем историкам известно, кем были отцы-основатели этого “Союза”. Известный знаток истории России XX века И. Аврех в книге “П. А. Столыпин и судьбы реформ в России” (М., 1991. – С. 237) пишет об этом так: “Комментарии, как говорится излишни, если вспомнить, что Гурлянд был евреем, как и знаменитый Грингмут – первый основатель “Союза русского народа”.

Но ты, Женя, так же, как сражался “с призраками Сталина при помощи призрака Ленина”, пытаешься сражаться с призраками “охотнорядцев”, “лавочников”, “черносотенцев”, “держиморд” и прочими ушедшими в историю уже несуществующими призраками человечества. Да, слово “лабазник” или “охотнорядец” в наше время, пожалуй, не поймёт никто из молодых людей, наших с тобой внуков. Так для кого же ты пишешь? Я ещё могу понять тебя, когда ты в “Бабьем Яре” говоришь от имени Дрейфуса или юноши из Белостока, или даже перевоплощаешься в “Анну Франк”, но когда ты вещаешь миру о своей борьбе с “охотнорядцами” от имени Спасителя:

*А вот я, на кресте распятый, гибну,
И до сих пор на мне следы гвоздей.*

Я кричу тебе: “Имей совесть! Окстись! Не то иные твои читатели могут вспомнить, что распять Христа потребовала толпа не антисемитов, а верующих в Иегову ортодоксальных евреев, кричавших в лицо гуманисту Пилату: “Распни его!” – о чём свидетельствует подробно Евангелие от Матфея:

“Пилат, видя, что никто не помогает, но смятение увеличивается, взял воды и умыл руки перед народом и сказал: “Невиновен я в крови Праведника сего. Смотрите вы”, и, отвечая, весь народ сказал: “Кровь его на нас и на детях наших”.

Так что кого судить за гибель на кресте, за следы гвоздей на ладонях? Правоверных евреев?

“Бабий Яр” заканчивается буквально на запредельной по своему накалу ноте:

*Ничто во мне про это не забудет!
“Интернационал” пусть прогремит,
когда навеки похоронен будет
последний на земле антисемит.*

*Еврейской крови нет в крови моей.
Но ненавистен злобой заскорузлой
я всем антисемитам, как еврей,
и потому — я настоящий русский!*

Но как может быть похоронен на земле “последний антисемит”, если конца-краю не видно вражде израильтян и арабов-палестинцев? Если сирийские арабы никогда не согласятся с оккупацией Израилем Голанских высот? Если нигде на земном шаре уже не исполняют “Интернационал”?

Но вершиной евтушенковского интернационализма и познания истории России можно считать оду “Вандея”, написанную им в 1988 году...

Вандея для него — это “реакция”. “И у реакции родной // есть дух вандейского навоза”, — пишет он, забыв, что назвал себя “есенинцем” и что его любимый Есенин в “Анне Снегиной” выдал убийственную отповедь эстетам и снобам: “Не нравится? Да, вы правы, привычка к Лориган и розам... Но этот хлеб, что жрёте вы, ведь мы его того-с... навозом!”

Но Евтушенке мало заклеить “отечественный навоз”:

*Отечественное болото,
Самодовольнейшая грязь,
Всех мыслящих, как санкюлотов,
проглатывает, пузырясь.*

А кто такие “мыслящие санкюлоты” — борцы с Вандеей, с её навозом, с её болотами, с её “грязью”? Здесь наш санкюлот закусил удила: “Провинции французской имя // к родимым рылам приросло”, а “родные рыла” — это Гришка Мелехов? Аксинья? Пантелей Покофьевич? Мишка Кошевой?.. И, конечно же, Шолохов, о котором, видимо, сказано: “Литературная Вандея, // пером не очень-то владея, // зато владея топором, // всегда готова на погром”. Может быть, “Вандея” и была готова на погром, но настоящий погром, называемый “рассказчиванием”, ей устроили в 1919–1920-х годах “санкюлоты” Л. Троцкий, Я. Свердлов, И. Якир и прочие якобинцы.

Ну, конечно, это о “вандейце” из станицы Вёшенской ближайший друг-соперник Вознесенский разразился эпиграммой, опубликованной, как мне помнится, в “Метрополе”:

*Погромщик и сатрап,
Стыдитесь, дорогой,
Один роман содрал,
Не смог содрать другой.*

Русская литературная Вандея, по словам Евтушенки, “за экологию природы // встаёт, витийствуя, она, // но экология свободы // ей не понятна и страшна”...

Конечно, борьба русской “Вандеи” против поворота рек, за спасение Байкала и кедровых лесов Сибири, усилия Распутина, Залыгина, Чивилихина и прочих “вандейцев” ничто по сравнению с “переделкинскими ценностями”:

*Литературная Вандея,
в речах о Родине радея,
с ухмылкой цедит, что не жаль
ей пастернаковский рояль.*

“Отечественное болото”, “самодовольнейшая грязь”, реакция, идущая “свиньей”, продолжающая традиции “охотнорядцев”, “лабазников”, “погромщиков” —

*Вот где для родины опасность,
когда заправский костолом
заходит со спины на гласность
со шкворнем или с кистенём...*

Вот так идеологически обслуживал Е. Е. горбачёвскую эпоху “гласности”. А что такое “шкворень” и “кистень”, наверное, уже не знал и сам автор. Однако вспомним, что такое Вандея настоящая, а не выдуманная большим воображением Е. Е.

“Вандея во Франции была провинцией, восставшей против якобинского, заливавшего Париж и остальную страну кровью террора; за свои традиционные народные ценности, за сельский быт, за католическую веру, за свою землю. Крестьяне, ремесленники, местное духовенство восстали на борьбу с Конвентом Робеспьера, Марата и Дантона, и эта война с переменным успехом длилась несколько лет. Летом 1794 года армия Конвента вторглась в Вандею, где были расстреляны, утоплены в реках, отправлены на гильотину десятки тысяч человек. Каратели сжигали не просто дома, но целые деревни. Крупнейший город Вандеи Ла-Рош в результате массового террора был опустошён, в нём почти не осталось живых людей.

Прямой копией вандейских событий в эпоху нашей революции и гражданской войны была судьба восставших на защиту церковного имущества жителей Иваново и Шуи, крестьянский мятеж на Тамбовщине и, конечно же, самой грандиозной русской Вандеей стало восстание Донского казачества в 1919 году.

Из книги И. Шафаревича “Трёхтысячелетняя загадка” (СПб: Библиополис, 2002):

“Вся эпоха военного коммунизма состояла из сплошной череды крестьянских восстаний, усмиряемых центральной властью. Обычно это трактуется как “борьба за хлеб”, очень жестокий способ осуществления продразвёрстки. Но изучение конкретных ситуаций не подтверждает такого представления. В громадном числе случаев власти просто шли войной на крестьян. Речь шла о какой-то несовместимости. Не об экономической операции, — скорее, это было похоже на религиозные войны, которые раньше пережила Западная Европа.

В январе 1919 г. Оргбюро ЦК РКП(б) (наряду с Политбюро — один из руководящих органов партии), возглавлял которое Свердлов, принимает “Циркулярное письмо об отношении казакам”, которое начинается так:

“1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно, провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью”.

Эти меры и реализовались: сохранился ряд сообщений о массовых расстрелах в станицах. В феврале была издана “Инструкция реввоенсовета Южфронта к проведению директивы ЦК РКП(б) о борьбе с контрреволюцией на Дону”, содержавшая указания:

“...обнаруживать и немедленно расстреливать:

а) всех без исключения казаков, занимавших служебные должности по выборам или по назначению...

е) всех без исключения богатых казаков”.

Подписи — Реввоенсовет Южного фронта: И. Ходоровский, В. Гитис, А. Колегаев. Управляющий делами Реввоенсовета Южного фронта — В. Плятт”.

В обращении (за теми же подписями) говорится:

“Необходимы концентрационные лагеря с полным изъятием казачьего элемента из пределов Донской области”.

Все эти меры энергично осуществлялись, о чём есть много свидетельств. Происходили массовые расстрелы. В итоге “расказачивания” численность донских казаков сократилась с 4,5 млн до 2 млн. Результатом (в марте 1919 г.) было Верхне-Донское восстание.

В борьбе с ним Реввоенсовет 8-й армии указывал:

“...уничтожены должны быть все, кто имеет какое-то отношение к восстанию и к противосоветской агитации, не останавливаясь перед процентным уничтожением населения станиц. (Даже без ограничений пола и возраста! — И. Ш.)

Подписи: Реввоенсовет 8-й армии, И. Якир, Я. Вестник”.

В стихотворной книге, вышедшей в 1988 году в Петрозаводске, Е. Евтушенко требовал поставить в России памятник невинно убиенному в эпоху

“Большого террора” санкюлоту Ионе Якиру: “Якир с пьедестала протянет // гранитную руку стране”.

Эльдар Рязанов, задумавший снять фильм о Сирано де Бержераке (его роль должен был играть Е. Е.), вспоминал: “Резкие, острые, смелые стихи, такие, как “Качка”, “Наследники Сталина”, “Бабий Яр” и другие, порой сменялись конъюнктурными”. . . Как говорится, и смех и грех – уж более “конъюнктурных” стихов, нежели “Бабий Яр”, “Вандея”, “Русские коалы”, “Наследники Сталина”, “Танки идут по Праге”, у Евтушенко просто не сыскать. Самые популярные его стихи одновременно являются и самыми конъюнктурными.

И конъюнктура таких стихов удивительным образом сочеталась у него с декларативной искренностью и своеобразной честностью, которая, впрочем, могла тут же в следующей строчке превратиться в пустоту или, хуже того, в ложь, как это произошло в стихотворении “Наследники Сталина”:

*Мы сеяли честно.
Мы честно варили металл,
и честно шагали мы,
строясь в солдатские цепи.
А он нас боялся...*

Сталин, за плечами которого было пять ссылок – от Сольвычегодска до Туруханска, – несколько побегов, по чьей судьбе прокатилась гражданская война; который и не думал покидать Москву, когда немецкие полководцы разглядывали в бинокли Кремль, Сталин, который 7 ноября 1941 года произнёс с трибуны Мавзолея речь, навсегда до последнего слова вошедшую в историю страны и войны. Сталин сам, своим умом и волей внедривший систему лесополос, спасших колхозные поля от смертельных засух (“мы сеяли честно”), по воле которого строились магнитогорские, череповецкие и кемеровские домны (“мы честно варили металл”); Сталин, чей “атомный проект” вот уже восемь десятилетий спасает нашу страну от порабощения; Сталин, который не боялся даже после убийства Кирова никаких покушений, о чём свидетельствуют воспоминания его личного переводчика Валентина Бережкова: “Сейчас утверждают, что всех посетителей, даже Молотова, перед кабинетом вождя обыскивали. Ничего подобного не было. <...> За все почти четыре года, что я приходил к Сталину, меня ни разу не обыскивали и вообще не подвергали каким-либо специальным проверкам. Между тем, в наиболее тревожные последние месяцы 1941 года, когда опасались заброшенных в столицу немецких агентов, каждому из нас выдали пистолет. У меня, например, был маленький “вальтер”, который легко можно было спрятать в кармане. Когда около шести утра заканчивалась работа, я, взяв его из сейфа, отправлялся в здание Наркоминдела на Кузнецком. В осенние и зимние месяцы улицы были погружены во мрак. Часто попадался комендантский патруль, проверял документы. Но ведь мог встретиться и немецкий диверсант. На сей случай и полагалось оружие.

По приходе в Кремль на работу следовало спрятать пистолет в сейф. Но никто не проверял, сделал ли я это и не взял ли оружие, отправляясь к Сталину”.

Не лишне заметить, что родители Бережкова, эмигрировавшие в годы революции на Запад, в это время жили в Швейцарии, и Сталин и НКВД знали об этом.

*Наследников Сталина,
видно, сегодня не зря
хватают инфаркты.
Им, бывшим когда-то опорами,
не нравится время,
в котором пусты лагеря.
А залы, где слушают люди стихи,
переполнены.*

“Наследники Сталина” были напечатаны в “Правде” по распоряжению Хрущёва, который якобы сказал в кругу высшей партийной знати: “Если Солженицын

и Евтушенко – антисоветчина, то я – антисоветчик”. Хрущёв думал, что он пошутил, но на самом деле он невольно сказал чистую правду обо всех троих.

Есть у Евтушенко несколько “знаковых” стихотворений, в которых он постарался изложить своё мировоззрение, свои идеологические взгляды. Это “Бабий Яр”, “Наследники Сталина”, “Танки идут по Праге” и, конечно же, “Русские коалы”, говоря о которых надо вспомнить случай из жизни Е. Е., о нём пишет известный бард и стихотворец Дмитрий Сухарев:

“Мы прошли в ресторан и сели. Он наклонился и шепнул: “О литературе давай не говорить, сзади сидит некто Алексеев – автор романа “Солдаты” – дикая сволочь. Всё-таки это несправедливо, – добавил он с грустью, – что у антисемитов получаются дети”.

Действительно, вокруг Алексеева сидел выводок детей, а напротив восседала пышущая здоровьем жена. Это было процветающее семейство.

Ненависть к антисемитизму в нём вышла наружу в этот день не впервые. Ещё дома он скрежетал зубами по поводу кочетовской травли Слуцкого, по-видимому, это было не просто влияние его литературной среды, а глубокое убеждение”.

В этих же воспоминаниях Сухарева есть свидетельство о том, что Евтушенко назвал Михаила Алексеева не только “дикой сволочью”, но и “животным”, и это сказано о талантливом русском прозаике, чудом выжившем в детстве во время страшного голода 1923 года в Поволжье, написавшем об этой народной трагедии роман “Драчуны” – о фронтовике, участнике обороны Сталинграда, авторе романов “Ивушка неплакучая” и “Хлеб – имя существительное”, главном редакторе журнала “Москва”, по чьей воле в 1965 году был наконец-то опубликован роман Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” (а впоследствии и роман самого Евтушенко “Ягодные места”). “Несправедливо, что у антисемитов получаются дети”... До чего договорился! Как тут не вспомнить планы некоторых западных “антропологов-расистов” о том, что после победы над гитлеровской Германией всех немецких женщин необходимо стерилизовать, как каких-нибудь “недочеловеков” или бессловесных “коал”.

* * *

*О наши русские коалы!
На всех идеях и делах,
эпохе нашей подпевалы,
вы дремлете, как на стволах.*

*Мой современник, содременник,
Глаза спросонья лишь на треть
ты протираешь, как мошеник,
боишься чаще протереть.*

*Нет, дело тут не в катаракте.
Граждански слеп не ты один.
Виной твой заспанный характер,
Мой дорогой согражданин... (и т. д.)*

Цитировать это бесконечное рифмованное поношение “коальского народа” бессмысленно; тем более потому, что автор, видимо, спохватившись, вскоре поменял название: вместо “русские коалы” оно стало называться “отечественными коалами”. Но слово, как говорит русская пословица (именно “русская”, а не “отечественная”), не воробей, вылетит – не поймаешь... В чём же обвинял всемирно знаменитый поэт своих недостойных современников? В том, что они во время течения русской истории всё “проспали”, всё “прошляпили”, всё “профукали”. “Ты от “Авроры не проснулся, // ты в допетровском столбняке”... Но кто же тогда перемолол в течение трёх столетий татаро-монгольскую орду? Кто раздвинул границы России до всех возможных пределов – до берегов Балтики, до Черноморских бухт, до Курильской гряды, до Карпатских отрогов? Кому в течение тысячелетия приходилось защищать и утверждать “от Москвы до самых до окраин” православную веру, на которой

возросли все нравственные начала нашей истории? Народу, который только и занимался якобы тем, что “*дрых в допетровском столбняке*”? Автор стихотворенья “Русские коалы” много раз называл себя “пушкинианцем”. Но в таком случае хотя бы вспомнил заветные слова из пушкинского письма Чаадаеву, в котором Пушкин пишет о том, как развивалась в средние века страна, населённая “коалами”: **“У нас было своё, особое предназначение. Это Россия. Это её необъятные пространства поглотили монгольское нашествие. Татары не посмели перейти наши западные границы и оставить нас в тылу. Они отошли к своим пустыням, и христианская цивилизация была спасена <...> Так что нашим мученичеством энергичное развитие католической Европы было избавлено от всяких помех”**.

А чем нам отплатила за это мученичество “просвещённая Европа”? Сначала – попытками поработить царство *дрыгнувших коал* с помощью Тевтонского ордена, потом – нашествием польско-венгерских войск Стефана Батория, затем – оккупацией государства московитов объединёнными силами поляков, шведов и литовцев в Смутное время. При Петре “коалам” пришлось отражать агрессию Карла XII, отгонять крымско-татарские и турецкие банды от своих южных границ. В XIX веке – перемалывать орду Наполеона, побеждать нашествие французов, итальянцев и турок в Крымской войне, а в XX веке “коалы” каким-то чудом справились с Антантой 1918–1922 года... О там, как “русские коалы” расправились с коричневой ордой просвещённой Европы, говорить много не будем, чтобы не захлебнуться рифмованной болтовнёй: “*Ты прозевал шифровку Зорге*”, “*Ты просопел во сне Чернобыль*”, “*марксизм был для тебя, как сонник*” и т. д. Но этого мало. Русские животные (коалы) виноваты в том, что они 22 июня 1941 года проспали войну (“*войну проспав навеселе*”). Они виноваты в том, что не читали роман “Доктор Живаго” и позволили писателям организовать травлю Пастернака (“*А разве травлю Пастернака ты не проспал?*”). Они виноваты в том, проспали полёт германского провокатора Руста, приземлившегося на Красной площади... Могу представить, какой истошный крик исторгнул бы из себя поэт, если бы “коалы” сбили этого “нахального аэрокурёнка”. Одним словом, все грехи, преступления и предательства власти наш правдоискатель возложил на “русский зоосад” – именно так он обозвал русское простонародье в поэме “Тринадцать”.

Е. Евтушенко, осуждающий, по словам его биографа И. Фаликова, “*всякое насилие*”, во время избирательной кампании 1989 года писал: “*Пора принимать самые строгие нравственные и судебные меры к таким, например, оскорбительным выражениям и словечкам, как “русская свинья”, “хохляндия”, “все грузины торгаши”, “жид”, “армяшка”, “чучмек”!*” (“Советская культура, 1989 года, 11 марта”). Но это было лишь предвыборным лицемерием, потому что, когда ему было нужно, он русофобствовал с удовольствием, о чём свидетельствуют его стихи “О русских коалах” – ленивых, сонных, обожающих неволю сталинской эпохи. Если, по логике Евтушенко, надо судить за “русских свиней”, то почему бы не судить за “русских коал”? Ведь в обоих случаях русские приравниваются к животным. Думаю, едва ли Евтушенко решился бы написать “грузинские” или, допустим, “латышские” коалы. Русские коалы виноваты в том, что Леонид Брежнев получил Ленинскую премию за мемуары о “Малой земле” (“*ты дал медальку не задаром, // ведя и свой медалесбор // малоземельным мемуарам // на всеземельный наш позор*”). Но откуда было знать неграмотным “коалам”, что мемуары о Малой земле были написаны двумя советскими писателями еврейского происхождения? Однако, думаю, что нашему автору наверняка это было известно... “*Мартены, блюминги, кессоны – вот племя идолов твоих*”, – бросает в лицо коалам наш поклонник Маяковского, написавший в своё молодое время поэмы о строительстве “КамАЗа” и о “Братской ГЭС”, которые были воздвигнуты мозолистыми руками “русских коал”, подвиги которых Евтушенко воспевал во всю глотку.

В 1967 году он в письме министру культуры П. Н. Демичеву настойчиво потребовал, чтобы министр как можно скорее распорядился о сдаче в прокат в театре на Таганке спектакля по его поэме “Братская ГЭС”. В этом обширном письме Евтушенко писал, что в спектакль “*вошли самые партийные, самые героические куски из поэмы: “Коммунары не будут рабами”, “Идут ходоки к Ленину”, “Азбука революции”, “Большевик” и другие. Композитором Колмановским создана для спектакля песня о партбилетах, которая является как бы лирическим гимном партии*”:

*Продолжается подвиг великий,
и повсюду Магнитки гудут,
словно Ленин миллионноликый,
по земле коммунисты идут.*

*Партбилеты ведут ледоколы,
опускаются с песней в забой.
У Мадрида, у Халхингола
Прикрывают коммуну собой.*

*И стараются пули усердно,
но другого им выхода нет:
Чтобы пуля достала до сердца,
надо прежде пробить партбилет.*

*Только тот партбилета достоин,
для кого до конца его лет
партбилет — это сердце второе,
ну, а сердце — второй партбилет.*

Вот такие “гимны партии” сочинял в брежневские времена наш летописец эпохи.

Однако, когда наступило горбачёвское время “перестройки”, “гимн партбилету” и глава из “Братской ГЭС” о Ленине были тщательно (видимо, как воспевающие коал) изъяты автором из поэмы, о чём поведал мне с горечью один из персонажей поэмы Алексей Марчук... “Марчук играет на гитаре, а море Братское поёт”, — как писал о нём в поэме молодой Евгений Александрович...

“Я с кровиночкой смеляковской”, — гордо заявлял он о себе любимом. Но, видимо, забыл о том, с какой строгой любовью писал о строителях социализма сам Ярослав Смеляков в стихотворениях “Моё поколение”, “Кладбище паровозов”, “Если я заболею — к врачам обращаться не стану”.

*Я строил окопы и доты,
железо и камень тесал,
и сам я от этой работы
железным и каменным стал...*

А Николай Рубцов — с каким неподвластным бегу времени чувством писал он о своих земляках, о своих братьях и сёстрах из русского простонародья:

*Давно ли, гуляя, гармонь оглашала окрестность,
И сам председатель плясал, выбиваясь из сил,
И требовал выпить за доблестный труд и за честность,
И лучшую жницу, как знамя, в руках проносил...*

Они все создавали летопись своей эпохи, помня, в отличие от автора “Братской ГЭС”, что из песни слова не выкинешь...

(Продолжение следует)

Завершился 2020 год, один из самых напряжённых и жутких годов по своим трагическим последствиям за последние несколько десятилетий как в России, так и во всём мире. Многие судьбоносные события минувшего года нуждаются в правдивом освещении и адекватном вдумчивом анализе.

Мы начинаем этот необходимый разговор статьёй Александра Севастьянова, которая печатается в дискуссионном порядке, и приглашаем всех заинтересованных в дискуссии писателей и публицистов — как согласных, так и не согласных с постоянным автором журнала — выступить на наших страницах по многим проблемам, поднятым в настоящем материале.

АЛЕКСАНДР СЕВАСТЬЯНОВ

ПОДВОДЯ ИТОГИ

2020 год запомнится тем, что он проявил, ярко высветил главные, основные глобальные противоречия и проблемы, а именно: 1) перенаселённость Земли, 2) необъявленная расовая война, 3) засорённость планеты, резкая актуализация экологической повестки. Это если иметь в виду мир в целом.

Если говорить только о России, то и тут год был чрезвычайно показательным, обнажившим как главные противоречия, так и основные тенденции развития страны.

Пройдёмся с читателем по самым важным событиям года, чтобы подтвердить указанное впечатление. Оно даёт не так уж мало оснований для оптимизма. Но и для тревоги тоже.

Внешний мир

1. На первое место по значению все обозреватели дружно ставят обрушившийся на все страны коронавирус. Люди не устают задаваться вопросом: что это? Сильные мира сего доигрались с бактериологическим оружием, вырвавшимся из-под контроля? Или причина носит не антропогенный характер, а порождена естественными мутациями, случайной игрой сил Природы? Или это проявление гнева Господня, обрушившееся на забывших Его людей?

Я, однако, думаю иначе. По моим представлениям, Природа всегда включает следующие три механизма регуляции в том случае, когда численность популяции превышает разумные допустимые пределы. Это война, миграция и эпидемия/пандемия (а в мире животных эпизоотия). Три механизма — ни больше ни меньше.

Начнём же с признания основополагающего факта: наша планета чудовищно перенаселена и продолжает разбухать от избытка населения. Причём исключительно за счёт цветных рас (белая раса, напротив, сокращает своё присутствие в мире, как в абсолютном, так и особенно в относительном цифровом выражении, она даже не воспроизводит уже себя). Как же реагирует на это Природа?

Сегодня возможности вести войну у наиболее сильных стран ограничены наличием абсолютно смертоносного оружия, способного уничтожить весь мир и не оставляющего никаких надежд на то, что одна из сторон сможет благополучно пользоваться плодами победы. Начать сокращение численности населения планеты, используя атомное, химическое или бактериологическое оружие, равнозначно самоубийству, и на это вряд ли кто-то из правителей пойдёт. А вот Ближний Восток, Африка, Закавказье, ряд других регионов, – видимо, там войны не только возможны, но и неизбежны, поскольку там, во-первых, такого страшного оружия нет, а во-вторых, именно там демографическое давление чрезмерно высоко и остро нуждается в снижении. Усиленные войны в этих регионах ничем не угрожают остальному человечеству, напротив, оно в них весьма заинтересовано. Однако, распахнув ворота на Запад мигрантам из этих стран, европейцы резко снизили там шансы взаимоистребительной войны. Открыли клапан, на свою голову...

Миграция не случайно стала одной из ведущих проблем современности, коснувшись как стран с избыточным, так и стран с недостаточным демографическим давлением. В результате мы наблюдаем непрерывное усиленное перетекание значительных человеческих масс с Юга и Востока на Север и Запад. Этот процесс зримо меняет расово-этническое лицо стран Европы и США, а с ним и цивилизационную идентичность белого христианского мира. Для того чтобы прекратить этот пагубный для свойственной нам цивилизации процесс, у стран Запада нет ни воли, ни силы. Обратим внимание: цветные массы, превысившие в Европе все пределы допустимой концентрации, уже не ассимилируются, а создают свои анклавные территории. Выяснилось, что возможность абсорбировать миграционные волны у белых европейцев не безгранична. Но главное: перераспределение демографического баланса не решает в принципе проблему перенаселения планеты.

Итак, ни войны, ни миграции в наши дни не в состоянии радикально разрешить названную проблему. Что же, какое последнее средство остаётся в арсенале у стонущей от перегрузок Природы? Неужели эпидемии? Похоже, коронавирус – первый серьёзный звонок (были звоночки и до него, типа птичьего, свиного гриппа, атипичной пневмонии, лихорадки Эбола и пр.), как в Средние века – чума, а в начале XX века – “испанка”. Просто на сей раз всё гораздо серьёзнее. А что нас ждёт в недалёком будущем, не хочется и думать.

Одно из главных политических последствий пандемии состоит в убедительной демонстрации преимуществ централизованного государства, управляемого партократией (Китай) или, на худой конец, автократией (Россия), по сравнению со странами западной демократии. Когда всю страну посещает смертельная опасность, и властям надлежит обеспечить дисциплину, ответственность и всеобщую максимальную мобилизацию, то недемократические страны справляются с этой задачей в целом неплохо, а демократические, сделавшие ставку на личную свободу индивида, буксуют.

Конечно, свои издержки несут и Китай, и Россия, но цифры смертности от ковида убеждают лучше любых речей: США, Англия, Испания, Италия и др. гораздо хуже справляются с бедой. Особое значение получил пример Швеции, которая проявила, прямо скажем, преступное легкомыслие и глупую веру в демократию и свободу предпринимательства, а теперь жестоко расплачивается...

Урок страшный, но необходимый: перед лицом подобной всеобщей беды не место безответственной болтовне о свободе личности и правах человека.

Ещё одно важное последствие ковида – разорваны множественные, в том числе тончайшие нити, связывавшие разные страны, регионы, части света, да и отдельных индивидов тоже. Разоряются и терпят колоссальные убытки все авиа- и транспортные компании мира. Жизнь всё больше переходит в электронные связи, уходят или деградируют тысячелетние традиции личного общения. Это ещё один сильнейший удар по парадигме глобализма, по идеологии космополитизма. Оборвана во многом и у России связь с миром. С моей точки зрения, у нас на повестке дня стоит максимальная расстыковка с Западом вообще и Америкой в особенности. А также переход к ограниченной автаркии, к политике опоры на собственные силы.

2. Второе по значению событие внешнего мира – это, конечно, выборы президента в США: оно обязательно отразится на всей мировой политике.

Первое, что показали эти выборы, – полная деградация американского общества, которое, при всей своей численной огромности, экономической и военной мощи, оказалось не в силах выдвинуть пристойного лидера и было вынуждено выбирать между эксцентриком-одиночкой и склеротическим рамоликом.

Далее. Выборы показали запредельную лживость, фальшивость и коррупционность так называемой западной демократии в её собственной цитадели. Вот он – пример всему миру! Вот каково подлинное лицо этой демократии, её очевидная мерзость и двуличность. Были обнажены все закулисные механизмы, все самые грязные и непристойные тайны политического устройства США. Достаточно посмотреть, на какие слои населения в основном опирался победитель – склеротик-перестарок Байден, кого он не постеснялся сделать своей главной ударной силой! Это ли не симптом скорой гибели прогнившего до самых костей государства, поражённого проказой “демократии без границ”? Демократии, давно уже обернувшейся на деле диктатурой меньшинств любых мастей: от сексуальных до расовых и религиозных.

Победа Байдена, купленная ценой самых масштабных в истории фальсификаций (мы все просто дети по сравнению с этими матёрыми политическими бандитами мирового класса), есть не что иное, как судорога гибнущей западной цивилизации, пытающейся вернуть себе положение “последнего суверена” (Бжезинский). Но точка невозврата Америкой уже пройдена, она не сможет больше выполнять роль ни мирового жандарма (сегодня ей этого не позволяют делать по меньшей мере Китай и Россия, не говоря о ряде стран масштабом помельче), ни лидера всемирного прогресса (тут инициативу перехватывает Китай, а на старте Россия и Индия). Так что реваншисты-демократы, стоящие за спиной Байдена, вряд ли вернут Америке тот статус, от которого Трамп уже имел мудрость и смелость отказаться в своей речи на Генеральной ассамблее ООН 25 сентября 2018 года. По объективным условиям.

Однако самое главное, что продемонстрировали выборы, – это глубочайший раскол американского общества, вплотную подошедшего к необъявленной “гибридной” гражданской войне, которая так или иначе всё равно разразится. Да, собственно, она и так уже идёт.

Между кем и кем эта гражданская война? Если иметь в виду партийный окрас, то между республиканцами, сторонниками традиционных ценностей, устоев жизни, выработанных белыми христианами Запада в течение тысячи лет, и демократами, имеющими опору в объединённых меньшинствах всех сортов, эти ценности отвергающих и разрушающих, продвигающих новые “демократические” ценности, а на самом деле революционную “религию человекопоклонства” (патриарх Кирилл). Но эти микрообстоятельства лишь прикрывают макросуть происходящего. А она состоит в ином, поистине глобальном: в мегавойне рас, длящейся десятки тысячелетий.

В силу драматических особенностей собственной истории Америка сегодня оказалась главным театром военных действий в необъявленной войне на выживание трёх больших изначальных рас. Белые сегодня зримо проигрывают эту войну на всём Западе, и не нужно быть пророком, чтобы видеть, к чему всё идёт и чем кончится. Если в середине XX века белая раса представляла собой примерно треть всей антропосферы, то сегодня – менее 15%, а к концу века и эта цифра заметно снизится. Соответственно, в руки цветных перейдут вначале территории, города и сёла белых, а там и их белые женщины, и все накопленные материальные богатства, и все достижения передовой некогда цивилизации. Таков закон войны.

Америка сегодня – своего рода лабораторный эксперимент, показывающий, как будет проходить эта необъявленная война, какие формы примет и к чему приведёт. Это опытная площадка, где в миниатюре (для наглядности) вершится всё то же самое, чему вскоре суждено развернуться на просторах всего северного полушария. Их сегодня – это завтра всей Европы.

И что же мы увидели в этой Америке, предельно разогретой и до конца самообнажившейся в ходе предвыборной борьбы? Мы увидели, как вся порождённая западной демократией грязная пена, включая геев, лесбиянок,

феминисток, всех прочих извращенцев, сектантов и цветных, дружно поднялась за благоприятных для них демократов (сиречь Байдена) против белой христианской традиционной Америки, олицетворяемой Трампом. Поднялась, громя города и сметая полицейские кордоны, избивая сограждан и грабя всё, что под руку попадёт. Красота!

Началось всё в Штатах в конце мая, когда чернокожий бандит Джордж Флойд погиб во время задержания полицией в Миннеаполисе. Это само по себе ничтожное событие неожиданно стало причиной гигантской волны массовых протестов. Как по мановению волшебной палочки, возникло движение Black Lives Matter – “Жизни чернокожих важны”, которое следовало бы назвать Only Black Lives Matter – “Только жизни чернокожих важны”, поскольку оно повсеместно сопровождалось избиениями, унижениями и оскорблениями белых людей. К политическим действиям этой волны подключились даже крупные корпорации и целые индустрии Америки.

В авангарде этой разнузданной орды шли цветные, которых уже вряд ли стоит называть меньшинствами. По сути, мы лицемерили начало неприкрытой расовой войны, в которой все преимущества, включая поддержку закона, СМИ и общественного мнения, а также неожиданность первого удара, оказались у цветных (ясно, что при Байдене их поддержка только усилится).

Но Америкой ход военных действий не ограничился. Характерно, что он немедленно отозвался революционной активностью цветных мигрантов в Европе, чьи требовательность и наглость растут пропорционально их численности и безнаказанности. И что же делает белая в целом пока еще Европа в ответ на этот рост беспредела? Массово депортирует распоясавшихся пришельцев восвояси? Ничего подобного! Продолжает их кормить, позволяя бездельничать и плодиться за счёт коренного населения. Уму непостижимо, но это так! И объяснить это можно только одним: витальной слабостью деградирующей – вырождающейся и вымирающей – белой расы, уже неспособной даже защитить себя и лишь демонстрирующей нам комплекс жертвы.

Горе побеждённым! Вдвойне горе – побеждённым без сопротивления, капитализовавшим во имя личного комфорта, спокойствия и свободы!

Остатки здравомыслия сохраняют пока Польша и Венгрия, не желающие пускать к себе цветных бездельников, но какое же давление оказывает на них другая, “старшая” Европа, весь остальной Евросоюз, повредившийся рассудком на почве “европейских ценностей”!

Нам пора чётко и однозначно заявить Западу, этой мировой демократической шайке растлителей и самоубийц: западная демократия скомпрометировала и дискредитировала себя до последнего предела.

Отныне ваши ценности – не наши ценности!

Вы все можете пить свой чай с солью, если угодно, а мы будем по старинке: с сахаром, мёдом и вареньем.

* * *

3. В самом деле! Не пора ли нам окончательно размежеваться и расстаться с Западом? Что мы от этого потеряем? Наши отношения уже и так – хуже некуда, притом по их вине. Минувший 2020 год только подтвердил это, продемонстрировав рост напряжённости с нашими “западными партнёрами”, как любит выражаться Путин. Обвинения России, одно не менее другого, жёсткий прессинг по всем направлениям, предъявление заведомо невыполнимых требований, категорическое нежелание считаться с нашими интересами и попытки оказывать на Россию давление всеми мерами – весь этот набор мер стал в 2020 стойкой традицией. Даже спокойный Лавров не сдержал негодования: допекли. Не помню случая, чтобы НАТО или ЕС хоть когда-нибудь в чём-нибудь пытались встать на нашу позицию, посмотреть на дело через призму интересов и целей России. Как будто нам априори таких целей и интересов иметь не положено!

Впрочем, не стану пересказывать ответ президента Путина корреспонденту ВВС Стивену Барнетту: там всё было сказано исчерпывающе и точно.

Так что вряд ли нам стоит бояться “испортить отношения” с Западом: портить уже нечего, на мой взгляд. Нечего особо и бояться. События, в том числе минувшего года, об этом говорят вполне ясно. Запад слабеет, это очевидно.

Они делают и будут делать нам мелкие пакости, но на что-то серьёзное у этого издыхающего льва уже силёнок нет. Их нет даже у Америки, похоже, что уж о Европе говорить.

Взгляните: США вынуждены убраться из Афганистана (совсем недавно там произошло официальное замирение с талибами, которые выстояли в вооружённом противостоянии на своей земле, а значит – победили) и из Сирии. Правда, в Сирии американцы временно сохранили контроль над самыми лакомыми кусочками территории, где основные нефтепромыслы, так что свой шмат трофейного пирога, причём самый большой, они-таки урвали, как обычно. Но войска в основном увели, да и рано или поздно совсем уходить придётся всё же. Сократили они свой контингент в Ираке, почти не вмешиваются в ливийские события. Словом, подбирают когти на Ближнем Востоке – многолетней зоне своих интересов.

Европейцы-натовцы не участвуют в сирийской войне, минимально действуют в Ливии, обходясь в основном поставками вооружений. Тем более не посмели они сунуться в Карабах, ограничившись рекомендациями со стороны, признав безоговорочный приоритет России в данном регионе. Президент Макрон, критикуя НАТО, характерно высказался о потере мозга этой организацией, то есть подчеркнул отсутствие осмысленной стратегии, растерянность перед лицом новой действительности. К тому же Франция и Германия, главные участники ЕС и НАТО, явно не справляются с собственными внутренними проблемами, их сотрясают затяжные беспорядки на социальной и национальной почве, и выхода не видно. Они слабеют на наших глазах. Показателем в этом смысле состоявшийся в 2020 году брекзит – бегство самой крупной крысы, Англии, с тонущего европейского корабля. . .

Европейцы, между прочим, никак не могут наикнуть узду даже на собственного союзника, члена НАТО – Турцию, которая явно ведёт весьма не зависимую от Северного альянса политику. Тем более нам нечего их бояться. Бряцать оружием они ещё могут, но применить его к нам вряд ли решатся. А уж войска послать – тем паче. Им нечем воевать, разве что украинцев сподвигнут. . .

По инерции Запад ещё может риторически провозглашать Россию своим основным противником в масштабах планеты. Но в реальности таким противником для него со всей очевидностью является, конечно же, Китай. Обострение отношений США и Китая, свидетелем которому стал прошедший год, об этом убедительно говорит. Китай временно отступил в экономической войне, но его ресурс растёт, чего не скажешь об Америке. Растёт и военная мощь Китая, и его успехи в стратегически важнейших отраслях: киберпространстве и сфере искусственного интеллекта.

Отрадно, что министр иностранных дел Китая Ван И заявил: у стратегических отношений между Пекином и Москвой нет ни “запретных зон”, ни “верхнего предела”. Ведь только в союзе с Китаем (этот союз по определению не может не иметь антизападного характера, учитывая непрерывную битву цивилизаций за мировое господство) у нас есть шанс выжить и войти в стан победителей.

* * *

4. Мысленно обращаюсь к XVIII–XIX веку, когда Россия сделала судьбоносный выбор между Востоком и Западом. Уместно вспомнить, что Восток тогда для нас олицетворялся не столько Китаем (китайская цивилизация опосредованно была представлена монголами), сколько Османской Империей, Турцией. И если сегодня мы свидетельствуем и приветствуем обратный разворот России от Запада к Востоку, уместно задаться вопросом: а как быть с современной Турцией в этом плане, включить ли её в этот системный разворот? 2020 год заставил вплотную подойти и к этой проблеме.

Турция сегодня – одна из самых растущих и перспективных стран мира, могущая иметь великое будущее. Её главный ресурс – демографический. По данным Турецкого института статистики, в 2019 году население возросло на 1 млн человек (вообще численность населения страны, составлявшая в 2013 году 77 695 904 человек, в 2019 году составила уже 83 154 997 человек), причём этот прирост – около миллиона в год – держится с 1975–1980 годов.

Достаточно высок суммарный коэффициент рождаемости – 2,07. Прилив из Сирии иммигрантов, этнически, конфессионально и цивилизационно близких туркам, вносит свою лепту в общую картину.

Территория Турции относительно мала, поэтому плотность населения (а с ней демографическое давление) весьма высока: 108,9 чел./км². Очень важно отметить, что количество турецкой молодёжи огромно: люди до 15 лет составляют 26,6% населения. Выйдя вечером в Стамбуле на главную улицу города Истикляль (бывшая Пера), я был потрясён зрелищем: вся широкая улица была запружена оживлённой толпой молодого черноголового люда, сквозь которую с трудом двигался наш реликтовый прогулочный трамвай. . .

Национальный состав Турции довольно пёстр, причём этнические турки составляют лишь четверть населения. Но статья 66 Конституции Турции определяет всех граждан страны как турок, а турецкий язык – единственный государственный. Такова политическая нация этой унитарной страны.

Итак, что же мы видим? Этнодемографическая ситуация не только позволяет туркам задумываться об имперском реванше, но и прямо предполагает его, подталкивает к нему! Всё, что мы видим в последние годы в турецкой внешней политике, свидетельствует о движении в данном направлении. Турция явно хочет взять на себя роль лидера всего суннитского мира. То есть в былых границах Османской Империи, если не Великого Турана. Территориальная экспансия турок – вещь однозначно неизбежная, вопрос стоит только о её сроках и направлении.

Особо следует отметить, что история подарила Турции лидера – Реджепа Тайипа Эрдогана, – который как нельзя более соответствует указанным амбициям и потенциалу страны. Пожав лавры победителя на внутривнутриполитической арене, справившись с политическим противником и счастливо избежав гибели в перевороте, подготовленном Америкой, заручившись небывалой поддержкой населения на президентских и парламентских выборах, Эрдоган стал уникальным фактором, консолидирующим свою страну. И получил от своего народа абсолютный карт-бланш на любые рискованные предприятия на внешней арене. Я без обиняков сравниваю Эрдогана с Гитлером времён победы НСДАП на выборах в рейхстаг в 1933 году, когда перед лидером немецкого народа открылись неслыханные возможности. Отчасти Эрдоган их только что осуществил в Сирии и в Карабахе, но это – нетрудно догадаться – только начало. То ли ещё будет! . .

Следует всё время помнить, что вся демографическая ситуация в регионе – в Закавказье, Малой Азии, Ближнем Востоке, Северной Африке, – похожа, вызывает к большой войне, способной резко снизить уровень демографического давления, резко сократить количество населения. И участие Турции в ней предопределено однозначно.

А теперь для сравнения бросим взгляд на демографию в России.

Несмотря на то, что на 1 января 2020 года по оценке Росстата наша страна всё ещё занимает почётное девятое место в мире по численности населения со своими 146 748 590 постоянных жителей, наши перспективы далеко не радужны.

Не говорю о том, что формально наша плотность населения ничтожна – всего 8,57 чел./км² (это объясняется наличием огромных площадей, непригодных для жилья и незаселённых). Не говорю и о том, что на европейской части России, непосредственно контактирующей с Европой и немонголоидным Востоком, расположено всего около 80 млн человек (меньше, чем в Турции). Это ещё не беда: мы и меньшим числом людей справлялись с нашими задачами. А беда в том, что, согласно ежегодному Докладу Фонда ООН в области народонаселения, демографический кризис в России имел место уже в 2011 году: суммарный коэффициент рождаемости составлял всего лишь 1,549. Правда, в 2015 году произошёл неожиданный скачок: по данным Росстата, этот коэффициент составил 1,777, и население возросло вдруг почти на три миллиона человек. Но секрет прост: скачок произошёл за счёт воссоединения с Крымом. А затем снова наметился спад, а в последние два года и вообще наблюдается минусовой прирост. Согласно данным демографического прогноза ООН (2019 года), общий коэффициент рождаемости в России с 2020 до 2100 год будет в диапазоне от 1,82 до 1,84 рождений на одну женщину. То есть, мы не можем мечтать даже о простом воспроизводстве нации, не говоря уж о её росте.

Соответственно, будет падать и пассионарность народа России, поскольку главный фактор пассионарности не оставляет места для оптимизма: доля молодёжи от общей численности населения составляет у нас всего 16,5%. С одной стороны, не будет почвы для бунтов и революций. С другой – не видно особого ресурса для роста могущества страны и её военного (оборонного в первую очередь) потенциала.

Всё сказанное позволяет подчеркнуть экстремальную важность турецкого направления российской внешней политики. Объективный ход событий уже намечен, как минимум, три региона, где наши и турецкие интересы столкнулись напрямую: это Сирия, Ливия и Карабах (шире – Закавказье). Помнят в Стамбуле и о том, что некогда Чёрное море было внутренним озером Турции. Можно смело предсказать, что дальнейшее неизбежное соперничество в названных геополитических точках будет вести к наращиванию конфликтного потенциала между нашими странами и к эскалации противостояния.

Разумеется, Вашингтон и НАТО, прямо заинтересованные в подобном развитии событий, не останутся в стороне и приложат все усилия к тому, чтобы Турция как член НАТО действовала по антироссийским стратегическим планам Запада. И зоной этих действий, как можно смело предсказать, станут Украина, Молдавия, Крым и Приднестровье. Иными словами, именно те территории, на которых когда-то Суворов, Румянцев, Потёмкин, Ушаков, Кутузов, Долгоруков и другие русские полководцы дали туркам запоминающиеся уроки, могут сделаться ареной попытки турецкого реванша (кстати, аналогичного мнения придерживается кукловод мирового масштаба Джордж Сорос.) А участие, явное или закулисное, НАТО воспроизведёт ситуацию Крымской войны XIX века, в части расклада сил, по крайней мере.

Будет ли Анкара беспрекословно подчиняться Брюсселю? Это, конечно, вряд ли: у Эрдогана наверняка есть собственные планы, которые не обязательно во всём соответствуют натовским. Но всё будет зависеть от того, насколько серьёзную угрозу будет он видеть в российских вооружённых силах. В Сирии мы однозначно продемонстрировали своё преимущество и перед Западом, и перед Турцией. В Карабахе, напротив, турецкие беспилотники показали “кузькину мать” армянской военной технике.

Стратегически Эрдогану пока что выгоднее всего балансировать на противоречиях между Россией и НАТО. Тем более что НАТО точно так же пытается сдерживать турок в зоне своих интересов, как Россия – в зоне своих. А Турция периодически огрызается в обе стороны. Но такое положение не может длиться вечно, и когда Турция окончательно определится, какое направление экспансии для неё важнее, она сделает свой выбор, с кем побеждать. Со времён Крымской войны и русско-турецких войн на Балканах она предпочитала союзничать с Западом. Об этом нам не следует забывать. Рассчитывать, что Турция станет нашим стратегическим союзником, не стоит, как бы этого ни хотелось. Но и исключить этот вариант, учитывая зримое ослабление Запада, полностью нельзя: слабость противника провоцирует, и Эрдоган эту слабость сознаёт, как сознаёт он и силу России.

Как видим, 2020 год обострил и ясно обозначил все жизненно важные для России противоречия не только по западную, но и по южную сторону её границ. Соответственно возросла роль как военной, так и дипломатической составляющей нашей внешней политики там. Одной из задач которой, в частности, становится срочное превращение Армении в полноценный российский военный плацдарм. Удастся ли это сделать, учитывая фигуру Пашиняна, всё ещё руководящего страной? Мне кажется, наша политика буксует в этом вопросе, мы не дожимаем, не доворачиваем гайки. Введение миротворческого контингента в Карабах – временный паллиатив, а не окончательное решение проблемы. Ну, поживём – увидим.

* * *

Итак, глобальные проблемы перенаселённости планеты и необъявленной расовой войны отчётливо проявились в 2020 году на внешнеполитическом уровне.

Обратимся теперь к внутривнутриполитическому уровню, чтобы посмотреть, что и как проявилось здесь.

Внутренний мир – Россия

Ушедший год нанёс нам тяжёлый, непоправимый урон, унеся жизни многих прекрасных людей. Есть потери и в Русском движении: Владимир Авдеев, Александр Казинцев, Константин Крылов – люди, которых я любил, чтил, которыми дорожил, сознавая их необходимость и уникальность. Не стало также Эдуарда Лимонова; как бы я лично к нему ни относился, но это была яркая личность, по-своему разнообразившая наш политический горизонт.

Пусть наша память о них длится, пока мы живы. Но пусть наша скорбь не помрачает разум и не лишает нас надежд.

Вернёмся к важнейшим событиям 2020 года внутри России, высветившим основные противоречия. К таковым я отношу следующие.

* * *

1. Поправки к Конституции в контексте смены правительства – это, на мой взгляд, звенья одной цепи. И цепь эта – на руки российской элиты, ограничивающая её возможности по расхищению достояния России. В том и другом выразились противоречия, назревшие между президентом Путиным и значительной частью (наиболее вороватой и антипатриотичной) российской элиты, которая вся порождена революцией 1991–1993 годов и годами правления клики Ельцина-Гайдара.

Возможно, уместнее начать именно со смены правительства. Наконец-то остался не у дел самый, на мой взгляд, бездарный из всех правителей России за последние четыреста лет – Дмитрий Медведев. В глазах многих он был символом тотальной некомпетентности и бестолковости, источником банальных мыслей и нелепых инициатив. При этом Медведев исправно почти двадцать лет служил марионеткой, прикрытием для непопулярных и/или невнятных решений Кремля. Но вот настало время, когда всего этого больше не надо. Потому что созрела, наконец, возможность взять курс на развитие страны, опираясь на собственные силы.

Увольнение Медведева с поста премьер-министра – знаковое событие в плане вышеозначенного противостояния элит. Ведь именно он был главной надеждой жаждущих реванша системных либералов. И вот...

Мы не знаем детально, какое изменение расклада внутренних сил произошло за двадцать лет, кроме очевидного: в 2000-е олигархов отстранили от кормушки и кормила, а в 2010-е центральная власть начала строить и “национализировать” лояльную фракцию бизнес-элиты. Кремль сконцентрировал в своих руках огромный материальный ресурс, позволяющий вести страну в будущее. Что же до политической фракции элиты, то в те же 2010-е её начали активно консолидировать на идее патриотизма.

Надо полагать, всё названное постепенно привело к определённому результату, к некоему перелому (подробности знают посвящённые, не мы), который позволил перейти к давлению на ту часть элиты, которая до сих пор не поняла главной тенденции, не подчинилась ей, не рассталась с узкоэгоистическими целями и задачами своей деятельности. Видимо, её час пробил.

Началось всё несколько лет назад с атаки на офшоры и раскрутки механизма борьбы с казнокрадством и коррупцией. Включилась и заработала, набирая обороты, кремлёвская “гильотина”, стали “падать” головы губернаторов, мэров, министров, крупных воротил бизнеса, и даже зарвавшихся и заворовавшихся силовиков. Подняла вой, что естественно, либеральная пресса (“силовики-де кошмарят бизнес!”) – не помогло...

Однако все действия Кремля говорят о том, что президент вовсе не намерен упускать инициативу, а напротив, полон решимости идти намеченным путём до конца, наступать, что не сулит зажавшейся и “потерявшей берега” верхушке ничего хорошего.

Перед выпадением Медведева из насиженного гнезда Путин провёл нужные, но непопулярные законы, память о которых теперь будет связана с ушедшей в сумрак маленькой фигуркой. Теперь же для президента пришла пора, напротив, решений популярных и, можно сказать, долгожданных. И они должны ассоциироваться исключительно с новым правительством и новым курсом лично Путина.

Замена Медведева на Мишустина – это вовсе не декоративное мероприятие, это перемена сущности, самого характера внутренней политики (включая экономический курс). Мишустин, в отличие от Медведева, – профессионал в управлении вообще и в управлении экономикой, в частности. Заметно, что Путин доверяет ему и позволяет идти новым курсом, и даже реформировать само правительство (в министерствах пошла самая настоящая чистка и кадровая революция, чиновники высшего ранга вылетают пачками – “учинён перебор людишек”, как говорили при Иване Грозном). Опираясь при этом, что немаловажно, на Белоусова, который известен как сторонник государственного капитализма.

Мы видим уже целый ряд решительных шагов в новом направлении, в частности, введение с 1 января прогрессивного налога на богатых. А ведь патристическая оппозиция безуспешно добивалась этого много лет! Ещё недавно, при Медведеве Госдума блокировала подобное предложение коммунистов, а теперь вот – пожалуйста! Переход Сбербанка в государственную собственность – тоже важный шаг. Впервые вынужден менять кредитную политику Центробанк, обязанный кредитовать развитие отечественной промышленности из ранее неприкосновенного фонда. Но самые важные новации связаны с поправками в Конституцию.

В первую очередь, я имею в виду только что принятый закон, обеспечивающий механизм действия той поправки, согласно которой госчиновникам и депутатам нельзя иметь ни двойного гражданства, ни счетов и недвижимости за рубежом. Это поистине революционное изменение нашей жизни, и оно уже повлекло за собой чистку высших эшелонов власти. Подозреваю, это реализация давней, выношенной “голубой мечты” самого Путина, которая единственно способна обеспечить управляемость элитой. Уверен, что это начинание, в котором заинтересован лично президент, не остановится на полдороге, а будет неуклонно проводиться в жизнь.

В своё время Иосиф Бродский провозгласил: дескать, “ворюга мне милей, чем кровопийца”. Но для русского народа всё однозначно наоборот: пусть уж лучше силовик, пьющий кровь ворюги, чем разгул и диктатура ворюг, которые пьют народную кровь. Мы досыта нахлебались этой диктатуры при Ельцине. Хватит!

Знаковым событием в плане чистки элит я считаю назначение Генеральным прокурором Игоря Краснова. Сев в новое кресло, он совершил действие, которого я от него не ждал и за которое аплодирую ему – разогнал армянское лобби в прокуратуре, поувольняв десятка полтора генералов и полковников. Не посадив (пока), а только поувольняв, но его предшественник и на это не решался. Краснов – жёсткий служака, эта метла будет мести усердно, надо думать.

Итак, “Сага о посадках” продолжилась и наверняка будет продолжаться. Ответным ходом обиженной и напуганной элиты, чей рай остался в 1990-х, стала бешеная информационная кампания против Путина и “силовиков”, в которой, обливаясь, принимают участие не только известные медиа-персоны вроде Валерия Соловья и Андрея Караулова, не только присяжные враги режима вроде МБХ-Медиа, но и масса говорунов и СМИ помельче. Силёнок у них маловато, но каждый кусает, как может. А главное – все в голос пророчат скорую смену лидера, продвигая в массовое сознание мысль о неизбежности транзита власти.

Однако только что прошедшая пресс-конференция Путина показала, что он в отличной форме. Пятичасовой марафон – непрерывный “пинг-понг” вопросов и ответов на самые разные темы... Я бы лично так не смог. А Путин, который меня старше на два года, был в конце изнурительной конференции так же свеж и адекватен, остроумен и быстр, реактивен, как в её начале! Точен в мимике и жестах, точен в мыслях, он врашал в уме таким объёмом информации, что я только диву давался.

Развивается и крепнет в целом вся Россия под его наблюдением и патронажем. Да, понадобились долгие двадцать лет, чтобы вытащить страну из пропасти 1990-х, переформатировать её экономику, подготовить условия для нового подъёма, для рывка. Я не экономист, поэтому воздержусь от самостоятельных суждений, но адресую читателя к внушительному перечню российских достижений самых последних лет. Один из предлагаемых материалов просто перечисляет сделанное за 2020 год (данные впечатляют):

<https://youtu.be/fN89LB8e6Vk>. Много важного и интересного о прорыве в будущее русского бизнеса рассказывает из номера в номер журнал “Форбс” – весьма духоподъемное чтение, рекомендую.

Кое-кто считает, что Путин потерял связь с реальностью, утратил инициативу и не способен предложить стране что-то новое, перспективное, ведущее к высотам развития и процветания. Как бы не так! Просто не надо быть идиотом и требовать всего и сразу по русской привычке. . .

Я смотрю в будущее с осторожным, но всё же оптимизмом. И хотел бы пожить ещё, чтобы увидеть всходы тех зёрен, что посеяны в последние два-три года.

* * *

Вернёмся, однако, к поправкам в Конституцию – важнейшему политическому итогу ушедшего года.

В недавней статье “Русский народ в правовом поле России” (она есть на моём личном сайте) я подробно писал о важнейшей из них, позволяющей говорить о русском народе как единственном государствообразующем народе нашей страны. Это, на мой взгляд, сигнал, свидетельствующий об историческом развороте от Империи к Русскому национальному государству. Этот путь простым не будет: нам предстоит петлять, делать временные возвраты к прежнему, но вектор обозначился чётко, и мы пойдём этим путём до конца.

Плюньте в глаза тому, кто утверждает, что этот путь ведёт к умалению России, к территориальным утратам – всё строго наоборот. Национальное государство, прежде всего, должно соответствовать простому принципу: один народ – одно государство. А это значит, что в будущей России должно найтись место для Новороссии с Приднестровьем, а возможно, и иных земель. В вышеупомянутой статье я уже отмечал высказывания представителей высшего эшелона власти, от самого Путина до Вячеслава Никонова и Евгения Фёдорова, подтверждающие мой прогноз. Ну, а что касается исключения из состава страны некоторых некомплицментарных к русским регионам, то принятые поправки к Конституции не позволяют о том даже заикаться.

На втором по важности месте я вижу те поправки, которые снимают с шеи России позорное вервие международных норм и установлений, часто расходящихся с нашими собственными интересами. С неприемлемым главенством международного (читай: западного) права над внутренним законодательством покончено: будут приняты все меры к “недопущению вмешательства во внутренние дела государства”. Благое следствие данной поправки уже не замедлило проявиться: Конституционный суд России признал необязательным к исполнению постановление международного суда о якобы задолженности России перед пайщиками ЮКОСа типа Ходорковского, Невзлина и других скрывающихся в зарубежных норах граждан.

Действенной и своевременной можно считать поправку о запрете любых действий, направленных “на отчуждение части территории Российской Федерации, а также призывы к таким действиям”. Она, между прочим, свидетельствует о глубоком (и наверняка хорошо обоснованном) недоверии Путина к своим гипотетическим преемникам в будущем. Ну, а о том, что такая поправка была остро необходима, свидетельствует хотя бы тот хор недовольных голосов, который немедленно раздался из “страны восходящего солнца” по поводу Курил и Сахалина. Ясно, что тем зарубежным политикам, кто зарится на Калининград, Крым, Пыталово и другие лакомые кусочки России, тоже есть на что негодовать – и это очень хорошо: не мыльтесь, господа, брить не будет.

Ещё одна поправка преодолевает тот губительный разрыв в истории России, который был осуществлён и затем канонизирован большевиками в 1917 году. И это, между прочим, тоже шаг в сторону Русского национального государства, ибо историческое единство всей Вечной России от Рюрика до наших дней обусловлено ничем иным, как преемственностью истории русского народа – и только. О движении в ту же сторону говорит и поправка (ст. 69) о культурном единстве нашего народа поверх всех границ. . .

Я уже писал подробно о всех главных поправках (статья “Почему я проголосую за поправки” также есть на моём сайте). Поэтому здесь заостряю

внимание только на тех, что имеют непосредственную внутривнутриполитическую проекцию.

Очень важно также, что новый пункт “е3” статьи 83 предоставляет президенту хоть какой-то шанс положить границы судейскому беспределу, дать некоторый укорот судьям, опьянённым своей бесконтрольностью, безнаказанностью и несменяемостью.

* * *

2. Президент Путин давно поставил во главу угла своей внешне- и внутривнутриполитической деятельности интересы России, не слишком озабочиваясь тем, не наступил ли при этом кому-то на ногу. Я разделяю подобную позицию, ведь иначе ничего никогда не достигнешь. Не стоит удивляться поэтому, что некоторые противоречия с внешним окружением страны, существовавшие и раньше в более-менее скрытом виде, вышли наружу и обострились. И это хорошо: нам давно пора определиться с соседями, исходя лишь из своих собственных целей и задач. Как говорится, людям в угоду – да не самим же в воду.

Парадоксальным образом наши внешнеполитические успехи являются отражением улучшения внутренней ситуации России, укрепления армии и экономики и политической стабилизации. Мы не были бы так сильны и уверены в себе на внешней арене, если бы не стояли крепко на ногах на арене внутренней.

Примеров достаточно.

Можно начать с трёх республик Прибалтики, отличившихся за последние тридцать лет столь яркой русофобией, что заставили регулярно вспоминать басню Крылова “Слон и Моська”. Наш мирный (подчёркиваю!) ответ этим патентованным русофобам был суров и действен: вложив немалые средства в строительство собственных портов и терминалов на Балтике, мы избавились от их дорогостоящих услуг по транспортировке товаров и экспорту энергоносителей. После чего экономики этих жалких лимитрофов немедленно обвалились, а их бывлые прибыли стали нашими. В 2020 году наш слух был приятно поражен дружным воем прибалтийских партнёров; в их хоре были слышны различные нотки – от предъявления России счетов за благодеяния Советского Союза до благоразумных призывов прекратить русофобский курс и наладить отношения с великим соседом. Всё то благо, всё добро. Не знаю, вернётся ли дружба, но деньги от нас, надеюсь, уж не вернутся прибалтам никогда.

Обязательно надо отметить фактическое завершение строительства торгового порта в Мурманске – важнейшее для нашей экономики событие, позволяющее нам торговать со всем миром в обход Балтики, где нас испокон веку стерегут и ограничивают таможенные и пограничные барьеры наших заклятых друзей и партнёров. Строительство мурманского порта я приравниваю к столь же прорывному для своего времени строительству Архангельска при царе Фёдоре Иоанновиче, после чего именно через него пошла вся торговля с Англией и другими странами, не хотевшими зависеть от Ганзы и Швеции. А вскоре Архангельск вообще превратился в основной канал связи с развитыми странами Запада. Теперь к нему добавится Мурманск, где смогут, кстати, массово базироваться и наши лучшие в мире ледоколы.

Особо отмечу, что мирное строительство, наращивание собственных сил и возможностей имеет двойной эффект: не только растёт наша собственная мощь, но автоматически при этом рушится экономика недружественных соседей, а с нею их иллюзии. Они начинают без розовых очков видеть своё место, понимать, кто есть кто в этом мире. Глядишь, отрезвление приведёт в вынужденному смирению и нормализации отношений с ненавистной Россией. Хотя статус жалких задворок Европы от этого вряд ли изменится.

Невозможно не сказать ещё об одном событии: 30 июня по Крымскому мосту прошли первые грузовые поезда. Это значит, что теперь из Крыма в Россию потоком хлынут отборные овощи и фрукты (дивные помидоры, персики, черешня, виноград, вино, соки и пр.), черноморская рыба, а в Крым потечёт встречный поток зерна, нефтепродуктов, других нужных товаров, а главным – стройматериалы. По уверению министра транспорта Евгения Дитриха, теперь затраты на грузовые перевозки снизятся примерно вдвое.

А введение в эксплуатацию в 2020 году скоростной трассы “Таврида” – через весь полуостров – многократно усиливает эффект.

Следующим шагом станет строительство в Крыму, как минимум, двух мощных опреснителей, о чём было определён заявлено в 2020 году. А Путин таких слов на ветер не бросает. Крик и вой украинских высших должностных лиц, начиная с министра иностранных дел, поднялся до небес, что говорит о серьёзности проекта. Пытаясь выступить в роли радетелей экологии, украинские политики вялят с большой головы на здоровую. Ибо забывают, что перекрытие Северо-Крымского канала уже принесло экологическую катастрофу в Северное Причерноморье, выведя из оборота немалое количество сельскохозяйственных угодий...

Далее: заработал газопровод “Балканский поток”, и деньги пошли напрямую в российский, а не украинский карман. И это только начало: я уверен, что в 2021 году будет достроен и “Северный поток”, для чего в 2020 году были созданы все предпосылки. И тогда на газовых переговорах с Украиной мы сможем диктовать любые условия.

Газовый фактор, без сомнения, уже помогает нам корректировать отношения и с Молдавией. Пусть там президентское кресло приняло в свои объятия не любящую нас даму, которая сгоряча потребовала вывода российских миротворцев из Приднестровья. Однако один только намёк на газовый должок Молдавии перед Россией сразу окоротил даме её не в меру длинный и скорый язычок.

Остроумным мне кажется решение Россией карабахского конфликта, хотя я хорошо вижу и его минусы. Хотя Путин на весь мир открыто заявил, что по международному праву весь Карабах должен принадлежать Азербайджану, он “отложил на потом” окончательное решение вопроса, подвесил его, с одной стороны, но с другой – выступил гарантом успешных и больших завоеваний Азербайджана, чем остался крайне доволен Алиев, понимающий всю превратность военного успеха и вовсе не желающий своей полной зависимости от Эрдогана. Если учесть, что ни одна противоборствующая сторона в этом конфликте с конца 1980-х годов так и не смогла найти приемлемое решение проблемы, то нынешняя ситуация представляется если не лучшей, то наиболее устойчивой из всех возможных. Далее: российские миротворцы в Карабахе – надёжный форпост против дальнейшего продвижения Турции в Закавказье. Россия совершила в начале 1990-х годов грандиозную ошибку, поддержав армян и буквально вбросив Баку в объятия Анкары. Турецкие военные и сирийские наёмники в Карабахе – прямое следствие той давней ошибки. Но сегодня она исправлена хотя бы отчасти. Наконец, если Пашинян (или его сменщик) будет вынужден предоставить Армении в качестве военного плацдарма для России, это позволит на долгую перспективу решить важнейшую стратегическую задачу. Ибо три мощных военных базы, три опорные точки – Сирия, Крым и Армения – позволят России надёжно контролировать весь юг, включая Чёрное и Средиземное моря.

Удастся ли до конца, до упора конвертировать тактический успех русских в Карабахе в подобную стратегическую победу – этот вопрос, скорее всего, разрешится уже в новом, 2021 году.

То же самое можно сказать о Белоруссии: удалось, преодолев серьёзнейшие трудности, поиметь тактический успех, не допустив антироссийского и антирусского переворота. Каковой успех пока ещё не обернулся стратегической победой, но может обернуться, если удастся добиться реальной интеграции с Белоруссией. Сейчас мы слышим, как в возникшей политической паузе тикают часы и колеблются весы, определяя судьбу Белой Руси и самой большой, после великороссов, ветви русского народа. Неверное движение с любой стороны может дорого обойтись. Что делается за кулисами, мне не известно. Остаётся ждать и надеяться.

* * *

Чтобы договорить о внешней политике внутренне окрепшей России, надо сказать несколько слов о Сирии, которая, по большому счёту, почти сошла с мировой повестки дня, о ней совсем мало стали упоминать мировые СМИ, посчитав эту проблему, видимо, вчерне уже решённой.

Да, в Сирии заметно умирение и начало восстановительных процессов. Заслуга в этом России очевидна всему миру, это бесспорно. Значение Сирии как полигона, на котором наша страна в течение нескольких лет могла испытывать и демонстрировать все свои военно-технические новинки и достижения, неоценимо. С этой точки зрения наши расходы, я думаю, окупились. Получение нами капитальной военной базы в этом стратегически важном регионе, дающем контроль над Средиземноморьем, также дорогого стоит. Словом, наш авторитет в мире как державы, которая не разучилась воевать, может за себя постоять и с которой лучше не вступать в военное противостояние, сильно вырос.

Но есть ложка дёгтя в этой бочке мёда: закрепление США в основном нефтеносном районе Сирии. Как их оттуда выковырять – непонятно. В итоге главные материальные дивиденды от замирения имеют американцы, а сирийцам не из чего оплачивать даже восстановительные работы.

* * *

3. Осталось договорить о менее значительных, но всё же заметных обстоятельствах российской внутренней жизни, которыми отмечился 2020 год.

Одним из таких обстоятельств я считаю уход Чубайса с поста главы Роснано и вообще размонтирование сразу нескольких вредных для страны насосов, перекачивавших деньги из бюджета в карманы ловкачей. Это, кстати, – в продолжение разговора о системных преобразованиях, о новом экономическом курсе, связанном с именами Мишустина и Белоусова.

Однако история с отставкой Чубайса, к сожалению, неоднозначна. Обратим внимание: убрав из правительства Медведева, а из Роснано – Чубайса, Путин на какое-то мгновение обрадовал всю Россию и мог бы получить на этом огромный кредит доверия, снять жирные политические дивиденды. А что вместо этого? Медведев расселся в кресле зампреда Госсовета, Чубайс заделался представителем Путина в международных организациях, занятых экономическими проблемами России. То есть на самом деле “рыжий Толик – аллерген всея Руси” легализовал своё положение “смотрящего” по России, назначенного Западом. А заодно легализовал и свои личные материальные авуары, поскольку, не имея статуса госчиновника, не обязан отказываться ни от зарубежных счетов, ни от зарубежной недвижимости, ни от иностранного гражданства. Сомнительно, что наша страна от этого что-то выиграет, поскольку такой советник при таких наших “доброжелателях” не может принести нам ничего хорошего – просто по определению. Помним его “заслуги” на посту начальника Госкомимущества, знаем, на что он способен.

Этими шагами Путин подтвердил лишний раз, что он “своих не сдаёт”. Но кто эти “свои” для него? Медведев с Чубайсом? Трудно представить себе компанию хуже, отвратнее с точки зрения большинства россиян. Есть в этом что-то слишком циничное. А жаль.

Я не склонен придавать большое значение двум гигантским мыльным пузырям, надутым прессой и интернетом: а) “бунтующему Хабаровску”, требующему возвращения обратно на пост губернатора некоего Фургала (фигуры криминальной, по утверждению силовиков); б) так называемому отравлению Навального, из-за спины которого так явно торчат уши, щёки, когти и прочие причиндалы ЦРУ. Отмечу только ощущение слаженности, скоординированности событий: Фургал – июль, Навальный – август.

В событиях вокруг Фургала я лично увидел лишь одно рациональное зерно: хабаровский “бунт” – своеобразный индикатор ненависти части населения к верхам, к власти, к государству. Отчасти даже индикатор анархических настроений. Ничего другого за этим не стоит. Поскольку само по себе желание масс видеть во главе себя криминальную фигуру рациональным никак не назовёшь. Поизучав повнимательнее биографию Фургала, я склонен верить скорее силовикам, чем хабаровчанам, а поскольку я органически не перевариваю бандитов и криминальных бизнесменов, то симпатизировать бунтовщикам не могу. Не говоря уже о том, что анархистов вообще, по моему внутреннему чувству справедливости, надо, как советовал Остап Бендер, стрелять в детстве из рогатки.

Таким проявлением “народной любви” к властям нас не удивить. Помните дело “приморских партизан”? Тогда волна неприятия властей поднималась

ещё выше, и наш штатный буревестник Валерий Соловей пророчил на этом основании скорое падение режима. Обошлось. Обойдётся и на этот раз, а Фургал, скорее всего, получит, что заслуживал. Интересует только одно: что получают те, кто столько лет его прикрывал?

Что же касается Навального, то тут поражает цинизм Запада. Было ли отравление или нет, траванули задетые Навальным сильные мира сего или западные спецслужбы (склоняюсь к последнему варианту), но чья бы корова ни мычала по данному поводу, а уж Англия с Америкой молчали бы. Страна, создавшая положительный образ спецагента 007 “с правом (!) на убийство” Джеймса Бонда, не должна была бы вякать по поводу Скрипалей и Навального. Страна, которая практикует государственный терроризм и среди бела дня убивает политических противников в других странах, как США убили Касема Сулеймани посреди города Багдада по прямому приказу своего президента, вообще не имеет права голоса в таких вопросах.

Ну, все эти информационные пузыри скоро сдуются, не оставив следа и уступив место новым и новым (ясно, что провокаторы не останутся).

А вот что останется – так это рост по экспоненте экологической повестки. Причём как в масштабах планеты (недаром пресловутая Грета Тунберг была номинирована и в 2019-м, и в 2020 годах на Нобелевскую премию мира), так и в масштабах России. Растущие, как грибы, протестные движения на почве мусорных полигонов, дело о разливе дизельного топлива в Норильске, дело о попытке содовой компании “Башсода” замахнуться на чудо природы – шихан Куштау и другие эпизоды говорят об одном: достало! Ей-Богу, если бы я был молод, обязательно вписался бы в какое-нибудь “зелёное” движение, скорее всего, занялся бы проблемой утилизации мусорных отходов. Важнейшее направление.

Здесь хочется отметить отрадное: закрытие проекта мусорного полигона Шиас под Архангельском, наложение громадного штрафа на “Норникель”, национализацию “Башсоды” в наказание за беспредельную наглость, разработку государственной программы утилизации мусора и т. д. То есть адекватную реакцию правительства России на один из самых грозных вызовов времени. Какими будут успехи, сейчас сказать трудно. Но важно одно: есть осознание проблемы и желание её решить.

А вот другая важнейшая проблема, похоже, никак пока не решается, и решимости радикально с нею разобраться я у Кремля не вижу. Речь о проблеме рождаемости у русских. Я говорю только о русских, ибо только они государствообразующий народ, согласно истории, здравому смыслу и преобразённой Конституции 2020 года. А значит, рождаемость именно у них есть фактор жизни и смерти государства Россия. В предыдущей статье я подробнее останавливался на этом вопросе, подчёркивая, что вся история с материнским капиталом – это паллиатив, а не решение проблемы. Другое дело – запрет на аборт, который необходимо немедленно вводить, опираясь на Церковь и лоямая любое сопротивление, от кого бы оно ни исходило.

Тут нам положительный пример являет соседняя Польша, показавшая, что это вполне возможно в наше время! Именно это, на мой взгляд, – важнейший урок 2020 года! Да, будут протесты обезумевших женщин, желающих ничем не ограниченной свободы и готовых идти ради неё на самое страшное преступление – убийство своих детей. Да, будут трагические последствия криминальных абортотворцев. Но зато будут спасены сотни тысяч, а может, миллионы детей, наших, русских детей, которые сегодня гибнут ежегодно в стенах абортариев! Они маленькие, беззащитные, мы обязаны защитить их, дать им жизнь. Они совсем не лишние для нас, они очень-очень нужные для нас! Для всей страны! Мы стоим перед непростым выбором, но этот выбор неизбежен: жизнь или смерть нашего народа и нашей страны, России. Ибо народ, который убивает своих детей, имеет настоящее, но не имеет будущего.

На этом я хотел бы закончить разговор об основных итогах 2020 года для России.

МИХАИЛ СЕМЁНОВ

СЛОВО О МСТИСЛАВЕ КЕЛДЫШЕ

К 110-летию со дня рождения русского гения

Наука — вот истинное преимущество человека.

Иоганн Вольфганг Гёте

Академик Мстислав Всеволодович Келдыш... Выдающийся математик, механик и организатор науки. Современники называли его Мудрым и за титаническую работоспособность сравнивали с ядерным реактором. Наши потомки, несомненно, причислят его к легендам XX века.

Говорить о таком человеке не только чрезвычайно ответственно, но и не просто: опубликованные воспоминания коллег и родственников, конечно же, не способны заменить впечатления от живого общения. Наталия Сергеевна Королёва, дочь Главного конструктора ракетно-космических систем, видя мои сомнения, молвила: «Мстислав Всеволодович — человек высочайшего ума и необычайного обаяния. Если Вы любите его, обязательно напишите статью». А первый заместитель главного редактора «Нашего современника» Александр Иванович Казинцев напутствовал: «Непреренно подчеркните патриотизм учёного и его уникальную роль в развитии советской цивилизации. Такие люди рождаются раз в столетие».

Получив моральную поддержку и оценив собственные силы, я, наконец, решился на рискованное предприятие. Однако необходимо оговориться: данная публикация не может претендовать на подробное жизнеописание и систематическое изложение научных работ М. В. Келдыша. Не является она и панегириком, ибо гении не нуждаются в славословиях. Скорее всего, её можно рассматривать как попытку неравнодушного автора поразмышлять о творческих дерзаниях, ярких чертах личности и превратностях судьбы знаменитого соотечественника.

1

«Ценность теории определяется тем, насколько общие положения позволяют понимать конкретные явления и решать конкретные задачи». Эти слова М. В. Келдыша, произнесённые на открытии XV Международного конгресса математиков (Москва, 1966), отражают не только его взгляды на научные исследования. В них, можно сказать, сконцентрировалась вся жизнь и деятельность учёного.

В 20 лет, после окончания МГУ, Мстислав Всеволодович был зачислен в штат Центрального аэрогидродинамического института им. Н. Е. Жуковского (ЦАГИ). Здесь он проработал полтора десятилетия и выполнил большое количество актуальных прикладных исследований. Два из них просто невозможно обойти вниманием — они сыграли существенную роль в создании скоростной авиации и, следовательно, обороноспособности страны.

Речь, прежде всего, идёт о цикле научных работ по флаттеру — разрушительным для крыла и оперения самолёта автоколебаниям, возникающим при достижении некоторой критической (для данной конструкции) скорости. Вместе с коллегами — Е. П. Гроссманом, Л. С. Поповым, Я. М. Пархомовским и др. — учёный разработал теорию флаттера, методы численного расчёта этого явления и его моделирования в аэродинамических трубах. Кроме того, успешно освоил технику пилотирования и участвовал в испытательных полётах. В результате были найдены и реализованы действенные средства борьбы с опасным феноменом.

18 августа 1945 года в газете “Красная звезда” была напечатана статья “Советская авиационная наука”. Её авторы, М. В. Келдыш и А. И. Макаревский, в частности, констатировали: “Следует сказать, что своевременное решение этой задачи спасло много жизней лётчиков. Наша авиация не имела ни одного случая возникновения флаттера на скоростных самолётах. Характерно, что гитлеровские авиационные учёные намного отстали в разрешении этой проблемы”.

Яркий след в истории науки и техники оставило и другое исследование М. В. Келдыша, связанное с авиастроением. Оно было посвящено “шимми” — автоколебаниям переднего колеса трёхколёсного шасси самолёта на разбеге, пробеге и рулении. Возникая на определённой скорости, эти колебания приводили к разрушению передней стойки шасси и к последующей аварии. Учёный предложил теорию качения упругого колеса по поверхности взлётно-посадочной полосы и вывел уравнения “шимми”. Используя их, он изучил влияние конструктивных особенностей элементов шасси на это явление и указал возможные пути его устранения.

Следует подчеркнуть: отмеченные прикладные работы (как и многие другие, выполненные в последующие годы) явились достойным ответом на суровые вызовы времени. В основе их успеха — присущее автору сочетание большого инженерного таланта и высокой математической культуры.

Теория функций комплексного переменного, теория гармонических функций, дифференциальные уравнения, вычислительная математика — эти разделы “царицы наук” обязаны М. В. Келдышу за его фундаментальные исследования. Полученные в них результаты оказались востребованными во многих задачах аэродинамики, гидродинамики, механики и теории климата.

При всей своей непомерной занятости Мстислав Всеволодович находил время и для педагогики. В 1930–1932 годах он преподавал математику в Государственном электромашиностроительном институте (ГЭМИ) и Государственном станкоинструментальном институте (СТАНКИИ), а в дальнейшем — до 1953 года — читал лекции в главном вузе страны. В 1946 году он участвовал в организации физико-технического факультета МГУ, который явился ядром основанного в 1951 году Московского физико-технического института (МФТИ).

Трудно переоценить вклад Мстислава Всеволодовича в подготовку научных кадров. Его занятия с аспирантами, как свидетельствуют академик Н. Н. Боголюбов и член-корреспондент АН СССР С. Н. Мергелян, всегда отличались “исключительной научной отдачей”. Столь же продуктивными оказались усилия учёного, направленные на развитие математической культуры в регионах СССР. Например, весной 1940 года М. В. Келдыш, находясь в Ереване, в течение месяца читал курс лекций по теории приближений. Он не только делился с аудиторией полученными им результатами, но и ставил много новых задач. Этот курс, прочитанный с “величайшим искусством”, произвёл на армянских коллег неизгладимое впечатление и оказал “определяющее воздействие” на зарождение научной школы в братской республике.

Длительное время (начиная с 1934 года) М. В. Келдыш совмещал исследование в ЦАГИ с работой в Математическом институте им. В. А. Стеклова АН СССР (МИАН). Здесь в 1944 году создаётся отдел механики (на семинарах которого зародилась и успешно развивалась тематика ракетодинамики и прикладной небесной механики), а спустя два года, в связи с развёртыванием

работ по Атомному проекту, – Расчётное бюро. Мстислав Всеволодович руководит первым из двух подразделений и как заместитель директора института по прикладным работам курирует деятельность второго.

В конце 1946 года М. В. Келдыш становится действительным членом АН СССР. Его освобождают от занимаемой должности в ЦАГИ и назначают начальником (в 1950 году – научным руководителем) НИИ-1 Министерства авиационной промышленности – первого в стране специализированного научно-исследовательского института по ракетной тематике (ныне – Исследовательский центр им. М. В. Келдыша).

В 1953 году с целью дальнейшего развития математической и вычислительной составляющей названных выше работ создаётся Отделение прикладной математики (ОПМ) МИАН (в дальнейшем – Институт прикладной математики Академии наук, или ИПМ). С 1978 года этот институт носит имя М. В. Келдыша, который был его основателем и бессменным директором в течение 25 лет.

Назовём теперь и коротко прокомментируем некоторые работы, выполненные в НИИ-1 и ОПМ под научным руководством Мстислава Всеволодовича.

Прежде всего, это организация и проведение беспрецедентных по своей сложности расчётов тех физических процессов, которые происходят при срабатывании атомных и термоядерных зарядов. М. В. Келдыш принимал непосредственное участие в этом большом коллективном труде и как автор многих оригинальных идей и вычислительных методов. Тем самым были созданы предпосылки современного развития вычислительной математики в нашей стране.

Вторая работа – “Исследование траекторий облёта Луны и анализ условий фотографирования и передачи информации”. Задача этого исследования состояла в выборе траектории полёта, которая позволяла наиболее эффективно использовать возможности системы ориентации и фототелевизионной установки, предусмотренные проектом в ОКБ С. П. Королёва. Такая траектория была реализована космическим аппаратом “Луна-3”, который 7 октября 1959 года впервые в мире выполнил фотографирование обратной стороны Луны.

К отмеченной работе примыкает и ряд других, также выполненных в области космонавтики. Это “Теоретические исследования по динамике полёта к Марсу и Венере”, “Об активной системе стабилизации искусственного спутника Земли”, “Орбиты спутников “Электрон”, “Система гравитационной стабилизации ИСЗ. Оценка основных возмущений и предварительный выбор варианта”.

Нельзя не упомянуть и о комплексе работ, выполненных под научным руководством М. В. Келдыша в НИИ-1 и конструкторских бюро А. М. Исаева, М. М. Бондарюка и С. А. Лавочкина, по созданию крылатой ракеты дальнего действия (КРДД) “Буря”. Оснащённая астронавигационной системой, ракета осуществляла полёты на высотах 18–25 км со скоростью, превышающей скорость звука в 3 раза. На испытаниях, проведённых 23 марта и 16 декабря 1960 года, была достигнута дальность полёта 6500 км при точности попадания в цель 8 км.

Достижение запланированной дальности 8000 км сомнений не вызывало, однако руководство страны приняло решение о прекращении работ по проекту “Буря”. Тем не менее, научно-технические результаты, полученные при разработке крылатой ракеты, в последующем нашли широкое применение в аэрокосмической отрасли.

Опуская здесь многочисленные подробности в описании деятельности М. В. Келдыша, подчеркнём главное: начиная со второй половины 1940-х годов он самым активным образом участвовал в реализации Атомного и Космического проектов – и как учёный, и как организатор. И в том, что на протяжении 75 лет после окончания Великой Отечественной войны заокеанский супостат не осмелился посягнуть на независимость нашей Родины, огромная заслуга Мстислава Всеволодовича (наряду с двумя другими из “Трёх К” – С. П. Королёвым и И. В. Курчатовым).

19 мая 1961 года М. В. Келдыш был избран президентом АН СССР. Это означало заслуженное признание его не только как выдающегося учёного современности и прекрасного организатора науки, но и как крупного государственного деятеля. Мстислав Всеволодович стоял во главе Академии 14 лет и за

это время вывел отечественную науку в мировые лидеры. Закономерно, что в наши дни те советские достижения полувековой давности воспринимаются как эпохальные.

60-е и первая половина 70-х годов XX века были периодом интенсивного развития фундаментальной науки. С 1961-го по 1975 год число научных работников в АН СССР выросло в 2,2 раза. Появились новые НИИ различного профиля (например, Институт общей генетики, Институт белка, Институт психологии, Институт космических исследований, Центральный экономико-математический институт). Были реабилитированы и восстановлены в правах кибернетика и генетика, получили всемирную поддержку квантовая электроника, биохимия и молекулярная биология. В процессе реализации космической программы сформировались такие новые научные направления, как внеземная астрономия, физика солнечно-земных связей, космическая метеорология, космохимия, космическая биология и медицина, селенология, космическая навигация. Строились и вводились в строй гигантские ускорители заряженных частиц и современные морские суда научно-исследовательского флота, расширялось использование вычислительной техники в фундаментальных исследованиях, было положено начало формированию производственной базы научного приборостроения.

Международное сотрудничество учёных, укрепление связи науки с производством, разработка научных основ ценообразования и материального стимулирования в промышленности и сельском хозяйстве, планирование и координация исследований, перегруженность школьных программ, прогнозирование развития основных направлений науки и техники – вот лишь очень малый перечень тех вопросов, которыми приходилось заниматься М. В. Келдышу на “капитанском мостике” Академии наук. Он полностью отдавал свои душевные и физические силы государственным делам и работал на износ.

Рассказывает помощник Мстислава Всеволодовича Н. Л. Тимофеева:

“Рабочий день президента начинался рано утром и заканчивался поздним-поздним вечером. Он был настолько уплотнён, что приходилось удивляться и восхищаться, как один человек может вынести такую нагрузку! Для примера приведу распорядок одного (обычного) дня по сохранившимся записям:

“9 часов – заседание у зам. пред. СМ СССР Л. В. Смирнова;

12 часов – президент должен вернуться в Академию, где предстоит встреча с министром промышленности Франции г-ном Ф. Ортоли;

(после встречи обед);

15 час. 30 мин. – в Академии заседание по молекулярной биологии и генетике;

17 часов – заседание в Кремле по этому же вопросу;

19 часов – он должен вернуться в Академию, чтобы обсудить с учёными перспективы использования науки и техники в народном хозяйстве, так как на следующий день в ГКНТ у В. А. Кириллина совещание по этому же вопросу; после окончания – встречи с некоторыми директорами институтов.

А это значит, что рабочий день президента закончится в лучшем случае часов в 10-11 вечера. Хотя нет – ведь ещё не просмотрена академическая почта, а её много! И это ещё не всё – ещё многочисленные письма избирателей. Он депутат Верховного Совета СССР по Москве. На часах уже 11 вечера, а дома будем около 12... А завтра? Завтра будет новый день и новые дела...”

К сказанному добавим: за все годы президентства Мстислав Всеволодович всего лишь один раз позволил себе побывать в полноценном отпуске.

Многогранная и подвижная деятельность академика М. В. Келдыша получила высокую оценку в стране и в мире. Учёный является лауреатом Ленинской и двух Сталинских премий. Он трижды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награждён семью орденами Ленина и тремя – Трудового Красного Знамени, а также Золотой медалью им. М. В. Ломоносова АН СССР. Среди его многочисленных иностранных наград французский орден Почётного легиона (Командор) и болгарский орден “Кирилл и Мефодий” I степени. За пределами страны Мстислав Всеволодович был избран членом шестнадцати академий и научных обществ и почётным доктором шести университетов.

Очевидно, что выдающиеся достижения М. В. Келдыша на научном и государственном поприще в значительной степени обусловлены особенностями его личности, сформировавшейся в благоприятных социокультурных условиях.

Мстислав Всеволодович родился 28 января (10 февраля) 1911 года в дворянской семье. Оба его деда – Михаил Фомич Келдыш и Александр Николаевич Скворцов – посвятили жизнь Отечеству и армии и дослужились до генеральских званий. Оба – участники Кавказской войны. Отец, же Всеволод Михайлович, был крупным инженером-строителем, заслуженным деятелем науки и техники РСФСР. Он преподавал в высших учебных заведениях, а также участвовал в работе государственных приёмных комиссий и консультировал крупнейшие стройки страны: Московский метрополитен, Днепропетровский алюминиевый завод, ДнепроГЭС, Балахнинский бумажный комбинат и др.

Строгие моральные устои, богатая библиотека, изучение иностранных языков и культ классической музыки – всё это способствовало воспитанию и гармоничному развитию детей в семье Келдышей: все они, как говорится, “вышли в люди”.

Мстислав в 16 лет окончил среднюю школу со строительным уклоном, но пойти по стопам отца не пришлось: в строительный вуз его не приняли по молодости лет. И тогда по совету старшей сестры Людмилы, математика по специальности, юноша поступил на физико-математический факультет Московского государственного университета (это ли не счастливый шанс, дарованный судьбой?). Заметим: в студенческую пору и на первом этапе трудовой деятельности большое влияние на формирование Келдыша как человека и специалиста оказало общение с такими выдающимися учёными, как М. А. Лаврентьев, С. А. Чаплыгин и И. М. Виноградов.

Теперь дадим слово нескольким людям, хорошо знавшим Мстислава Всеволодовича, – с их помощью читатели смогут представить живой образ героя нашего повествования.

Журналист В. С. Губарев:

“Келдыш – гений, и никто не может оспаривать это, а потому остаётся только изучать его труды, ставшие классикой, да подсчитывать всё увеличивающееся число его учеников, так как математическая “школа Келдыша” не умерла вместе со своим создателем, а была и есть в том самом институте, который теперь носит его имя.

Но был и другой Келдыш...

Он открывался редко, чаще всего его красивое лицо, окаймлённое благородной сединой, оставалось суровым, непроницаемым, будто хозяин его доступен лишь избранным... “Эй, как у вас там дела на Олимпе?” – хочется крикнуть таким людям... Мне кажется, что огромное число женских сердец разбивалось вдребезги, видя эту недоступность...”

Лётчик-космонавт СССР А. А. Леонов:

“Келдыш – это русский самородок, это алмазная голова! За ним, как за каменной стеной, ничего не было страшно. Я присутствовал на Байконуре, когда космический корабль был выведен на орбиту неточно. Потребуются коррекции, но сколько? В. П. Глушко (он тогда был главным) приказал своему баллистику пойти просчитать это на компьютере. Тот ушёл.

Мстислав Всеволодович вынул из кармана коробку папирос “Казбек” (он их, кажется, курил), что-то пером на ней прикинул и через полминуты сказал тихим спокойным голосом: “Двадцать коррекций”. Глушко на него мельком взглянул, но не прореагировал. Через полчаса, примерно, вернулся баллистик. “Ну, сколько вы там насчитали?” – спросил Глушко. “Двадцать коррекций, Валентин Павлович”.

Академик Б. Е. Патон:

“Вообще трудно сказать, были ли для него какие-то непреодолимые рубежи усталости. Посещение Мстиславом Всеволодовичем научных центров республики (Украинской ССР. – М. С.) совпало как раз с тем временем, когда автоматические космические аппараты подходили к Венере. Сеансы связи с ними Келдыш, конечно, не мог пропустить. Они интересовали его как

учёного. Две ночи подряд он работал в Центре дальней космической связи в Крыму, но при этом не прерывал, не снижал темпа дневной работы у нас. Вечером он улетал в Центр, а утром возвращался.

Видимо, без такой страстности, без живого интереса и к жизни вообще, и к каждой из областей науки невозможно было бы накопление такой эрудиции, как у Келдыша. Но всё же одних только знаний, чтобы помогать другим учёным, мало. Есть одна особенность мышления, которая выделяет его и среди исследователей, и среди организаторов науки: он быстрее, точнее многих схватывал самую суть проблемы, её зерно. И в этом – самое главное”.

Академик Г. К. Скрябин:

“Для меня... Мстислав Всеволодович – рыцарь науки. Всё – для науки и ради науки. Я бы сказал, что не знаю такого второго человека. Я абсолютно уверен, что за науку он фактически положил жизнь”.

Академик Б. Е. Черток:

“Келдыш был истинным лидером нашей науки. <...> Он поднимал науку, образованность и тем самым величие страны. Именно такие люди должны руководить страной. Вероятно, что с нашей страной не было бы тех бед, которые на неё навалились, если бы у руля управления государством стоял такой человек, как М. В. Келдыш”.

Крупный специалист в области математики и механики, М. В. Келдыш обладал широчайшим культурным кругозором. Любил и хорошо знал литературу, живопись, музыку и театр. Владел французским, немецким, итальянским и английским языками. Родившись в дворянской семье, живущей в достатке, будущий академик не чурался простого физического труда. Учась в старших классах школы, в летние каникулы ездил с отцом на стройки, где трудился разнорабочим на бетономешалке. Будучи сотрудником ЦАГИ, одинаково уверенно чувствовал себя и в научной лаборатории, и за штурвалом самолёта. Дерзновенная мечтательность сочеталась в нём с трезвым взглядом на мир, рациональный склад ума – с развитой эмоциональностью, а высокая требовательность – с научной щедростью и человечностью.

Мстислав Всеволодович не переставал учиться на протяжении всей жизни. Это касалось не только профессиональной сферы, но и истории искусства, и квантовой электроники, и экономики, и генетики – всего не перечесать. По этому поводу академик А. С. Спирин вспоминает, как однажды ему довелось прочитать М. В. Келдышу цикл лекций по молекулярной биологии: “Мы были вдвоём: я был профессором, а он был студентом. Так продолжалось несколько недель. Удивительно! И надо было видеть, как человек интересуется. Это был не просто интерес к знаниям... А глаза его! Ни один портрет не отражает живых глаз его, глаз, в которых всегда был сосредоточен неподдельный интерес и колоссальный внутренний заряд ума, интеллигентности и темперамента”.

Авторитет Мстислава Всеволодовича в научном сообществе был непрерываемым. “Надо пойти посоветоваться к Мудрому”, – говорили многие, зная о феноменальной способности учёного разобраться в самых сложных и, казалось бы, не поддающихся решению проблемах.

В организации и планировании науки, оценке исследовательских работ и расстановке кадров М. В. Келдыш никогда не руководствовался конъюнктурными соображениями и принципом личной преданности. Он всегда исходил исключительно из государственных интересов, проявляя свойственные ему порядочность, принципиальность и упорство в отстаивании своей точки зрения.

* * *

“Жизнь прожить – не поле перейти” – эта русская пословица как нельзя лучше отражает сложности земного пути М. В. Келдыша. В разных обстоятельствах ему зачастую приходилось делать непростой нравственный выбор.

Известно, например, что в юности Мстислава Всеволодовича пытались исключить из МГУ за “непролетарское происхождение”. В 1936 году был аре-

станов и в 1937 году расстрелян его брат Михаил – аспирант исторического факультета университета. Другой брат – Александр – более года провёл на Лубянке. Дядя Николай Александрович, бывший офицер царской армии, отбыл срок на Беломорканале...

“В подобных обстоятельствах, – пишет доктор физико-математических наук К. В. Брушлинский, – многие ломаются, теряются, озлобляются и переносят своё резко отрицательное отношение к режиму и властям на Родину и народ в целом. Келдыш принадлежит к другому типу людей. Образование, воспитание, врождённое чувство патриотизма сформировали в нём твёрдое убеждение: власть и Родина не тождественны, Родина у человека одна (“запасных” нет), жизнь и шанс подарить людям своё творчество даются один раз и даются Богом, а не властями. К тому же, в конце 30-х годов возникла опасность очередной агрессии Запада – в этот раз со стороны германского фашизма. Всё это определило жизненный выбор Келдыша: его научная деятельность была нацелена на развитие авиации, а затем – ракетной техники, и он достиг в этих областях исключительных успехов”.

3

2 июля 1978 года, на девятый день после кончины учёного, газета “Комсомольская правда” писала:

“Умер Келдыш. Умер один из выдающихся учёных современности, активный участник эпохальных событий в истории мировой цивилизации, яркий представитель молодой, новой, не известной иным векам науки именно XX столетия, создатель быстро растущей, ветвистой и щедро плодоносящей научной школы. И единственное сегодняшнее утешение наше в том, что у гроба его стоят десятки, сотни учеников, что дело его живо и жить ему долго. Жить ему так долго, как долго будут люди летать”.

Надо было прожить великую жизнь, чтобы заслужить такие слова, – помню, подумалось мне в тот июльский день по прочтении газеты.

С тех пор прошло более сорока лет. Образ Мстислава Всеволодовича, сложившийся у меня в юношескую пору, со временем обогатился множеством новых черт и стал более рельефным. Этому, конечно же, способствовал ряд статей, опубликованных в энциклопедиях, книгах и журналах. В начале 2000-х годов в издательстве “Наука” был выпущен сборник “М. В. Келдыш. Творческий портрет по воспоминаниям современников”, а в 2016 году в серии “Великие умы России” увидела свет книга об учёном, написанная В. С. Губаревым. Художник Ю. М. Егоров нарисовал два портрета академика: один из них украшает его Мемориальный кабинет-музей в Институте прикладной математики, другой находится в Президиуме РАН.

Полагаю, однако, что М. В. Келдыш достоин гораздо большего: биографического романа, пронизанного духом психологического анализа, и такого же уровня живописного холста. Правда, для этого требуется литературный дар М. Ю. Лермонтова и кисть И. Н. Крамского.

Разве не так?

ГЕОРГИЙ ДОБЫШ

УЛЫБКА ЧЕШИРСКОГО КОТА

На сложном фоне нынешнего российского бытия, круто замешенного на разного рода экстремальных явлениях в международной и внутренней политике, экономике, медицине и даже спорте, наше общество как-то вяло и равнодушно реагирует на то, что обесценивается не только занявший рабское положение по отношению к доллару русский рубль, низринувшийся в перестроечное время с советских финансово-экономических высот, но девальвируется, тончает и растворяется во времени слой общественного сознания, который принято называть высоким искусством или в более широком понятии – художественной культурой.

А ведь не реагировать на это, казалось бы, ну, просто невозможно. За более чем тридцать “перестроечных” и “постперестроечных” лет на некогда плодотворной ниве национального художественного творчества не появилось в поле зрения широкого читателя, слушателя, зрителя ни одного произведения, которое бы, благодаря актуальности рассматриваемых в нём проблем, мастерскому созданию образов наших современников, да и вообще – таланту его автора, стало бы ярким художественным явлением, получившим высочайшие оценки требовательной критики и привлёкшим внимание взыскательного потребителя. Такого произведения не оказалось за это время ни в литературе, ни в театре, ни в кино, ни в живописи и музыке.

Ситуация парадоксальная! Число театральных коллективов и спектаклей в стране значительно увеличилось, а Театра как высокого искусства нет, музыкальные произведения пишутся, исполняются, но современной национальной русской классической Музыки не существует, где-то кто-то снимает какие-то фильмы, но русское Кино как таковое отсутствует, в магазинах полно великолепно изданных книг, а современной русской художественной Литературы с большой буквы нет. Не количеством же определяется ценность искусства, а качеством.

Разве сложившаяся ситуация не повод для определённых размышлений?

В начале “перестройки” её активисты рисовали нам умилительно-идеалистические картины, связанные с бытиём художественной культуры в новом обществе. “Теперь-то будет свобода! – вдохновенно вещали они. – Мы никак не будем зависеть от государства, теперь искусство будут поддерживать богатенькие “буратинки”-меценаты. Талантливых произведений, благодаря этим изменениям, в стране будет хоть пруд пруди, шедевры полезут, как из рога изобилия”.

Не полезли... Нет не то, что талантливых, очень мало просто профессионально качественных творческих продуктов. Вместо них из того самого изобильного рога посыпались в основном разного рода художественные контрафакты. Как когда-то в трудные годы Первой мировой войны в Германии вместо

сливочного масла немецкая фрау намазывала мужу на хлеб маргарин, подслащала кофе сахарином, да и кофе был не кофе, а всего лишь цикорием, так и в нашей нынешней стране сегодня: вместо настоящих, подлинно талантливых художественных произведений, созданных по-настоящему великими творцами, потребителю поставляются неполноценные, космополитического происхождения эрзац-продукты, являющиеся порождением каких-то сложных химических реакций в воспалённом мозгу претендующих на гениальность, оторванных от действительности и от русского народа современных художников. Чувство духовного голода эти эрзац-продукты, наверно, в некоторой степени утоляют, но сравнивать их с нормальной “едой”, с настоящим творчеством, конечно же, невозможно.

Русская художественная культура в стране, законно занимавшая в советское время почётное место на олимпийских эстетических и социальных высотах, в результате рейдерского захвата её криминальной бригадой алчного Мамоны при торжествующем улюлюканье и безобразном визге либералов в полной безнадежности и унынии сдала свои позиции. Подобно Чеширскому коту, она исчезла, оставив лишь свою парящую в воздухе бестелесную улыбку, постепенно превращающуюся в отвратительный по озлобленности, коварству, циничности и пошлости оскал. Высочайшие духовные идеалы человеческого бытия — чистая светлая любовь, кристальная честность, самопожертвование, безграничная преданность, верность, отчаянная храбрость, благородство, справедливость — в создаваемых ныне художественных произведениях микшируются, исчезают, из искусства изгоняется светлый человеческий образ во всей его сложности, многообразии, значимости и неповторимой красоте. Добро нарядилось в чёрные и нелюбимые одежды зла.

И, что ещё важно отметить, в большинстве новейших произведений отсутствует органически характерный для творчества русских художников пристальный интерес к внутреннему миру современника. В них нет сострадания к сегодняшнему нашему человеку, которому за последние десятилетия достались такие испытания, что сравнить их можно разве что с теми, что перенесли наши люди в период войны, минувшей семь с половиной десятилетий назад. Торжествует некая упрощённая схема-формат, в результате осуществления которой в процессе художественного осмысления нынешней действительности происходит усиленное педалирование негативных качеств жизненных ситуаций и характеров, и все эти приёмы применяются с такой напоистостью и наглостью, что хочется рыдать и выть, как это делали в русских деревнях бабы по ушедшему из жизни дорогому их сердцу человеку: “А на кого ж ты нас покинул...”

Только никто этого воя не услышит. Вокруг, как Мамай прошёл, — духовная пустыня... Ну, кого из руководства государства, политических деятелей, самих мастеров искусств сегодня по-настоящему интересует драматическая, наполненная горечью и безысходностью судьба великой русской художественной культуры? Если и интересуется, то чаще всего и больше всего — её материальная сторона. У государства постоянно просят денег: “Ради Бога, дайте, дайте...”

Те самые активисты-предсказатели светлого будущего для культуры, напроць забыв обо всех своих обещаниях и предсказаниях, громко чавкая и похрюкивая, сегодня теснятся, отталкивая друг друга от государственной кормушки, да ещё и возмущаются тем, что государство, выделяя немалые суммы на развитие искусства, робко пытается контролировать: куда же и на что они тратятся. А как только кого-либо из “пожирателей денег на культуру” поймают на самом что ни на есть банальном воровстве, весь этот клан так называемых мастеров искусств дружно сплачивается и бросается на помощь родному проворовавшемуся: судить банальным судом нашего гения — да как можно?

И где он, тот обещанный расцвет художественной культуры?
Никто уже и не пытается его предсказывать...

В сложнейшей ситуации оказалась современная русская литература, которая всегда была чувствительнейшим и тончайшим по восприятию индикатором, реагирующим на малейшие изменения и колебания в судьбе и характере русского народа. Но всё, что случилось с Россией в конце прошлого — на-

чале нынешнего века, подействовало на отечественную художественную литературу столь угнетающе и разрушительно, что она, как и вся отечественная культура, не то что исчезла совсем и навсегда, но уподобилась айсбергу, погружившемуся в океанскую пучину времени, оставив на поверхности лишь свою малую видимую толику, позволяющую судить о себе как о явлении неполноценном, упадническом и ущербном. И только внизу, на недоступных простому читателю или даже исследователю скрытых социальных и литературных глубинах, в основной массе этого айсберга можно найти нечто подлинное и настоящее. Наверху же плавает известно что.

Полная, развёрнутая картина существования современной русской литературы на нынешнем этапе бытия нашей страны в силу определённых причин остаётся нам попросту недоступна. Мы даже не знаем, каково количественное её представительство в нынешнем отечественном книжном мире. Нет такой цифры. Роспечать в своих докладах и отчётах заявляет, что по данным Российской книжной палаты в 2018 году, например, в нашей стране около 600 издательств выпустили 116915 названий книг и брошюр совокупным тиражом 432,3 млн экз. На долю изданной в тот год художественной литературы приходится 55,3 млн экз. книг. Много это или мало – кто знает. Но заметим, что понятие “художественная литература” безбрежно и расплывчато. Оно включает в себя отечественную и зарубежную классику, современную переводную литературу, литературу народов России во всех её проявлениях и ещё Бог весть что. А вот какая доля из этой массы приходится на современную русскую литературу, никому не известно.

Остаётся одно – зайти в книжный магазин и хоть там посмотреть, книги каких современных писателей предлагают сегодня покупателям и читателям, как много их и хотя бы визуально оценить уровень их литературного представительства.

Сразу скажу, что интерьер современного столичного книжного магазина производит очень благоприятное впечатление. Полки ломятся от книжной продукции. Разделов – масса, их трудно даже перечислить: эзотерика, мистика, детективы зарубежные, детективы отечественные, фантастика, фэнтези, литература детская, учебная и так далее, и так далее. От заголовков пестрит в глазах. Оформление книг красочно и ярко.

Но, как говорил мудрый Козьма Прутков: не верь глазам своим.

В торговом зале, как правило, стоит скромненький стеллаж длиной в два-три метра с пятью-шестью полками по обе стороны и табличкой, обозначающей название раздела: “Современная русская художественная литература”.

Русские авторы представлены здесь несколькими книгами Юрия Полякова, Захара Прилепина, Александра Проханова, Сергея Шаргунова. Ещё произведениями Евгения Водолазкина, Сергея Алексеева. Писатели, достаточно хорошо известные своим творчеством.

В этом же разделе есть и книги группы писателей, имена которых хотя и ничего не говорят о себе нынешнему читающему человеку, но это тоже наши современники. Вот только говорить об этих книгах как о современной русской литературе было бы большой натяжкой. Что характерно для этих изданий, большинство их авторов – женщины. Полистав страницы их книг, невольно думаешь о том, что фамилии их вряд ли когда-нибудь запомнятся читателю. Раскрываемый в их произведениях гламурный мир героев незатейлив, если не убог. Современному знающему, хорошо ориентирующемуся в литературе читателю в нём скучно, утомительно и неинтересно. Но тут уж ничего не поделаешь, их присутствие здесь – торговый расчёт. А это для продавцов – главное.

Зато о другой, самой многочисленной группе писателей, чьи книги занимают оставшуюся половину места на стеллаже “Современная русская художественная литература”, стоит поговорить.

Такое впечатление, что эту “русскую” литературу “сделали” на Малой Арнаутской в Одессе. В эту группу входят Борис Акунин, Дмитрий Быков, Михаил Веллер, Виктор Ерофеев, Михаил Жванецкий, Юлия Латынина, Виктор Пелевин, Оксана Робски, Дина Рубина, Владимир Сорокин, Татьяна Толстая, Людмила Улицкая, Леонид Юзефович, Виктор Шендерович и другие.словно по мановению волшебной палочки менеджеров по продажам, русскоязычные,

в том числе еврейские писатели разом вдруг превратились в русских писателей, которые в наших книжных магазинах представляют русскую литературу. Смешно?.. Нет. Грустно. Дело тут не только в том, что магазины сегодня не хотят представлять произведения большинства настоящих современных русских мастеров слова. Подчеркиваю: проблема в том, что книги вышеперечисленных авторов, не имеющих к великой традиции русской литературы никакого отношения, продаются как издания русских писателей.

Наверно, подобный трюк приносит магазину и представленным в данной группе авторам определённые дивиденды. Но это чистой воды дискредитация русской литературы. И не потому, что одна литература лучше или хуже другой. Суть в другом. Нация — это не костюм с чужого плеча, который ловко можно подогнать по любому размеру и носить, как пошитый для тебя лично. Нации со всеми их особенностями и своеобразием на протяжении всего исторического развития человечества формируются всей окружающей их действительностью, приобретая те черты характера, которые передаются из поколения в поколение. В этом — проявление великой мудрости Господа, который создал все народы такими разными, а их художественные культуры — особенными. Отчего и весь человеческий мир, представленный художественным творчеством всех наций, так многоцветен и многообразен. И как ни старайся, никого не убедишь, что белый цвет — это чёрный, а чёрный — это зелёный. Так и русская литература не может быть литературой другого народа или наоборот.

Понимаю, мне скажут, что вот, мол, чуть ли не половина русских классиков имеет иностранное происхождение. Внешне всё вроде бы так и выглядит: предком поэта Гаврилы Державина был татарский князь Багрим (Ибрагим), в жилах Александра Пушкина текла арабская кровь Ганнибала, история рода Михаила Лермонтова начиналась от шотландского наёмника Джорджа (Георга) Лермонта, дед со стороны отца Константина Паустовского, запорожский казак Максим Паустовский, из военного похода привез жену-красавицу турчанку Фатьму, его бабушка Викентия (Вицентина) Высочанская по материнской линии была полькой... .

Но у этих “иностранцев” зарубежным было только происхождение. У многих из них оно осталось далеко-далеко в прошлом времени. А в своей жизни они были абсолютно русскими людьми, бесконечно любившими Россию и русский народ. А их литературный талант, их патриотизм, великая любовь и преданность стране, русскому народу, его прекрасному языку вдохновляли этих людей на создание бессмертных литературных произведений, ставших бесценным вкладом в российскую литературу.

Замечательный критик и публицист Виссарион Белинский о составителе “Толкового словаря живого великорусского языка” датчанине по происхождению Владимире Дале писал так: “К особенностям его любви к Руси принадлежит то, что он любит её в корню, в самом стержне, основании её, ибо он любит простого русского человека, на обиходном языке нашем называемого крестьянином и мужиком. Как хорошо он знает его натуру! Он умеет мыслить его головою, видеть его глазами, говорить его языком”.

Таких людей в художественной культуре России было множество, и всех мы их знаем, любим, помним, ценим и дорожим ими. Русские от кончиков пальцев ног до корней волос на голове, они талантливо и вдохновенно любили Россию.

Не зря Илья Глазунов по этому поводу любил повторять: русский — это тот, кто любит Россию и русских.

Так вот, очень многие из представленных в магазинах еврейские писатели, чьими книгами заполнены сегодня российские книжные магазины, этой самой любовью ни к России, где они родились, выросли, получили образование, ни к её народу, в среде которого они творчески состоялись, не страдают. Да и живут они сегодня преимущественно в Израиле, Германии, Франции, Англии, Швейцарии или США. Некоторые, правда, живут и в Российской Федерации. А иные имеют по два, а то и по три гражданства. Но пишут-то они на русском языке, и читатель их здесь, в России. Здесь их основной заработок.

Тем не менее, вот что они говорят и пишут о русских людях и о своей Родине.

Людмила Улицкая: “Я русская писательница еврейского происхождения, воспитанная в христианской культуре. Сейчас моя страна находится

в состоянии войны с культурой, ценностями гуманизма, свободой личности и идеей прав человека. Моя страна больна агрессивным невежеством, национализмом и имперской манерой величия. Мне стыдно за мой невежественный и агрессивный парламент, за моё агрессивное и некомпетентное правительство, за руководящих политиков – сторонников насилия и вероломства, которые метят в супермены. Мне стыдно за всех нас, за наш народ, который растерял нравственные ориентиры”.

Так и хочется спросить: за какой такой “наш” народ вам стыдно, Людмила Евгеньевна, за русский, израильский или какой-то другой?.. Нам-то за свой народ не стыдно. Мы гордимся им – великим, духовно богатым и трудолюбивым, толерантным по отношению к другим народам,

Но с этим определением не соглашается **Дмитрий Быков**: “Разговоры о российской духовности, исключительности и суверенности означают на самом деле, что Россия – бросовая страна с безнадёжным населением. Глубокая уверенность в некачественности, несправимости, исторической потерянности этого населения вообще свойственна спецслужбам с их демоническим презрением к гражданам. И надо сказать, основания для такого презрения мы им действительно даём, так и не выучившись эффективно противостоять их немудрящим разводкам. Большая часть российского населения ни к чему не способна, перевоспитывать её бессмысленно, она ничего не умеет и работать не хочет. Российское население неэффективно. Надо дать ему возможность спокойно спиться или вымереть от старости, пичкая соответствующими зрелищами”.

Во-первых, не могу понять, кто такие эти “мы”, Дмитрий Львович. А вторых, в своём высказывании вы не оригинальны. Бес, наверно, вас попутал, и вы восприняли как своё, родное и близкое сказанное министром пропаганды гитлеровского правительства Йозефом Геббельсом в 1942 году: “Русские – это не народ в общепринятом смысле слова, а сброд, обнаруживающий ярко выраженные животные черты. Это можно с полным основанием отнести как к гражданскому населению, так и к армии”.

Ну, его-то можно понять. К тому времени фашисты в Советском Союзе получили по зубам, и им ничего не оставалось, как лаять из-под ворот. А вам-то, вам не стыдно, Дмитрий Львович? Вы – еврей, представитель пострадавшей в войну нации, а он – фашист. Правда, несколько странный симбиоз?

А вот **Татьяна Толстая** о России: “Страна не такова, чтобы ей соответствовать!.. Её надо тащить за собой, дуру толстожопую, косную! Вот сейчас, может, руководство пытается соответствовать, быть таким же бл..ским, как народ, тупым, как народ, таким же отсталым, как народ”.

Это даже не базар. И уж точно – не Привоз. Там даже оскорбляют остроумнее... Это же что-то подзаборное...

Ну, и шедевр от бывшего “дежурного по России” **Михаила Жванецкого**: “Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое. Вот просто разровнять...”

Да-а-а, ещё один экспериментатор. Остроумец, “мечтатель”, несколько десятилетий смешивший Россию...

8 июля 1941 года начальник Генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер записал в дневнике свой разговор с Гитлером: “Непоколебимо решение фюрера сравнить Москву и Ленинград с землёй, чтобы полностью избавиться от населения этих городов...”

Какое созвучие, какой унисон в мыслях еврейского писателя и замысла фашиста № 1! Впрочем, что я говорю! Михаил Маньевич пошёл дальше “Адольфа Алоизовича”, планы были масштабнее. Если фюрер хотел сравнить с землёй только Москву и Ленинград, то здесь – разровнять место, где расположена вся Россия! Грандиозно! И в то же время, мягко говоря, странно... Знал же Михаил Маньевич, чем закончилась для фюрера и его прихвостней их авантюра, названная “Дранг нах остен”. Не польским же правительством был Жванецкий, чтобы не помнить об этом, воспитывался в советских учебных заведениях...

Ещё привести высказывания “русских писателей” о стране и её людях?.. Не стоит размазывать грязь и плевки на чистом и благородном лице.

Как ни крутись, но невозможно не признать, что эти деятели, самоидентифицировавшиеся как русские писатели, если и любят Россию, то уж очень извращённой, странной и страшной “любовью”. В их русофобских словах –

брызжущие фонтаном желчь, злоба, ненависть и презрение к русскому народу, к Отечеству. За что? Откуда эта животная ненависть? И в чём вина русских людей перед ними? Понять это нормальному человеку невозможно. Воистину, “ты виноват уж тем, что хочется мне кушать...”

Не хотелось бы думать, что все эти мерзкие выплёскивания были задуманы как некий маркетинговый ход, позволяющий привлечь к их книгам особое, повышенное, скандальное внимание покупателей. Слишком уж непотребен он и циничен. Но в любом случае комментарием ко всему вышесказанному этими писателями напрашивается следующая цитата:

“1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершённые публично, в том числе с использованием средств массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть “Интернет”, лицом после его привлечения к административной ответственности за аналогичное деяние в течение одного года, наказываются штрафом в размере от трёхсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от двух до трёх лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырёх лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет” (в ред. Федерального от 27.12.2018 N 519-ФЗ).

Да-да, это уже не публицистика, а документ, закон: УК РФ, статья 282. Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства.

Конечно, кто-то мог бы потребовать объяснений в суде у авторов этих высказываний, но у нас ведь за русофобию не судят – у нас за русофобию награждают! С русофобами высокопоставленные чиновники, увы, до сих пор обнимаются, пожимают им руки, русофобам присваивают высокие звания, им преподносят ордена и медали “за вклад” – Бог знает, во что этот вклад и за что награды. А они великодушно и снисходительно эти награды принимают. Как принял “за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность” орден “За заслуги перед Отечеством” III степени... Михаил Маньевич Жванецкий. Ну, помялся немного, поначалу не пришёл на вручение – очень хотелось выглядеть независимым. Но принял же орден на грудь и, наверно, благодарил? По крайней мере, лицо его на фотографии вместе с Путиным выглядит вполне довольным. Позже в специальном письме украинским журналистам он отчитался за свой “грех” – почему разрешил наградить себя. Дескать, он, как и его папа-врач, принявший в Одессе орден Трудового Красного Знамени. Потом наш смехач на всех интернетовских углах рассказывал, что на одной из “случайных” встреч президент сказал о нём: “Очень добрый и порядочный человек...” Хотелось бы верить президенту...

А русские люди уже привыкли вытирать лицо после плевков этих “добрых” и “порядочных” людей и делать вид, что ничего не произошло. Мы же по духу интернационалисты, мы же православные христиане. Нас так воспитали, да мы и по своей сути народ-гуманист. Злобы у нас ни к кому из них нет – много им чести. Живите, пишите свои книги, продавайте свой товар (кто же его у вас, кроме россиян, купит?). Жить-то на что-то надо. А вы же привыкли жить хорошо. Живите. Только вот не разводите вокруг себя грязь и мерзопакость.

Утешая русских людей, говорят: да не связывайтесь вы с ними. Мы и не связываемся. Да, и не секрет: попробуй, ответь на хамство как положено, тебя тут же обвинят: вот хам, дескать, ему плюнули в лицо, а он, сукин сын, видите ли, драться лезет. Антисемит противный... Да он же русский националист!

И особенные усилия, чтобы поддержать эту категорию писателей, прилагают работники книжной торговли. Помимо выставленных книг на стеллаже “Современная русская художественная литература”, они собирают экземпляры их изданий ещё и в отдельную экспозицию, поместив её в уголке торгового зала, крепят над ними табличку с надписью: “Современная русская классика”. Не более и не менее! Сам видел такие таблички в нескольких магазинах.

И это ничего, что авторы имеют с русской литературой весьма отдалённое родство и что словосочетание “современная классика” безграмотно, звучит и воспринимается примерно, как “современное прошлое”. Зато можно порадовать родным человечкам...

Ладно бы только книготорговцы занимались назначением в классики, так в этом деле преуспели и нынешние литературоведы. Не стал дожидаться результатов апробации временем творчества Беллы Ахмадулиной, а властью телеведущего назвал её в передаче “настоящим современным классиком” известный литератор Игорь Волгин. Да и в списке номинаций премии “Ясная Поляна” какое-то время существовал раздел, который так и назывался: “Современная классика”. В 2017 году члены жюри назначили современными классиками Владимира Маканина и Андрея Битова. Позже этот раздел из премиального списка почему-то исчез. Может, всё-таки решили, что не дело жюри литературной премии утверждать писателей в этом высоком звании?

В общем, получается, если верить данным Роспечати и визуальным исследованиям книжных московских прилавков, настоящих современных русских писателей в нашей стране можно перечислить по пальцам одной руки. Никаких талантов на Руси не осталось, книг писать некому?

А между тем, у нас своих, русских, писателей не так уж и мало. В существующих в стране, по некоторым подсчётам, 27 Союзах писателей сегодня больше или меньше 120 тысяч человек, что в четырнадцать-пятнадцать раз больше, нежели когда-то их было в Союзе писателей СССР. Союзы плодятся, как кролики, некоторые представляют собой творческий коллектив по пять или 10 человек. Это же надо! Если выпустить соответствующий справочник со всеми фамилиями и адресами членов всех союзов, понадобится добрых толстых 15 томов! Представляете? Целое собрание сочинителей.

И это ещё не всё. К этим писателям надо добавить чуть ли не миллион человек, публикующихся на интернетовских порталах “Стихи.Ру”, “Проза.Ру” и на прочих. А ещё в Союзе журналистов 100 000 человек (некоторые книги пишут).

И если в этом нагромождении хорошенько поискать, кто знает, кто знает...

А мы говорим, что иссякли в России писательские дарования. Их великое множество. Но где они? Нет их книг на полках магазинов. А нет книг русских авторов на полках магазинов – словно нет и русской литературы.

Половина всех существующих сегодня в стране издательств приходится на Москву. Выход книжки в столице делает её более значимой, более заметной. Вот только попробуй эту самую книжку опубликуй. Если сумеешь дозвониться в одно из этих заведений, уныло-безразличный голос его работника сразу не оставит вам никаких надежд. В лучшем случае скажет, что надо прислать пересказ содержания вашей книги, а в худшем, выслушав сбивчивый от волнения, непоследовательный пересказ по телефону, голос тут же, не раздумывая, наотмашь заклеит железным словом “неформат”. Не читая и не видя дорогого вам творение в глаза. И такая ситуация почти в каждом издательстве. В лучшем случае, будто оправдываясь, особо совестливые редакторы скажут вам, что план на нынешний и следующий год составлен, утверждён и, как говорится, “мест нет”.

А без своей выпущенной в свет издательством книги, ну, какой ты писатель! Конечно, всё энергичнее становится разговор об электронной литературе. Пусть будет и она. Никто не против – многие “за”. Но кто из писателей у нас стал знаменитым после выхода его книги в электронном виде? Может, и есть такие, так это же исключения, они и существуют для того, чтобы подтвердить правило. А правило, как в песенке “У попа была собака”: ты становишься писателем, если у тебя есть твои книги, а они могут быть, если их выпустит издательство, а те издадут их, если магазины будут их продавать, а те опять же будут брать книги для продажи, если их будут покупать читатели, а читатели будут покупать, если их напишет автор, а автор напишет книги, если их выпустит издательство, а издательство...

Особенно ограничены в возможностях публиковаться наши молодые авторы. Я не говорю о юношах или девушках обеспеченных, для которых деньги – не столько проблема добыть их, сколько, куда их потратить. Я говорю о нормальных талантливых неимущих или малоимущих молодых людях, которых Бог наделил даром, но почему-то забыл обеспечить их деньгами. Издатель-

ству эти молодые и даже очень талантливые не очень-то и нужны. Допустим, издатель выпустит книгу начинающего автора за свой счёт, и что? Какую выгоду она ему принесёт? Да никакой. Начинающего автора ещё надо выводить в мир, “раскручивать”, рекламировать. А эта кампания вон каких денег стоит! Подумает-подумает издатель, почешет затылок, подсчитает денежки – плюнет, да и махнёт рукой: а ну их, этих молодых...

Нет-нет, формально о молодом писателе у нас очень даже заботятся – и государство, и Союзы писателей всех видов и составов. Роспечать на своём официальном сайте приводит примеры разного рода семинаров, форумов, конкурсов, которые проходят под его руководством, оно ведёт системную работу по подготовке молодых дарований на базе “Всероссийской школы писательского мастерства”. В целях поиска творчески одарённых детей и подростков Роспечать даже организовала литературный конкурс “Класс!”. И Союз писателей РФ ежегодно проводит совещания молодых авторов, литературные фестивали и прочее. Делают что-то, и хорошо, что делают. Но всякого писателя, молодого, старого или среднего возраста, или вовсе без возраста, читатели ценят по его книгам. Есть у него книги, их читают – он писатель. Нет у него изданных книг, значит, его не читают и не знают. А раз не читают, тогда какой же он писатель...

Поэтому главной задачей для молодых писателей было и остаётся не столько участие во всех этих мероприятиях, которые проводят покровительствующие молодому творцу организации, сколько публикация его произведений. Эта проблема в работе с молодыми авторами – главная. И эта главная задача безнадежно не решаемая... У нас же рынок – кто что хочет, то печатает, продаёт, а не хочет – не печатает и не продаёт. Никого не заставишь делать то, что он не хочет. Есть выгода – будем с этим автором работать, нет выгоды – не будем. Жизнь, понимаете ли, такая. Так и стоят стопками где-нибудь в маленькой прихожей книги удачливого молодого автора: он нашёл деньги и его детище опубликовали! Но на распространение денег у него нет. Вот и дарит он книжку родным, близким, знакомым. А их у него один, два, три, четыре, пять... А ещё знакомый и такой нужный врач, а ещё в автосервисе слесарь, а ещё... Вот и все читатели.

Да что говорить о молодых. На столичных прилавках практически нет книг ныне живущих и пишущих свои произведения прекрасных русских писателей Владимира Крупина, Виктора Лихоносова, Владимира Личутина, Виктора Потанина, поэта Станислава Куняева... А это же великолепные мастера слова. Это настоящие большие русские писатели. И больше того, они же ещё и советские писатели. Расцвет их таланта, творчества пришёлся на советское время, а это в глазах либеральной власти на протяжении нескольких последних десятилетий – о-о-очень большой минус.

Ныне уже покойный писатель, критик и литературовед Владимир Бушин в своём интервью или в статье написал о том, что Чубайс, когда его через много лет после переворота спросили: “Что же вы предприятия продавали за три процента реальной стоимости? Куда спешили?” Он очень интересно ответил: “Нам это было безразлично. Нам надо было как можно скорее ликвидировать всё советское и построить новое, капиталистическое. Так что мы на этом этапе экономической выгоды не преследовали”.

Да, не любит Чубайс ничего русского, как и советского. А у нас ведь весь народ был советским. Но что не любит Чубайс, то все остальные либералы ненавидят. К тому же бессовестно и подло стараются разорвать связующую нить времён, представляющую и литературу, и всю русскую национальную культуру. Поэтому и нет, за редкими исключениями, на столичных прилавках книг писателей и поэтов Фёдора Абрамова, Михаила Алексеева, Василия Белова, Юлии Друниной, Анатолия Иванова, Юрия Казакова, Юрия Кузнецова, Станислава Куняева, Леонида Леонова, Михаила Луконина, Евгения Носова, Сергея Орлова, Владимира Солоухина, Ивана Стаднюка, Николая Старшинова, Василия Шукшина, ... Можно перечислять имена бесконечно, и это будет только малая толика творцов золотого времени русской литературы советской поры. Вся “вина” их перед либералами в том, что они творили в ту пору. И прекрасно творили. Поэтому и виноваты. А виновных наказывают: в современных магазинах их книги нет или же, если и встречаются, то очень редко. Зато в избытке есть книги Василия Аксёнова, Андрея Вознесенского, Иосифа Бродского, Владимира Войновича, Сергея Довлатова, Евгения Евтушенко...

Новым поколениям внушается, что именно эти поэты и писатели – истинные представители того времени, которые боролись с режимом и творчеством своим утверждали нынешнее время. Хотя на самом деле всё наоборот. Агрессивная и беспощадная либеральная идеология, словно хамоватый и неблагодарный кукушонок в чужом гнезде, выбрасывает из него законных, прописанных в этом жилище птенцов. А в Конституции РФ утверждается: “В Российской Федерации признаётся идеологическое многообразие. Никакая идеология не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной”. На самом деле, идеология у нас либеральная, она же стала государственной. Она повсюду и во всём.

Я говорю не в защиту русских советских писателей и поэтов. Они ни в какой моей защите не нуждаются. Они достойно исполнили свою высочайшую миссию служения народу, и творчество их, и сами творцы навсегда останутся в памяти русских людей, как бы пренебрежительно ни относились сегодня к ним в нынешнем государстве. Придёт время, и всё встанет на свои места. Вновь будут печататься книги Юрия Бондарева, Валентина Распутина, Леонида Леонова, Николая Тихонова, Александра Фадеева, Константина Федина и всех других... Их будут читать, изучать и “проходить” в школе. Разве что “жить в это время прекрасное”...

А пока что самым издаваемым автором художественной литературы в России уже много лет является Дарья Донцова. Общий тираж её книг, выпущенных только в 2018 году, составил 1053,0 тыс. экз. Есть ещё Татьяна Устинова, Татьяна Полякова и много других представителей жанра детектива.

Масса вопросов сегодня к выпуску и распространению книжной продукции в стране. Например, почему нет в московских книжных магазинах в продаже книг писателей из провинции? В советское время творческий путь многих писателей начинался далеко от столицы, на севере или на юге, на западе или далёком востоке, ещё чаще – в центре России. В издательствах, которые были рассредоточены по многим краям и областям необъятной Родины, выходили первые книги молодых авторов. В некоторых столичных издательствах были открыты молодёжные редакции, где, как правило, и проходило посвящение провинциального автора в профессиональные писатели. Сведения об их лучших книгах без особых задержек становились достоянием столичных читателей, столичных литературных критиков. В стране появлялось новое, достойное внимания имя нового литературного таланта. Сегодня редко у кого в Москве есть сформированное представление о том, что происходит в литературном Иркутске, литературном Новосибирске или даже в более близких Ставрополе и Красноярске: какие там выходят книги, какие имена появляются... Там идёт своя, не известная столице литературная жизнь. Может быть, очень трудная, где-то скромная, а где-то и яркая. Книги из провинции на столичный прилавок попадают очень редко – “не формат”. Их творчество не отвечает гламурным требованиям нынешних издателей и книготорговцев, да и многих читателей. А значит, пусть себе местные писатели варятся, где и варятся – в своём региональном котле. Дескать, там им и место...

Невозможно найти в Москве издания писателей из российских автономных республик. Как, думаю, не найдёшь и книг русских писателей в автономных республиках. Хотя в советское время в стране были хорошо известны своим творчеством дагестанец Расул Гамзатов, кабардинец Алим Кешоков, калмык Давид Кугультинов, башкир Мустай Карим, чукча Юрий Рытхэу, алтаец Бронтой Бедюров... А ещё сколько их... Это были всесоюзно почитаемые творцы. Кто сегодня даже в России знает современных писателей автономных республик? Либералы и либеральчики всех мастей добились-таки своего: у нас нет единой отечественной литературы. Все сидят по своим национальным и территориальным норкам, но особо задумываясь: а что происходит в литературном мире соседей? Зато у них есть свой национальный Союз писателей. И не один.

А почему на наших прилавках нет литературы бывших советских республик? Мы же ничего не знаем, чем живы литературы Беларуси, Кыргызстана, Узбекистана, Туркменистана, Молдовы, ещё недавно такие дорогие и близкие нам. Мы что, забыли о том, что не они ушли от нас, а мы их оттолкнули от себя? Что-то никто не набирается в ответственные за этот просчёт сегодня. А надо исправлять ситуацию.

Можно было бы сказать, что хорошо издаются и продаются книги русских классиков XIX века, их книги – отдельные тома и сборники – можно купить

в разных сериях, но в основном это авторы, которые входят в школьную программу: Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Тургенев, Салтыков-Щедрин, Лев Толстой, Чехов... А кто и когда будет (и будет ли?) переиздавать книги Белинского, Добролюбова, Писемского, Чаадаева, Страхова (это о нём Лев Толстой сказал: "Одно из счастья, за которое я благодарен судьбе, это то, что есть Н. Н. Страхов"), Аполлона Григорьева, Хомякова, Ивана Киреевского, Дружинина?.. Вряд ли переиздание их принесёт огромную прибыль издателям, но они ведь нам, читателям, необходимы. Это же замечательные русские литераторы, их творчество — наше бесценное духовное богатство. Молодой человек может пока ещё познакомиться с их произведениями в городской библиотеке или в каком-либо домашнем собрании, если эти книги не выбрали на помойку как ненужные.

... В общем, почему? почему? почему?.. Кто же всё-таки должен отвечать на эти и подобные вопросы? А ответ есть, и он чрезвычайно скучен. При советской власти книгоиздание было результатом масштабной политики государства по духовному совершенствованию человека. Книгопродажу тогда справедливее было бы назвать распространением. В то время книга воспринималась как источник знаний, величайшее творение человеческого разума и в то же время его хранитель. Тогда в понимании советских людей она была связана с высочайшей миссией образования и воспитания человеческой личности, поэтому она и существовала на священном пьедестале всеобщего почитания.

В нынешнее время она превратилась в самый банальный **товар**, производство которого существует исключительно для обогащения владельцев книжного производства и для реализующих его на рынке продавцов. У каждого издательства и у каждого магазина своя политика, но цель их всех и каждого в отдельности — собственная прибыль. Они пальцем не пошевелят, если это шевеление не отразится на их кошельке. Мы освободились от идеологического пресса и попали под диктат издателя и продавца. Выиграл от всех этих преобразований читатель? Не думаю. Выиграл ли писатель? За очень малым исключением — нет. Выиграло ли государство? Конечно, нет.

Да, прав был прав замечательный французский поэт Поль Валери: будущее уже не то, что было раньше...

Но, господа, мы же особенные. Мы в своей основе ещё советские. Что бы там ни говорили о том времени, но там было и плохое, и хорошее. Сегодня нам надо брать и использовать хорошее.

Процесс развития литературы в те времена был чрезвычайно продуктивным, а уровень развития книгоиздания — высоким.

Литературное творчество было доступно самым разным слоям населения. Среди громких писательских имён того времени были люди, написавшие свои первые произведения, работая на колхозных полях, в заводских цехах, пребывая на студенческих скамьях, на службе в Красной, а позже в Советской армии. Художественное творчество не было уделом узкой, как тогда определяли его, межклассовой прослойки интеллигентов. Литература действительно выходила из народа и возвращалась к нему — одному из самых читающих в мире народов, находя у него живейший отклик и понимание.

Книги материально были доступны и школьнику, и студенту, и всем, кому они доставляли настоящую, подлинно высокую радость общения. Существовала огромная сеть издательств, в которых (особенно в столице) работали высококвалифицированные сотрудники. Каждая рукопись, поступившая в них, внимательно рассматривалась редактором и, при определённой степени годности, передавалась рецензентам, высококлассным специалистам, решавшим её дальнейшую судьбу.

Обычным делом был тираж пятьдесят и сто тысяч экземпляров. Но и он не всегда удовлетворял спрос на то или иное издание.

Вышедшие в столице книги в короткий срок доставлялись в самые отдалённые уголки нашей страны. Оттуда неслись товарняки, в которых лежали книги, предназначенные для столицы. Издавались не только книги, которые легко и быстро раскупались, печатались издания, которые были нужны стране. Только в одном издательстве "Советский писатель" выходило свыше семисот названий книг. Это более, чем выпускают сегодня с десятков, а то

и больше иных современных издательств. А ещё ведь были крупные издательства “Художественная литература”, “Молодая гвардия”, “Политиздат”, “Современник”. Может, и поэтому был так высок уровень советской науки и культуры.

Конечно, издавалось немало так называемой “макулатуры”, литературы не очень нужной, но обязательной. Но думаю, что её было меньше, нежели выпускается сегодня. Не обижены были авторы. Если рукопись принималась, издательство с автором заключало договор, ему выплачивался аванс, после выхода издания в свет он получал другую часть вполне достойного гонорара. Риск распространения на себя брало государство.

Книгоиздание в том виде приносило стране огромную прибыль.

Почему бы и не использовать свой собственный опыт?

А что касается частных издательств, так у нас же работают частные и государственные театры. И это не мешает их взаимному существованию. А российское кино так и вовсе прекрасно живёт за счёт государства: деньги получает, а фильмы в кинотеатрах зрители смотрят голливудские. Американское кино заполонило и телевидение.

Так почему бы не вернуться к той, советской системе и не открыть в столице и регионах страны государственные издательские центры, которые бы выпускали важные и нужные для страны книги? Находятся же государственные средства для театра, музыки, кино, цирка, телевидения, радио. Почему бы не найти их для поддержания русской литературы и отечественного книгоиздания?

И, наконец, о самом главном: литература потеряла читателя. И тут надо думать о необходимости программы по ликвидации “не чтения”. Она сегодня нужна, как некогда нужен был ликбез. Но это – особый разговор...

СВЕТЛАНА МАКАРОВА-ГРИЦЕНКО

писатель, заслуженный деятель искусств Кубани

ПРО ДЕТСКОЕ ЧТЕНИЕ В ЦИФРОВОМ МИРЕ И ВТОРИЧНОЕ ОДИЧАНИЕ

Начну с цифрового мира. Хотя уверена, в двадцать первом году двадцать первого века уже никому не нужно объяснять, что это такое. Всё же вспомним известное утверждение Пикассо и немного перефразируем: литература – это ложь, которая говорит правду. И ведь не поспоришь! На самом деле именно писатели первыми и намного раньше цифровых времён представили нам это самое цифровое время в ярких художественных образах. Давайте вспомним роман Чернышевского “Что делать” с идеей стеклянных домов и полной прозрачностью общества. Ленин говорил, что этот роман “рано читать тем, у кого молоко на губах не обсохло”. В этом же ряду роман-утопия Евгения Замятина “Мы”, который уже сто лет повествует о тоталитарном обществе будущего, управляемом по математически выверенным формулам. Аксиомой и в одном, и в другом произведениях звучит: свобода и счастье несовместимы. Даже двери и полы в романе Замятина тоже стеклянные.

В 1949 году Джордж Оруэлл выпускает свою знаменитую книгу (запрещённую ныне в Китае) “1984”, и, думаю, совсем не случайно выходит она параллельно с окончанием работы над рукописью “Властелина колец” Толкина. У Оруэлла прозрачность жизни общества обеспечивает телеэкран, который работает в двух направлениях: и на приём, и на трансляцию. Однако суть цифрового мира, на мой взгляд, идеально ёмко и образно удалось определить именно Толкину: око Саурона на башне. Оно неусыпно наблюдает за каждым живым существом Средиземья. И главное: оно устремлено не просто в пространство, а в глубину сознания. Под взглядом Саурона теряется собственная воля, он блокирует самооценки и делает людей не только послушными и управляемыми, но глупыми и недалёкими. По своему виду око Саурона напоминает глаз с масонской дельты, изображённый на каждом долларе и словно неколебимо запечатлевший: “Тебе не скрыться...”.

Всевидящий глаз есть и у христианской религии. Существует старообрядческая икона “Божественное око”. Это прообраз Страшного Божественного суда, на котором открываются все поступки и мысли каждого. Но люди решили создать свою систему. И вот сегодня, чтобы приучить наших детей к уже далеко не утопическому прозрачному миру, существуют телешоу и телепроекты “За стеклом”, “Большой брат”, зрители смотрят и не подозревают, что и сами окажутся в этом просвеченном и пробуравленном оком Саурона мире. Уже внедряется сканирование детских лиц в школах. Зачем? Ведь оно не защитит

ни от террористов, ни от проноса опасных предметов, ни от конфликтов внутри школы, ни от опасных травм. Выходит, что главная суть проекта – привыкнуть к правилам и реалиям жизни в новом прозрачном цифровом мире?

Я не считаю себя замшелым консерватором, отрицающим технический прогресс и подвергающим остракизму всё, что может нести в себе цифровизация, поверьте. Сама по себе цифра – это только средство. Как использовать её, зависит от человека. К сожалению, обманываться не приходится. Понятие воли и свободы в создаваемом на наших глазах цифровом пространстве исчезает вовсе. Власть нуждается в тайне. Индивид превращается в товар. К внедрению в нашу жизнь прозрачных стен и дверей, несомненно, толкает торговля. Количество денег, которые тратят дети с 12 лет и младше, в скором будущем в Америке будет составлять триллион долларов. Вот и представьте себе жизнь под стеклом на фоне ювенальной полиции. И только попробуйте отказать ребёнку, требующему купить ту или иную игрушку, попробуйте таким образом травмировать дитя... Последствия не заставят себя ждать.

Теперь из цифрового мира, из мира стекла и пластика, повсеместного электричества и ТВ-комфорта давайте обратимся ко временам страшным, диким, древним, доисторическим. В традиционно-упрощённом понимании мы привыкли видеть древних людей как распущенных, злобных тварей, в среде которых царят половой беспорядок, кровавые культы и дикие суеверия, идолопоклонничество и жажда насилия. Это видение очень соответствовало марксистской – и либеральной – концепциям об исторической изменчивости человечности, о непостоянстве смыслового содержания этого понятия. Увы, оно мало соответствует исторической правде. Трудными антропологов доказано, что стадия промискуитета, полового беспредела не есть первичное состояние человеческого стада, что она уже вторична для человеческих племён, и она же – протиестественная, созданная под влиянием демонических религиозных культов. Человеческие жертвоприношения не свойственны древним общинам, они появляются много позже начала истории и появляются не сами по себе, а в ходе развития демонических мистерий. Ранние общества вполне гуманны, словно бы не вышли из животного стада. Даже преступников-душегубов там не казнят и не приносят в жертву, а изгоняют. Причём не являются исключением и древние племена и культуры мезо-Америки, о которых мы знаем сегодня как о претерпевших наиболее сильное демоническое влияние. Так вот, у ацтеков, майя и инков жертвоприношения людей вошли в практику не от начала государственности, а много позже. “До установления господства тольтеков в жертву приносили чаще всё же не людей, а животных. Известно, что дикие индейки, собаки, белки и игуаны считались вполне подходящими приношениями для богов майя” (см. М. Ко, “Майя”. М., 2001. С. 207).

“Таким образом, “демонические культы появлялись не совместно с организацией городов-государств или укрепленных посёлков, они возникали совершенно независимо от вещественной стадии развития той или иной культуры. Теории об их “особой” нравственности, об особых моральных мерках для каждой эпохи безосновательны. Добрые люди древности были не менее добры, чем добрые люди нашего времени, и злые люди древности были не более злы, чем наши злодеи. По сути, нет ни одного вида злодейства, которое ушло бы в прошлое вместе с изменением и развитием материальной культуры. В XX веке человечество тешило себя иллюзиями, что мы “переросли” жестокие способы казней и пытки, но, как показывает XXI век, мы ничего не “переросли”, и в иных душах не меньше тьмы, чем в душах кутиев или гуннов” (А. Леонидов-Филиппов “Демонические культы: шёпот преисподней”).

Нельзя не вспомнить в этой связи слова Генриха Лейбница, сказанные в XVII веке: “ЗЛО ПУБЛИЧНОЕ удваивается”. Да и как не вспомнить это его утверждение в наш цифровой век, с нашими ТВ и интернетом, напичканными сценами насилия и разврата... **Публичное зло удваивается!**

По словам писателя и учёного Александра Леонидова, “демонизм, очевидно, имеет опору вне человеческой природы, поскольку обладает унифицирующей однородностью проявлений, стабильный и сильный вектор воздействия на всю человеческую историю. Ключевым направлением демонизма является деятельность по уничтожению материальных носителей информации, памяти и сознания, а также препятствование их нормальному функционированию. Демонизм становится протоосновой ряда религий, идеологий, социальных

практик. Именно это даёт основания не относить демонические практики, встреченные у примитивных племён Африки, на счёт “животности”, близости к природе, наследия до-человеческих стадных отношений”.

В XIX веке учёные-этнографы изучали демонические культы на примере бесчеловечных ритуалов у народов западного Банту – это большие этнические группы, проживающие практически по всей территории Африки. Здесь наблюдается совершенно непонятное для нормального человека стремление мучить своих соплеменников, упиваться их страданиями и паническим ужасом, их смертью от пыток, причём безо всякой разумной хозяйственной надобности. Как утверждает Деникер, именно эта жажда мучений стала в конце XIX века одной из ГЛАВНЫХ причин вымирания народов, например, во французском Конго.

Решусь предположить на примере антикультурного развития народов Банту, что человеконенавистничество и вторичное одичание грозит и христианским народам, если они забудут заповеди Спасителя, Который, придя в мир, уберёт нас от *шэпота преисподней*, имеющей конечной целью всеобщую смерть человеческого рода, того самого шэпота, от которого не были защищены народы в Африке.

Людоедство и садистские ритуалы возникли не в седой древности, произошли не от “бескультурия” и темноты. Народные легенды многих европейских стран повествуют о “золотом веке”, за которым, увы, последовало отступление от данных Богом заповедей, произошла демонизация общества и порча нравов.

Ведь у тех же народа Банту исследователи с огромным удивлением обнаружили подтверждения их версии легенды о “золотом веке”. Выяснилось, что в исторически обозримом прошлом Банту жили в справедливом государстве Бу-Шонго, в котором правила мудрые властители, избирались делегаты от разных ремёсел, даже от женщин и от рабов. Именно эти делегаты играли роль противовесов и в составе советов ограничивали власть правителя в пользу различных социальных слоёв. “Моральный кодекс Бу-Шонго, – пишет Деникер, – стоял на высокой степени развития”. Кстати, существует и европейская легенда о “золотом веке”, который мы уже миновали. Относя поначалу эту легенду к выдумке, учёные склонны теперь поменять своё мнение и признать его существование во времена былые.

А теперь снова вернёмся в XXI век и посмотрим, как может продвигаться у нас идея каннибализма. Вернее, как в *Окне Овертона* невероятное становится нормой. Я лишь схематически обрисую; наверняка, многим эти технологии уже знакомы. Итак, в вождельном цифровом сказочно-прекрасном, далёком от дикости цивилизованном мире существует свобода слова. И почему бы не поговорить о людоедстве? Особенно учёным, например, на этнологическом симпозиуме по теме “Мистические культы африканских племён”. О каннибализме, оказывается, можно говорить вполне предметно и rispetабельно. *Окно* сдвинулось. Одновременно с околонучной дискуссией в “инете” может возникнуть “совершенно случайно” “Общество радикальных каннибалов”. И все мировые СМИ об этом сообщат, расскажут о “плохих радикальных каннибалах”. Табу снято, тема десакрализована. Следующее движение *Окна* – перевод темы из радикальной области в область возможного. На этой стадии цитируются “учёные”. Ведь нельзя отворачиваться от знаний. А тот, кто откажется обсуждать каннибализм, – лицемер и ханжа. Осуждая ханжество, людоедству обязательно заменяет название. Нет больше людоедства и каннибализма, они слишком оскорбительны. Теперь их обозначают, как антропофилия, например. Параллельно с игрой в имена вытаскиваются все факты легитимные из истории и мифов. Мать напоила своей кровью жаждущих детей, античные боги поедали всё подряд... и проч. Главная задача этого этапа – вывести поедание людей из-под уголовного преследования. Затем *Окно Овертона* двигается из области возможного в область рационального. Создаётся “поле боя” за проблему: “Пусть каждый решит сам”, “Пусть определит, кто он – антропофил или антропофоб”, “Не скрывайте проблему”, “А есть ли в антропофилии вред?” “Учёные” и журналисты доказывают, что человечество на протяжении всей своей истории поедало друг друга. Антропофилия массово проникает в новости и ток-шоу. Выясняется, что многие великие – антропофилы...

И вот кто-то уже съел свою жену, потому что жизнь заставила. А если быть объективными, то антропофилы – хорошие люди, у них высокий IQ.

“Она хотела быть им съеденной, потому что это была Великая любовь...” Начинается подготовка законодательной базы... Слава Богу, пока этого у нас нет. Но уже есть Грета Тунберг, уже есть призывы употреблять в пищу трупы людей, уже кричат датские школьники, предлагая поедать младенцев ради спасения Земли, ради спасения несчастных животных. Кстати, закон о защите животных был принят Гитлером в Германии, Гитлер любил животный мир, особенно собак. И как тут не вспомнить: “Если заговорили о любви к животным, жди бесчеловечные времена...” Вы не поверите, дорогие друзья, **Окна Овертона**, эта технология работает даже при её осознании. **Воздействие на подсознание оказывается через базовые потребности человека.**

1. Толерантность.

2. Эвфемизм, т. е. замена неудобного термина на нейтральный, не несущий эмоциональной нагрузки. (Оцените: душегуб-убийца-киллер.)

3. Принадлежность к стае.

4. Иллюзия авторитета.

5. Законно – значит, правильно.

Цель технологии – получить новый нужный вектор развития. Вы скажете: ну, зачем же сгущать краски? В 20-м году XXI века нет никаких антропофилов и антропофобов. Не надо их придумывать. А что есть сегодня? Какой уже точно и определённо существующий вектор предлагается нам в первой четверти двадцатого века? Вот здесь, поверьте, я уже приближаюсь к теме чтения, детского чтения, хотя я от неё не отходила и надеюсь, что моя логика угадывается. Давайте поговорим не о книгах. Давайте поговорим о кино, именно здесь новый вектор прослеживается, конечно же, наиболее ярко. Потому как, ну, кто в XXI веке читает книги? А фильмы смотрят все! Итак, лучшим фильмом 2014 года кинокритики США назвали драму “Прощай, речь”. Это “нечто” престарелого франко-швейцарского режиссёра Жан-Люка Годара признано лучшей картиной по версии Национального общества американских кинокритиков. В основе кинокартины – история о замужней женщине, одиноком мужчине и собаке. Фильм демонстрировали на Московском кинофестивале. Режиссёр, как известно, признан классиком французской “новой волны”, которую характеризуют всё более тупые спецэффекты, адресованные явным дебилам, да изыски элитарных “киномастеров”, прячущих собственную пустоту за непонятностью, а вернее даже – за бессмысленностью. Так вот, “Прощай, речь” снята от лица собаки, свидетеля развивающейся любовной истории, и претендует стать иконой стиля нового кино. “Прощаясь со словами, с привычным логоцентричным кино, Годар предлагает вместе с ним проследить за рождением другого, непереводимого и универсального языка, на котором он по-прежнему говорит едва ли не лучше всех, кто сегодня называет себя кинорежиссёром”, – пишет журнал “Кинообозрение”. Про фильмы, предшествующие картине “Прощай, речь”, с которых зрители уходили из зала на десятой минуте, восторгающаяся Годаром “Газета.ру” всё же не смогла не заявить следующее: “Руководствуясь линейной логикой, понять что-то в этом киновареве было решительно невозможно”.

И вот теперь, наконец, поговорим о текстах. Прежде всего: ключевой вопрос нашего с вами бытия заключается в иерархии текстов человеческой культуры, которую и порождают приоритеты. Именно расстановка текстов, определение, какие из них важны, сверхважны, помогают понять, что является абстракцией мышления, а что можно смело отнести к бреду.

Литературные тексты – не зеркальное отражение действительности, в этом случае они были бы лишены смысла и совершенно бесполезны. Литературные тексты – это осмысление происходящего вокруг, осмысление состояния общества, общественных процессов. Это создание ярких художественных образов, способных воздействовать и на ум, и на сердце человека; конечная цель литературного творчества – разговор о главных смыслах человеческого бытия. Конечно, разговор этот не может и не должен быть примитивным. Литераторам нужны символы, аллюзии, метафоры, парадоксы и т. п., но они не могут становиться самоцелью, процесс создания литературного текста не должен заканчиваться на создании небычного “инструментария”, ведь перечисленные ранее приёмы и являются инструментами писателя.

Но именно “инструментарий” может стать миной замедленного действия. Как отличить метафору, аллюзию, символ, парадокс, паллиатив от бреда?

Где грань, за которой сложное абстрактное мышление становится лишь подобием мышления и превращается в полную нелепицу?

Не секрет, что сложная метафора, перенесённая в условия иной страны, иной культуры, не только покажется бессмысленной, но и будет таковой. Например, англичане, если хотят обвинить кого-то в трусости, говорят, дословно, “показать белое перо”, а русские умеют “водить за нос”. Разве это не сумасшествие, если без всяких объяснений перевести это с языка оригинала?

Но метафора – только часть смысла. Ещё более значима и жизненно важна для нас, повторяю, та самая соподчинённость текстов относительно друг друга в рамках общей культуры. Если будет потеряна иерархия текстов, мы не сможем понять разницу МЕЖДУ АБСТРАКТНЫМ МЫШЛЕНИЕМ И БРЕДОМ!

Для пояснения этого научного закона очень наглядна детская песенка про старичку-лесовичка, который зацепился за сучок и просит детей ему помочь спуститься на тропинку. Здесь иерархия текстов строго соблюдена, самым приоритетным выступает контекст традиционного христианского гуманизма европейской цивилизации. Именно по этой причине мы с вами понимаем, почему и зачем старичку-лесовичку нужно помочь, а не, скажем, высмеять его нелепое положение, съест в качестве добычи или просто обратить на него внимание.

Смысл детской песенки очевиден только тому, кто находится в контексте христианской традиции человечности, хотя о ней ни словом не упомянуто. Да и не должно: главные тексты культуры действуют как бы за кадром текущих текстов, они присутствуют по умолчанию. Если бы их выпячивали – они были бы не главными текстами, а полемическими. Далее в песенке выступает приоритетность народного фольклора. Как вымышленная фигура, “старичок-лесовичок” ничем не отличается от, например, “старичка-сортирного”. Но о последнем нет и не может быть речи! Народный фольклор почитаем у всех народов и доминирует над авторской выдумкой.

Итак, суть ясна: приоритетные тексты умолчания – всем знакомые и всеми признанные авторитетными – не дают сказке превратиться в пустословие. Если этот культурный контекст убрать, то разделение произведения искусства и бессмыслицы исчезнет, между ними встанет знак равенства и станет символом разрушения всей нашей культуры! Поэтому, прежде чем давать в руки малышу новую книгу, обязательно определите, какой текст стоит по умолчанию? Присутствует ли в книге самый главный контекст: европейская христианская традиция? Ведь на самом деле свободная с виду фантазия художника или оратора должна быть очень жёстко ограничена обсуждаемой нами иерархией текстов. Если бы дети вместо помощи бедняге Лесовичку обругали бы его или ударили палкой, или равнодушно прошли мимо, то гневу, возмущению родителей не было бы предела. И это справедливо! То же самое случилось бы, если бы вместо Лесовичка выдумали бы “Говнючка”, и он вылезал бы перед детьми прямо из уличного сортира в соответствующем виде. Впрочем, в наш цифровой век уже и этим не удивишь, ведь во Франции создан цикл детских передач, героями которых являются человеческие фекалии...

Ну, а что случится, если иерархию разрешат нарушать? Или если главные тексты вдруг станут “не всем известными”?

Здесь уже точно не до шуток, потому что в этом случае мы получим духовную катастрофу. Вслед за распадом иерархии текстов начинается распад мышления. Утративший безусловные и необсуждаемые ценности человек довольно быстро перестает быть человеком. Ведь даже и речь человеческая – продукт иерархического сопряжения, согласования. И слова тоже разные. Есть главные, которые всем нужно знать. Есть жаргонизмы, термины, которые не всем знать обязательно. Есть и глоссолалия (а кроме неё, шизофазия) – бессмысленное звукоиспускание, которую не нужно знать никому...

Дорогие друзья, пожалуйста, обратите внимание на эти слова, когда вы открываете детские книги. Сейчас их издают авторы за свои деньги в любой типографии. И шизофазии там более чем достаточно. Почему-то считается, что чем нелепее будут эти самые шизофазии и вредные советы, тем круче! Шизофазии сегодня наводнили даже школьные учебники. При этом уродуется язык, смешиваются “кони, люди”, да ещё и приправляются частенько англицизмами...

Хотя иерархия текстов, конечно же, актуальна для всех возрастов, но, согласитесь, особенно страшно её разрушение в детских книгах. Итак, что стоит

во главе угла детского чтения? Христианская традиционная мораль с чётко оформленными понятиями добра и зла. Теперь давайте ответим на вопрос: формирует ли эти понятия самая продаваемая, самая популярная в XXI веке книга для детей “Гарри Поттер”? Кстати, вы не задумывались, почему так победно прошла она по континентам, городам и весям? Даже если действительно именно эта книга – выдающееся произведение для детей, которое перевели на 67 языков мира, как смогла писательница Джоан Роулинг (кстати, её частенько называют домохозяйкой) настолько ярко заявить о себе, получив баснословные тиражи и гонорары? Ведь литературные критики уверяют, что в наше время, родись второй Гоголь, о нём вряд ли узнали бы... А не реализована ли с помощью этой книги та самая технология *Окна Овертона*? Ведь в “Гарри Поттере” нет добрых и злых. В ней рассказывается о своих и чужих. То есть в этой книге преподносится уголовная этика. Свои – хорошие, чужие – враги. Снискав мировую славу, писательница была уверена, что именно она занимает верхнюю позицию писательского пьедестала, возглавляет либеральное литературное крыло. Но двинув *Окно Овертона* в разрушении христианской морали, она сама ощутила последствия. Джоан Роулинг столкнулась с ожесточённой критикой после того, как публично поддержала уволенную сотрудницу лондонского Центра глобального развития Майю Форстер, высказавшую сомнение, что мужчина может стать женщиной. Роулинг тогда опубликовала в Твиттере серию ироничных сообщений. В итоге ЛГБТ-сообщество обрушилось на Роулинг с обвинениями. И писательница в числе 150 литераторов, журналистов и общественных деятелей, среди которых и российский оппозиционер Гарри Каспаров, вынуждена была подписать открытое письмо, осуждающее ограничение открытых дискуссий и бойкот публичных персон за выражение частного мнения о какой-либо социальной группе. Поняла ли Джоан Роулинг, что “Гарри Поттер” отыграл своё, предназначенное ему действие? Теперь *Окно Овертона* двигают другие, рассказывая уже не про колдунов и магов, не про рецепты их снадобий, не про их заклятия, с которыми всегда боролась Церковь, а про любовь мальчика к мальчику и девочку к девочке. Разрушение христианской морали перешло на новый этап. Какова конечная цель? Довести нас до состояния демонических африканских племён? И, в конце концов, привести к вымиранию? Пожалуйста, вспомните об этом, когда будете рекомендовать школьникам книгу “Гарри Поттер”.

В этой связи не могу не сказать о тлетворном влиянии литературы и перспективности именно литературы в технологии *Окна Овертона* в продвижении демонических идей. Потому что литература – поле битвы за сердца людей, невидимая война добра со злом, которая ведётся испокон веков, не затихая ни на минуту. Литературу лишь в малой степени можно определить, как изысканно-утончённое искусство для услаждения изощрённого слуха эстетов, но в главном своём предназначении – это средство для управления массами. С её помощью удобно формировать неокрепшие души, управлять умами, вести развитие общественной мысли в нужном направлении. Причём и управление, и влияние не кратковременно, оно имеет долгосрочную перспективу. Именно поэтому многими даже не замечается. Слово, особенно слово написанное, зафиксированное, обретшее плоть, может стать стимулом к действию, пробудить у человека желание изменить действительность. Писатели – властители дум. А уж детские писатели – вдвойне. Они говорят с нашими детьми, что называется, с глазу на глаз. Литература – самое интимное искусство, разговор между писателем и читателем, самый длинный и доверительный разговор о самом главном, должен быть о самом главном. Так о чём писатели говорят с нашими детьми? Душесозидательный ли это разговор? Или только стремление выдать за шедевры плоды своего патологического воображения?

Настоящее творчество всегда позитивно, всегда ведёт к душевному преобразованию, нравственному совершенствованию. Оно всегда зовёт к свету и Богу. Даже если Раскольников убивает старуху-процентщицу и идёт на какому-то торгу, это путь очищения и просветления. Это путь, который открывает для нас русская классическая литература. Конечно, мы должны понимать её как камертон.

Я много лет работаю в писательской организации и уверенно могу заявить, что вдохновение бывает не только от Бога, но и демон делает человека

вдохновенным. “Дурное семя – дурное племя”, – давно сказано в народе. Дурное вдохновение – дурные и плоды его.

На неимоверную высоту взгромоздили у нас Серебряный век. А ведь весь он – “любовь, исполненная зла”, как утверждает Станислав Куняев в своей одноимённой книге, посвящённой веку декадентства, веку модных тогда упаднических мотивов и воспевания суицида. “Голубая речка // Обещает мне // Тёплое местечко // На холодном дне...” (Г. В. Иванов). “Пробочка над крепким йодом, // Как ты быстро перетлела. // Так вот и душа незримо // Жжёт и разъедает тело...” (В. Ф. Ходасевич). Куняев, например, убеждён, что и гибель Цветаевой – это результат той самой отравы, которую она получила от Серебряного века.

*Вскрыла жилы. Неостановимо.
Невосстановимо хлещет жизнь.
Подставляйте миски и тарелки.
Всякая тарелка будет мелкой.*

М. И. Цветаева

Вот она пишет:

*Дурная мать! — Моя дурная слава
Растёт и расцветает с каждым днём.
То на пирушку заведёт Лукавый,
То первенца забуду за пером...*

“Памяти Беранже”

И ведь это не просто слова! (Лукавый с большой буквы!) Вспомните про её старшую дочь Аню, которую она считала недостойной такой матери, как Марина Цветаева. Девочка погибла...

В тексте не спрячешься. Это мне давно объяснили, и я полностью согласна. В цифровом нашем веке очень много детских самоубийств. Тем не менее, Серебряный век для века XXI в нашей стране – просто эталон, о нём снимают фильмы, его тиражируют в СМИ. В противовес социалистическому реализму. Но вот парадокс: в советский период практически не создаются произведения, разрушающие сознание, их почти нет. Поэзия и проза советских писателей полна света, надежд, жизненных перспектив. В ней нет ни убогого нытья, ни декадентской тоски, ни убийственного уныния. Русская литература советского периода учила добру и жизнелюбию, учила любить труд, призывала к подвигу и самопожертвованию, она не искала смысл жизни – она его утверждала. И самое главное – она давала положительных героев как пример для подражания. Детям было на кого равняться. И стремясь быть похожим, ребёнок, юноша, читающий человек хотел становиться умным, добрым, справедливым, честным, решительным, благородным. Он хотел быть героем и становился героем.

Буквально на днях в Краснодаре, в библиотеке бр. Игнатовых мы подводили итоги краевого литературного конкурса, и ведущая спросила одного из участников, на какого литературного героя он хотел бы быть похожим. Парень долго собирался с мыслями и, наконец, неуверенно произнёс: “На “Горе от ума”. На главного героя пьесы он бы хотел походить, так, увы, и не вспомнив его имя. Чацкий нравится школьникам цифрового века: он дерзкий, он обличитель, он ниспровергатель XVIII века, консервативного и отсталого, по словам Чацкого. Но теперь-то мы знаем, что в век Екатерины Россия приобрела международный авторитет, приросла землями, благодаря усилиям тех, кого осмеивал Чацкий. А в веке XIX люди, очень похожие на героя пьесы, запустили огромные разрушительные процессы, которые привели страну к революции... Но кстати, предпосылки Серебряного века с его манией величия гения, непонятого всеми, были и в веке XVIII-м. Вспомним Сумарокова и его бессмертное: “Иди, душа, во ад и буди вечна плена. // О, если бы со мной погибла вся Вселенная”. Я работаю в семинарах с молодыми и начинающими, поверьте, это сказано на все времена...

Не могу не назвать имена советских писателей, которые помогут школьникам осознать себя русскими людьми. Это произведения Михаила Пришвина,

Ивана Соколова-Микитова, Михаила Шолохова, Льва Кассиля, Аркадия Гайдара, Василия Шукшина, более близких к нам по времени Виктора Астафьева, Валентина Распутина, Василия Белова, Владимира Чивилихина, Николая Носова, Анатолия Алексина, Владислава Крапивина, Виктора Драгунского. Из поэтов – и вовсе можно назвать целую плеяду – Алексей Ганин, Сергей Марков, Николай Рубцов, Алексей Прасолов, Николай Тряпкин. Ну, и для самых маленьких – Агния Барто, Корней Чуковский, Самуил Маршак, Сергей Михалков. Вот эти имена – компас, камертон, маяк для нашего цифрового века.

А как “аукаются” ошибки писателей? Наверное, они дают о себе знать не просто через годы. Они влияют на целые поколения, формируя их. Недаром И. В. Сталин назвал писателей “инженерами человеческих душ”. Он нисколько не сомневался, что их произведения могут быть мощным идеологическим оружием. И такое оружие было взято государством под контроль. Кстати, о пользе цензуры, как вы помните, писал ещё Пушкин. Ну, а Сталин, как известно, всячески покровительствовал писателям, создав для них особые условия жизни в Советском Союзе. В этом смысле Иосиф Виссарионович был в высшей степени мудрым человеком, потому что понимал: если в руках врача – жизнь человека, то в руках писателя – душа человеческая, которой... можно управлять.

Дорогие друзья, мы с вами прекрасно понимаем, что управлять детскими душами намного проще, потому что здесь работа идёт с чистого листа. Подводя на сегодня итог сказанному, я теперь уже прямым текстом выделю главные мысли, в правильности которых я вас убеждала: к сожалению, мрачные романы-утопии сбываются. К сожалению, технический прогресс не может нам гарантировать, что демонические культуры исчезли навсегда, человечество переболело страшными болезнями и нашло противоядие. Увы... Пока симптомы очень тревожные: вторичное одичание грозит и цифровому веку. Поэтому мы с вами должны твёрдо и чётко понимать, “что такое хорошо и что такое плохо”. Мы должны уметь увидеть в предлагаемых детям текстах истинные цели и задачи, которые поставлены авторами. И мы должны уберечь наших детей от их пагубного влияния.

Закончу я словами Джозефа П. Овертона, рассказавшего нам о самой технологии Окон: “Но лично ты обязан оставаться человеком. А человек способен найти решение любой проблемы. И что не сумеет один – сделают люди, объединённые общей идеей”. Эта идея – сохранение наших детей и сохранение России. Воспитание достойных, психически здоровых людей.

“НЕ НАДО ЧИСТИТЬ РУЖЬЯ КИРПИЧОМ”

* * *

Уважаемый Станислав Юрьевич!

В качестве отклика на цикл Ваших публикаций под названием “К предательству таинственная страсть” позвольте высказать несколько слов. Мне как одному из простых читателей СССР, тянущихся к культуре, подписчику “Литературной газеты” ещё со времён прохождения срочной службы в СА всегда подспудно было ощутимо присутствие какой-то борьбы (тогда казалось – возни) в литературных кругах. Стороны не были ясны. Спустя время стали проявляться рапповско-левацкая и патриотическая линии. Более ясно они начали очерчиваться, когда случилось познакомиться с лобановскими выступлениями, наверное, в “Молодой гвардии”.

Картина становится для меня более ясной с началом знакомства с Вашими описаниями тех перипетий, и мне удаётся легче понять роль евреев в первоначальный период революции. Не примите это за антисемитизм. Здесь совсем другое.

Мне кажется, что они впервые за время своих многовековых скитаний, дорвавшись до государственной власти на разных уровнях, наслаждались ей за прошлые свои унижения и страдания, хранимые в генетической памяти.

Это вылилось потом в натиск с их стороны и в литературной жизни.

В 1937-м податливая масса их была использована уже в чужой игре в борьбе тогдашних глобалистов против Сталина. В бой пошли региональные бароны и троцкистское подполье, а часто, как, например, Хрущёв, это были одни и те же люди. Множество евреев в НКВД в определённой части были использованы вслепую, но под ответный сталинский удар все попали заслуженно.

Перечитывая ещё раз П. Палиевского “Завещание русского консерватизма” в №2 за 2019 год “Нашего современника”, где он приводит чуть ли не последний вывод В. Розанова: *“Сначала и долго кажется, что “Христос” и “революция” исключены друг от друга. Целую вечность – кажется. Пока открываешь и окончательно “вечно”, что революция исходит от одного Христа”*.

Эта идея совершенно независимо и неожиданно стала сказываться в свой срок у “победивших пролетариев”. С начала 1930-х годов (а вовсе не с войны, как упорно твердят “победившие либералы”) руководящая идеология коммунистов заметно сдвинулась навстречу вере. Был публично выправлен в отношении к принятию христианства на Руси Энгельс, отменены ленинские постановления о священстве, началось восстановление роли Церкви в обществе, вернулись в литературу и искусство соответствующие образы, темы, образцы. Вспомнили и о К. Леонтьеве. В 1935 году вышел 22–24-й том “Литературного

наследства” с впервые публикуемым портретом Леонтьева и его “Автобиографией”.

Так вот именно наметившееся движение на союз с религией, с Христом (что сделало бы социализм непобедимым) смертельно перепугало главных и наиболее проникательных кукловодов в “закулисе”, дало начало репрессиям 37-го. А вовсе даже не вероятность альтернативных выборов, которая лишь способствовала активности той массы, которой предстояло выполнить свои роли.

Это вот совершенно новый взгляд на 37-й, который необходимо со всей тщательностью осмыслить.

Палиевский дальше пишет: “Когда с середины 1950-х годов возобладало снова либеральное, обратный ход таким движениям был обеспечен. Любые признаки союза социализма и веры были готовящемуся перевороту не просто враждебны, но крайне опасны. Были (опять-таки провокационно) возобновлены гонения на Церковь (не Хрущёв же до этого додумался! — В. Р.), атакованы все звенья едва наладившейся преемственности духовной культуры”.

Вой по поводу 37-го объясняется именно большим количеством пострадавших евреев. Об этом не раз писали В. Кожин и другие защитники русского народа. Сегодня безотлагательно следует активизировать работу по дезавуированию словосочетания “сталинские репрессии”, а также ярлыка “тиран”, приклеиваемого без каких-либо оснований Сталину.

То, что мы слышим в последнее время со стороны Запада, включая недавно прозвучавшее заявление западногерманского министра о языке силы для разговора с Россией, воспринимается у нас с усмешкой, как выходки слегка сбрендивших деятелей. Опасное заблуждение.

Во всём этом прослеживается чёткий план действий с конкретно поставленной целью — представить миру Россию как больного субъекта, представляющего смертельную угрозу для “мирового сообщества”. Субъекта, не способного самостоятельно справиться с собственным заболеванием, а потому нуждающегося в принудительном лечении со стороны этого т. н. мирового сообщества. Как только этот вывод будет окончательно сформулирован и озвучен, они перейдут к мерам обеспечения принудительного лечения, и войска НАТО в рамках уже существующих договоров с Путиным будут введены на территорию России под рукоплескания пятой колонны. И при нынешнем состоянии патриотического лагеря серьёзного сопротивления нашествию не будет оказано.

Наверное, можно было бы опереться на помощь Китая. Не знаю, как это сделать, но сама Россия в настоящий момент не подаёт признаков силы, которые свидетельствовали бы о том, что она в состоянии скинуть охватившего уже её кольцами удава.

Я, как лесковский Левша, из последних сил всё пытаюсь докричаться: “Передайте государю: не надо чистить ружья кирпичом. Случись война, беда кончится...”.

Р. С.: Я не раз уже обращался к знакомым немцам в ФРГ: “Ребята, вас в очередной раз пытаются натравить на Россию. Не будьте дураками, дайте Польше насладиться этой ролью, может, с прибалтами в придачу. Посмейтесь хоть раз над англосаксами!” Отклик я часто нахожу.

По всем каналам следует обратиться к жителям бывшей ГДР. Там полно разумных граждан. Да и “наших” туда в перестроечные годы понаехало. АДГ в основном их соками питается. Вперёд!

*Заветная ляжет дорога
На юг и на север — ВПЕРЁД!
Тревога, тревога, тревога —
Отчизна курсантов зовет!*

В. Луговской

С уважением **Валерий Ремизов**
г. Нижний Новгород

О борьбе с COVID-19

Уважаемый Владимир Владимирович!

Вас настораживает и огорчает, что США выходит из ядерной программы. Это происходит потому, что у Штатов есть более мощное и эффективное оружие – биологическое. В мире расположено около 400 биологических лабораторий, финансируемых США. 15 из них – на Украине, прямо под боком у России (журнал **“Молодая гвардия” № 10 за 2020 год**, автор статьи **Алексей Мухин**). Эти лаборатории могут быть источниками разнообразных эпидемий, пандемий и тестовыми площадками для биологического оружия. Если оставить все как есть и никак не контролировать работу этих лабораторий, **бесконечно** будут появляться новые эпидемии и пандемии, наподобие COVID-19. Это **изошрённый терроризм!**

Вы являетесь большим авторитетом для мирового сообщества, к Вам прислушиваются лидеры многих стран. Так хочется надеяться, что Вы возглавите всемирное обсуждение в ООН вопроса о закрытии большей части этих “частных” лабораторий, возможно, оставив несколько для исследовательских целей под строжайшим контролем ООН. Уверена, что эти лаборатории должны находиться на территории того государства, которое занимается исследовательской работой, а не быть разбросанными по всему миру.

Известна мечта “золотого миллиарда” о мировом господстве. Мечта эта никуда не делась – она существует и поныне, но все происходит поэтапно – сейчас мы на этапе запугивания эпидемиями.

На протяжении веков наши недруги пытались колонизировать Русь. Весь XX век не прекращались их усилия по расчленению нашего государства и, наконец, в 90-х годах это свершилось.

В начале XX века было создано много пророческих произведений о будущем человечества, например, роман-предсказание английского писателя **Олдоса Хаксли** “О, дивный новый мир” (в другом переводе “Прекрасный новый мир”), во многом отражающий нынешнюю действительность. Роман был опубликован в начале 30-х годов и для того времени был совершенной фантастикой. В журнале “Наш современник” № 3 за **2013 год** есть статья **Ирины Медведевой и Татьяны Шишовой**, посвящённая этому произведению и приводящая в изумление тем, насколько предсказательным оказался роман. Вспомним, например, повсеместное использование ЭКО, стволовых клеток, планирование семьи, кастовость общества, воспитание потребительской психологии, тотальную сексуализацию и многое другое.

Можно было бы вспомнить роман **Леонида Леонова** “Пирамида”, написанный в те же времена, где автор очень подробно описывает, как прогресс работает по принципу бумеранга. “Разум” тащит мир в гору вопреки естественным законам природы, после чего человечество неизменно “скатывается с горы” своей гордыни, измученное и разочарованное. Читаешь и вспоминаешь слова **Аллена Даллеса** о том, что враждебные нам силы “будут разлагать советский народ, начиная с детских садов”, или слова **Мадлен Олбрайт** (госсекретаря США): “Почему богатства Сибири должны принадлежать только русским?” – но я благодарю Вас за знаменитые слова, сказанные на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи в 2015 году: **“Вы хоть понимаете, что вы натворили?”**

Пока был жив Советский Союз, он защищал интересы всего мира от потребительского хищничества США, что отражено в книге дипломата, замгенсекретаря ООН (1987–1992) **Сафрончука Василия Степановича** “Политика и дипломатия”. Но после развала СССР никто более не мог сдерживать захватнические амбиции США. “Хищники” не смогли сразу проглотить такой “жирный кусок”, как Россия, но от идеи мирового господства не отказались. **Генри Киссинджер** в одной из своих статей говорит о создании “Цифрового государства” и передаче контроля над человечеством в руки “всемирного цифрового монарха”. Возможно, что одним из способов достижения этой цели стал COVID-19, перепугавший мир и загнавший его в “ловушку”.

Многие наши историки, политологи, журналисты с тревогой пишут об этих угрозах. Меня поразила статья в “Нашем современнике” № 10 за 2020 год,

о том, что нас ожидает в ближайшие годы. Автор статьи, Андрей Фурсов, “по полочкам” разложил суть проживаемого нами периода. Как бы хотелось, чтобы Вы её прочли, Владимир Владимирович, как и статью Валентина Катасонова “Проект нового мирового порядка”.

Как только мой муж, В. С. Сафрончук, вышел на пенсию, и мы возвратились из США, он окупился в журналистику. Раз в неделю в газете “Советская Россия” появлялась его злободневная политическая статья в защиту России. Я была его первым читателем и, когда мне попадалась непонятная фраза или даже слово, я просила его заменить их на более доступные по смыслу. Шутя говорила ему: “Я – твой народ, а народу это будет непонятно...” – и он всегда прислушивался ко мне.

Больше года тому назад, 24 декабря 2019 года на расширенной коллегии Министерства обороны РФ речь зашла о том, что в Восточной Европе и особенно в Польше русофобские силы при поддержке государства сносят памятники советским воинам, освобождавшим Европу от фашизма. И Вы, Владимир Владимирович, тогда заявили, что эти памятники и надгробья сносят такие же люди, которые в 30-х годах обсуждали с Гитлером планы о том, куда можно переселить евреев из Европы. “В довоенных архивах, – сказали Вы, – нашлись документы, которые свидетельствуют, что Юзеф Липский, польский посол в Германии, услышав от Гитлера, что немцы ищут пути переселения евреев в Африку, торжественно пообещал, что поляки за это поставят Гитлеру памятник в Польше”. Изложив таким образом историю вопроса, Вы, Владимир Владимирович, не выдержали и добавили в адрес польского посла: “Свинья! Сволочь антисемитская”.

Однако жаль, что историки, готовившие для Вас столь Важные документы, упростили историю этого важнейшего вопроса.

Дело в том, что землю для постоянного проживания еврейского народа искали сами евреи. Уганду в Африке предложили англичане, а поддержал эту идею один из клана **Ротшильдов**. Евреи старшего поколения знают книгу известного еврейского историка **Вальтера Лакера**, где подробнейшим образом описаны все трудности поиска такой земли. Книга в 840 страниц подробно рассказывает о десятиках разных направлений в борьбе за новую землю, о трагической гибели нескольких достойных евреев – автор брошюры “Еврейское государство”, потрясшей все еврейское сообщество, **Теодор Герцель** прожил всего 44 года. В этой брошюре он написал, что ассимиляция не удалась, “еврейский вопрос” сохраняется везде, где живут евреи, и вопрос этот может быть решён только обретением своей земли.

В. Лакер в книге “История сионизма” так пересказывает мысли Герцеля своими словами: “Мы повсюду искренне пытались слиться с народами, среди которых мы жили, стремясь при этом лишь сохранить веру своих отцов. Нам этого не разрешали. Мы старались быть верными патриотами, иногда слишком верными, жертвуя жизнью и имуществом наравне со своими согражданами, ... но нас до сих пор отвергают, как чужаков”.

Т. Герцель предлагал поголовное крещение еврейских детей, чтобы евреи слились с коренными европейскими народами. Он хотел обратиться к Папе Римскому с просьбой: “помогите нам справиться с антисемитизмом, а я за это возглавлю движение среди евреев за добровольное и благочестивое обращение в христианство”. Но с Папой ему встретиться не удалось”.

Так что борьба за переселение евреев в Уганду или на Мадагаскар велась в XX веке не только поляками и Гитлером, но и самими евреями, о чём не могли не знать Нетаньяху, или Жириновский, или Владимир Соловьёв. Жаль, что они не просветили по этому вопросу нашего президента. И нельзя, конечно, забывать, что все крупнейшие в мировой истории “решения еврейского вопроса” совершались европейскими государствами. Языческий Рим в 63-м году до новой эры установил протекторат над Иудеей. При императоре Веспасиане и его сыне Тите Иерусалим был стёрт с лица Земли. Из Англии евреи были изгнаны в 1290 году королём Эдуардом I. Из Франции были изгнаны дважды – в 1080 году, а затем в 1591-м. Из Испании – в 1492 году. Наполеон пытался решить еврейский вопрос, но безуспешно. Гитлер тоже попытался решить его, но всё закончилось Нюрнбергским процессом. В романовской императорской России было два еврейских погрома – в Белостоке и Кишинёве, но подавляющее большинство белостокского населения были поляки, а кишинёвского – молдаване.

Ваши слова, Владимир Владимирович, о поляках и Гитлере, об “антисемитской свинье” цитировались по всем каналам. Но о том, что история сионизма начиналась с попыток самих евреев найти место своему государству в Африке, — об этом никто из Ваших помощников не вспомнил.

С уважением **Зоя Андреевна Сафрончук**

* * *

Здравствуйтесь, дорогая редакция журнала “Наш современник”, многоуважаемый Станислав Юрьевич!

Благодарю свою судьбу за то, что несколько лет назад случайно в библиотеке впервые увидела Ваш журнал и с тех пор стала его постоянной читательницей. Поскольку в библиотеке сложно было его застать, т. к. они могут позволить себе выписывать только один экземпляр, и журнал постоянно на руках, я стала его выписывать на дом. Каждый месяц жду с нетерпением очередного номера, знаю, что будет много новой и интересной информации. Журнал стал для меня верным другом и наставником. Спасибо Вам за нелёгкое служение русской культуре, духовности, нравственной чистоте, за Ваше мужество и патриотизм! Крепкого всем вам здоровья и сил в вашем благородном деле на благо нашей любимой России и её многострадального и великого народа!

А журнал, после того как прочитываю очередной номер, я отдаю в библиотеку, знаю, что его там ждут и другие его почитатели.

Сожалею, что в этом году не смогла сделать небольшое денежное пожертвование, из своего города в отделении Беларусбанка — возникли трудности с переводом. Обидно. Но журнал я выписала и буду продолжать выписывать и в дальнейшем.

С уважением **Ларичева И. Б.**
г. Мозырь Гомельской обл.

СЕРГЕЙ КУНЯЕВ

ВАДИМ КОЖИНОВ

Глава 15

Борьба продолжается

В предыдущем письме Бахтиным от 20 февраля 1967 года В. Кожинов писал: "... Мы с Палиевским и Урновым будем готовить к изданию (договор уже есть) антологию "Эстетики русских славянофилов" – от Киреевского до Розанова". Замысел был поистине грандиозный и, к сожалению, тогда не реализованный. По свидетельству Д. М. Урнова, авторы чрезмерно затянули срок сдачи рукописи. Но, думается, что дело не только в этом. Сам по себе состав книги (куда, как мы помним, должен был войти и неопубликованный Павел Флоренский), явно не предполагал лёгкого "прохождения". Составителей начали "мытарить" в издательстве, снимая то одного, то другого автора, и, в конце концов, эта ценнейшая работа так и не была завершена (следующая несостоявшаяся попытка подобного издания была через десять с небольшим лет предпринята В. В. Кожинным, П. В. Палиевским и С. А. Небольсиным, но работа также не была – и по внешним, и по внутренним причинам – доведена до конца. В результате антология "Русская эстетика и критика 40–50-х годов XIX века" вышла через много лет – в 1982 году – с другими составителями – В. Кантором и А. Осповатом – и в ином составе. Ни И. Киреевского, ни В. Розанова в книге не было, но наряду со статьями В. Белинского, А. Герцена и Н. Чернышевского в ней присутствовали работы К. и И. Аксаковых, С. Шевырёва, В. Майкова, А. Григорьева, А. Хомякова, Ю. Самарина, М. Каткова, А. Дружинина, В. Боткина.

Что касается попытки "пробить" нечто "объективное" в статье о Василии Розанове для "Краткой литературной энциклопедии", то у неё была своя история. Начиная с первого тома этого издания – в нём и в последующих – Кожинным были опубликованы теоретические статьи "Вымысел художественный", "Жанр литературный", "Историзм", "Коллизия", "Композиция", "Образ художественный", "Повесть", "Поэзия и проза", "Литература" (последняя статья – наравне со статьями других авторов – подверглась уничтожающему разгрому в "Октябре" в статье Ивана Астахова и Анатолия Волкова "В кривом зеркале литературной энциклопедии"). В одном из томов была помещён и литературный портрет самого Кожинова, принадлежащий перу его университетского друга Евгения Барышникова.

Статья о Розанове была написана, но не "прошла" в издание, и сейчас уже трудно сказать, снята она была редакцией или цензурой. Но мне думается,

что непосредственно руку к её снятию приложил редактор Николай Пантелеймонович Розин, которого “объективный” взгляд Кожина совершенно не устраивал. Розин написал свой портрет Розанова и опубликовал его в соответствующем томе.

Что касается курса лекций в Политехническом музее “Русские мыслители. От Иллариона до Флоренского”, — то здесь был своего рода демонстративный шаг: стремление занять чужую территорию и наполнить её своим содержанием. Территорию, освоенную “эстрадниками”, уже успевшими сложить ей не один гимн вроде “Прощания с Политехническим” Вознесенского... Впрочем, из этой затеи, целью которой было, на самом деле, просвещение молодых умов, также, увы, ничего не вышло. Заявка была рассмотрена дирекцией музея, но положительного ответа авторы не получили.

Что же касается статьи “о Гоголе и Чаадаеве”, то она была опубликована в “Вопросах литературы” под вполне невинным “академическим” заголовком: “К методологии истории русской литературы (О реализме 30-х годов XIX века)”. И если первая её часть, посвящённая фундаментальному опровержению “шестидесятнического” взгляда на наследие Чаадаева, вызвала у читающей публики что-то вроде ступора (это касается и маститых литературоведов), то часть вторая, в которой речь шла о гоголевских “Мёртвых душах”, вызвала в “академическом” (в частности, в “имлийском”) мире нешуточную ярость.

Потому что Кожин прочёл “Мёртвые души” так, как их давным-давно разучились читать, не говоря уже о том, что в качестве “инструмента прочтения” он использовал бахтинскую “призму”.

“Не будет преувеличением утверждать, — писал он, — что эта поэма — наименее понятая и освоенная из всех классических творений русского искусства слова... (Это о хрестоматийном, многократно описанном произведении, включённом во все школьные программы! — С. К.)” В чём же причина “непонимания”? “... Именно в момент выхода “Мёртвых душ” русская культура раскололась на два противоположных течения — славянофилов и западников, — и каждое из них, естественно, стремилось сделать своим знаменем творчество величайшего современного художника...” При этом “обе стороны хорошо сознавали, что их характеристика Гоголя недостаточно объективна, что есть правда и в суждениях противника. Но логика борьбы вынуждала отстаивать односторонние определения”.

Желавшие (а недостатка в них не было) могли прочесть (и прочли) этот и следующие пассажи из статьи Кожина как прямое отражение литературной борьбы в Советской России в 60-е годы XX века... Впрочем, гадать особо не приходилось: прямой текст был гораздо огнеопаснее предполагаемых или угадываемых намёков. Кожин начал анализировать работы Белинского, посвящённые Гоголю, — и портрет “неистового Виссариона” в его исполнении уже ничем не напоминал хрестоматийного “революционного демократа”.

“Вы, юный друг мой, не поняли моей статьи, — цитировал он письмо Белинского, адресованное Кавелину, — потому что не сообразили, для кого и для чего она писана. Дело в том, что писана она не для Вас, а для врагов... Всё, что Вы говорите о различии натуральной школы от Гоголя, по-моему, совершенно справедливо; но сказать этого печатно я не решу; это значило бы наводить волков на овчарню, вместо того, чтобы отводить их от неё... Вы, юный друг мой, хороший учёный, но плохой политик...”

И Кожин, опираясь на переписку Белинского, рисует портрет литературного политика, который намеренно пишет не то, что думает, полемизируя по поводу “Мёртвых душ” с “врагом” — Константином Аксаковым.

“... В современных работах все суждения Белинского о Гоголе рассматриваются, как правило, в качестве выражения его истинной, объективной, последней позиции. Только так, например, могло сложиться представление, будто бы Белинский считал “Мёртвые души” сатирическим произведением и будто те, кто полагает и сегодня, что поэма Гоголя — сатира, следуют в этом отношении Белинскому”.

Но дело даже не в том, что “Белинский в разные периоды своего развития понимал сатиру различно”... Суть в том, что между его подлинной оценкой “Мёртвых душ” и оценкой славянофила Константина Аксакова нет реального противоречия. Более того — они сходятся в самом существенном.

“Если не обращать внимания на издержки полемики, оказывается, что Белинский и Аксаков, в конечном счёте, оба стремятся понять поэму Гоголя

как совершенно особенное — на фоне современной европейской литературы — явление. Оба они, в сущности, утверждают своего рода “ренессансную” природу искусства Гоголя. Причём речь идёт не о содержании и форме, а о самом акте творчества, то есть, в современной терминологии, о художественном методе. Это метод, родственный ренессансному реализму. Отсюда и возникает сопоставление с Шекспиром... и у Белинского — с Сервантесом...

... Ясно, что Шекспир и Сервантес глубоко родственны по характеру “акта творчества”. Но Белинский, безусловно, более прав, чем Аксаков и Григорьев, когда ставит Гоголя в один ряд с Сервантесом, у которого, как и у Гоголя, преобладает комическая стихия... Естественно вспомнить здесь и о Рабле, книгу которого сопоставляет с Гоголем М. Бахтин в своей диссертации “Ф. Рабле в истории реализма”... После исследования М. Бахтина неопровержимо ясно, что ренессансный смех Рабле, как и смех Сервантеса и Шекспира, — это особенная эстетическая стихия, качественно отличающаяся от комизма последующей западноевропейской литературы, от классицистической и просветительской сатиры, от романтической иронии, от юмора в реализме XIX века. И творчество Гоголя, в частности, его “Мёртвые души” — это не сатира, это искусство, близкое к искусству “ренессансного” типа...

Этому нисколько не противоречит тот факт, что Гоголь воссоздал в “Мёртвых душах”, прежде всего, “низменную”, “отрицательную” сторону русской жизни... Ибо, даже показывая Русь “с одного боку”, Гоголь в то же время раскрывает её в её неразложимой цельности. Поэтому и возможна та дерзкая свобода, с которой он вкладывает в уста Собакевича и Чичикова гимны богатырскому крестьянству и тесно связывает с сознанием Чичикова свою оду тройке...

Понятия сатиры, отрицания, осуждения никак не могут претендовать на определение целостной природы искусства Гоголя... И превращать Гоголя в “отрицателя” значит как раз и совершать недопустимое: разлагать его творчество и обособлять отдельные мотивы, которые вне целого просто теряют свой смысл...

Кожин нарушал здесь все “приличия”, выработавшиеся за многие десятилетия в советском литературоведении, причём делал это естественно и свободно, без малейшего намерения кого-то сознательно оскорбить или вытащить из кармана заранее приготовленную “фигу”. Он был настолько далёк от подобных посторонних соображений, что ничего близко похожего невозможно вычитать в его тексте — и это полностью лишало (даже формально) кого-либо намерения подойти к кожиновскому тексту с цензурными рогаками. И тем большее раздражение он вызывал у будущих оппонентов.

В этой работе — в определении творчества Гоголя как “ренессансного реализма” — уже было заложено начало пересмотра всей сетки литературных направлений в России XIX века, что будет развито и обосновано исследователем через несколько лет... Снятие с Гоголя клейма “сатирика” так и останется непонятым — очень немногие оказались способны услышать и вникнуть в логику кожиновских размышлений... Более того, здесь уже начался, как писал Кожин Бахтину, “выход” за пределы “национальных идеалов”. Ни один правоверный последователь славянофилов никогда не признал бы Белинского хоть в чём-то правым перед ними.

Но дальше — больше. Кожин подходил к решающим выводам.

“Национальная самокритика, воплощённая в поэме Гоголя, представляла собою не “отрицание” и сатирическое “разложение” русской жизни, а объективное раскрытие её “неразумного”, “дикого” состояния, при котором народная субстанция ещё дремлет, ещё не нашла себе ни осознания, ни сколько-нибудь определённой формы, хотя вместе с тем уже вышла из древнего “героического” века. Такое “состояние”, в сущности, и невозможно отрицать... Герои Гоголя не могут и не должны вызывать у непредвзятого читателя отвращения и негодования, подобных тем, какие вызывают, скажем, иные герои Щедрина. И горы разоблачений и обвинений, которые обрушены на этих героев во многих литературоведческих работах, подчас просто смешны... В обители Собакевича, в озорстве Ноздрёва, в “дремучести” Коробочки и даже в безудержной маниловской мечтательности и в беззаветном, не щадящем самого героя разгуле плюшкинской скупости воплощён тот же, по слову Белинского, “русский дух”, та же вольная бесшабашность и широта, которые

в иной, идеализированной форме воплотились в лирических отступлениях о дороге, о песне, о тройке...

Не менее замечательно и совпадение в самом заглавии “Мёртвые души” и названии города, из которого как бы посылаются “Философические письма”, — Некрополис (“Город мёртвых”). И в том, и в другом случае образ смерти, пользуясь термином М. Бахтина, амбивалентен; это несомненно, если мы будем исходить из целостного смысла чаадаевского и гоголевского творчества. Речь идёт о смерти, чреватой рождением, возрождением.

Так возрождаются мёртвые богатыри-мужики в разговоре Собакевича и в размышлениях Чичикова. Так именно эта ещё словно спящая мёртвым сном Россия, которая предстаёт в “Письмах” Чаадаева, призвана, по его словам, быть “совестным судом по многим тяжбам, которые ведутся перед великими трибуналами человеческого духа и человеческого общества”.

И дело здесь не просто в личной перекличке создателя философических писем из Города мёртвых и творца поэмы о “мёртвых душах” — дело и в целом существе эпохи. Те же идеи и мотивы можно обнаружить и в творчестве Пушкина, Боратынского, Тютчева, Лермонтова, Одоевского и других виднейших художников и мыслителей 30-х годов.

По существу возразить Кожинovu не представлялось возможным, а очень ведь хотелось... Ну, никак нельзя было оставить за ним последнее слово о столь любимом нашими либералами Чаадаеве. И началось “уличение” в намеренно неточном цитировании.

Через полгода в “Вопросах литературы” появились две негодующие статьи. Одна из них с характерным названием “Сатирическое отрицание и отрицание сатиры” принадлежала Дмитрию Николаеву. Вторая — “Сомнительная методология” — Александру Дементьеву. Николаев “обиделся” за Гоголя, Дементьев — за Чаадаева.

Александр Григорьевич выступил, как самый настоящий начётчик. Он прочитывал Чаадаева буквально, обрывая цитаты на нужном ему месте (при этом пытался “уличать” в этом Кожинова). “Я думаю, что прогресс ещё невозможен у нас без апелляции к суду Европы...” — цитировал он послание Чаадаева к Сиркуру — и тут же останавливался: вот вам, пожалуйста, ну, разве это не западник?!

“А. Дементьев не раз упрекает меня в том, — отвечал ему Кожинov, — что я “свободно” обхожусь с цитатами. Скорее, этот же упрек можно переадресовать ему самому... Речь идёт всего лишь о том, что “западнически” настроенная “публика” сможет оценить русскую мысль (и мысль не кого-нибудь, а Хомякова!) только после того, как её оценят во Франции. В этом-то и состоит та апелляция к суду Европы, о которой говорит Чаадаев, а вовсе не в том, что самобытная русская мысль ещё не способна развиваться без “суда Европы”...”

История имеет обыкновение возвращаться на круги своей спирали. То, о чём писал Кожинov применительно к веку XIX-му, он собственными глазами видел во второй половине XX-го. Даже выход двух фундаментальных книг Бахтина не убедил большинство отечественных литературоведов (в том числе и многих сотрудников академического института) в мировом значении бахтинской мысли. И только когда Бахтина стали наперебой переводить на европейские языки, а за рубежом стали образовываться “бахтинские” школы — только тогда начало приходить понимание того, что рядом живёт великий современник, и только тогда по-настоящему начал оцениваться беззаветный кожиновский труд, приложенный к изданию этих книг.

“А. Дементьев, почитающий Чаадаева западником, — продолжал Кожинov, — даже не заметил, что в той самой цитате, которую он приводит... есть прямое опровержение его, А. Дементьева, позиции. Ибо Чаадаев недвусмысленно говорит здесь, что “освобождение” русской культуры наступит только в том случае, если мы сумеем “свергнуть иго вашей (то есть западной. — В. К.) культуры, вашего просвещения и авторитета и станем “истинно свободны от влияния чужеземных идей”. Мог ли так говорить западник, каким А. Дементьев тщится изобразить Чаадаева?”

Не раз и не два вернёт Кожинov Дементьеву его “уличения” в замалчиваниях и передряхках по принципу “не лучше ль на себя, кума, оборотиться?”... “Статья А. Дементьева, в сущности, сводится к спору вокруг ряда цитат из сочинений Чаадаева, Герцена, Белинского, которые автор пытается истолковать

по-своему. Он даже не стремится выдвинуть какую-либо свою концепцию, с которой можно было бы поспорить, ибо считает, что все основные вопросы, связанные с литературой 1830-х годов, давно решены”.

В этом и заключалась принципиальная разница (со всей остротой обозначившаяся именно во второй половине 1960-х) между Кожинным и его оппонентами. Он выдвигал новую, острую, обоснованную концепцию – они же пытались ловить его на “передержках”, неточностях, и сами при этом сплошь и рядом передёргивали или обрывали в “нужных местах” цитаты, а то и вычитывали из них лишь необходимый им смысл, вырывая из текстуального и исторического контекста. В этом отношении любопытна реакция на кожиновскую статью Маризетты Омаровны Чудаковой.

Известная как “булгаковедка”, она в своё время начала литературную деятельность с книжки, посвящённой Эффенди Капиеву, потом уже перейдя на изучение Михаила Зощенко и Юрия Тынянова. Неистовая либералка по своим убеждениям, она, конечно, вычитывала в Чаадаеве “своё”, при том, что “свободолюбивому литературоведу” невозможно было внутренне не симпатизировать Кожиннову и хотя бы лёгким движением склоняться в сторону Дементьева. Но не признать в Чаадаеве западника... Не-е-ет!

“Помню, пришли мы с Ирой Роднянской, – через много лет вспоминала она, – на дискуссию о кожиновских статьях в “Вопросах литературы” (1969 год, если не ошибаюсь), о статьях, пересматривающих историю литературы XIX века. Я была гораздо больше на его стороне, чем на стороне его оппонентов, но столь очевидно было в его статьях, хотя бы на примере пассажа о Чаадаеве (я проверила перед тем, как пошла на дискуссию – и была этим поражена), передёргивание... Как можно было его поддерживать?... А когда Ира выступила в его поддержку, то Палиевский ухитрился так её похвалить: “Вот видите, к нам примкнула Роднянская...” Да ещё это постоянное кивание в сторону Сталина – при нём, мол, были великие писатели, “не то, что нынешнее племя...” Соблазняли малых сих. Да и подспудная поддержка националистического крыла власти смутно ощущалась...”

Это писалось уже через много лет, когда в сознании Чудаковой Кожиннов и Палиевский отражались не иначе как смертельные враги (здесь и “смутные ощущения” пришлось к месту)... Но всё же интересно: какой “пассаж о Чаадаеве” проверяла Маризетта Омаровна? Почему не пожелала об этом упомянуть? Или “проверила” цитату точно так же, как её “проверил” Дементьев? И почему Роднянская – культурный и образованный критик, писавшая одну из статей совместно с Кожинновым для “Краткой литературной энциклопедии”, – не заметила никаких “передёргиваний”?

Был на этом обсуждении ещё один занятный эпизод: Фёдор Левин, выпускник Института красной профессуры, восьмимесячный “сиделец” в годы войны, “космополит” в конце 1940-х, заместитель председателя секции критики ССП в середине 1960-х, убеждённый революционер-идеалист и “прогрессист”, писавший в это время книгу об Исааке Бабеле, – не выдержал. В какой-то момент у него сдали нервы, и он в ответ на одну из реплик Кожиннова (которую, очевидно, в унисон с Чудаковой воспринял, как “кивание в сторону Сталина” – тут ведь главное услышать то, что услышать очень хочется!) заявил: “Так может рассуждать только фашист!” “Так, значит, те, кто поддерживает Кожиннова – профашисты?” – мгновенно среагировал Палиевский. “Конечно”, – ничтоже сумняшеся отвечивал Левин. “Значит, и она – профашистка?” – продолжал Палиевский, указывая на Роднянскую, чью национальность нельзя было спутать ни с какой другой. Левин поперхнулся, сел на место под громкий смех собравшихся и более не высывался.

* * *

Когда Кожиннов писал Бахтину об “общекультурной” обстановке в Москве”, о том, что она “крайне, небывало смутная, ничего не разберёшь” и что “даже пожилые люди сбиты с толку, теряют прежние свои позиции”, он имел в виду многое, и в первую очередь определённую растерянность самой власти, которая никак не могла игнорировать и забыть хрущёвскую “антисталинистскую” кампанию XX и XXII съездов КПСС (кто бы что бы потом об этом ни говорил и ни писал!), одновременно пытаясь установить некий “баланс”

в отношениях с творческой интеллигенцией, “укротить” свары, разгоревшиеся между различными изданиями – органами Союза писателей СССР (в первую очередь, между “Новым миром” и “Октябрём”), и по возможности “нивелировать” последствия хрущёвских психозов в экономике и социальной политике (чего сделать в полном объёме так и не удалось). Он имел в виду и взбаламученность самой “активной” части интеллигенции, которая, возжаждав неуклонной поступи общественного “прогресса”, любое покушение (явное или “по умолчанию”) на хрущёвское “антисталинское” наследие воспринимала не иначе, как “реабилитацию” Сталина и “сталинизма” (даже в том случае, когда речь заходила о “вытравливании” явных хрущёвских нелепостей, связанных с ролью Сталина в период Великой Отечественной). И, наконец, крайне обострился национальный вопрос – на первый план вышел, точнее сказать, назойливо вылез вопрос “еврейский”.

Кавычки здесь не случайны, потому что под прикрытием вопроса национального во весь рост вставали и крайне обострялись куда более существенные вопросы общего порядка.

Это начало ощущаться, причём резко и последовательно, ещё при Хрущёве.

“Еврейские беды услышались первыми. Их голоса звучали громчей, поскольку не обделили нервами евреев в эпоху дела врачей”, – писал Борис Слуцкий, поминая далее и “репрессированные народы” Северного Кавказа, и крымских татар, чьи проблемы оставались долгое время проблемами сугубо “национальными”, тогда как “еврейские” тут же приобрели характер “всеобщих”.

Память об “антикосмополитической” кампании и “деле врачей” в их “еврейской” интерпретации (считалось вселенским кощунством простое обращение внимания на тот очевидный факт, что в этих “кампаниях” пострадавших русских было ничуть не меньше, нежели евреев, не говоря уже о том, что в избиении многих “космополитов” отменно отличились их единокровные “братья”), о “деле” Еврейского антифашистского комитета (рядом с которым куда более грандиозное “ленинградское дело” не упоминалось вообще) – эта память требовала соответствующей “компенсации”. Массовые сокращения в учреждениях, прошедшие сразу же после смерти Сталина и реабилитации врачей, совершенно не коснулись евреев – как бы в “возмещение” массовых увольнений в предыдущие годы (как в том, так и в другом случае – независимо от квалификации и добросовестности). Это что касается кадрового вопроса. А что касается культурного...

О Твардовском, потребовавшем от Константина Паустовского сократить в повести “Время больших ожиданий” кусок о Бабеле (Твардовский написал Паустовскому, что Бабель “не является для всех тем “божеством”, каким он был для литературного кружка одесситов”) и заявившем Василию Гроссману по поводу его очерка, что “ни одному народу, в том числе и еврейскому, нельзя давать привилегию страдания”, тут же был пущен слух, как об “антисемите”... Скандал с публикацией евшушенковского “Бабьего Яра” также весьма показателен (был в этой истории ещё один аспект, о котором мы поговорим далее). Естественная недоумённая реакция Дмитрия Старикова на кричащие и претенциозные строчки “Ничто во мне про это не забудет! “Интернационал” пусть прогремит, когда навеки похоронен будет последний на земле антисемит. Еврейской крови нет в крови моей. Но ненавистен злобой заскоружлой я всем антисемитам, как еврей. И потому – я настоящий русский!” – мгновенно вызвала обвинения в “черносотенстве” (показательно, что Секретариат ЦК КПСС принял постановление “Об ошибках редколлегий “Литературной газеты” и газеты “Литература и жизнь”, где и “Бабий Яр” Евгения Евшушенко, и “Мой ответ” Алексея Маркова были признаны идеологически вредными, а их публикация расценивалась как грубая политическая ошибка)... Дмитрий Шостакович был от “Бабьего Яра” в полном восторге: его, как он писал в одном из писем, “высокий патриотизм, его горячая любовь к русскому народу, его подлинный интернационализм захватили меня целиком, и я “воплотил” или, как говорят сейчас, “пытался воплотить” все эти чувства в музыкальном сочинении. Поэтому мне очень хочется, чтобы “Бабий Яр” прозвучал и чтобы прозвучал в самом лучшем исполнении”...

О том, какая атмосфера превалировала тогда в культурной жизни, свидетельствует красочное послание главного редактора литературно-драмати-

ческого вещания Белорусского радио Н. Е. Матуковского секретарю ЦК Л. Ф. Ильичёву:

“19, 20, 21 марта (1963 года. — С. К.) в Минске исполнялась Тринадцатая симфония Д. Шостаковича. ЦК КПСС уже имеет об этом произведении определённое мнение. Но, может быть, Вы не знаете всего того, что происходит вокруг него... Первые же звуки симфонии как-то ошутимо разделили зал на евреев и не-евреев. Евреи не стеснялись в проявлении своих чувств, вели себя весьма эксцентрично. Кое-кто из них плакал, кое-кто косо поглядывал на соседей. В этих взглядах сквозила неприкрытая неприязнь... Другая половина, к которой относился и я, чувствовала себя как-то неловко, словно в чем-то провинилась перед евреями... Потом чувство гнетущей неловкости переросло в чувство протеста и возмущения... Самое страшное, на мой взгляд, что люди (я не выделяю себя из их числа), которые раньше не были ни антисемитами, ни шовинистами, уже не могли спокойно разговаривать ни о симфонии Шостаковича, ни о... евреях... У нас нет еврейского вопроса, но его могут создать люди вроде Е. Евтушенко, И. Эренбурга, Д. Шостаковича. Тринадцатая симфония является убедительным подтверждением этой мысли. Она возбуждает бациллы не только крайне опасного еврейского национализма, но и не менее опасного шовинизма, антисемитизма. Разжигая национальную рознь, она льёт воду на чужую мельницу... Конечно, запрещение Тринадцатой симфонии вызовет неблагоприятную реакцию, различные кривотолки и у нас, и за рубежом... Но из двух зол всегда выбирают меньшее...”

Смысл этого послания станет ещё более очевидным, если вспомнить, какое значение придавалось “еврейскому вопросу” (в его отнюдь не узконациональной интерпретации) в тогдашних “интеллигентских кругах”.

“В нашем литературном мире, — вспоминала поэтесса Лариса Васильева как раз о 60-х годах, — разделённом на правых — славянофилов и левых — западников, лакмусовой бумажкой для определения принадлежности писателя к тому или иному лагерю был еврейский вопрос. Если ты еврей, значит, западник, прогрессивный человек. Если наполовину — тоже. Если ни того, ни другого, то муж или жена евреи дают тебе право на вход в левый фланг. Если ни того, ни другого, ни третьего, должен в творчестве проявить лояльность в еврейском вопросе. Точно так же по еврейскому признаку не слишком принимали в свои ряды группы правого, славянофильского фланга”.

Понятно, что в этом высказывании многое упрощено и спрямлено, тем более что вызывают крайнее недоумение весьма неточно употребляемые здесь термины “западники” и “славянофилы” (впрочем, с такой же “точностью” они употреблялись большинством наших писателей в 1960-е). Но вот что касается “лояльности в еврейском вопросе”, то он, действительно, был в определённых “кругах” “лакмусовой бумажкой”. Такой “бумажкой”, которой представители этих самых “кругов” пытались оценивать всю окружающую общественную, политическую и культурную жизнь.

Помните истерику, которую закатил Аркадий Белинков супругам Чудаковым?

“Вы евреи!.. Раз вы против этой власти — значит, евреи! Все русские интеллигенты — евреи!”

Это, идущее от сверхэмоционального (также на грани истерии) цветаевского “Гетто избранничеств! Вал и ров. Пощады не жди! В сём христианнейшем из миров поэты — жида!”, было весьма и весьма распространено в нашей интеллигентной публике.

По рукам ходила в виде машинописи книга воспоминаний Надежды Мандельштам с той же самой — выношенной, вынужденной — по сути, расистской мыслью:

“...Евреи и полукровки сегодняшнего дня — это вновь зародившаяся интеллигенция.

Все судьбы в наш век многогранны, и мне приходит в голову, что всякий настоящий интеллигент всегда немного еврей...”

То есть речь не идёт о сугубо национальном происхождении. Речь о том, что человек любой национальности — интеллигент, свободолюбец, критически или с ненавистью относящийся к власти, — может (а по сути должен!) отождествлять себя с евреем, точнее, с Вечным Жидом, вечно гонимым протестантом.

И это было подхвачено и развито нашими “интеллигентами” разных “кровей” и “мастей”.

“Национальный склад русского и интеллигента имеет мало общего с национальным складом крестьянина, рабочего или бюрократа” (Борис Шрагин).

“Во-первых, еврейский вопрос имеет самое непосредственное, самое прямое касательство к литературному процессу. Во-вторых, всякий русский писатель (русского происхождения), не желающий в настоящее время писать по указке, — это еврей. Это — выродок и враг народа. Я думаю, если теперь (наконец-то) станут резать евреев в России, то первым делом вырежут писателей, интеллигентов не еврейского происхождения, чем-то не подпадающих под рубрику “свой человек”. И в более расширительном смысле всякий писатель — француз ли он, англичанин, американец, которому никто не угрожает, — еврей, которого надо бить (и тогда он, может быть, что-то напишет)” (Андрей Синявский).

Неважно, что подобные суждения печатались годы спустя “за бугром”. Важно, что они имели хождение здесь. И любой человек, не согласный с этим “глубокомыслием”, да ещё дававший возможность это понять, тут же в лучшем случае “отлучался” “чистой публикой” от “интеллигенции”, а в худшем — получай клеймо “фашиста”. И в такой атмосфере, в самом деле, кто-то приобретал вечный “комплекс вины”, а у кого-то от постоянно (гласно или негласно) внушаемого, что “все левые — еврей” и что “порядочным людям” необходимо находиться именно в “этом стане”, всё более и более нарастало “чувство протеста и возмущения”.

Всё это чем дальше, тем больше напоминало заново превозносимые и поистине страшные для миллионов людей первые послереволюционные годы.

Из дневника Владимира Десятникова:

“6 марта 1967 г. Общество охраны памятников хоть и создано, но покушений на русскую старину никак не стало меньше. При этом всякий раз норовят ударить под дых. При Никите Хрущёве была затея разобрать одно прясло Кремлёвской стены от Троицкой башни в направлении Боровицкой, чтобы народ-де торжественно мог войти по белораморной лестнице в посохинский Дворец съездов. Услужливые компаньоны Михаила-иуды Посохина проект быстренько состряпали, но восставшая общественность не допустила кощунства над святыней. Теперь всё тот же Посохин, но уже в ранге свежеспеченного члена ЦК КПСС, депутата Верховного Совета СССР, лауреата Ленинской премии, застраивает проспект Калинина и прилегающие переулки таким образом, чтобы под многоэтажными мастодонтами похоронить самую поэтическую часть центра Москвы. И опять общественность восстала. Снова мы ходим, собирая под нашей петицией подписи именитых русских людей — Л. М. Леонова, А. А. Пластова, П. Д. Барановского, Б. А. Рыбакова, П. Д. Корина — в защиту памятников Отечества. Собственно, а у кого, как не у своих, мы можем найти понимание? За всё время мне даже в голову не пришло идти подписывать письма к И. Г. Эренбургу или С. В. Образцову. Вовек не забыть, как Образцов визжал и брызгал слюной на обсуждении Всероссийской художественной выставки в Манеже. Дескать, кто дал право включать в каталог картины с антисемитскими названиями. Если уж ему мерещится антисемитизм на этикетках картин, то, прочитав наше письмо, он тут же общит “куда следует”. Нет, что ни говори, у нас свои проблемы и свои “подписанты”, а у них, образцовых, свои. У них в основном борьба за права человека, а у нас — борьба против бесправия народа...”

...Всё, смутно бродившее внутри, обнажилось в июне 1967 года, после того как Израиль (предварительно устраивавший постоянные провокации на границе с Сирией), разбомбив на аэродромах египетскую и сирийскую авиацию, одержал победу в “шестидневной войне”, заняв Голанские высоты, западный берег реки Иордан, восточный Иерусалим и весь Синайский полуостров (взяты в плен солдаты арабской коалиции незамедлительно расстреливались).

Эта победа, как потом напишут авторы “Еврейской энциклопедии”, “способствовала пробуждению национального самосознания у многих тысяч почти совершенно ассимилированных евреев”, многие из которых пришли к мысли “о невозможности дальнейшего проживания в СССР... Десятки тысяч молодых евреев Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Риги стали приходить к синагогам во время еврейских праздников. Росло число евреев, подающих документы на выезд в Израиль”.

Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем как с агрессором. И в это же время драматург Александр Гладков записывал в своём дневнике: "...Почти все евреи – космополиты и ассимиляторы любви – тайно или явно радуются победе Израиля. Это конечно не идеология, а гены".

Гладков всё же ошибся. Конечно, гены. Но не менее – идеология. Идеология нового "левачества", отождествляемого с "еврейством".

И эта идеология в завуалированном или достаточно откровенном виде дала о себе знать, когда завертелась дьявольская карусель вокруг клуба "Родина", а также вокруг писателей, критиков и публицистов журнала "Молодая гвардия".

* * *

В марте 1963 года главным редактором этого журнала стал фронтовик Анатолий Васильевич Никонов. Поначалу линия сего издания особо не отличалась от других, соседствующих с ним. Колонка "комментирует В. Турбин" с авторской "ошарашивающей клоунадой" (о ней уже шла речь) соседствовала с "Озой" Андрея Вознесенского... "Молодая гвардия" как бы продолжала шествие в хорошо протоптанной "либеральной" колее.

Всё начало меняться в 1965 году. Впервые всенародно отмеченный праздник Дня Победы (9 мая с этого года стало нерабочим днём) стал толчком к совершенно новому осмыслению отечественной истории. Ветеран войны и историк по образованию, Никонов стал исподволь, но неуклонно менять линию комсомольского журнала.

Из воспоминаний Валерия Ганичева:

"Комсомол назначил главным редактором Анатолия Никонова... Чтобы Никонов не проявил национального духа, тогдашний секретарь ЦК ВЛКСМ, будущий активный перестройщик Лев Карпинский обложил его сыновьями "оттепели". Анатолий Приставкин, Владимир Амлинский, Артём Анфиногенов – члены редколлегии, а заместителем приставили писателя Рекемчука, которому пообещали в будущем место главного.

Анатолий Васильевич, человек в коридорах власти искушённый, исподволь и осторожно освободился от "надзирателей". Ушёл и Рекемчук. Вот тогда-то Никонов и пригласил меня из ЦК ВЛКСМ, где я "отвечал" за молодёжные издания... Я стал помощником и соратником замечательного человека. Он многое мне доверял, постоянно помогал, просвещал, давая читать "закрытую" для нас тогда литературу (русских философов, эмигрантов, "Протоколы сионских мудрецов" и т. д.), сообщал неизвестные факты. Так, с его помощью впервые познакомился я с реальной биографией Тухачевского, с документами семейства Брик, с перечнем и биографиями "кремлёвских жён" и т. д. Он был человек державных устремлений... Многое ему не нравилось, но выступать с разрушительными лозунгами он не собирался, а мечтал о переходе созидательными путями к лучшему состоянию в стране. Свою роль он видел в накоплении такого художественного и фактического материала в журнале, который произвёл бы переворот в сознании людей (в том числе и руководителей страны), чтобы они увидели, кто подлинные друзья и враги России... В литературном мире кипят страсти, идёт, как кажется всем, главная борьба между демократически-либеральным "Новым миром" и средоточием "перезрелого", догматического социалистического духа – "Октябрём" Всеволода Кочетова. А в это время "Молодая гвардия" исподволь становится трибуной национального самосознания, своеобразным русским духовным очагом..."

В это время "Новый мир" и "Октябрь", как два барана, сшиблись рогами на мостике "советской литературы", не желая уступать друг другу дорогу. "Новый мир" выступал с позиций "критического реализма", апеллируя к наследству Николая Добролюбова, Николая Чернышевского, Дмитрия Писарева; "Октябрь" – с позиций "реализма социалистического", периодически упрекая "Новый мир" в "очернении советской действительности"... Очень многое в этом противостоянии объяснялось и личным антагонизмом двух главных редакторов. Конечно, не всё было одноцветно и однозначно. В том же "Новом мире" взыскательный читатель с радостью открывал для себя рассказы Солженицына, повести и рассказы Виктора Лихоносова, романы Фёдора Абрамова

и Юрия Домбровского, а после того, как Белов прогремел на всю страну “Привычным делом”, Твардовский сделал всё, чтобы заполучить и его в свой авторский актив. В “Октябре” же, в отличие от “Нового мира”, выделялся отдел поэзии (благодаря Дмитрию Старикову), да и в отделе критики было что почитать...

“Смею утверждать, что некоторые наиболее левые авторы “Октября” тех лет были значительно ближе к идеям “Нового мира”, нежели “Октября”, как и некоторые произведения, опубликованные “Новым миром”, вполне могли бы появиться на страницах “Октября”, но авторы просто не желали нести их в редакцию журнала, дабы не испортить свою репутацию...” – утверждал ближайший сотрудник Кочетова критик Юрий Идашкин, и в этом отношении он совершенно прав.

Не говоря уже о том, что и “Новый мир”, и “Октябрь” печатали прозу Шукшина и стихи Соколова (при негласном правиле, действующем и тут, и там – не принимать в журнал автора, публикующегося во “враждебном” издании”), – показательна здесь судьба начинавшего свой путь в литературе Владимира Максимова. “Впервые я услышал о Максимове в 60-х годах от Всеволода Кочетова, который говорил о нём с жаром, противопоставляя его Солженицыну. В то время Максимов, обративший на себя внимание своим писательским талантом, был действительно близок к “Октябрю”, – это вспоминал Витторио Страда. Сам Кочетов в “Комсомольской правде” говорил о прозаике: “Путь молодого писателя был нелёгким. С повестью “Жив человек” его выпроводили за порог не одной редакции. И не от избытка внимания к себе вынужден был талантливый молодой писатель пойти печататься в сборнике “Тарусские страницы”...” “Ваши либералы в штаны наклали, – без всяких дипломатий заявил тогда Кочетов Максиму, – бояться вас печатать, а я не боюсь”. И в скором времени Максимов стал членом редколлегии “Октября”... То же самое “Время больших ожиданий” Паустовского (с “крамольными” страницами, посвящёнными Бабелю) было беспрепятственно напечатано у Кочетова, как и “Синяя тетрадь” Эммануила Казакевича, “застрявшая” в “Новом мире” без каких-либо шансов на продвижение.

Отношения между собой эти два издания могли выяснять бесконечно, что приводило в нешуточное раздражение партийное руководство. Дошло до того, что на очередной партийный съезд ни тот, ни другой главный редактор не были выбраны делегатами, а по Москве пошли упорные слухи (видимо, имеющие под собой серьёзные основания), что высшее начальство собирается снимать их обоих со своих постов одновременно... Но тут оказалось, что ещё в одном журнале – органе ЦК ВЛКСМ! – набрала силу тенденция, одинаково неприемлемая как для “советских догматиков”, так и для “советских демократов”. Эта тенденция наиболее ярко и отчётливо проявилась в статьях Михаила Петровича Лобанова.

“Чтобы победило живое” – так называлась одна из его наиболее запомнившихся с тех времён статей о мире русского крестьянства, который он знал сизмальства, о народной речи и литературном языке.

“Веками создавал русский народ свою народную цивилизацию, творил свой несравненный, могучий, как безбрежный океан, родной язык. И было бы трагичным для нации предать забвению народные сокровища. Это означало бы строить дом без фундамента, это означало бы безмерно урезать духовную жизнь молодых поколений. Вот почему проблема народности языка становится одной из главнейших для нашей литературы. Я вспоминаю, с какой грустью говорил мне Борис Шергин, этот волшебник русского народного слова, о том, что на его родном Севере, в архангельских краях, нивелируется разговорный язык, исчезает многоцветность, образность северного говора... Забвение народного слова – это страшное обеднение духовное... Не произойдёт ли с русским народным языком то же самое что случилось с архитектурными памятниками нашей старины: долгое время не замечали чудо, не очень-то берегли сокровища, а когда они скорбным образом стали уменьшаться, то стало яснее, что мы наследуем, и резко обострилась любовь к старине. Нашу веру в русский язык питает заключённая в нём мощь внутренней жизни...” И далее шёл пристальный, тонкий, внимательный разбор повестей и рассказов Василия Белова: “Ему доступна не речевая шелуха... а дух народного языка и его поэзия... Важно знать, что эта жизнь слова возможна только в душах непустых – многоцветья не бывает на пустыре. Я не раз

замечал, что деревенские люди, особенно старухи, которых слушаешь и не наслушаешься, — всегда люди душевно живые, участливые к другим. И, напротив, люди чёрствые — сухи в речи... Послушать настоящую крестьянскую речь — это значит испытать, как говорили в старину, веселие духа, почувствовать себя причастным к нравственному опыту народа...” И далее Лобанов, выделяя крайне существенную мысль — “Литература о деревне не может быть узкодеревенской”, — специально останавливается на “некоей внутренней самозакрытости местной жизни” в беловой прозе. “В самом лиризме прозы Белова уже чувствуется некоторая степенность, вряд ли согласующаяся с тревожными исканиями” (это писалось ещё до появления “Привычного дела”).

Так не разговаривали тогда ни в одном литературном издании. Рядом с подобным письмом все “выяснения отношений” между соседними журналами, вся их полемика о “гражданственности” и “социальности” казались мелким пустозвонством. А главное — то пространство жизни, истории, языка, которое открывалось в статьях Лобанова, переносило читателя в мир, чрезвычайно далёкий от всех псевдообщественных бурь 1960-х.

Эта статья была напечатана в декабре 1965 года. Через полгода на страницах “Молодой гвардии” появляется новая статья “Внутренний и внешний человек”, в которой Лобанов сопоставил повесть В. Ханжина, напечатанную в “Октябре”, и рассказа И. Грековой — одного из “культурных” авторов “Нового мира”. Сопоставил — и пришёл к неумолимому выводу:

“Пожалуй, рассказ И. Грековой написан “покультурнее” в том смысле, что здесь не встретишь острот вроде “бред сивой кобылы” или же таких “принципиальных” фраз в отношении отца и дочери, как “и он рассказал, в чём суть его задачи”. Но справедливости ради надо сказать, что по своей “стенографичности” язык рассказа И. Грековой вполне сродни языку повести В. Ханжина... Но ничего неожиданного в этом нет... Никакие высокие слова, никакие эмоции не станут фактом художественной литературы, если они не будут духовно проявлены. Без духовного нет в произведении жизненного, глубинного измерения. Тогда-то и возможны такие неожиданности, как побратимство... двух сочинений, опубликованных в журнале “Октябрь” и “Новый мир”. Тогда-то и возможно такое зрелище, как объятие этих журналов, которые вроде бы “идейно воюют” между собой, оставаясь внутренне абсолютно чуждыми традиционной русской духовности”.

Столь же, казалось, бы парадоксальное (а по сути, абсолютно логичное) сопоставление напечатанной в “Юности” “Истории одной компании” Анатолия Гладилина с пресловутым лебедевским “Чаадаевым” было проведено в статье “Личность истинная и личность мнимая”. “Бросается в глаза вопиющая духовная неразвитость этих “ярких индивидуальностей”. Какими были в пятнадцать-семнадцать лет — такими остались и в тридцать”, — писал Лобанов о героях Гладилина, подводя читателя к мысли о подобной же духовной неразвитости автора “Чаадаева”, уподобляющего своего героя себе самому. “Автор рассматривает Чаадаева как одинокую, никем не понятую личность... Чаадаева ли не волновала судьба России, а исследователь пишет, замкнувшись в колпаке своих книжных рассуждений о личности... как бы и не подозревая столбовой дороги исторического движения России... Дело, конечно, не в том “патриотизме”, который “насквозь пропах квасом”, по энергическому выражению А. Лебедева. Как слово мыслящего человека о Родине детерминировано её историей, так бесплодны всякие “чужачества” вне национальной среды. Сам же Чаадаев сказал: “Чтобы явственно говорить роду человеческому, надо обращаться к своей нации, иначе не будешь услышан и ничего не сделаешь”... Предмет писания у автора повести в журнале “Юность” и автора книги о Чаадаеве совершенно разный, но по своей сути эти вещи родственны между собой. Их объединяет общий критерий личности — критерий измелёнчатый, обскровленный отрывом от внутренних сил народной жизни”.

Анатолий Никонов прекрасно отдавал себе отчёт в возможных последствиях публикаций подобных статей. Лобанов вспоминал, как Никонов, читая его статью “Нахватанность пророчеств не сулит...”, слегка усмехаясь, произнёс: “После того как мы разнесём Евтушенко — не разнесут ли нас Лужники?” Ладно — Лужники. Лобанову пришлось отвечать на выступление в норвежской газете некоего господина Нага, который назвал Евтушенко “борющейся личностью” и “предшественником Достоевского”(!), статью Лобанова охарактеризовал, как “интеллектуальную мерзость”, о самом критике написал, что тот

“не имеет ни разума, ни чувства”, а о своём собственном опусе отозвался как о “предостережении как в Советском Союзе, так и в других странах”.

...Никонов, видимо, рассчитывал на поддержку Первого секретаря ЦК ВЛКСМ Сергея Павловича Павлова, для которого святая память о Великой Отечественной была неотрывна от всего, что было сотворено с этой памятью ещё несколько лет назад, во времена Хрущёва (при том, что сам Павлов был “хрущёвцем” – ставленником Первого секретаря). Заместитель Никонова Валерий Ганичев вспоминал, как Павлов в 1965-м вызвал из обоих для серьёзного разговора: “Можем мы сделать так, чтобы молодёжь снова гордилась своими отцами? Ведь при Никите мы их заплевали. Плохо, видите ли, воевали”... Человек чуткого государственного мышления, он почувствовал, что может зародиться широкое патриотическое молодёжное движение, миллионы молодых будут приобщены к подвигу отцов. Действительно, в течение нескольких лет был организован массовый поход по местам боевой славы нашего народа, руководимый штабом, в который входили видные военачальники, Герои Советского Союза, общественные деятели, комсомольцы, пионервожатые...

Другое дело – понимал ли сам Павлов до конца смысл перемен, происходящих в “Молодой гвардии”? И готов ли он был во всех ситуациях отстаивать своего протеже Никонова, который благодаря ему занял пост главного редактора?

“С его именем, – вспоминал о Никонове Лобанов, – у меня связаны самые отрадные литературные воспоминания... В этом человеке чувствовался большой деятель, нереализованный, крупный руководитель, он и мог быть им, но, видимо, для этого он был слишком самобытный характер... Историк по образованию, он не был “специалистом” в литературе, но у него было глубокое чутьё на правду в ней, на народное и “антинародное”, как он говорил, и этот крупный взгляд главного редактора определил, в конце концов, направление журнала, которое приобрело вскоре, как это видно особенно теперь, на расстоянии, огромное общественное значение.

Впервые за многие десятилетия заговорили о традициях – истории, народной жизни, культуре, литературы. Из прошлого России возвращалось (хотя бы жалкими урывками) то, что тонуло в “стонах” да “тёмном царстве”. Кажется, из небытия слышались голоса далёких наших предков: Дмитрия Донского, Сергия Радонежского и – совсем уж неслыханное дело! – митрополита Илариона из IX века, автора “Слова о Законе и Благодати”. На страницах журнала всходили ростки национального самосознания. Конечно, было и много лёгкого, шумного: стишки с чуть ли не в каждой строке “Русью”, “Россией”, перепевы о “малой родине”, недостаточная грамотность и историческая, и культурная. Немало было сорного, случайно прибившегося к течению... И всё это – неотъемлемо и неотделимо от Анатолия Васильевича Никонова, всё сходилось к нему, довольно было знать, что он поймёт всё здоровое, не остановит, даст ход ему, чтобы писалось “от души”, с уверенностью в нужности своевременного слова...

Он был натуральный москвич, сердился, когда кто-то неуважительно высказывался о Москве. Прекрасно знал старые названия её улиц, площадей, любил иногда задать вопросец по части истории города, который ставил в тупик (и в этом был схож с Кожиновым. – С. К.)... Мы все, пережившие прошлое, живём с незаживающим чувством потерь... У Никонова были свои, московские потери. Не было уже той Москвы, какой она была в 30-х, памятных ему годах. Исчезли архитектурные жемчужины, украшавшие белокаменную, делавшие её одним из красивейших, самобытных городов мира. Память об этом тяжёлом камне висела на душе коренного москвича-патриота. Не случайно в “Молодой гвардии” впервые появился систематизированный материал о разрушенных памятниках Москвы, перечень снесённых с лица земли московских храмов.

Рядом с “Письмами из Русского музея” Владимира Солоухина в журнале появилась потрясающая повесть Виктора Курочкина “На войне, как на войне” (“Какую вещь мы получили!” – восхищался Никонов, потирая руки в радостном возбуждении). Александр Яшин по горячим следам записал в дневнике: “Отличная, талантливая вещь. А её громят в “Литературной газете” и, кажется, в “Комсомольской правде”. Конечно же, подонки должны завидовать каждой талантливой вещи и принимать её в штыки, потому что каждая такая повесть разоблачает их бездарность”.

Кожинов мгновенно отозвался на её появление в уже упоминавшейся статье “Искусство живёт современностью”. Он, оставшийся если не совершенно равнодушным, то хладнокровно спокойным к бурным обсуждениям “лейтенантской прозы” Симонова, Бакланова, Быкова, Бондарева (как и к ней самой), мимо повести Курочкина пройти не смог. И объяснил, почему.

“Это самобытное изображение войны, с поразительной убедительностью раскрывающее, почему мы победили в этой войне. Здесь показано, как побеждали люди, которые воевали “не по правилам”, ибо это была не просто победа армии, но победа народа. Совершая своё открытие, писатель отбросил установившийся у нас в изображении будней войны этакий хемингуэвско-ремарковский стиль (он впервые проявился в книге “В окопах Сталинграда” Виктора Некрасова, отмеченной Сталинской премией. — С. К.), который неизбежно приносил и соответствующее содержание, не давал возможности воссоздать истинное лицо этой войны, приводил с собой неких внешне суровых, замкнутых и немногословных “стопроцентных мужчин”, внедрял своего рода военно-спортивную атмосферу, которая была совершенно чужда этой войне... И в образах героев как бы просматриваются черты, которые сегодня в наши дни свойственны облику тех из них, кто выжил. Эти живые современники незримо присутствуют в повести, как присутствует в ней и сам автор, человек 60-х годов”.

Кожинов привёл здесь же строки из письма, напечатанного в “Вопросах литературы”: “Могу назвать многих авторов современных романов, которые по широте охвата тех или других событий могут соперничать с классиками. Но, увы, они далеки от совершенства. “Тишину” или “Солдатами не рождаются”, например, можно прочитать один только раз. Где красота языка? Точность? Изящество формы?” Кожинов сделал к этой цитате необходимое дополнение (интересно, что при перепечатке статьи в сборнике избранных критических работ в 1982 году редакция выбросила упоминавшиеся названия этих популярнейших произведений начала 1960-х): “Без красоты, точности, изящества формы невозможны эти качества и в содержании. Более того, и глубина, и даже подлинная художественная широта... немислимы без совершенства, без лирической глубины и эпической широты самой формы”.

Через год Вадим Валерианович снова вернулся к повести Курочкина и её главному герою: “Одним из необходимых условий творческой победы писателя явилось то, что он отказался от уже ставшего дурной традицией использования “хемингуэвщины” в стиле и ритме. И именно это, в частности, позволило ему с замечательной убедительностью показать, почему мы смогли победить едва ли не самую лучшую в мировой истории армию, где было, между прочим, гораздо больше “профессиональных”, стопроцентных солдат, чем у нас. Его герой — Саня Малешкин — в “хемингуэвской” художественной системе мог бы предстать только как персонаж “заднего фона”, к тому же чисто комический и неспособный совершить что-либо значительное. Он воюет явно “не по правилам”, в нём нет никакой “спортивности”, ему абсолютно непонятна была бы “чемпионская” логика в духе “победитель не получает ничего” (в частности, потому, что он и не хочет ничего получить, кроме победы над смертельным врагом). Но Саня Малешкин — вернейшее воплощение народа, сумевшего подняться, когда руки врага, казалось бы, уже сжались на горле, и совершить то военное “чудо”, которое ещё долго будут разгадывать историки.

Этого Малешкина писатель создал тем искусством, тем мастерством слова, которое не даётся без подлинного жизненного “поведения” и честного художнического труда”.

(К сожалению, это было последнее произведение, написанное Виктором Курочкиным. В 1968 году — в год, когда на экраны вышел фильм по его повести, — он был жестоко избит в отделении милиции и больше работать уже не мог. Прожив ещё восемь лет, писатель скончался от второго инсульта, всё это время будучи не в состоянии ни читать, ни писать, ни говорить.)

...К этому времени в культурной жизни произошло несколько событий, характеризующих как саму эпоху, так и напряжение в противостоянии различных сил этого крайне смутного времени.

В печати стали появляться отдельные фрагменты (достаточно пространственные по объёму) массивного труда историка Александра Зимина, который,

увлечённо рассуждая о “Задонщине” как о “предшественнице “Слова о полку Игореве...”, “доказывал”, что “Слово...” – подделка XVIII века. Через много лет он признавался, что не научные, а политические причины подвигли его на создание этого “исследования”, написанного уже по следам прогремевших на весь мир работ французского “скептика” Андре Мазона. Впрочем, это стало ясно уже на обсуждении зиминского фолианта в Институте истории Академии наук в 1963 году. Практически все собравшиеся учёные, что называется, собаку съевшие на изучении памятников древнерусской литературы, отвергли концепцию Зимина, согласно которой “Слово о полку Игореве...” “принадлежало” перу Иоила Быковского для прославления победы Екатерины II в Малороссии и в Крыму... При этом большинство выступавших (в частности, академики Дмитрий Лихачёв и Борис Рыбаков) настаивали на необходимости издания данного сочинения, чтобы “автор разоблачил сам себя”... (При своей жизни автор так и не собрался, а может быть, и не захотел приложить какие-либо усилия к изданию, хотя работал над текстом до самого конца). Само обсуждение проходило в сугубо академической форме, кажется, участники заранее договорились между собой по возможности избегать в разговоре любого привнесения “политики”... Но избежать этого не удалось. Потому что “политику” внёс в это обсуждение не кто-нибудь, как... “гонимый” Зимин. Услышав от Дмитрия Сергеевича Лихачёва, что он, по сути, совершенно не оригинален, Зимин разразился пламенной речью.

– Если говорить о предшественниках, – а о них говорить всегда нужно, – то я считаю, надо было бы сказать о том, кто же начал полемику с Мазоном и чьи аргументы потом получили развитие. Первым выступил в защиту древности или против Мазона П. Н. Милюков. Его аргументы повторяются в основных чертах и развиваются дальше Д. С. Лихачёвым... Это историографический факт, о котором Д. С. Лихачёв почему-то всегда умалчивает. Далее. Основной противник позднего происхождения “Слова...” – небезызвестный профессор Р. Якобсон (США), политические и научные представления которого достаточно ясны. Его школа поднимается на щит в зарубежной славистике, и я что-то не слышал, чтобы Д. С. Лихачёв хоть когда-нибудь подвергал взгляды Якобсона и его последователей серьёзной критике... Д. С. Лихачёв не упомянул и ренегата Лесного, бежавшего с немцами из Киева и подвизающегося сейчас в Австралии. Этот, с позволения сказать, “учёный” дикой бранью встретил не только работу Мазона, но и прислал, как мне сообщил С. В. Шервинский, уже готовую разностную рецензию против Зимина в комиссию по “Слову о полку Игореве...”... Можно было бы напомнить о том диком вое (иного слова не подыщешь), который был поднят реакционными славистами, прослышавшими теми или иными способами о докладе Зимина и пытающимися сколотить общественное мнение за рубежом против Зимина. Я имею в виду и выступление Якобсона на съезде славистов с анонимным выпадом против меня, и “деятельность” в этом направлении главных столпов реакционной славистики – украинского националиста Д. Чижевского, и “патриарха” эмигрантских историков Г. Вернадского, и многих других. Все они с нетерпением ждут возможности начать разнузданную кампанию против Зимина...

В общем, Лихачёв попал у него в “достойную компанию” – и трудно охарактеризовать эту речь иначе, чем пространный устный политический донос. Но Зимин на этом не остановился. Он до такой степени разошёлся, что в заключительном слове обнажил, по сути, причины, крайне далёкие от науки, по которым взялся за свою многостраничную работу.

– Возможность постановки таких сложных и больших дискуссионных вопросов была совершенно исключена в годы культа личности Сталина. В этот период даже всякие попытки отрицать древнее происхождение “Слова о полку Игореве...” считались кощунством, надругательством над русской культурой и наглядным проявлением космополитизма. Исторические решения XX и XXII съездов партии привели к коренному перелому в решении важнейших проблем отечественной истории, раскрылись невиданные перспективы для развития нашей отечественной науки. Долг советских учёных – с благодарностью ответить на ту заботу партии и правительства, которую они оказывают развитию самой передовой в мире науки... Именно поэтому, руководствуясь решениями нашей партии, руководствуясь теми заветами, которые оставил нам великий Ленин, я и решился на то, чтобы поставить, как мне кажется, большой и важный вопрос.

8 октября 1966 года в “Литературной газете” публикуется памфлет Михаила Лифшица “Почему я не модернист”, после которого этот автор, образованнейший философ и искусствовед, “герой” первого постановления по журналу “Новый мир” 1954 года (тогда, снимая Твардовского, партийные идеологи формально инкриминировали ему публикацию нескольких статей и, в частности, статью Лифшица “Дневник Мариэтты Шагинян”), мгновенно стал “нерукопожатным” в “демократических” кругах. Удивляться этому не приходится, если вспомнить, скольких “священных коров” — начиная от Пикассо и кончая Мейерхольдом и Эренбургом — он затронул в своей статье, ранее опубликованной в европейских журналах:

“Почему я не модернист, почему всякий оттенок подобных идей в искусстве и философии вызывает у меня внутренний протест?”

Потому что, в моих глазах, модернизм связан с самыми мрачными психологическими фактами нашего времени. К ним относятся культ силы, радость уничтожения, любовь к жестокости, жажда бездумной жизни, слепое повиновение.

Может быть, я забыл что-то существенное в этом списке смертных грехов двадцатого столетия, но мой ответ и так длиннее вопроса. Мне кажется, что модернизм есть величайшая измена служителей духовного ведомства, мандаринов культуры — la trahison des clercs, по известному выражению одного французского писателя. Обывательское приспособление профессоров и литераторов к реакционной политике империалистических государств — это мелочь по сравнению с евангелием нового варварства, заключённым в самых искренних и невинных исканиях модернистов. Ибо первое есть как бы официальная церковь, основанная на соблюдении традиционных обрядов, второе же — это общественное движение, добровольное мракобесие, современная мистика. Не может быть двух мнений о том, что опаснее для людей...

Мне скажут, что есть большая разница между тонкой, иногда в каких-то чертах оправданной полемикой кабинетного мыслителя против неограниченной власти интеллекта и знаменитой фразой Шлагетера в драме нацистского писателя Йоста: “Когда я слышу слово “культура”, я спускаю предохранитель на моём револьвере!” Действительно, разница есть. Всё очень сложно в этом мире, самом сложном из миров. Часть создателей *esprit nouveau*, “нового духа” в искусстве и философии, сочувствовала фашизму в его различных версиях — имена достаточно известны, начиная с Маринетти. Другая часть волею судеб испытала на себе его тяжёлую руку. Мы знаем также, что национальный подъём отсталых народов нередко сочетается с “бурей и натиском” новых художественных течений. Нельзя отрицать столь очевидные факты. Среди модернистов бывают люди необычайной внутренней чистоты, мученики, даже герои. Одним словом, бывают хорошие модернисты, но не бывает хорошего модернизма...

В годы моей юности модернисты были очень сильны в революционной России, и они охотно пускали в ход палку, не подозревая, чем это обернётся для них впоследствии. Народный комиссар Луначарский с трудом сдерживал напор ультралевых, следуя в этом прямому требованию Ленина, и Ленин всё же упрекал его за недостаток твёрдости. Илья Эренбург как-то не сошёлся в мнениях с Мейерхольдом, известным левым режиссёром, который в начале революции стоял в главе театрального отдела Народного комиссариата просвещения. Недовольный эстетическими взглядами Эренбурга, Мейерхольд, недолго думая, вызвал коменданта и приказал ему арестовать собеседника. Тот отказался, не имея права производить аресты. Илья Эренбург рассказывает это в своих воспоминаниях как милую шутку, овеванную дымкой прошлого, а мне жутко. Помню Мейерхольда в другой, более поздний период, когда меч уже висел над его головой, — глубоко, искренне жаль человека, художника. Сколько трагедий и сколько в них горького смысла! “Страданием учимся”, размышляет хор в “Орестее” Эсхила.

Культ силы и вкус к разрушению, присущие всякому модернизму, представлены тем же Эренбургом в лице Хулио Хуренито, мечтающего о голом человеке на голой земле. Война и революция для него — ступени к этой заветной цели: чем хуже — тем лучше. “Великий провокатор”, созданный воображением писателя, был недоломлен умеренностью русских коммунистов, особенно в области культуры, а Ленину понравился роман Эренбурга. В образе Хулио Хуренито и во всей окружающей его атмосфере нашла своё отражение сила,

которую Ленин хорошо понимал, считая её самым страшным врагом коммунизма, хотя она сыграла определённую роль в разрушении старой России. Сила эта — мелкобуржуазная стихия, способная уничтожить, смести до полного основания элементарные основы культуры, стихия, несущая в себе великое Ничто, дыхание пустыни...

Когда говорят, что Гитлер стоял за реальные формы изображения, позвольте ответить, что это неправда. Во-первых, в официальном искусстве третьей империи было немало обычной модернистской позы. Это фальшивое восстановление реальных форм часто напоминает мюнхенскую “новую вещественность”, эта напыщенная патетика, стремление к монументальному насквозь пропитаны идеей условной лжи. Нечего говорить об Италии, где официальное положение занимали футуризм Маринетти и бутафорский неоклассицизм, вышедший из того же распада.

Во-вторых, социальная демагогия реакционных сил всегда заимствует у своего смертельного врага внешние черты. Это необходимо для привлечения толпы, “человека улицы”. Достаточно вспомнить само название гитлеровской партии. Существует множество “социализмов”, не имеющих ничего общего с действительным содержанием этого понятия. Разве из-за этого следует отказаться от социализма? Старая легенда гласит, что Христос и Антихрист похожи друг на друга. И действительно, в роковые минуты истории такие оптические иллюзии — не редкость. Но горе тому, кто не умеет отличить живое от мёртвого. Прежде всего, нужно отбросить внешние аналогии, которыми охотно пользуются враги социализма, смешивая болезни нового общества с гнойными язвами старого мира.

В-третьих, будущее рождается в муках. “Страданием учимся”, и тот, кто думает, что подвём искусства из глубокой ямы, в которой оно оказалось (по признанию многих авторитетных свидетелей разных направлений), может протекать иначе, просто очень нервный господин. Литература, конечно, более счастлива, чем живопись, хотя бы потому, что её сильное время не так далеко от нас. Традиция классического реализма в литературе ещё жива, о чём свидетельствуют по-своему и многие произведения современных западных писателей, имеющих большой успех в Советском Союзе (часто больший, чем у себя на родине)...

Тут не выдержал даже престарелый “мастодонт”, жизнь положивший на войне за принципы социалистического реализма, — Валерий Кирпотин. Прочитав Лифшица, он записывал в дневник:

“Статья, которую мог бы написать образованный хунвейбин. Матисс и Пикассо названы предшественниками Гитлера. Остаётся только найти, что Мао Цзэдун где-нибудь в юности увлекался модернистами, — и всё будет в ажуре”.

В ноябре того же года в 11-м номере журнала “Москва” печатается первая часть романа Михаила Булгакова “Мастер и Маргарита” (этот роман на долгие годы станет предметом бурных обсуждений, споров, восхвалений и проклятий). А в декабре в Белом зале Союза кинематографистов СССР состоится первая премьера фильма Андрея Тарковского “Андрей Рублёв”.

Скорее всего, Кожин увидит вторую премьеру уже перемонтированной ленты в 1969-м — выскажет крайне отрицательное отношение к этому фильму... А пока он с упоением работает над книгой “Как пишут стихи”, заказанной ему редактором издательства “Просвещение” Валентином Недзвецким. Внимательно и благожелательно вчитывается в статьи Михаила Лобанова и других авторов “Молодой гвардии”, ещё не зная, что и сам напечатается в этом журнале незадолго до ухода (далеко не добровольного) с поста главного редактора Анатолия Никонова.

(Продолжение следует)

РОДНОЕ И ВСЕЛЕНСКОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

*Доклады на 13-й Кузнецовской конференции
Института мировой литературы**

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ
(Воронеж)

ВЗГЛЯД ИЗ ДРУГОЙ ЭПОХИ

Статья Татьяны Глушковой “Через несколько лет...” и поэзия Юрия Кузнецова

Прошло почти тридцать лет с того времени, когда стихи Юрия Кузнецова представлялись некой инородной частью русской лирики. Причём определение “лирика” подразумевало среди прочих качеств также и задушевность, расположенность автора к читателю, разговор на “всем понятном языке”. За эти годы в жизни русского человека произошли невообразимые прежде изменения – рухнула советская государственность, ушли из практического ежедневного обихода такие понятия, как справедливость, честность, ответственность. Конечно, эти свойства русского характера сохранились в реальности, но теперь они выглядят почти маргинальными на фоне пустого резонёрства и фактического цинизма чиновного и делового сословия, неискоренимой пошлости телевидения, художественного сговора влиятельных персон внутри самой культуры, когда грязное и порочное стало называться интересным и творческим, а очевидно тупое – интеллектуально продвинутым. Сместились координаты, в которых ранее рассматривалась поэтика Кузнецова, и русский ум потребовал смысла: где мы находимся во времени? Каково пространство, в котором живёт современный человек? Что хранит наша память? Какие святыни нам дороги? Что сулит нам завтрашний день? Сильна ли ещё русская душа? И неожиданно давние стихи ушедшего поэта переключаются с новой действительностью, помогают нам понять себя и поддерживают в нас ещё тлеющую волю к жизни.

За последние полтора десятка лет появилось много работ о самых разных сторонах поэзии Юрия Кузнецова. Почти все размышления начинаются в какой-то степени с чистого листа – и в этом есть своя, очень верная логика, уводящая исследователя от полемики с антагонистами, которые остались в прошлом. Между тем, среди прежних литературно-критических текстов можно найти суждения на редкость точные, и они помогут нам понять некоторые аспекты художественной мысли поэта. В первую очередь, стоит обратить внимание на большую статью Татьяны Глушковой “Через несколько лет: “Русский узел” в стихах наших дней” (1983–1985). Главным тезисом здесь является

* Публикуются в сокращении.

понятие “безотцовщины”, родового одиночества – это трагическое состояние коснулось в литературе почти всех “детей войны” и отразилось, так или иначе, в их произведениях.

Касаясь ряда имён и стихотворений, Глушкова ведёт речь, прежде всего, о творчестве Юрия Кузнецова и, в отличие от многих критиков, выделяет в “безотцовщине” главное: ментальное и душевное устройство поэта. Такой угол зрения принципиально важен, поскольку у большинства иных стихотворцев, испивших в детстве ту же горькую чашу одинокого детства, лирическая ткань насыщена, главным образом, деталями и **переживаниями** автора, образительными средствами вовлекающего читателя в круг своих чувств и предметов, окружавших в давние годы юного героя. В результате возникает эффект **сопереживания**, без которого не может существовать поэзия, однако мысль, соединяющая времена, – нынешнее и прежнее – остаётся непроявленной. Татьяна Глушкова, напротив, высоко ценит этот ракурс поэтического сюжета, скрепляя его с проблемой историзма. При таком подходе отчётливые черты ушедшей поры соединяются с канвой стихотворения, и оно автоматически становится дополнительным (теперь уже литературным) свидетельством русского лихолетья.

Однако всякое событие, тем более грандиозного масштаба, производит в человеке некую переустановку ума и души, его “Я” меняется, обретает новые свойства и утрачивает некоторые старые. В обиходе мы называем это душевным опытом, но на самом деле внутри нас возникает какой-то ещё не ведомый инструмент для проверки настоящего мгновения и разгадки будущего хода вещей. С подобным душевным переустройством, без сомнения, связано становление поэтического мира Юрия Кузнецова. Поэт словно бы обрёл невиданное прежде зрение и в картинах реальности, отодвигая насыщающие глаз подробности, стал видеть вторую и третью глубину слов и движений, людей и явлений, народов и мистических существ. Двигаясь от кроны дерева вниз, он созерцал его корни, погружаясь глубже, минуя почву, наткнулся на базальт, раздвигая материю, проваливался в какие-то непостижимые бытийные глубины, в коих и творилась, причудливо меняясь, судьба России – тяжкая, горькая, но и славная, высокая духом. Можно сказать, что перед нами возникает образ визионера, владеющего поэтическим слогом. Для отечественной поэзии в подобной фигуре нет ничего запретного, большие и малые русские стихотворцы обладали таким даром и ценили в себе способность созерцать “подкладку” происходящего, преодолевая плотную границу очевидного.

Среди “детей войны” Юрий Кузнецов – один из немногих поэтов-визионеров последнего времени, и потому его стихи столь не похожи на произведения собратьев по детскому несчастью. Сюжеты Кузнецова не совпадают с “объективным” историзмом, но воссоздают перед читателем картины, которые, по логике рассуждений Татьяны Глушковой, можно назвать *историзмом гипертрофированным*. Вот только сегодня вокруг нас кипит совсем другой мир, так не похожий на советскую обыденность 1980-х, и уже он порой чудовищно аукается в движениях лирического сюжета прошлых стихотворений поэта.

У Юрия Кузнецова конфликт как бы *вынут из реальности* и подвергается сомнению весь её осязаемый контекст, тогда как у всех иных авторов того же поколения конфликт лирической истории *опрокинут в реальность*, что почти неизбежно переносит произведение в ограниченное смысловое пространство стихов-свидетельств. В финале стихотворения “Бывает у русского в жизни...” (1974) присутствует строка, в те годы не имевшая того программного значения, которое ныне столь наглядно и расшифровывается как пророчество или *провидение*: “Идти мне железным путём // И зреть, что случится потом”.

У Глушковой, пожалуй, впервые в послевоенной литературе мы сталкиваемся с отрицательным интонированием слова “безотцовщина”. В нём приглушена сострадательная доля смысла и определённо акцентирована отрезанность героя и автора от родового корня. Они, кажется, не продолжают прошлое и не связывают его с будущим, но живут только горьким настоящим и мистериальным ощущением грозного завтрашнего дня. В их характере есть что-то странническое, когда всякое место представляется временным, а всё постоянное живёт только в памяти, оставаясь позади как невозвратное.

Тут можно вспомнить чрезвычайно важное замечание Юрия Кузнецова из его статьи “Воззрение”: “Человек в моих стихах равен народу”. И тогда жестокие этапы русской истории окажутся яркой иллюстрацией попыток самых

разных сил отнять у нашего народа его отцовство, отделить корень от ствола и засушить родовое древо. Если помнить об этих обстоятельствах и относиться к ним всерьёз, стихотворения Кузнецова совсем не покажутся “засушенными” в изобразительном отношении, а роковой гул, наподобие того, который слышался Блоку при работе над поэмой “Двенадцать”, станет и для нас предвестием разрушения мира. Нет здесь пренебрежения ландшафтом, пусть Кузнецов и упрекал Пушкина в излишнем пристрастии к пейзажной лирике. И способность поэта различать большие и малые голоса земного царства не отменяется рокотом вселенной, которая слепо убивает своих детей – простых и великих, плохих и самых лучших. Это упрёк Татьяне Глушковой в начале 1980-х, когда ничто как будто не предвещало апокалиптических изменений конца XX века и начала нового тысячелетия.

В “безотцовщине” Кузнецова можно обнаружить, на первый взгляд, непонятную иерархию значимости, как бы перевёрнутую последовательность. Бросая тени погибшего отца рыдающие слова: “...Ты не принёс нам счастья!” – сын оказывается с миром один на один. Его одиночество представляется неизбежным ещё и потому, что сын обрёл жребий поэта. В дальнейшем, уже без оглядки на минувший день и затянувшиеся на сердце рубцы, он движется по теснинам мира и пустынным пределам неземного пространства, где складываются судьбы и, словно неотвратимое бремя, сбрасываются на землю. Павший в сражении отец исполнил предназначенное каждому мужчине: подарил родной земле сына. И тот в настоящем времени первичен. Именно эта первичность в настоящем отодвигает фигуру отца в память, неявно подсказывая читателю: у Юрия Кузнецова всё происходит в настоящем, которое соскальзывает в будущее. Именно эти субстанции времени – настоящее и будущее – составляют для поэта понятие “всегда”, а прошлое, непостижимым образом передавая им свой вес, остаётся только зыбкой тенью.

Сопоставляя стихотворения Юрия Кузнецова с классическими примерами полноты изображения, чувства и мысли у Пушкина и Блока, Татьяна Глушкова называет едва ли не главный изъян поэта, который с избытком перекрывает все её аналитические упреки: “сальеризм”. Эта формула, по существу, отрицает наличие у художника творческого порыва, трепетной связи с реальной жизнью и способности переживать с окружающими людьми их беды и радости, красоту и ужас бытия. В размышлениях Глушковой такая беспощадная констатация присутствует как бы вскользь, не приводя исследователя к окончательному выводу: Кузнецов использует сухие схемы, в его строках нет сердца, детская наивность как первооснова художественного порыва ему совершенно не близка. Приведённые позиции могут быть, при желании, опровергнуты многими произведениями поэта. И потому в заключениях критика видна изначальная нелюбовь к стихам автора, совершенно не похожего на иных современных лириков, отчётливое нежелание, помимо отстранённых наблюдений, отметить достоинство или просто поэтическую удачу в его образах, сюжетах, сопоставлениях, нравственном устройстве нарисованного им мира. Умозрительность и порой герметичность ряда художественных высказываний Юрия Кузнецова не отменяют его стихотворений, написанных безыскусно и эмоционально (“Анюта”, “Кубанка”). А в поздних стихах и поэмах изобразительная основа точна и проработана мастером: рисунок и композиция безукоризненны, а цветочные пятна даны с замечательным пониманием меры.

Сегодня нет повода спорить с давней работой уже ушедшего от нас критика, тем более что и творчество поэта с его кончиной обрело свои границы. Анализ Татьяной Глушковой стихотворений Юрия Кузнецова подробен и внимателен, в нём есть очень верные движения мысли и серьёзные задачи, хорошо понимаемых исследователем. Вот только умозрительность, в которой обвиняет поэта автор статьи, оказывается свойственна самому критику. А нежелание поверить художнику, понять и принять хотя бы некоторые постулаты воссозданного им художественного мира свидетельствует о самодостаточности читателя и его фатальной неспособности выйти за пределы своего “Я”, раствориться в бытии и с великой осторожностью совмещать его контуры с видимой и противоречивой реальностью.

ВЛАДИМИР БОЯРИНОВ

(Москва)

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И НАЦИОНАЛЬНАЯ ПОЭЗИЯ РОССИИ

С улицы

В 1974 году волею судеб меня перенесло из семипалатинских степей в столицу нашей родины. К этому времени я перешёл на второй курс заочного отделения Литературного института им. М. Горького. Из писательской среды я знал только одного живого поэта, руководителя семинара Егора Исаева, который ещё не был Героем труда и Ленинским лауреатом, но у меня даже мысли не возникало обратиться к нему по поводу подходящей работы. Я просто собрался с духом и в один из ясных августовских дней вышел на поиск, как выходят в море или на охоту. На соседней улице располагалось издательство “Художественная литература”. Когда решение принято – робость остаётся за дверью. Я переступил порог отдела кадров, где отставной полковник по фамилии Спок, щадя моё простодушие, сказал:

– Ты хоть понял, куда попал? Здесь работают жёны и дочери, – последние слова он произнёс вразяжку и многозначительно, вздевая указательный палец. – Они съедят тебя на десерт и при этом – очень быстро. А поезжай-ка ты на улицу Ярцевскую, – он написал адрес на квадратике бумаги, – там недавно открылось молодёжное издательство “Современник”. Если не возьмут – узнаешь хотя бы, где поэты свои первые книжки печатают.

И уже другой отдел кадров. Заведующая Галина Яковлевна ведёт меня в редакцию литератур народов РСФСР. В маленьком, с позволения сказать, кабинете сидел крупный мужчина с вьющимися волосами и оленьими глазами. Он курил болгарские “БТ” (он всегда курил только эти сигареты), выпуская дым через нижнюю губу.

– Юрий Поликарпович, вот вам кадр, поговорите с ним, – сказала заведующая и оставила нас наедине.

Мой работодатель был задумчив, если не мрачен. Он ведал в редакции литератур народов России поэзией, и как выяснилось позже, Юрия Поликарповича Кузнецова раздражала свёрнутая в трубочку газета “Советский спорт”, которой я невольно поигрывал. И пусть только в 1998 году Кузнецов признается: “Что не люблю, так это спорт, поверьте...” – поэт не был к нему расположен и в середине семидесятых.

Последовало несколько дежурных вопросов и односложных ответов.

– Кого любишь из современных поэтов? – вдруг спросил Кузнецов. “Первый раз тебя вижу, а ты просишь в любви исповедаться, – мелькнуло в голове. – Не на того попал”.

– Василия Фёдорова и Леонида Мартынова, – ответил я.

– Старые маразматика, – сквозь зубы процедил Кузнецов. – Ещё кого?

– Игоря Шкляревского.

– Мелкота, – вконец разочаровался Кузнецов. И давая понять, что разговор закончен, добавил:

– Завтра принесёшь свои стихи.

Это теперь ясно, что неведомая сила вынесла меня напрямиком на Юрия Поликарповича Кузнецова, у которого ещё не было знаменитых книг, но сам он совершенно чётко осознавал своё место в русской поэзии. И в каких бы дружеских отношениях мы порой ни находились впоследствии – язык не поворачивался назвать этого человека запанибратски по имени. Для меня он всегда был и остаётся Юрием Поликарповичем.

А тогда подумалось: “Ну и тип! Какие могут быть стихи! Да гори оно огнём!”

Однако на другой день я сидел в том же кабинете и с удивлением наблюдал, как терпеливо Кузнецов читает мою рукопись, раскладывая её на три стопки. Над одним из лирических откровений он хмыкнул: “Шла она, к другому прижималась, и уста скользили по устам...”

Наконец он хлопнул ладонью по одной из разложенных им стопок и объявил приговор:

– Это – Рубцов!

Хлопнул по второй:

— Это — твоё!

Третью он пренебрежительно и резко отодвинул от себя:

— А это отнеси в журнал “Юность”.

Потом глянул на меня столь торжествующе, как будто положил на обе лопатки:

— Иди, заполняй учётный лист.

Над этим листом Кузнецов раздумывал недолго, но остановился на имени жены — Рауза — и спросил:

— Татарочка?

Получив утвердительный ответ, впервые улыбнулся:

— Правильно. Восток надо покорять.

Я ещё не знал, что “покорённый” им самим Восток носит имя Батимы и родом из моего же термоядерного Семипалатинска.

Лопсон

В советское время издательский процесс представлял собой отлаженный конвейер, и если рукопись по плану сдавалась 15 октября, то — кровь из носу — именно в этот день она должна была уйти в типографию.

В плане выпуска 1976 года стояла рукопись бурятского поэта Лопсона Тапхаева. Молодого автора открыл Юрий Кузнецов, дал высокую оценку и пообещал своему ровеснику, также потерявшему отца на войне, помочь с переводом.

При этом надо отметить, что Юрий Кузнецов никогда не переводил сборники целиком. Оставляя за собой “право первой ночи”, он отбирал философского плана стихи и — реже — поэмы. Если мы делали книгу совместно, то ко мне переходила любовная лирика и народные мотивы.

Но книга “Сияние в Саянах” Лопсона Тапхаева была нашей первой совместной работой.

Срок сдачи “Сияния” неумолимо приближался, вот уже осталось меньше полутора месяцев, а Юрий Кузнецов после выхода сборника “Край света — за первым углом” не только продолжал пожинать плоды славы, но и пахал, как Микула Селянинович. Тут было не до переводов.

В один из понедельников он позвал меня в кабинет и спросил:

— Переведёшь книжку Тапхаева за месяц?

Я задумался. Получалось почти по 50 строк в день. Ничего невозможного в этом не было, если бы не служба...

— Приходить на работу будешь только в понедельник с готовыми переводами, — упредил мой вопрос Юрий Поликарпович. — Буду читать. Может быть, и сам что-то переведу. А начальство спросит — я прикрою.

И началась страда! Если учесть, что первой моей дочке к тому времени и года не было, и жили мы в коммуналке на 20-ти метрах, то мои вдохновенные страдания, естественно, удваивались и происходили в ванной комнате, где я запирался вместе с подстрочными переводами. Через неделю я понял, глядя на Кузнецова, что Лопсон Тапхаев звучит на русском языке сообразно своему таланту. И моему тоже.

Но надо знать Юрия Поликарповича! Вот в одном из стихотворений прошла арба. Какая трава осталась под колёсами? Естественно — примятая.

Лицо Кузнецова искажается, как от зубной боли:

— Измятая! — почти кричит он.

— Почему?

Кузнецов делает движение, словно срывает пучок травы и, растирая его в ладони с такой силой, что вот-вот брызнет сок, выдыхает:

— Да потому что экспрессии больше!

Всё на той же арбе — то там, то здесь — появлялся старец: “мелькал в степи, как вечности частица”.

Кузнецов правит своим бисерным почерком: “мерцал в степи”...

И если таких правок в стихотворении было несколько, то из перевода неотвратимо наплывал кузнецовский слог. А что уж говорить о самих переводах Юрия Кузнецова. Он не был артистом, не играл в стиль другого поэта. Он всегда оставался Кузнецовым. Неповторимым.

Книга ушла в производство по графику. Юрий Кузнецов успел сделать всего один перевод. Зато какой!

*...На концах растопыренных пальцев
Отражённое эхо живёт,
И шершавую бездну пространства
Я читаю на ощупь, как крот.
...Дома нету ни зги, ни просвета,
И на улице тоже темно.
Тьма души — как особая мета,
Ни стереть, ни уйти не дано.
...Это солнце встаёт не с востока
И заходит не в этом краю.
Это солнце горит одиноко —
Я о нём свою песню пою.
В этой песне душа забывает
О печали, идущей вослед.
Как ребёнок, душа засыпает,
И далёкий ей брезжится свет.
...В тесноте незнакомого мира
Я, как дятел, стучу по земле.
И со всем, что тревожно и мило,
Расстаюсь и встречаюсь — во мгле.
(“Монолог слепого”, в сокращении)*

Слышите слог, который не спутаешь ни с каким другим?

Я бы не приводил для примера это стихотворение, если бы не знал наверняка, что Юрий Кузнецов как истинный мастер гордился своими переводами. Было чем. Но при этом не терял чувства юмора. А так как на титуле стояло: “Перевод с бурятского Владимира Бояринова и Юрия Кузнецова”, — целый вечер после выхода книги подначивал в застолье: “Так чьи переводы лучше?”

А застолье состоялось благодаря моему с Кузнецовым пари.

Книга вышла в день зарплаты, бухгалтерия была готова выписать нам гонорар. Но ещё не пришла справка из Книжной палаты, в которой указывалось, какое по счёту издание на русском языке имеет то или иное стихотворение. А так как “Сияние в Саянах” было новинкой, то и предоставление этой справки было несложным делом для палаты.

Я договорился с бухгалтерами о том, что к вечеру принесу этот желанный документ, а они выдадут гонорар. После чего объявил Юрию Поликарповичу:

— Вечером обмоем наше “Сияние”.

— А что, — удивился Кузнецов, — справка пришла?

— Сама сегодня уже не придёт, но я её добуду!

— Слабо! — сказал Кузнецов. И мы ударили по рукам.

Я позвонил в Книжную палату заведующей Конюшовой. Рассказал ей выдуманную на ходу историю о том, что бурятский автор Лопсон Тапхаев сейчас находится в Москве, но завтра улетает в Прагу, а так как у него есть шанс получить в издательстве “Современник” гонорар, то не могли бы вы выдать справку сегодня. Тем более что это первая книга автора на русском языке, и Палате не надо было проводить исследование на тему: сколько раз издавалось каждое стихотворение в книжном варианте. Подобная справка состояла из трёх предложений.

И пусть нас разделяло расстояние от метро “Молодёжная” до метро “Библиотека Ленина”, но я увидел, как на другом конце провода заведующая Конюшова широко улыбнулась моей хитрости, а въяве сказала:

— Так пусть сам Лопсон Тапхаев и придёт за справкой.

Но меня уже трудно было остановить.

Дядя моей жены по имени Ахмет имел вполне восточный вид, а при галстуке и в шляпе выглядел убедительно и солидно.

Когда мы с Ахметом вошли в огромный зал Книжной палаты, где за тесными столиками сидело не меньше трёх десятков женщин, работающих над пресловутыми справками, и где, словно классный руководитель, за столиком пошире угадывалась наша заведующая, мы наперебой заговорили с родственником на таком замысловатом языке и так громко, что заведующая Конюшова без проволочки выдала Лопсону-Ахмету желанную справку.

Ахмет поблагодарил Конюшову по-татарски. А я, размахивая руками и как бы объясняя существо происходящего своему спутнику, прочёл очередное стихотворение на казахском языке, выученное ещё в семипалатинской средней школе. Собственно, в этом и заключался секрет нашего толмачества, где бурятским языком даже не пахло.

Справку я принёс сначала Кузнецову – в знак того, что пари выиграно. Потом отдал в бухгалтерию. И мы получили гонорар.

А ещё через полгода Лопсон Тапхаев за книгу “Сияние в Саянах” получил премию Ленинского комсомола. Но и это ещё не всё. Наш поход в Книжную палату обрёл черты легенды, и татарская родня переименовала дядьку Ахмета в Лопсона.

Не дозрел

Кому-то Кузнецов казался слишком мрачным, кому-то – замкнутым. Когда я начал его понимать, стало очевидным: не только в минуты некой отрешённости, но всегда и везде его не покидала неотвязная и неведомая сосредоточенность, принимаемая многими за угрюмость.

То ли на 23 февраля, то ли на 9 Мая наша редакция выпустила серьёзную стенгазету. И передовица в ней была серьёзная, и стихотворение Юрия Кузнецова тоже:

*Бывает у русского в жизни
Такая минута, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе, как звезда...*

Такой оборот показался мне декларативным и прямолинейным. Стоя в тесном коридорчике, который одновременно служил для нас курилкой, я решил с “выражением” прочесть эти строки в присутствии других сотрудников. Прочесть так, чтобы они увидели: и на старуху бывает проруха. Я вошёл в раж и не заметил, как за моей спиной вырос Кузнецов. Он положил руку на моё плечо и с сожалением произнёс:

– Не дозрел!

Любимая песня Бога

В Литературном институте прошёл вечер памяти Юрия Кузнецова. Там же была попытка презентации книги Кузнецова “Крестный путь”, которая по какому-то фантастическому недомыслию издателей вышла под названием “Крестный ход”. Ошибку они осознали в тот момент, когда весь тираж был уже отпечатан. Поэтому выступающие несколько раз запинаясь об этот казус, и когда очередь дошла до выступления редактора, его в зале уже не было. Но вечер получился чинный.

Батима подарила каждому по книжке и диску с записью стихов и песен на стихи Юрия Кузнецова.

Придя домой, я поставил диск на прослушивание. Рядом присел шестилетний внук Артём, и когда очередь дошла до “Колыбельной”, отнюдь не نابожный пятилетний мальчик вдруг сказал: “Это любимая песня Бога”.

МАРИНА ГАХ

(Москва)

ВСЕЛЕНСКОЕ И СО-ВРЕМЕННОЕ В ТВОРЧЕСТВЕ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Мне кажется, что название конференции “Вселенское и родное в творчестве Юрия Кузнецова” несколько диссонирует с представлениями самого Кузнецова. Он всегда пытался донести до нас, что *вселенское* является *родным* для поэта. Это звучало на многих его семинарах, особенно ярко выразилось

в темах “Родина” и “Память”. Кузнецов считал, что без родины не может быть поэта. Люди мира, для которых дом там, где им хорошо, не могут быть творцами, потому что им не на чем распрямиться. Они, как перекасти-поле, не имеют глубинных связей со своим народом, со своей духовной культурой. Между тем только твёрдое и прямое даёт возможность самоформирования творческого существа.

Но и узкое видение, когда малая родина закрывает весь горизонт, не помогает творчески мыслить. Для поэта родина – мать, а отечество – вся вселенная. Кузнецов считал, что поэт обязан знать не только свою и мировую культуру, но и религию. Должен вникать в иное мировоззрение, расширять кругозор образом и переживанием.

Очень важна была для него отзывчивость славянской души, её способность вбирать мировые образы, как свои, сопереживать и сочувствовать им в полной мере. Иван-не-помнящий-родства – потому что не несёт балласта памяти, как Европа, – оказался способным сохранять, ценить, понимать мировую культуру лучше европейцев (“Отдайте Гамлета славянам...”). О восприятии Кузнецовым вселенского как родного говорит и стихотворение “Петрарка”. Высокомерное отношение Петрарки к пленникам-скифам задело его за живое. В этом стихотворении итальянский поэт в образе своих соплеменников, солдат Второй мировой, узнал в полной мере русское гостеприимство. Кузнецов так завершает стихотворение:

*И никто от порога не гнал,
Хлеб и кров разделяя с поэтом.
Слишком поздно других он узнал,
Но узнал. И довольно об этом.*

Здесь вся широта славянской души, умеющей прощать. Хотя последние слова взяты из письма самого Петрарки, где имели иной – раздражённый – тон (“Впрочем, довольно об этом”). Оттенки смысла – и какая глубокая разница мировоззрений!

Его дом – вселенная. Поэтому в стихотворении “Новое небо” (“Где вы, сёстры и братья мои? // Я построил вам новое небо!”) его сёстры и братья – это все народы. И подтверждение тому – книга его переводов “Пересаженные цветы”. Все стихи, которые он переводил, все авторы становились ему родными, и поэтому они звучат у него так откровенно, чисто, от сердца.

Кузнецов вдохновлял нас писать на вечные темы. Каждый семинар так и назывался: “Слёзы – вечная тема поэзии”, “Память – вечная тема поэзии” и т. д. Тема задаёт уровень. Вечная тема – это тема, затрагивающая вечную часть человека, то есть его душу. И каждая лекция начиналась с экскурса в мировую литературу, в мировую философию. Кузнецов говорил, что в полной мере работать с темой можно, лишь зная о ней то, что сказали другие. Тогда можно выкристаллизовать своё.

Но принимая вселенское как своё родное, он открывает парадоксы (“...русскому сердцу везде одиноко...”). Когда он читал нам лекцию “Одиночество – вечная тема поэзии”, то говорил, что только воцерковлённый человек (чувство соборности) способен избежать одиночества. Для него чувство одиночества будет уже не просто вселенское, но небесное, духовное. Почему одиноко? Потому что истинный дом – там, наверху, с Богом, здесь мы – в гостях, а там – дома.

Среди лекций Юрия Поликарповича особое место занимали две темы: “Время” и “Пространство”. Это не литературная, а скорее философская проблематика. Чувствовалось, что он сам ещё обдумывает её и собирает информацию. В теме “Время” прозвучало, что время для каждого течёт по-разному, что есть время тела и время души. Остаётся в личности только то время, когда полноценно живёт душа. Тут коренится тот интерес ко времени, которым он жил – в поиске тех его составляющих, которые определяют будущее мира и всей вселенной.

*Бывает у русского в жизни
Такая минута, когда
Раздумье его об отчизне
Сияет в душе, как звезда.*

И заканчивает:

...И зреть, что случится потом.

Но столкновение с прямым временем вызывало у него порой отторжение. В девяносто третьем году он участвовал в шествии от ВДНХ к Белому Дому и попал под обстрел. Он рассказывал нам, что поэт не может идти в толпе, что толпа затягивает, лишает индивидуальности, лишает творческого видения. Это были выстраданные наблюдения и слова. Поэтому у него появились удивительные стихи, которые я бы назвала *со-временными*.

Он вычленил во времени то, что будет переходить в будущее, то есть вычленил в его текущем *вечное*. И тут начинается главное в его творчестве. Он вычленяет во времени ближайшие крупницы вечности и облекает их в стихотворения. Так появляются “Маркитанты”, “Неизвестный солдат”, “Последний человек”, “Анюта”, его военные стихи, любовная лирика... Пройдя и пережив в творчестве вселенское как родное, он стал именно *со-временным* поэтом. Он попал в тот качок маятника, который остаётся в вечности.

АНДРЕЙ ВОРОНЦОВ (Москва)

“ТАК ЖИЛИ ПОЭТЫ...”

В русской поэзии есть одно стихотворение. Когда я читаю его первую строфу, то сразу вспоминаю Кузнецова. Это стихотворение Александра Блока “Поэты”:

*За городом вырос пустынный квартал
На почве болотной и зыбкой.
Там жили поэты, — и каждый встречал
Другого надменной улыбкой.*

Ещё я невольно вспоминаю писательский городок Внуково, где у Кузнецова была дача, и тех поэтов – недоброжелателей Кузнецова, которые жили по соседству, и с какой улыбкой (точнее, её отсутствием) он их встречал. Однако это стихотворение в контексте темы конференции меня заинтересовало не этим. Эта параллель была бы слишком простой. Интересней мне показалось то, что это стихотворение, так чётко напоминающее зримые нами реалии в отношениях больших поэтов друг к другу, будучи весьма невесёлым, парадоксальным образом говорит о большом влиянии поэзии, которое она имела тогда. Вот Владимир Бояринов в своём выступлении говорил о том, как Кузнецов реагировал на имена достаточно крупных поэтов (как Леонид Мартынов). Но каждый из них, “встречавших друг друга надменной улыбкой”, – это были *фигуры*, это были люди, из единиц которых вот это великое явление поэзии и существовало. Я продолжу цитировать хорошо известное блоковское стихотворение:

*Напрасно и день светозарный вставал
Над этим печальным болотом;
Его обитатель свой день посвящал
Вину и усердным работам.*

*Когда напивались, то в дружбе клялись,
Болтали цинично и пряно.
Под утро их рвало. Потом, запершись,
Работали тупо и рьяно.*

*Потом вылезали из будок, как псы,
Смотрели, как море горело.*

*И золотом каждой прохожей косы
Пленялись со знанием дела.*

*Разнежась, мечтали о веке золотом,
Ругали издателей дружно.
И плакали горько над малым цветком,
Над маленькой тучкой жемчужной...*

*Так жили поэты. Читатель и друг!
Ты думаешь, может быть, — хуже
Твоих ежедневных бессильных потугов,
Твоей обывательской лужи?*

*Нет, милый читатель, мой критик слепой!
По крайности, есть у поэта
И косы, и тучки, и век золотой,
Тебе ж недоступно всё это!..*

*Ты будешь доволен собой и женой,
Своей конституцией куцей,
А вот у поэта — всемирный запой,
И мало ему конституций!*

*Пуškai я умру под забором, как пёс,
Пусть жизнь меня в землю втоптала, —
Я верю: то Бог меня снегом занёс,
То вьюга меня целовала!*

Думаю, что если бы это стихотворение не было написано в 1908 году, то его можно было бы смело посвятить Юрию Кузнецову. И это не шутка — это особенность русской поэзии. Потому что мы с вами понимаем и по пафосу этого стихотворения, и по внутренней его напряжённости, что это некое продолжение пушкинского “Пока не требует поэта // К священной жертве Аполлон, // В заботы суетного света // Он малодушно погружён...”. Но ясно, однако, и то, что в любой момент, под влиянием любой искры эти люди распрямятся — и зазвучит их божественный глагол. И, как ни странно, эта роль поэтов в том обществе сохранялась и тогда, когда писал стихотворение Блок, и в дальнейшем, уже при советской власти. Ведь когда сочиняли социально-политическую концепцию Русской Православной Церкви, там была такая фраза: “Даже во времена атеистических гонений русская классическая литература свидетельствовала о Боге”. Это правильно. Но я думаю, что творчество любого поэта — даже поэта коммуниста, атеиста, материалиста — свидетельствовало о Боге (конечно, если речь идёт о достаточно талантливом человеке). Ибо если Маяковский написал: “Мой стих трудом громаду лет прорвёт // и явится весомо, грубо, зримо, // как в наши дни вошёл водопровод, // сработанный ещё рабами Рима”, — то ведь это не марксистская трактовка темы, не атеистическая, потому что слово, в соответствии с научным коммунизмом, — это производное социальных отношений, и оно актуально лишь относительно современности, того, что сейчас звучит, а когда оно выходит за свои границы и “трудом прорывает громаду лет”, это уже ближе к евангельской концепции слова, которая звучит в Евангелии от Иоанна. И так было всегда, пока поэзия имела достаточный вес и достаточное влияние в нашей жизни. А она имела, потому что через шестьдесят лет после создания приведённого выше стихотворения Блока появилось другое — Юрия Кузнецова — под названием “Поэт” (это уже характерная особенность Кузнецова: если Блок писал от лица всех поэтов, то Кузнецов писал от лица, так скажем, своего лирического героя, а проще говоря — от самого себя):

*Спор держу ли в родимом краю,
С верной женщиной жизнь вспоминаю
Или думаю думу свою —
Слышу свист, а откуда — не знаю.*

*Соловей ли разбойник свистит,
Щель меж звёзд иль продрогший бродяга?
На столе у меня шелестит,
Поднимается дыбом бумага.*

*Одинокий в столетье родном,
Я зову в собеседники время.
Свист свистит всё сильнее за окном —
Вот уж буря ломает деревья.*

*И с тех пор я не помню себя:
Это он, это дух с небосклона!
Ночью вытащил я изо лба
Золотую стрелу Аполлона.*

Как будто и не проходило шестидесяти лет, не правда ли? Это написано в той же атмосфере, при которой поэзия продолжала влиять на жизнь общества. Конечно, в газетах, по центральному телевидению на первом плане, казалось, было другое. Но этот мир всегда существовал рядом. А тот, кто хоть немного проникся этим миром, понимал, что он гораздо шире, он уходит в бесконечность. Это не тот ограниченный, герметичный мир, где ты “доволен собой и женой” и “своей конституцией куцей”. Те, кто жил в то время, отлично помнят, что голос поэта имел значение, и то, чем он занимался, имело значение. Поэт — это действительно звучало гордо.

Я недавно пересматривал первую серию фильма “Хождение по мукам” режиссёра Ордынского (1977 год), и там очень хорошо передана эта атмосфера всепроникающего влияния поэзии на жизнь. Потому что одна из героинь — Даша Булавина — заочно, по портрету, по стихам безоглядно влюбляется в поэта Бессонова, прототипом которого был как раз Блок. Сейчас же говорить о том, что какой-то поэт, даже красавец-мужчина, влияет на общество, не приходится. Когда я работал в Литинституте, я видел, о ком писали молодые девушки как о герое, в кого влюблялись их героини: это рокеры, рэперы и т. д. Поэтов среди них не было. Всё сместилось и изменилось значительно. И, видимо, произошли какие-то изменения в самом обществе. Сильные изменения. Они были видны и по самому Кузнецову. Он как бы жил в предыдущем времени, когда сила поэзии была ещё велика (во всяком случае, по влиянию на людей) и когда он сам по себе был фигурой весьма и весьма значительной, хотя и не так распиаренный, как Евтушенко или Вознесенский. И одновременно это была картина с примесью абсурда, потому что никто вокруг, кроме литературного сообщества, редакторов, уже так не считал, а он себя продолжал ощущать вот в этом своём прежнем качестве — поэта, который жжёт глаголом сердца людей. Ведь это не просто метафора — в этом выражена искренняя вера: “Поднимается дыбом бумага...”. Это звучит в духе гумилёвского “Слова”:

*В оный день, когда над миром новым
Бог склонял лицо своё, тогда
Солнце останавливали словом,
Словом разрушали города.*

Это то, во что Кузнецов совершенно безоговорочно верил. И это, собственно, то, что делает так называемое Родное, вынесенное в тему нашей конференции, Вселенским — именно принадлежность поэта к этому бесконечному миру, миру вселенской поэзии. А, кстати, он это так и понимал. Да, тогда уже, в те времена, когда вошёл в поэзию Кузнецов (в 1960–1980-е годы), её пространство сужалось, потому что поэт мог реализоваться, завоевать славу, признание, лишь живя в Москве или в Питере (а скорее всего — только в Москве). Я уже вспоминал как-то на одной из наших конференций судьбу прославленного им поэта Валерия Горского, “потускневшей тени Краснодара”, как писал Кузнецов. А где-то в 2006 году, когда были первые Кузнецовские чтения в Краснодаре, мы после первого дня конференции, за дружеским ужином обменивались впечатлениями, и как-то зашёл разговор о Горском...

И все присутствующие краснодарцы по кругу стали говорить о том, какой он был талантливым, великолепным. (Ну, я-то в этом не сомневался, потому что Юрий Поликарпович далеко не каждого хвалил, а если хвалил, то с неохотой...) И я тогда спросил: “А можно ли почитать стихи Горского? Книжечка у него есть? – Нет, книжек у него не выходило... – А где можно почитать его стихи? Может быть, в журналах? – Да нет, он печатался в основном в районных газетах, а их можно, в лучшем случае, добыть лишь в библиотеках. – А наизусть кто-нибудь помнит Горского? – Да нет, наизусть никто не помнит...” То есть он перешёл в разряд легенд, существует только благодаря Юрию Поликарповичу (его памяти о своём друге-поэте). А сам Горский, как известно, чуть ли не под забором где-то умер. Вот она – судьба человека, который, говоря нынешним языком, не работает над собой и трудом не прорывает громаду лет. А Кузнецов знал, что это неперемное условие того, чтобы, в частности, Родное превратилось во Вселенское.

Но вот когда сдвинулись тектонические пласты времени, когда политика и всё остальное, что с нею связано, настолько изменилось, что поменяло и этот мир, это не могло не сказаться и на отношении к поэзии. Причём это совершенно парадоксальное явление. Ведь никогда такого не было, чтобы поэты могли общаться с сотнями тысяч людей на каком-то сайте, как это происходит на безызвестном Стихи.ру (там сотни тысяч подписчиков и ещё форумы). Казалось бы, это значит, что поэзия сейчас на подъёме, вопреки тем словам, которые я произнёс выше. Но если вы зайдёте на эти форумы, то первое, что вы обнаружите, – там нет никаких авторитетов. Второе – там преобладают графоманы, которые не стесняются, как и посетители форумов, употреблять крепкие выражения, в том числе и матерные, при оценке своих коллег. Там нет *уровня*, нет абсолютно никакой градации. И такие явления, как, скажем, Вера Полозкова – это из того же ряда. Чисто распиаренная фигура. Как кто-то мне сказал, свои книжки она сама выпускает тиражом около тысячи экземпляров. А где, друзья мои, даже в самых крупных издательствах, которые сейчас остались, – где там отделы поэзии? Оказывается, нигде и нет никаких отделов поэзии. Это при том, что у нас практически каждый пишет стихи, как я подозреваю. А поэзия на самом деле вытеснена полностью из культурной жизни. Проза как-то ещё закрепились, драматургия и то, что связано с кино. А поэзия вытеснена на обочину жизни. То есть пора уже собирать конференции не только по творчеству Юрия Поликарповича Кузнецова, а по поводу судьбы самого этого уникального явления – поэзии. Оно перешло в разряд графомании и *протопоэзии*.

Вспоминаю, как я работал внештатным рецензентом издательства “Детская литература”. Надо сказать, что меня с ходу приняли и даже обрадовались моему приходу: “О! Мы будем тебе платить, только бери объём литературы, который присылают бабушки, дедушки”. Они сначала сочиняют для детей, а потом у них появляется идея это всё напечатать. Я вынужден был в этом разбираться, и тогда и изобрёл этот термин – *протопоэзия*. То есть это когда что-то сочиняется для утилитарного, простите, использования (чтобы читать детям, успокаивать их колыбельными песнями и т. п.), но ещё не превращается в поэзию. Так что мы возвращаемся во времена протопоэзии, где ещё можно как-то говорить о родном, но уже о вселенском говорить просто не приходится.

Где те поэты, слово которых звучало бы не то что пророчески, а хотя бы как просто красивое русское слово? У нас по-прежнему существуют семинары поэзии в Литинституте, полно поэтических объединений... Но я же вижу, что происходит. Даже когда поэтический семинар на ВЛК (Высшие литературные курсы при Литературном институте. – **Прим. ред.**) вёл Валентин Сорокин (там были приличные поэты), я помню, как они читали свои стихи... Они как-то боком подходили к микрофону и деревянными голосами всё это произносили, потому что чувствовали прибитость своего существования в этом обществе. Я, помню, им говорил: “Почему вы так читаете свои стихи?!” (памятуя, как это делали поэты ещё в восьмидесятые годы – распрямившись, с выражением, а иногда даже и с экзальтацией). Это всё часть процесса совершенного убиения поэзии.

Спрашивается: а не смешно ли тогда, не по-донкихотски ли выглядят вот эти наши попытки популяризировать творчество одного прекрасного поэта, когда мы каждый год собираемся, и всё это организуется, я знаю, не без труда?

И я неизменно прихожу к мысли, что нет, это не напрасно и не случайно. Это не только звенья одной цепи — это необходимое условие. Ведь что может обеспечить возрождение поэзии, её авторитета? Это пропаганда и внедрение (даже таким образом, как это делаем мы на наших конференциях) в сознание людей поэтических авторитетов и того, что они несут своей поэзией. Того, что есть люди, пишущие стихи, а есть те, кому в лоб попала вот эта самая “золотая стрела Аполлона”, и прежде всего, конечно же, это относится к Юрию Поликарповичу Кузнецову.

Поэты снова распрямятся и станут снова глядеть орлами, когда они поймут, что за ними кто-то есть. Ведь сколько раз мы встречаемся в жизни с ситуациями, когда человек охотно вёл бы себя благородно, прямо, справедливо, но ему это очень трудно, если он не знает аналогичных примеров. Люди-то у нас в большинстве своём — порядочные, добрые, хорошие. Но совершают много дурных поступков, потому что не видят подходящих примеров. То же самое и в поэзии. Пока снова не появится новая поэтическая школа, которая заговорит с людьми тем языком, каким разговаривали Блок, Юрий Кузнецов и многие другие поэты даже советского времени, нелюбимые Кузнецовым, у нас ничего не будет. И я вижу, что вот эти наши конференции могут послужить основой для создания вот такой школы, а не только тому, чтобы мы каждый раз вспоминали Юрия Поликарповича, чего он, безусловно, достоин. Ведь была какая-то и у него стратегическая цель (они у него всегда были, потому что это был человек не тактических целей, а стратегических). И я думаю, он бы не возражал против такой постановки вопроса. Его стих прорвал громаду времени и существует до сих пор. И я верю, что наши усилия в этом смысле тоже не пропадут.

СЕРГЕЙ КАЗНАЧЕВ

(Москва)

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ И АЛЕКСАНДР ТВАРДОВСКИЙ

Кузнецов и Твардовский? Что может быть между ними общего? Разве они — не антиподы и в художественном, и, если брать проблему уже, в стилистическом отношении?

И в самом деле, может показаться, что на всём русском поэтическом пространстве нельзя найти две столь несходные фигуры. Яркий поборник автологического стиля, сторонившийся ярко обозначенной образности, неявный, но последовательный противник метафорического мышления, Александр Трифонович Твардовский и взрывной, неординарный, неподвластный общепринятым доктринам, чуждый вкусам всех и всяческих литературных староверов Юрий Поликарпович Кузнецов представляются настоящими полюсами эстетической самореализации.

Один — лауреат многих престижных наград, в том числе Сталинской, Ленинской и Государственной премий. Другой — литератор, получивший весьма невеликую долю почёта и поощрения, обладал более чем скромным иконостасом.

Первый — прославленный, влиятельный, хотя временами и гонимый главный редактор “Нового мира”, второй — скромный заведующий отделом поэзии в “Нашем современнике”. Один — обладатель нескольких правительственных дач в Подмосковье, другой ютился в маломерной внучковской квартире. Один — Твардовский, вращавшийся в высших литературных и политических кругах, другой — Кузнецов, державшийся особняком в сообществе литераторов. Ну, и так далее.

Однако, присмотревшись пристальнее, находишь в этих людях немало и сходного. Один ушёл из жизни в шестьдесят один с половиной, второй — в шестьдесят два с половиной года. И та, и другая смерть были достаточно неожиданными (у Твардовского, прикреплённого ко всем кремлёвским поликлиникам, был внезапно обнаружен застарелый рак лёгких). Подполковник Твардовский прошёл дорогами войны в качестве фронтового корреспондента,

Кузнецов был сыном красноармейского офицера, павшего в боях Великой Отечественной. Тот и другой имели большое влияние на современников и поэтических потомков.

Но это — обстоятельство жизни. А что мы видим при попытке сближения в сфере художественной? Казалось бы, небо и земля, волна и камень, лёд и пламень. Но это — на первый, не особо осмотнительный взгляд. Такими ли уж антиподами были два этих поэта? Не присутствует ли в изначальном строе их личностей единого родного, родственного начала?

Первая точка соприкосновения находится в той плоскости, которая не требует особых доказательств и вполне очевидна: оба они были верны традициям национального народного стиха. Об этом написаны горы книг, хотя о каждом из них — индивидуально. Это единство противоположностей относится к корневым, онтологическим пластам творчества. Конечно, и тот, и другой продвигались к манящей цели своей эстетической траектории своими путями, но путеводная звезда у них была одна.

Но есть черты, роднящие поэтику Александра Твардовского и Юрия Кузнецова, которые залегают в более тонких сферах творчества. Например, в музыкальном и интонационном строе их поэзии. Вслушаемся в звучание ранней поэмы первого из них “Страна Муравия”:

*С утра на полдень едет он,
Дорога далека.
Свет белый с четырёх сторон
И сверху — облака.*

*Тоскуя о родном тепле,
Цепочкою вдали
Летят, — а что тут на земле,
Не знают журавли...*

*У перевоза стук колёс,
Сбой, гомон, топот ног.
Идёт народ, ползёт обоз,
Старик паромщик взмок.*

*Паром скрипит, канат трещит,
Народ стоит бочком.
Уполномоченный спешит
И баба с сундучком.*

*Паром идёт, как карусель,
Кружась от быстрины.
Гармошку плотничья артель
Везёт на край страны...*

*Гудят над полем провода,
Столбы вперёд бегут.
Гремят по рельсам поезда,
И воды вдаль текут.*

Стоит прочесть эти строфы напевно, закрыв глаза, и рождается удивительное чувство дежавю. Эта комбинация четырёх- и трёхстопного ямба с мужскими клаузулами и, соответственно, рифмами недвусмысленно отсылает нас к известному стихотворению из раннего периода творчества Ю. Кузнецова — “Четыреста”:

*Четыре года моросил,
Слезил окно свинец.
И сын у матери спросил:
— Скажи, где мой отец?*

— *Пойди на запад и восток,
Увидишь, дуб стоит.
Спроси осиновый листок,
Что на дубу дрожит.*

*Но тот осиновый листок
Сильней затрепетал.
— Твой путь далёк, твой путь далёк, —
Чуть слышно прошептал.*

— *Иди куда глаза глядят,
Куда несёт порыв.
— Мои глаза давно летят
На Керченский пролив.*

*И подхватил его порыв
До керченских огней.
Упала тень через пролив,
И он пошёл по ней.*

Стилистический рисунок здесь сходен ещё и потому, что в обоих случаях авторы выражают энергию могучего, поступательного движения — движения безотчётного, таинственного, рокового. Конечно, материал в двух фрагментах разный: коллективизация и поиск крестьянином Никитой Моргунком лучшей доли в “Стране Муравии” и воспоминания-прозрения о боях на Малой земле в “Четыреста”, но интонационный строй в них един. И дело не в сходстве метрического рисунка: в конце концов, просодия русского регулярного стиха даёт сравнительно немного вариантов применения силлабо-тонических размеров и повторы, многократные обращения к одним и тем же схемам неизбежны. Но в данном случае возникает ощущение не внешнего, а глубоко прочувствованного, генетического родства. Однако “муравская” интонация аукнула не только в стихотворении “Четыреста”.

Сравним другой фрагмент из поэмы Твардовского:

*Далёко стихнуло село,
И кнут остыл в руке,
И синевой заволокло,
Замглилось вдалеке.*

*И раскидало конский хвост
Внезапным ветерком,
И глухо, как огромный мост,
Простукал где-то гром.*

*И дождь поспешный, молодой
Закапал невпопад.
Запахло летнею водой,
Землём, как год назад...*

Согласитесь, что это очень напоминает стилистику... Юрия Кузнецова! В этом размере выдержана примерно половина текста поэмы “Страна Муравия”, и, хотя трудно доказать, насколько впечатлительным читателем был юный Юрий Кузнецов, трудно избавиться от ощущения, что этот ритмико-метрический рисунок вошёл в его поэтическое сознание не без участия старшего сотоварища по перу. Чтобы понять это, достаточно процитировать хотя бы несколько строф из его поэмы “Золотая гора”:

*Не мята пахла под горой,
И не роса легла,
Приснился родине герой.
Душа его спала.*

*Когда душа в семнадцать лет
Проснулась на заре,
То принесла ему извет
О золотой горе:*

*— На той горе небесный дом
И мастера живут.
Они пируют за столом,
Они тебя зовут.*

Или, например:

*Безмерный подвиг или труд
Прости ему, Отец,
Пока души не изведут
Сомненья и свинец.*

*Дай мысли — дрожь, павлину — хвост,
А совершенству — путь...
Он повстречал повозку слёз —
И не успел свернуть.*

*И намоталась тень его
На спицы колеса.
И тень рвануло от него,
А небо — от лица.*

*Поволокло за колесом
По стороне чужой.
И изменился он лицом,
И восскорбел душой.*

Помимо музыкально-ритмической составляющей тут в глаза бросается также поразительная верность фольклорному строю речи, образности и стилистике народного стиха.

Ещё одну точку соприкосновения художественных миров А. Твардовского и Ю. Кузнецова можно обнаружить в их приверженности к военной теме. Вершиной поэтического пути первого вполне заслуженно принято считать его “книгу про бойца” — “Василий Тёркин”. Не оставлял он этой линии и в дальнейшем (“Последние залпы” и проч.). Существенную дань военной проблематике отдал и второй. Юрий Кузнецов, кстати, и не скрывал, что склонен в этом плане опираться на художественный опыт предшественника. В выступлении на четвёртом съезде писателей РСФСР (1975) было сказано: “Поэты военного поколения донесли до нас быт войны. Война как бытие, однако, до сих пор освоена мало. У нас ещё нет новой “Войны и мира” или нового “Тихого Дона” о прошедшей войне. Но верное направление по прорыву из быта в бытие уже указано автором “Я убит подо Ржевом”. Не будучи сам фронтовиком, Кузнецов претворил в стихи свой опыт сына погибшего героя, воспоминания о службе на Кубе в дни Карибского кризиса; не оставлял военной темы он и в дальнейшем, хотя в приложении к современности она нередко принимала ироническое звучание (“Золотая рыбка” и проч.).

В творческом наследии здраво и трезво мыслящего Твардовского мы находим также случай (попытку) обращения к демонологическому пласту бытия — это поэма “Тёркин на том свете”, где в изобилии изображены черти, бесы и прочая нечисть. Общим местом стала трактовка этого сочинения как сатиры на советскую бюрократию, но и в нём порой звучат нотки, напоминающие кузнецовскую человеческую позицию при его взгляде на порядки в журналистско-издательской сфере:

*...Смотрит — за углом —
Орган того света.
Над редакторским столом —
Надпись: “Гробгазета”.*

*За столом — не сам, так зам, —
Нам не всё равно ли, —
— Я вас слушаю, — сказал,
Морщась, как от боли.
Полон доблестных забот,
Перебил солдата:
— Не пойдёт. Разрез не тот.
В мелком плане взято.
Авторучкой повертел.
— Да и места нету.
Впрочем, разве что в Отдел
Писем без ответа...
И в бессонный поиск свой
Вникнул снова с головой.
Весь в поту, статейки правит,
Водит носом взад-вперёд:
То убавит, то прибавит,
То своё словечко вставит,
То чужое зачеркнёт.
То его отметит птичкой,
Сам себе и Глав, и Лит,
То возьмёт его в кавычки,
То опять же оголит.
Знать, в живых сидел в газете,
Дорожил большим постом.
Как привык на этом свете,
Так и мучится на том.
Вот притих, уставясь тупо,
Рот разинут, взгляд потух.
Вдруг навёл на строчки лупу,
Избоченясь, как петух.
И последнюю проверку
Применяя, тот же лист
Он читает снизу кверху,
А не только сверху вниз.
Верен памятной науке,
В скорбной думе морщит лоб.
Попадись такому в руки
Эта сказка — тут и гроб!
Он отечески согретым
Увещаньем изведёт.
Прах от праха того света,
Скажет: что ещё за тот?
Что за происк иль попытка
Воскресить вчерашний день,
Неизжиток
Пережитка
Или тень на наш плетень?..
Задурил, кичась талантом, —
Да всему же есть предел! —
Новым, видите ли, Дантом
Объявиться захотел.*

Имя Данте здесь всплывает тоже совсем не случайно, если вспомнить о произведении Ю. Кузнецова “Сошествие в Ад”, где его герой проделывает свой собственный путь по стопам великого флорентийца. В заключение добавлю, что явные черты сходства двух поэтов проглядывают в их неоднозначном, но явно заинтересованном отношении к личности Сталина. Но в этом массиве литературного материала хотелось бы разобраться в другой раз.

ЛОЛА ЗВОНАРЁВА (Москва)

ЭВОЛЮЦИЯ ОБРАЗА-СИМВОЛА ГОРОДА В ПОЭЗИИ ЮРИЯ КУЗНЕЦОВА

Юрий Поликарпович Кузнецов родился 11 февраля 1941 года в станице Ленинградской Краснодарского края, а умер в Москве 17 ноября 2003 года. Рождение поэта связано с небольшим сельским поселением, но великие города, такие реперные точки отечественной и мировой истории, стали знаковыми героями его философской лирики, обладающей мощными подтекстами и скрытыми символами-знаками.

Рассмотрим, как менялся образ города в поэзии Юрия Кузнецова на протяжении его жизни.

Первым городом, с которым столкнула его судьба, стал Тихорецк, вторым — Краснодар. Когда в 1998 году Юрию Поликарповичу передали привет из Краснодара от одного из мэтров местной писательской организации, поэт отреагировал неожиданно агрессивно и вызывающе-презрительно (“верните ему его плевочки”). Очевидно, с Краснодаром у Кузнецова было связано немало горьких воспоминаний. Известно от современников предупреждение руководителя поэтического семинара, в котором учился молодой поэт в 60-е годы в Литературном институте, Сергея Наровчатова, считавшего, что Юрию нельзя возвращаться в Краснодар, что он там погибнет.

В небольшой поэме “Водолей” 1970 года тридцатилетний поэт вспоминает свою первую любовь и город детства Тихорецк, не ставший родным, который он даже не называет:

*Я позабыл провинциальный город,
Где улицы выходят прямо в степь.
Был город детства моего — дыра,
Дыра зелёная и голубая.
И девушка моя, как мир, стара,
Сияла, лёгкая и золотая.
На карусель мы сели, на скамью
Летучую и голубую.
Но закружило голову мою,
И я забыл зелёную свою
И первую, и дорогую.
“В Москву! — кричал. — Немедленно в Москву!”
Зачем же из неё в тоске бегу я?*

В известной реплике: “В Москву!” — заметна скрытая пародия на “Трёх сестёр” А. П. Чехова, как известно, также прорывавшегося из провинциального Таганрога в Москву. Лирический герой этой ранней поэмы, “размешивая чайной ложкой жизнь”, несётся на поезде по бескрайним просторам родной земли:

*Проеду мимо пашен, мимо рек,
В окне земля российская мелькает,
Обочь несётся, дальше проплывает,
А далее стоит из века в век.
Я вспомню голубое. Стык за стыком
Несутся вспять былые времена.*

В безымянный провинциальный город, где “в воздухе переломилось время”, возвращает лирического героя память сердца:

*Но в городе есть улица одна.
Тончайшей ложкой со стеклянным стуком*

*Я постучусь... Откроет дверь — она!
 Я понимаю, как её встревожит.
 — Вы помните, двенадцать лет назад
 Я вас любил, любовь ещё, быть может...
 — Ах, это вы? Садитесь, Александр! —
 Но в хитрый разговор совсем некстати
 Ворвались дребезжащие болты
 И голос: “Остановка!” На закате
 Горят верхи деревьев и мечты.
 Вокзал качнулся, замерли деревья,
 И в воздухе переломилось время.
 Я вышел с чайной ложкой на перрон.
 О, город детства, это он ли? Он!
 Что с поездом? “Задержится немного”.
 Успею!.. О, забытая дорога!
 Мне стыдно потому, что всё прошло.
 Вот этот дом. Знакомое окошко.
 Я постучал, как дьявол, чайной ложкой
 В холодное горячее стекло.
 В окне мелькнуло женское лицо,
 Открылась дверь бесшумно на крыльцо.
 Смеркалось. Вышла женщина из света.
 Я молвил у ступеньки на краю:
 — Не узнаёшь знакомого поэта? —
 Она произнесла: — Не узнаю...*

Но провинциальный город детства с вокзалом, в котором “горят верхи деревьев и мечты”, маленький домик с крыльцом и окном, в котором “холодное горячее стекло”, хранит лишь тень давних воспоминаний, свежесть которых утрачена безвозвратно:

*И в прошлом ничего-то не найти,
 А поезд мой давно уже в пути.
 И площадь привокзальная пуста.
 И скука ожидания остра.
 Но вот машина. Морда между делом
 Зевает. На борту во всю длину
 Намараны скрипучим школьным мелом
 Два слова: “Перегоним сатану!”
 Вот кстати! Грузовик остервенело
 Понёсся. Я нагнал остывший чай
 На следующей станции. Прощай,
 Острота ада!.. И душа запела
 О свежести, утраченной давно...*

Рассказ о городе детства не случайно завершается образом несущегося в будущее поезда и высоких дальних гор (“за прошлогодним снегом еду в горы”). Поэт навсегда простился с тихим южным городом, где скука и пошлость провинциальной повседневности съедают даже былую свежесть чувств и мимо которого подлинная жизнь проносится, как столичный экспресс, не останавливаясь.

Спустя два года молодой поэт возвращается к теме города в стихотворении “Отец космонавта” (1972). Если город детства остался городом первой любви и мощного разочарования, то в этом стихотворении речь идёт о государственной столице, которая не названа, но стала испытательным полигоном для сына безымянного старика — главного героя стихотворения. Спасская башня и стена Кремля — два символа могущественной столицы, ставшей могилой для отважного сына, пошедшего иным путём, не тем, что ходят обычные люди: “Он пошёл поперёк...” Очевидно, в космос, в небо, куда не дано попасть миллионам простых людей:

*Где же сына искать, ты ответь ему, Спасская башня!
О медлительный звон! О торжественно-дивный язык!
На великой Руси были, были сыны бесшабашней,
Были, были отцы безутешней, чем этот старик.*

*Этот скорбный старик не к стене ли Кремля обратился,
Где начертано имя пропавшего сына огнём:
— Ты скажи, неужели он в этих стенах заблудился?
— Он пошёл поперёк, ничего я не знаю о нём.*

Поэт приходит к мысли, что для того, чтобы покорить столицу, дойти до Кремля и Спасской башни, нужно заплатить чрезвычайно высокую цену, возможно, даже отдать жизнь, как это и случилось с сыном старика – сгоревшим космонавтом (“Где начертано имя пропавшего сына огнём”).

Ещё через два года Кузнецов в поэме “Четыреста” (1974) обращается к теме Крыма, места, в котором в войну погиб его отец. Керченский пролив, керченские огни, Сапун-гора в Крыму стали для него священными благодаря пролитой за них когда-то крови любимого отца:

*— Иди куда глаза глядят,
Куда несёт порыв.
— Мои глаза давно летят
На Керченский пролив.*

*И подхватил его порыв
До керченских огней.
Упала тень через пролив,
И он пошёл по ней...*

*— Ты слишком юн, а я стара,
Господь тебя спаси.
В Крыму стоит Сапун-гора,
Ты у неё спроси.*

Юрий Кузнецов, никогда не забывавший, что он – сын офицера, служивший в армии на Кубе в эпоху Карибского кризиса, и в стихах часто ощущал себя поэтом-воином, былинным богатырём, часто в названиях стихов используя военную терминологию (“Бой в сетях”, “Неизвестный солдат”, “Хроника сталинградской битвы”), да и города ему вспоминаются чаще всего те, за которые в разные эпохи отечественной истории боролись с русичами иноземные войска: Москва, Сталинград, Керчь, Киев, Порт-Артур.

С 1975 года центром мира для поэта становится, судя по стихотворению “Выходя на дорогу, душа оглянулась...” (1975), столица тогдашнего советского государства:

*И в дыму от Москвы по Хвалынское море
Загулял ты, как бледная смерть...
Что ты, что ты узнал о родимом просторе,
Чтобы так равнодушно смотреть?*

Но спустя три года, судя по стихотворению “Тегеранские сны” (1978) поэт, трепетно оберегающий родное, открывает вокруг себя вселенское – огромный, противоречивый, испещрённый давними конфликтами международный городской мир. И на смену провинциальным городам и становящейся родной столице приходит ощущение огромного мира, где северным развалинам противостоит коварный юг:

*Вдали от северных развалин
Синь тегеранская горит.
— Какая встреча, маршал Сталин! —
Лукавый Черчилль говорит.*

Это противостояние: мирная Россия – враждебный Запад, обострившееся сегодня, поэт ощущал с годами всё острее. И в стихотворении “Солнце с запада всходит крестом...” (1979) поэт рисует картину виртуального противостояния конкретным, оставшимся в истории военным поражениям Российской империи (“Киев пал, русский флот не воскрес...”, “воздушные твердыни Порт-Артура”) скрытой пассионарной силы русского народа, воплощённой в этом поэтическом тексте в образе гонца в легендарный Муром, где тридцать лет ждёт своего часа на печи богатырь Илья Муромец, которому дано спасти Русскую землю от иноземных врагов:

*“Дранг нах Остен! — Адольф произнёс. —
Перед нами отступит мороз.
Мы стоим у шарнира эпохи.
Голос крови превыше небес.
Киев пал, русский флот не воскрес,
И дела у Иосифа плохи!”
На Москве белый камень парит,
На Москве алый кипень горит,
Под Москвой перекопы-заслоны.
Слава родине, хата не в счёт!..
Из железных кремлёвских ворот
Вылетали железные звоны.
Расходились ворота-врата.
Кровь из носу, аллюр три креста!
Из ворот молодецким аллюром
Вылетал, словно месяц, гонец
И скакал в непроезжий конец
По забытой дороге на Муром.
Он скакал, обгоняя рассвет,
Три часа и три дня без ста лет...*

*...Схорони в бесконечном холме
Ты своё непосильное чадо.
И сокрой его имя в молве
От чужого рыскающего взгляда.
А не то из любого конца
Растрясут его имя, как грушу.
И драконы земного кольца
Соберутся по русскую душу.
Пусть тростинка ему запоёт
Про дыхание спящего тура,
Про печали Мазурских болот
И воздушных твердынь Порт-Артура...*

И уже в 1983 году это виртуальное противостояние, обернувшись борьбой с иным, на этот раз восточным, азиатским врагом, завершается самым конкретным “Поединком” (1983), в котором нет победителей, так как оба его участника погибают:

*Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака,
И так заливался: — Мне равного нет!
— Прости меня, Боже, — сказал Пересвет. —
Он брешет, собака!
Над русской славой кружит вороньё.
Но память мою направляет копьё
И зрит сквозь столетья.*

А значит, это ложный путь. Восток не может быть главным врагом России, её ждут иные опасности и искушения. Через год в стихах Кузнецова вновь появляется образ опасного врага-зверя. Это всё та же Европа, которую символизирует некий условный “Ганс” в эпизоде “Из сталинградской хроники. Комсомольское собрание” (1984 года). На этот раз южная Астрахань — явный союзник Москвы:

*... — Рус, сдавайся! Накинулся зверь...
Комсомол не считает потерь,
Ясный сокол ворон не считает!
По неполной причине ушёл
Даже тот, кто писал протокол...
Тишина на тела оседает.
Но в земле шевельнулись отцы,
Из могил поднялись мертвецы
По неполной причине ухода.
Дед за внуком, за сыном отец,
Ну, а там обнажился конец,
Уходящий к началу народа.
Вырвигоздь, оторвиголова,
Слева Астрахань, справа Москва,
Имена сквозь тела проступают...
— Что за пропасть! Да сколько их тут!
Неизвестно откуда растут.
Ганс, назад! Пусть они заседают!..*

Спустя одиннадцать лет поэт возвращается к этому героическому эпизоду русской военной истории в батальной поэтической зарисовке “Из сталинградской хроники. Посвящение” (1995):

*Сотни бед или больше назад
Я вошёл в твой огонь, Сталинград,
И увидел священную битву.*

Драматические события 1991 года, развал Советского Союза в корне изменили отношение поэта к сердцу Москвы — тому знаковому месту, что воплощало её историческую силу и могущество. За древними стенами Кремля, по мнению Кузнецова, засели люди, явно враждебные всему русскому. Так появляется в 1992 году в стихотворении “Ловля русалки” (1992) страшноватый символический образ:

*Испокон с тобой дружат вода и земля,
Мирно дышат зубчатые жабры Кремля.*

Спустя шесть лет поэт снова возвращается в свойственном ему парадоксальном ключе в стихотворении “Неизвестный солдат” (1998) к осмыслению того, чей гений места хранит ныне Александровский сад. И тогда “жабры Кремля”, дополненные “хвостом победного парада” из соседнего Александровского сада, рождают былинный образ какого-то страховодного дракона-чудища, оккупировавшего центр древней столицы, пользуясь тем, что Владимир-Солнышко остался “во глубине тысячелетий”:

*О, Родина! Как это странно,
Что в Александровском саду
Его могила безымянна
И — у народа на виду.*

*Из Александровского сада
Он выползает на твой свет.
Как хвост победного парада,
Влачит он свой кровавый след.*

*Во глубине тысячелетней
Владимир-Солнышко встает,
И знаменосец твой последний
По Красной площади ползёт.*

В 90-е годы прошлого века поэт всё чаще задумывается над смыслом мировой истории. Миллениум, рубеж веков, который дано перешагнуть немногим, задолго до 2000 года волновал поэтов разных поколений. Ещё в 1965-м Корней Чуковский во время встречи на переделкинской даче сделал моему брату на своей книжке “От двух до пяти” памятную надпись: “Вспомни меня в двухтысячном году”.

В стихотворении “Погребение зерна” (1996), заставляющем вспомнить книгу Владислава Ходасевича, переизданную в те годы, “Путём зерна” (первое издание – 1920 год), Юрий Кузнецов вырывается на просторы мировой истории, в которой распадались и исчезали великие царства и огромные империи. Поэт пытался осмыслить то, что случилось с СССР – великой советской империей:

*Последний век идёт из века в век.
Всё прах и гул, как и во время оно.
— Не может быть! — воскликнул человек,
Найдя зерно в гробнице фараона.*

*Он взял зерно — и сон зерна пред ним
Во всю земную глубину распался.
Прошли тысячелетия, как дым:
Египет, Рим и все иные царства.*

Очевидно, именно в эти, 90-е годы прошлого века открывается поэту и единственный спасительный для России путь – возвращения к Православии, к христианству, к вере (не случайно две его последние поэмы посвящены Иисусу Христу). Именно так можно прочесть глубинную мысль поэта в стихотворении “Серафим” (1997), где на смену мировым столицам и московскому Кремлю приходит скромный город Саров, удостоившийся паломничества сотен тысяч россиян благодаря “убокому старцу” Серафиму:

*Души рассеянная даль,
Судьбы раздёрганные звенья.
Разбилась русская печаль
О старый камень преткновенья.*

*Желает вольный человек
Сосредоточиться для Бога,
Но суждена ему навек
О трёх концах одна дорога.*

*Песок и пыль летят в лицо,
Бормочет он что ни попало.
Святой молитвы колесо
Стальные спицы растеряло.*

*А на распутье перед ним
На камне подвига святого
Стоит незримый Серафим —
Убогий старец из Сарова.*

Перечитывая стихотворение “Предчувствие” (1998), мы понимаем: Кузнецов болезненно переживал равнодушие к бедам народа властителей, засевших за стенами древнего Кремля, нищету и растерянность миллионов, привыкших доверять власть имущим и готовых, чтобы выжить в потерявшей

чёткий курс стране, пуститься в опасное плавание по волнам коммерции без руля и без ветрил:

*Всё опасней в Москве, всё несчастней в глуши,
Всюду рыщет нечистая сила.
В морду первому встречному дал от души,
И заныла рука, и заныла.
Всё грозней небеса, всё темней облака.
Ой, сказанная будет погода!
К перемене погоды заныла рука,
А душа — к перемене народа.*

Обман и разбой стали нормой в Москве, как во всём торговом, коммерческом, восточном мире, куда теперь нередко попадает доверчивый русский человек. В стихотворении 1998 года “Где-то в Токио или в Гонконге” (1998) хлебосольной Рязани противостоят насквозь лживые и коварные Токио и Гонконг:

*Я в тумане сижу среди белого дня,
Даже ясные очи заволгли...
Ободрали однажды, как липку, меня
Где-то в Токио или в Гонконге....*

*Наливает чуток. Я молчу: не таков!
Кап ещё, каждый кап с тормозами.
— Не кичись, — говорю, — иль не видишь краёв?
Наливай до краёв, как в Рязани.*

*На лицо оседает похмельный туман,
Даже ясные очи заволгли...
Ободрали однажды, как липку, меня,
Где-то в Токио или в Гонконге.*

Поэт, завершая круг бытия, снова обращается к теме провинциального города в одном из предсмертных, 2003 года стихов — “Тамбовский волк”. Но если знакомый поэту с детства советский провинциальный город в стихотворении 1970 года сознательно обезличен — лишён названия, то спустя 30 лет Юрий Кузнецов, опираясь на высоко ценимую народную культуру (недаром поэт готовил к изданию и советовал перечитывать всем ученикам фундаментальную трёхтомную монографию фольклориста А. Н. Афанасьева “Поэтические воззрения славян на природу. Опыт сравнительного изучения”), на знаменитое народное присловье “Тамбовский волк тебе товарищ”, делает лирическим героем стихотворения жителя другого провинциального города — Тамбова, когда-то прогремевшего на всю Россию антоновским сопротивлением большевикам.

Да, напоминает поэт, как и десятилетия назад, в эпоху предыдущего цивилизационного слома русский человек из Тамбова совсем не готов бессловесно влиться в навязанный кем-то глобальный проект. Он вполне ещё способен на страшный ответный удар и может отстоять свою духовную и личную независимость. И именно это внушает уходящему в небытие поэту надежду на достойное будущее родной страны:

*России нет. Тот спился, тот убит,
Тот молится и дьяволу, и Богу.
Юродивый на паперти вопит:
— Тамбовский волк выходит на дорогу!*

*Нет! Я не спился, дух мой не убит,
И молится он истинному Богу.
А между тем свеча в руке вопит:
— Тамбовский волк выходит на дорогу!*

*Молитесь все, особенно враги,
Молитесь все, но истинному Богу!
Померкло солнце, не видать ни зги...
Тамбовский волк выходит на дорогу.*

Итак, от чуть пародируемого, но вполне традиционного с чеховских времён противостояния скучно-сонного провинциального города с его остановившейся, утонувшей в повседневном бытии жизни и энергичной столицы поэт через десятилетия приходит к абсолютно иному конфликту: с одной стороны – захваченный враждебным народу властолюбивым чудищем Кремль (как символ столицы), с другой – огромная провинциальная Россия с её знаковыми городами – Саровом, освящённым именем великого святого, Муромом, помнящим былинного богатыря, и Тамбовом, доказавшим своё умение героически противостоять несправедливой, атеистической власти. Именно с них, мечтает поэт, и начнётся в своё время возрождение России подлинной.

АНАТОЛИЙ ГРЕШНЕВИКОВ

депутат Государственной Думы РФ

ПРАВСТВЕННЫЕ ВЕРШИНЫ

В разгар рабочего дня заходит ко мне в кабинет Валерий Хайрюзов.

— Можно на вашем видеке фильм посмотреть? — с ходу задаёт вопрос.

— Какой? — интересуюсь я.

— О природе, о Байкале, о Сибири. Я сам, между прочим, его снял.

— Если о Байкале, то давай, показывай.

Мой помощник Николай взял у Валерия диск, вставил в видеомагнитофон. Но техника неожиданно подвела, не стала почему-то показывать фильм.

Ждать, когда помощник разберётся с техникой, у меня времени не было. В эти минуты меня ждал Сергей Бабурин. У нас во фракции менялся руководителем, и по договоренности с Бабуриным я должен был подписать соответствующие документы о выборе Шестакова.

— Я отлучусь минут на десять, а вы пока налаживайте видеомагнитофон, — предложил я. — Вернусь, посмотрим фильм.

Войдя в кабинет Бабурина, я увидел, что тот разговаривает с кем-то по телефону. Оказывается, собеседником был Валентин Григорьевич Распутин. Из отрывочных фраз я уловил, что речь шла о создании музея писателя Николая Гоголя, о восстановлении первоначального облика его могилы, а также о недавно вышедшей книге Распутина «Сибирь, Сибирь...».

В какой-то миг Бабурин повернулся ко мне, широко улыбаясь, и сказал в телефонную трубку:

— Ко мне как раз заглянул наш общий друг Грешневиков Анатолий Николаевич. Я не смогу, извиняюсь, быть на презентации. Командировка. Попрошу Анатолия Николаевича, он наверняка будет в Москве, придёт к вам и поздравит...

Бабурин вновь пронзил меня пристальным взглядом и закивал головой, давая знак, что отказ не принимается. И тотчас, не давая мне времени на раздумья, ответил за меня:

— Он согласен. Передаю ему трубку.

Застигнутый врасплох, не до конца понимающий, куда мне следует идти, я взял трубку и стал слушать не менее растерянного Валентина Григорьевича. Из разговора стало понятно, что у писателя на днях будет проходить творческий вечер, и он приглашает нас на него, а так как в Иркутске вышла его новая книга о Сибири, то он её презентует и подарит нам.

— Спасибо за приглашение, постараюсь обязательно прийти, — поблагодарил я Распутина и пошутил: — Только у меня к вам встречное предложение. Бабурина за его вечную занятость надо наказать. Обещанную книгу ему вы не подписываете, дарите мне и нашей библиотеке в Госдуму. Пусть Сергей ходит туда и читает.

– Хорошо, – сказал Распутин, поняв шутку. – Там у нас от писательского союза есть ещё просьба подтолкнуть правительство – нет никакой работы по подготовке к юбилею Гоголя. Всё-таки дата большая – 200 лет.

– Время ещё, видимо, не подошло. Юбилей-то через год.

– Боюсь, на раскачку время всё уйдёт. Меня с Саввой Ямщиковым включили в оргкомитет, а он ещё только один раз собирался.

Договорившись о совместных действиях по подготовке юбилея Гоголя, я вернул трубку Бабурину.

– Когда хоть он всё успевает? – спросил меня в конце наших дел Бабурин.

– Сам удивляюсь, – ответил я, поражаясь энергии Распутина. – Его на всё хватает, ему до всего дело есть. Писателей в стране десятки тысяч, а беспокоит о том, как мы встретим юбилей Гоголя, он один.

– В Сербии война, а он не боится, едет с нами в самое пекло – в Косово, защищает сербов. В Государственной Думе идёт борьба против принятия Земельного кодекса, он не стоит в стороне – тоже борется, выступает, объясняет людям, что кодекс узаконивает разделение села и страны на богатых и бедных. Смело пишет, что политика нынешнего правительства ведёт к тому, что богатые становятся богаче, а бедные остаются бедными. Я давно заметил, как он всегда умеет держать данное слово... Сказал – сделал. В той же Сербии, на встрече с президентом Республики Сербской поэтом Радованом Караджичем он обмолвился мне, что надо бы издать в России его книгу, а ещё отметить его талант и славянское подвижничество Шолоховской премией. И что же? Проходит время, и мы с тобой едем в Дом писателей на вручение Караджичу этой важной премии.

Я сразу вспомнил тот торжественный день. Караджич был ошеломлён не только премией и вниманием, но и тем огромным отрядом русских писателей и деятелей культуры, которые пришли поддержать его и выразить слова глубокой и искренней любви. Важность события могли оценить в то время лишь немногие, ведь против православной Сербии американские натовские жандармы настроили всю Европу, и такие её лидеры и защитники, как Радован Караджич и Радко Младич, считались преступниками. Понимая абсурдность, незаконность таких нападок, угроз и оценок, наши великие русские писатели Валентин Распутин, Василий Белов, политик Сергей Бабурин пошли на то, чтобы сломать лживые западные стереотипы, развенчать фальшивую пропаганду и возвысить подвиг сербских героев. Нам с Бабуриным, Распутиным и Беловым удалось тогда пообщаться с Караджичем, получить от него в подарок по сборнику стихов и договориться о следующей поездке к нему на фронт. И мы приедем... Правда, в нашей команде будет лишь Василий Белов. Болезнь Распутина не позволит ему присоединиться к нам.

Вспомнил я и другое – то, с каким почтением и уважением относились большие наши писатели к депутату Госдумы Сергею Николаевичу Бабурину, как они, восхищаясь его бесстрашным поведением и патриотическим служением Родине, стремились пообщаться с ним. И тот с распрямлёнными объятиями, открытой сибирской душой встречал Леонида Леонова, Александра Панарина, Юрия Бондарева. Шли к Бабурину толпами. Он был не просто популярен в народе, с его мнением считались, ему доверяли... В таких многочисленных беседах повезло поучаствовать и мне. Благодаря Бабурину я познакомился и стал общаться с Игорем Шафаревичем, Александром Зиновьевым, Леонидом Решетниковым и другими. Первые рабочие встречи с Валентином Распутиным произошли опять же в кругу Бабурина. Подружил нас, сблизил наши мировоззренческие позиции другой человек – замечательный писатель и отважный лётчик Валерий Хайрюзов. Это с ним я хаживал в дом Распутина попить и чаю, и коньячку и поговорить по душам. А первая серьёзная встреча-беседа произошла с участием Бабурина, который пригласил меня поехать с поздравлениями с днём рождения к Валентину Распутину. Тогда он не только заставил меня найти в магазинах столицы нужный подарочный альбом русских художников-передвижников, но и усадил за столом рядом с писателем и певицей Татьяной Петровой.

Уходил я из кабинета Бабурина с мыслью о неисчислимых добрых делах Валентина Распутина во славу нашего Отечества. А когда пришёл в собственный кабинет, то услышал от ждавшего меня Валеры Хайрюзова неожиданное предложение:

– Слушай, Толя, не работает у тебя видеомэагнитофон, поехали к Распутину домой, там посмотрим мой фильм, – его твёрдый голос разнёсся по всему пространству кабинета.

– Без приглашения?! – опешил я. – Как можно?!

– К Распутину можно. Я его предупреждал.

– Надо же такому случиться! Только что я у Бабурина говорил с Распутиным, вспоминали потом его дела, а тут опять разговор о нём.

– Так мы едем или не едем?

– Какой разговор?! Если ты договорился, то едем. Но я тогда должен сбегать в магазин. Без гостинцев я к хорошим людям не езжу, а уж тем более к Валентину Григорьевичу. Халявщиков со студенчества терпеть не могу.

Я купил бутылку коньяка в коробке, набор шоколадных конфет и букет белых роз. Цветы, конечно же, предназначались жене писателя Светлане Ивановне, к которой я всё больше испытывал уважение за её домашний уют, гостеприимство и трепетное, заботливое отношение к мужу-труженнику.

Дверь квартиры нам вышел открывать сам Распутин. Однако она почему-то долго не поддавалась ключу. Когда всё же распахнулась, Валентин Григорьевич сжал нас в своих объятиях, расцеловал. И, не дав возможности сказать добрые приветственные слова, с ходу спросил меня.

– Как, в Думу тяжело войти, двери сразу открываются?

– В Думе они лучше открываются, – рассмеялся я, приветствуя шустрый радостный настрой писателя. – Заходишь сразу, никакой техники... Вы же бывали у нас?! С погодой вот гораздо всё хуже. У меня на родине в Борисоглебске снег идёт, а здесь, в Москве, – дождь.

Только я решил снять ботинки, опершись спиной о стенку коридора, как хозяин скомандовал нам:

– Не снимайте обувь, проходите так.

Мы отказались идти в переднюю комнату обутые. Тогда Распутин дал нам тапки. В коридоре появилась озабоченная Светлана Ивановна. У неё, оказывается, жили гости из Иркутска – родная сестра с мужем, поэтом Владимиром Скифом. Вручив ей цветы и пакет с коньячным набором, я пошутил, заимствовав фразу из известного комедийного фильма:

– Главное, не перепутать: цветы – женщине, мороженое – детям, то есть мужчинам.

– Мороженое люблю и я, – отозвалась Светлана Ивановна, то ли не поняв шутки, то ли, наоборот, приняв её всерьёз.

Владимир Скиф перебил наш разговор.

– Помню-помню вас по Иркутску, – сказал он, двигаясь ко мне с распротёртыми руками. – Вы на фестиваль “Сияние России” приезжали, хорошо выступали...

– Проходите в зал, не стойте в дверях, – скомандовал Валентин Григорьевич.

В большой просторной комнате нас ждал стол, накрытый домашними яствами. Прежде чем сесть за него, я подарил Распутину свои книги, сказав о каждой несколько слов.

– Это сборник очерков “Хранитель русского лада”, посвящён Василию Белову, нашим с ним поездкам по Сербии, в село Варницы – на родину преподающего Сергея Радонежского, ко мне на родину – в посёлок Борисоглебский, в древний Углич, в самобытный город краеведов Мышкин, и, конечно же, в известную вологодскую деревню Тимонику, где и вы не раз гостевали. Эта книга посвящена краеведческому подвигу писателя из Мышкина Владимира Гречухина. Ему удалось создать мальчишескую краеведческую республику, пройти с экспедициями по всем древним русским регионам, собрать уникальные коллекции прялок, икон, книг, колоколов, ключей и прочей крестьянской утвари. Вместе со своей краеведческой республикой он открыл десятков музеев в городе, создал народный театр, отреставрировал церковь, сохранил усадьбу Тютчева, ввёл для подвижников орден Мыши.

– О Мышкине мне много говорил Василий Белов, – перебил меня Распутин. – Хвалил вашего Гречухина.

– Да, мы с ним ездили туда, он выступал в библиотеке, знакомился с музеями.

– Особо ему понравились, кажется, старые мельницы.

– Он просил меня сфотографироваться на их фоне.

– Подари мне такой снимок.
– Хорошо.
– Белов звал и меня поехать в Мышкин к Гречухину.
– В чём же дело? Только скажите, и я вас туда отвезу.
– Сейчас нет времени.
– Жаль. А этот сборник “Любитель природы” вам знаком. Несколько номеров я вам уже дарил, в один из них вы давали свою статью.
– Его я часто читаю, смотрю. Весьма интересный и талантливый сборник.
– Это коллективный труд. Я собрал многих авторов из разных сёл области – учителя, лесники, краеведы, библиотекари, школьники.
– Теперь мне надолго хватит читать твои книги, – признался Распутин, положив их на полку рядом стоящего шкафа. – А я вот тебе и Сергею Бабуринову, как обещал, припас свою книгу о Сибири. Подпишу потом...
Разговор за столом вновь зашёл о плохой работе правительства над подготовкой юбилея Гоголя. Развить тему не дал Валерий Хайрюзов.
– Давайте сразу кино посмотрим, – предложил он.
– Согласен, – поддержал Распутин. – Кто включит видеомagneтофон? Я не умею с ним обращаться.

Наступило минутное замешательство. Хайрюзов пытливо смотрел на Распутину, а Распутин – на меня. Скиф подозрительно глянул на Хайрюзова: мол, ты принёс фильм, ты и включай. Но так как никто не знал и не умел запустить диск на видеомagneтофоне, то Валентин Григорьевич позвал из кухни жену. Хозяйка пришла и моментально, к нашему общему мужскому стыду, наладила работу техники.

Фильм длился около сорока минут. В героях его ходил сам автор – лётчик Валерий Хайрюзов. Красоты Байкала захватывали дух. Душистая мгла лежала мягкой пеленой над озером. Шаманы без излишней торопливости и наигранности, свойственной некоторым из тех, кто стремился не обычай блюсти, а в концертах поучаствовать, вели среди природы свои подлинные обрядовые заклинания. Они истинно правдоподобны. Пусть мелодии бубна забивают их причудливые и строгие слова, но им веришь, их слушаешь. Вместе с ними переживаешь за умирающую, гибнущую от рук нерадивого человека окружающую природу. Переживаешь за ребёнка и мёртвую женщину, оказавшихся в числе пострадавших из-за нарушений законов природы. Вместе с автором ты осознаешь, как хрупка экосистема священного озера, ты чувствуешь, что если человеку безразличны растения и птицы, то ему незачем беречь и Байкал. Он ему нужен лишь как потребителю, браконьеру. Душа таких людей мертва и потому не испытывает чувства благоговения перед обрядами шаманов, просящих защитить природу.

– Сюжет с мальчиком и погибшей женщиной ты нарочно внёс в фильм? – спрашивает Распутин автора, первым начиная обсуждение. – Придумал, видимо?!

– Да, – соглашается Хайрюзов. – Это заказ. Я его вмонтировал, втиснул в фильм. Но такое было когда-то.

– Здесь он не нужен, – делает строгий вывод Распутин. – Он чужой.

Приуныв от неожиданных и важных замечаний Валентина Григорьевича, я сразу расхотел вступать в обсуждение, тем более что фильм мне понравился своей как гражданской озабоченностью, так и поэтикой, к тому же автор в такие минуты нуждался в поддержке.

– Авторский текст озвучивать надо было не актёру, а тебе самому, – продолжал спокойно и уверенно рецензировать фильм Распутин. – Ударение на слове “скиты” неправильно сделано. Старика, директора аэропорта и его жену я узнал. Мы встречались. Не нужно, чтобы часто появлялись в картине красивые бурёнки...
– Фильмы, режиссура, конечно, – не моя стихия, – хладнокровно отозвался на замечания Хайрюзов. – Когда шла работа, то осознавал, как трудно делать фильм. Сейчас сам вижу, как много шаманства. Я вставил, чтобы разбавить сюжет, казаков...
– А вообще ты – молодец, хороший фильм сделал, – заключил Распутин. – О Байкале можно сотни картин снимать, и все они будут разные, как само озеро. Мне показалось, что это фильм-предчувствие какой-то беды, которую нужно остановить, а человечество к спасению не готово. Фильм – вроде как пророчество...
222

При этих тёплых словах Распутина я понял, что зря переживал за серьёзный характер обсуждения; у двух сибирских писателей, сидящих передо мной, давно сложились такие дружеские, доверительные отношения, что они считали обязательным говорить правду. И только в таком случае они понимали друг друга.

— Всякий раз, встречаясь с Байкалом, вы не поверите, я испытываю какое-то необычное ощущение, будто озеро связывает меня с космосом, — делится сокровенными мыслями Хайрюзов.

— Так ты же лётчик! — поддерживает его Распутин. — Тут как раз и твои ощущения, и все редкие природные явления на озере — все они, может быть, обусловлены энергопотоками из космоса?!

— В разное время, находясь на одном месте, я не узнаю Байкал, он задаёт вопросы: чем вызвано фотосвечение вод? Как живёт главный чистильщик озера — вислоногий рачок эпишура? Кто и каким образом причудливо изогнул реликтовые листовницы?

— Придётся ещё один фильм снимать.

— Мне уже в этой кинокартине хотелось увидеть и небо над Байкалом, затянутое волнистыми облаками, и скалистые островки, и свечение вод, но задача была — заставить человека подумать о будущем Байкала.

Этот разговор не мог не расшевелить и меня, эколога, одного из авторов закона об охране озера Байкал. Тем более, Светлана Ивановна успела в эти минуты добавить к закускам горячее блюдо с мясом, с шикарным рулетом. Валентин Григорьевич откупорил бутылку коньяка и разлил по бокалам.

По предложению Распутина, мы выпили за встречу и продолжили начатую беседу о Байкале.

— Я, как и вы, поражаюсь его биологическому многообразию, природной неповторимости, — вступил в разговор я. — Только показывать красоты озера сегодня — это для художников, но не для писателя, публициста, политика, общественного деятеля. Меня коллеги-экологи неустанно снабжают тревожной информацией. Сорок лет вблизи берега Байкала находится склад древесной коры. Сотни тысяч кубометров влажных отходов гниют и вместе со сточными водами попадают в озеро. Кроме гибельного ЦБК, на озере и его притоках работают сотни предприятий, отходы которых также попадают в озеро. Бытовые стоки незаконных строений на побережье стали едва ли не самой основной опасностью для чистоты Байкала. Буквально за несколько дней экологи обнаружили около 600 строений на его берегу. Согласен с вами: Байкал — явление космического масштаба. Сегодня он и геополитика, и футурология, и культура. Говорят, во время осенних ветров и страшных бурь волны его поднимаются на шесть метров!

— То правда, — кивает Распутин. — Байкал непредсказуем.

— Вот и человек непредсказуем, — сокрушаюсь я. — Говорит о любви к Байкалу, а по сути добывает его. Поймать осетра, который полвека назад здесь водился вместе с омулем и сигом, уже невозможно, это из области фантастики. А мы, здравые люди, надеемся уже не на собственные силы, а на чудо... Вот придёт добрый дядя и выгонит с этой земли хищников, которые присосались к богатому озеру-море. Хотя зарубежные специалисты, особенно из Америки, уже повадились ездить сюда, шпионить, вести с помощью американского космического челнока "Шаттл" дистанционное зондирование и радарную съёмку, то есть выведывают информацию о природных ресурсах региона, в том числе Бурятии, где их, кстати, и задержали с двумя спецприборами для определения с высокой точностью координат на местности. Было возбуждено уголовное дело. Американцы отреклись от аппаратуры и быстро сбежали.

Беспокойство за Байкал, его беды и беззащитность затягивали нас в долгий разговор. Как всегда, Распутин восхищал меня своими знаниями, поражал его острый, патриархальный склад ума, налитый сибирской почвой, от которой он никогда не отрывался. Он с детским любопытством вещал нам историю древних мифов, сложившихся на байкальском острове Ольхон, разъяснял археологические находки, сделанные на полуострове Хорин-Ингри и напоминающие череп медведя, звал посетить озеро Нуку-Нур, приоткрывшиеся в скальной воронке. Порой его суждения и оценки напоминали речь крупного учёного. Кто, как не знатный академик, мог так дотошно и точно поведать нам о малоизвестных обитателях Байкала — полупрозрачной голомянке

и бычке-желтокрылке, о сказочно красивых рачках-бокоплавах. Их там насчитывается, оказывается, 255 видов – треть всех видов из пресных озёр мира. Если Валерий Хайрюзов знал про существование одного веслоногого рачка-эпишуры, благодаря которому прозрачность воды составляет сорок метров, то Распутин “рассекречивал” жизнь десятка рачков, всяких моллюсков, новых видов водорослей типа циклохена и урагина вольвакса. Я попытался сказать несколько слов о пагубной роли известных водорослей-спирогир, но писатель махнул рукой, мол, эта информация устаревшая. Зато он сам поведал о том, что многие неизвестные водоросли Байкала значительно крупнее тех, что живут в мировых водоёмах с пресной водой, и происходит сей рост за счёт низкой температуры воды.

Спас наше сообщество защитников Байкала от научно-познавательных рассуждений неожиданный возглас Владимира Скифа, предложившего выпить за мать-природу. . .

– Предлагаю тост, в первую очередь, за Байкал, – громко выпалил он, всем видом показывая, что пора менять тему дискуссии.

– А во вторую очередь? – переспросил, улыбнувшись, Хайрюзов.

– За русский лес! Зря, что ли, его защищает Грешневилов?!

Мы выпили, закусили и стали говорить ни о чём, так – о всяких житейских делах. Кто поругал кинозвезд, десятки раз выходящих замуж. А кто покосоружался ростом коррупции в стране. Когда пришла очередь для третьего тоста, то я решил поднять здравицу за хозяина. Но только моя рука потянулась к бутылке, как Валентин Григорьевич перехватил её и сказал:

– Давай лучше я сам тебе налью.

Тут я вспомнил зачем-то глупую присказку:

– Хорошо, наливайте. Из ваших рук, как говорят у нас ярославцы, при-му даже яд.

Но Распутин и не удивился, и не возмутился сказанному. Лишь добавил:

– Везде так говорят. У нас в Сибири тоже. И на посшок наливают, и стремленную подают. В общем, как у всех.

Тост за Распутину, который хранит верность традициям русской классической литературы, я поднял, встав из-за стола. Сказал несколько добрых слов о том, что для меня и для народа в целом он давно является символом русской национальной литературы, он смело и неуклонно идёт навстречу трудным жизненным вопросам, чем всех удивляет, а в героях его чудных книг светится правда народной жизни. От чтения возникает ощущение боли за многострадальную Россию. Не каждому писателю дано погружаться в правду народного характера, выкованного веками нашими предками, передать колоссальное богатство душевного мира простого русского человека, а Распутину Бог дал такой дар. И он его не растрчивает впустую. Его повести и рассказы побуждают размышлять о роли человека в делах общества. И я живу в ожидании, сможет ли этот человек-читатель уловить импульсы национального русского сознания, посылаемые Распутиным. Ещё мне нравится его скромность и в то же время его редкая открытость, готовность помогать людям. Мы только что с Бабуриным говорили, сколь много доброго сделал Валентин Григорьевич. В этой связи можно пожелать такому русскому богатырю только одного – долгих лет жизни и творчества.

Вслед моему тосту похвальные слова в адрес хозяина сказал и Валерий Хайрюзов. Он вспомнил, как они ходили вместе за грибами, набивали объёмистые горбовики спелой жимолостью, как Валентин Григорьевич вскапывал грядки у себя в огороде и сажал огурцы с картошкой, как угощал деревенским молоком.

Чтобы в дальнейшем не вести ничего не значащие бытовые разговоры, я решил спросить мнение Распутину о только что просмотренном на телевидении фильме “Остров”. Попал в точку. Писатель его смотрел, у него сложилось о нём неординарное впечатление. Моё отношение к фильму было самое противоречивое, что не давало возможности сказать даже самому себе, он хорош или плох. Сделать правильный и однозначный вывод мешали крайности. С одной стороны, режиссёр Лунгин призывает задуматься о вечном, о грехе, о душе, которая в мире погони за деньгами и житейскими благами подвержена невероятным испытаниям. С другой стороны, и в монастыре жизнь идёт таким чередом, что о вере и чистоте помыслов мало кто беспокоится. Не зря настоятель этого монастыря отец Филарет даёт совет освободиться “от всего

наносного, от ненужных привязанностей”. Такой совет настораживает. Что может быть наносным в строгом следовании заповедям Божиим? О каких “ненужных привязанностях” идёт речь, если распорядок и жизнь монахов сотканы из постоянного молитвенного служения?! Фильм не даёт однозначных смысловых ответов. Видно лишь, что монахи частенько враждуют и грешат. А история Православия знает пример того, как освобождение “от всего наносного, от ненужных привязанностей” привело к трагическому церковному расколу. Реформатор-западник Никон и старовер-русофил Аввакум не пожелали тогда отказаться от собственных “привязанностей”, и по великой России прокатилась гражданская война.

Мои сомнения не развеялись, а наоборот – укрепились после того, как кинодрама “Остров” режиссёра Павла Лунгина получила премию России “Ника”. Ранее фильм завоевал Гран-при фестиваля “Московская премьера”. Ещё картина была удостоена российской кинопремии “Золотой орёл” в номинациях “Лучший фильм года”, лучшие сценарий, режиссёрская и операторская работа, лучшие мужские роли первого и второго плана.

Распутин легко и разом развеял все мои сомнения. Дискуссия о фильме Павла Лунгина “Остров” даже не получилась.

– Дьявол, как известно, живёт в деталях, – сказал Валентин Григорьевич. – Почему фильм мне не понравился? Во многих деталях режиссёр неточен, мягко говоря. Много в фильме нежизненно. В монастыре по-другому живут, там другие отношения... Настоятель не пойдёт к монаху. Режиссёр же живописует эту сцену. Есть некая субординация, скажем так. Есть строгость. Но нет грубости такой, как в фильме. Монахи зачем-то рисуются.

– Мой отзыв ещё хуже, – вклинила своё слова в нашу беседу Светлана Ивановна. – Фильм вообще не понравился.

– Одно вранье в деталях. Зачем монах, например, сапоги сжёг?! Зачем монах непродуманно направляет женщину ехать во Францию искать мужа? А вдруг бы та поехала!

– Какую же задачу выполнял режиссёр?

– Мне это самому непонятно. Знаю одно: и писатель, и режиссёр должны возвышать душу человека, звать его к высоким нравственным и духовным высотам. Без стремления писателя и режиссёра дать герою возможность стать человеком, взять нравственную высоту – без этого нет ни культуры, ни искусства. Ещё Лев Толстой в статье “Что такое искусство?” писал: “Безнравственность в искусстве – это всё равно, что развратная женщина”. Что тут скажешь?..

– Правильно сказал Шукшин: “Нравственность есть правда”, – заметил я. – Но некоторые правильные вещи и в “Острове” звучат. В одном эпизоде речь идёт о православной аскезе – тема для нынешнего времени, когда на пути к духовному возрождению страны столь много препятствий, очень злободневная. Но именно это многими православными иерархами в штыки воспринимается.

– Конечно, ты прав, говоря о православном аскетическом образе жизни, – живо согласился Распутин. – Это надо осуждать, особенно барство. Я тут из телепередачи узнал, что Потанин за три миллиона долларов пригласил на свою вечеринку какого-то певца. Это правда?

– Не слышал. Могу узнать.

– Ни к чему. Я благодарен и ему, и тебе за помощь в строительстве нашего храма.

– Достроили?

– Да.

– У Потанина много интересных проектов по книгоизданию, поддержке провинциальных музеев, театров, университетов. По его предложению мне, кстати, доводится ездить по регионам и вручать потанинские стипендии лучшим студентам. В отличие от Абрамовичей и Ходорковских, он тратит значительные средства на русскую культуру. Хотя есть и загадки, недоразумения. Недавно его заставили за бешеные деньги купить “Чёрный квадрат” Малевича. Позорная, конечно, сделка. Точно известно только одно – то, что совершена по рекомендации свыше... Со своим напарником, возившим девочек в Куршавель, он, как известно, расстался. Загадочная, в общем, личность.

– Что нового в Думе? – задаёт Распутин неожиданный вопрос, переводя разговор в иную плоскость.

Под обсуждением фильма “Остров” была поставлена точка. Вопросы, на которые я ждал ответов, были разрешены. Отношение к режиссёру Лунгину с того дня у меня стало настороженным, недоверчивым. Присматриваясь к его творчеству в дальнейшем, я понял и правоту Распутина, и своё противоречивое к нему отношение. Режиссёр оказался конъюнктурщиком, русофобом, идейным фальсификатором истории и, к сожалению, талантливым. Почему идейным? А потому, что ведёт недостойными и лживыми фактами войну против правильной идеи, подменяет настоящую идею фальшивой. Таким насквозь лживым вышел его фильм про царя Ивана Грозного.

— В Думе царит тоска, — отвечаю я писателю. — Многие депутаты не ходят на работу. Пришли к нам на днях сотрудники строительных организаций, жалуются на коррупцию, говорят, что если раньше в год строили двенадцать домов, теперь — три. Строить мешают законы. Про грабительский Лесной кодекс и говорить не приходится. Все мои выступления в защиту леса — как мёртвому припарка. Не хотят возвращать управление лесами с нищих регионов на федеральный уровень. Хозяином в лесу как был не лесник, а арендатор-хищник, так и остался. Я передавал вам свой недавний доклад, где констатировал, что лес впервые в нашей стране стал убыточен. Туго идут дела с поправкой в закон об охранной зоне Байкала.

— Со скрежетом, — дополняет меня Хайрюзов. — Я вижу, когда бываю в Думе, с каким скрежетом идут хорошие поправки. Даже вокруг Байкала не могут найти компромисса...

Светлана Ивановна принесла с кухни чайник, разлила густую ароматную заварку по чашкам. Предложила попробовать мороженое. Но я скромно отказался, хотя мороженое люблю.

— А помнишь, Валентин, каким чаем с моршочкой ты угощал меня на своей даче?! — глубокомысленно задаёт вопрос Хайрюзов.

Распутин согласно кивает, широко улыбается.

— А меня Анатолий Онегов научил заваривать травяной чай, — вспоминаю я. — В основе заварки — кипрей, потом несколько щепоток зверобоя, мяты, ромашки.

— Онегова знаю, тонкий писатель, — даёт Распутин положительную характеристику моему давнему учителю, писателю-натуралисту, давно поселившемуся в моих родных борисоглебских краях, в деревне Гора Сипягина. — О природе он раньше хорошо писал.

— Он и сейчас пишет — о жизни пчёл, о лекарственных растениях.

— Я тут с удовольствием перечитывал страницы из книги Солоухина “Травы”, — признаётся Распутин.

— Это из того собрания сочинений, что я вам подарил? — спрашиваю я.

— Да-да. Шикарное собрание сочинений. Это ты сделал великое дело, что пробил солоухинское собрание. Толя Заболоцкий говорил, что вы с ним и памятную доску Солоухину на его доме водрузили. Правда, с трудом.

— Заболоцкий подсчитал — семнадцать лет вешали эту доску. Ганичев мешал...

— Знаю-знаю, но не будем трогать Ганичева. Он своими делами пусть занимается.

— Но вы же знаете, что Заболоцкий вновь собрался уходить из Союза писателей в знак протеста против Ганичева.

— Я его отговорил. Ганичев нужен сейчас. Мы с тобой говорили на эту тему. Пока он председатель, вхож к нашему Патриарху, дом писателей на Комсомольской у нас не отберут. А за Солоухина всё же тебе огромное спасибо. Много добрых дел ты сделал.

— Да что вы, Валентин Григорьевич! — махнул рукой я. — Мне за вами не угнаться. Мои дела против ваших мало что значат.

— Ну, не говори так.

Я с гордостью стал перечислять по памяти известные мне подвижнические дела писателя, активное участие его в делах государственной важности — открытие музея Православной культуры и Преподобного Сергия Радонежского; направление в 1987 году письма в Политбюро о передаче, вопреки указаниям Яковлева, Церкви разрушенной Оптиной пустыни; защита газеты “Сельская жизнь”; поддержка видеофильма молодого режиссёра Сергея Зайцева “Погибли за Францию” — об экспедиционном корпусе русских, отправленных в Первую мировую войну на спасение Франции; спасение дубов и усадьбы

Толстого “Ясная Поляна”; поездка на чеченскую войну в составе агитбатальона и получение медали “За укрепление боевого содружества”. А сколько русских талантливым писателям Валентин Распутин дал путёвку в жизнь, поддержал и надёжным словом, и напутственным предисловием! К примеру, дружеские вступительные слова были написаны к двухтомнику сибирского поэта Михаила Вишнякова, к книге литературного критика Валентина Курбатова “Подорожник”, к роману Юнуса Чуяко “Сказание о железном Волке”, вышедшему в Майкопе...

Владимир Скиф не дал мне продолжить перечисление тех книг, предисловие к которым написал Распутин, давая тем самым им высокий знак качества.

– Нельзя ли мне раздобыть собрание сочинений Солоухина? – попросил он, услышав о подаренных книгах.

– Пишите адрес, я вам вышлю, – пообещал я.

– Вот спасибо-то!

Хайрюзов отвлёк уже самого Распутина. В Иркутске готовился сборник местных писателей о городе, составителем которого он был сам, потому пришлось просить Распутина дать ему тоже какой-нибудь материал.

– У меня ничего нет, – скромно отозвался Валентин Григорьевич.

– Дайте отрывок из только что вышедшей книги “Сибирь, Сибирь...”, – наседал с угрозами Хайрюзов.

– Отбери сам, что понравится...

– Давно не общался с Валентиной Сидоренко? Что с ней происходит, не могу понять, я ей про книгу, а она давай всех критиковать...

– Груба она. Плохо себя ведёт... Со мной месяц не здороваются. Но она талантлива, читаема. Правда, грубость и злость переходят и в творчество, а это надоедает.

Они продолжили разговор о книге про Иркутск. Мешать не хотелось, и я стал вспоминать, каких деятелей культуры и искусства поддержал в трудную минуту своим авторитетом Распутин, либо не давая им уйти в забвение, либо спасая их от чиновничьего произвола.

Сразу на память пришли статьи Распутина о творчестве как известных писателей и поэтов, таких, как Василий Белов, Сергей Залыгин, Семён Шуртаков, так и мало раскрытых, но не менее оттого талантливых, к примеру, Виктора Будакова или Николая Зиновьева. Повсюду Распутин отмечает в своих собратях по перу одну дорогую для него характеристику – народность, то есть следование народным отечественным традициям. О книгах Сергея Залыгина он так размышляет: “В них Залыгин не просто художник, каким полагается быть любому писателю, а художник мысли. Притом мысли народной, вникающей в коренные вопросы бытия. Его герои, мужики, много философствуют и делают это настолько умно, естественно и увлекательно, что мысль, перекликаясь и подхватываясь, в сюжетном своём движении получает собственную драматургию, которой нельзя не отдаться всем сердцем. Пожалуй, никто до Залыгина не писал у нас с таким знанием дела о народной организации дела”. И к Шуртакову он подходит с той же мерой ответственности: “Все книги Семёна Шуртакова удивительно добры той негромкой и неяркой добротой, которой, по его убеждению, светится сердце народное”.

Книги коллег Распутин не ставит на дальнюю полку, в надежде когда-нибудь прочесть, а читает сразу. Таковы и воспитание, и коренная суть дружбы. Писателю Виктору Будакову, подарившему ему свою новую книгу, он пишет: “Твоя “Честь имею...”, надеюсь, проживёт во мне не месяцы, а годы и годы”. На поддержку друзей у него находятся и время, и средства, и здоровье. Он едет в Минск поддержать поэта Владимира Некляева, на Кубань – высказать слова восхищения дирижёру казачьего хора Виктору Захарченко, в Белгород – презентовать любимый журнал “Наш современник”. Он всю жизнь помнит, что сибиряк, что корни у него деревенские, и потому изо дня в день, из года в год думает, как прославить малую родину, что полезного сделать для неё: открывает Дни русской духовности и культуры “Сияние России”, патронирует Всероссийский театральный фестиваль имени Александра Вампилова, помогает Общественному фонду “Возрождение Тобольска”, добивается увековечивания памяти известного журналиста и издателя Геннадия Сапронова, выпустившего в свет в Иркутске массу книг и подарившего широкому российскому читателю произведения Астафьева, Вампилова, Распутина, Курбатова и т. д.

Чувство родины для Распутина – самое сокровенное и дорогое. Понимание важности возрождения народного характера, народных промыслов, народных традиций стало важной составляющей его многогранной творческой деятельности. Только такие народники-почвенники, как Распутин, отложат все дела и бросятся поддерживать и сочинять гимн народным мастерам. Мне надолго врезалась в память статья Распутина “Берестяная Русь Евгения Ушакова”, опубликованная в нашей “Парламентской газете”. Одно дело – полюбоваться, к примеру, историческими картинами и панно из берёсты, другое дело – оценить глубину народных традиций и праведность заповедного мира народного умельца: мир этот рушится на глазах, но его ещё можно спасти. Распутин выступает спасителем. Он пишет: “Издавна считалось, что тот, кто работает с деревом, – будь то плотник, столяр или мастер в народном промысле – человек добрый, мягкий, напитавшийся преображённым солнышком от материала своей работы. Это же качество, если судить по Евгению Ушакову, надо переносить и на художника, который “пишет” кусочками берёсты, складывая из них “картину”. Берёста сама по себе, от одного прикосновения к ней вызывает чувство сродни ласке, точно ты прикасаешься к коже живого существа. Ушаков, проживший немалую жизнь, прошедший войну, испытавший невзгоды, улыбчив, спокоен, талантлив, ладен и внутренне, и внешне, так и кажется, что это от дружбы с нею, с берёстой, с берёзками”.

– Когда вы всё успеваете? – спрашиваю я Валентина Григорьевича, закончившего беседу с Хайрюзовым.

– Разве всё успеть?! – слышу уклончивый ответ. – Много чего не успеваю сделать. Раньше не пропускал концерты ни Георгия Свиридова, ни Владимира Федосеева, сейчас до Малого театра не доберусь.

– Так я и поверил. Любите вы наговаривать на себя. Только что нас с Бабуриным напрягали, чтобы мы обязали правительство достойно встретить юбилей Гоголя.

– Святое дело. Нельзя замотать подготовку к празднованию.

За окном квартиры Валентина Распутина уже вовсю гуляла свирепая зимняя ночь. С подписанными книгами писателя я, счастливый и довольный, шёл бок о бок с Валерием Хайрюзовым по московским дворам и улицам к ближайшему метро.

– Скажи честно, как тебе мой фильм, понравился? – спросил он неожиданно.

– Тема человека и природы раскрыта у тебя удачно, талантливо. Можешь не переживать. И шаманы-буддисты к месту там, их чувство природы вызывает доверие. И за Байкал ты вступил вовремя. Тут Распутин прав. Я вообще иду вот, а сам под впечатлением от встречи с этим великим тружеником. Посмотри, насколько он русский во всём – и творец, и хранитель, и боец, и созидатель. Один человек, а ведь на всё его хватает.

Спустя год в газете “Известия” была опубликована статья “Мы должны мыслить по-русски”, подписанная Игорем Золотусским, Василием Ливановым, Валентином Распутиным и Саввой Ямщиковым. Все они были членами оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя. Для меня эта публикация стала и напоминанием об обещании Валентину Распутину. И сигналом к действию.

Прочитав статью несколько раз, я догадался, что над её содержанием крепко поработал сам Распутин. В каждом абзаце чувствовалась его смелая, уверенная правота и наступательность. Некоторые предложения хотелось зачитать вслух тому, кому они были адресованы, – Владимиру Путину.

“В своём письме президенту (ответом на которое и стал указ о праздновании юбилея Гоголя) мы просили о помощи в устройении двух вещей: в создании музея Гоголя и восстановлении первоначального облика его захоронения. На могиле Гоголя в Свято-Даниловом монастыре на “голгофе” стоял бронзовый крест. Когда прах Гоголя в 1931 году перенесли на Новодевичье кладбище, исчезли и крест, и “голгофа”. А в 1952 году на их месте вырос бюст Гоголя работы лауреата пяти Сталинских премий Н. Томского, укрепленный на колонне с надписью золотыми буквами: “Великому русскому художнику слова от Советского правительства”. Советского правительства давно нет, а памятник этот до сих пор стоит, попирая завещание покойного, в котором сказано: “Завещаю не ставить надо мною никакого памятника и не помышлять

о таком пустяке, христианина недостойном”. Завещание это может прочесть любой читатель в книге Гоголя “Выбранные места из переписки с друзьями”.

Гоголь был человеком искренне верующим, и над его могилой должен стоять крест. И это будет не нововведение, а восстановление исторической справедливости. В Министерстве культуры РФ также считают, что могила Гоголя должна обрести первоначальный облик. Поддержала это мнение и комиссия по сохранению культурного и духовного наследия при Общественной палате РФ (глава комиссии – митрополит Калужский и Боровский Климент). Но тут восстало Москомнаследие (руководитель – Г. Шевчук). Оно твёрдо резюмировало: памятник Н. Томского – “объект культурного наследия”, и его нельзя сносить. Но мы ведём речь не о сносе памятника, а о его переносе в любое достойное место столицы и о выполнении воли Гоголя.

Впрочем, чиновникам в Москве и Санкт-Петербурге нет дела до этой воли. Для них закон – их своеволие и безнаказанность перед лицом надругательства над памятью гения русской литературы. Комитет по культуре г. Москвы считает, что Гоголю достаточно двух мемориальных комнат при городской библиотеке № 2, находящейся в доме, где он жил и скончался, а Петербург, вторая древняя столица, ещё более суров. Председатель комитета Санкт-Петербурга цинично отвечает: список желающих иметь музеи в городе Петра велик, и Гоголь не значится в этом списке.

Что сказать об этих оппонентах Гоголя? Поистине это “беспачпортные бродяги в человечестве”, как называл таких деятелей Белинский.

...Стыдно, что никто из нынешней культурной “элиты”, самой присвоившей себе это звание, и слова не скажет о посмертной судьбе Гоголя. Ни госпожа Волчек, ни господин Табаков, ни господи Фокин, Захаров, Сокуров и Пиотровский. Ни руководители творческих союзов Ганичев, Сидоров и Михалков. Можно, не преувеличивая, сказать: за год до юбилея Гоголя юбилей провален. Будет шум вокруг его имени, будут пляски и фейерверки, но всё тут же испарится, как растворяется в воздухе любой, даже громкий шум.

Не будут учреждены гоголевские стипендии для студентов гуманитарных вузов.

Не будет издана летопись жизни и творчества Гоголя.

Не будет выпущено для массового читателя полное собрание его сочинений.

Не будет музея.

Не будет возвращён первоначальный облик могиле Гоголя.

Зато варварски на наших глазах уничтожена усадьба “Абрамцево”, столь же важная в судьбе Гоголя, как Украина, Петербург, Москва и Рим. При вступлении в должность её новый директор заявил сотрудникам, что и сам дух мракобеса Гоголя будет изжит из Абрамцева.

Стоит поблагодарить за это чиновников и ту свободу без границ, которая привела страну великой культуры к духовному обнищанию”.

Только Распутину с его русским духом и русским характером было по силам бросить вызов власти, упрекнув их в духовной нищете, и вывести в письме такую трагическую концовку.

Я сразу откликнулся на эту статью. Депутатские запросы ушли и в правительство, и в Генеральную прокуратуру с требованием выполнить всю намеченную программу празднования юбилея Николая Гоголя, а в усадьбе “Абрамцево” навести должный порядок, рассмотрев при этом вопрос об увольнении глупого директора.

В запросе Владимиру Путину говорилось:

“Представители культурной общественности страны озабочены ситуацией, складывающейся в связи с предстоящим празднованием 200-летнего юбилея Н. В. Гоголя, особенно обращая внимание на то, что, при кажущейся насыщенности мероприятий, планируемых к юбилею, без должного внимания остались одни из ключевых вопросов, связанных с увековечиванием памяти писателя. Речь идёт, прежде всего, о создании музея Н. В. Гоголя, восстановлении первоначального облика его захоронения, судьбе усадьбы “Абрамцево”, где жил и творил великий русский писатель.

Чиновники различного уровня фактически “заматывают” решение этих вопросов, выдвигая надуманные причины. В частности, Москомнаследия стоит на позиции сохранения на могиле Н. В. Гоголя существующего памятника, причисляя его к объектам культурного наследия. Комитет по культуре Москвы

противится созданию музея, мотивируя тем, что, дескать, в столице и так есть две мемориальные комнаты писателя при библиотеке, находящейся в доме, где он жил и умер. Усадьба “Абрамцево” вообще скоро оставит о себе только воспоминания.

Замечу, что всё это происходит при том, что сами члены оргкомитета по подготовке и проведению празднования юбилея И. Золотусский, В. Ливанов, В. Распутин, С. Ямщиков категорически возражают против такого подхода. Однако их голос не слышен. Свою позицию они изложили в открытом письме к Вам, опубликованном в газете “Известия”, однако ситуация кардинально не изменилась. Непонятно, по какой причине столь важное событие фактически отдано на откуп чиновничеству, которое свою точку зрения считает единственно верной?!

Н. В. Гоголь был не только великим писателем, но и великим патриотом. Именно поэтому, не теряя времени, необходимо решить все деликатные вопросы, связанные с празднованием, необходимо учесть при этом и позицию упомянутых выше членов оргкомитета. Поэтому прошу Вашего внимания к обозначенной проблеме с тем, чтобы она была решена”.

Вместо председателя правительства Владимира Путина мне ответила заместитель министра культуры России А. А. Голутва.

“В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации, — пишет она, — Минкультуры рассмотрело Ваше обращение относительно подготовки к празднованию 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя и сообщает следующее.

Идея создания первого в России музейного комплекса, объединяющего мемориальные комнаты Н. В. Гоголя и посвящённые ему экспозиционные помещения на базе Московской центральной государственной библиотеки мемориального центра “Дом Гоголя”, инициирована правительством Москвы и поддержана учёными-гоголеведами, литературной и музейной общественностью России.

Концепция создания данного государственного учреждения культуры города Москвы рассмотрена и одобрена с учётом состоявшегося обсуждения в Минкультуры России на втором заседании оргкомитета по подготовке и проведению празднования 200-летия со дня рождения Н. В. Гоголя.

В настоящее время правительством Москвы прорабатывается вопрос о переезде библиотеки в здание № 7 по Никитскому бульвару, которое сейчас освобождают арендующие его предприятия. В здании № 7а, где Н. В. Гоголь провел последние годы и где находятся мемориальные комнаты писателя, будут воссозданы интерьеры XIX века.

По вопросу об изменении внешнего облика захоронения Н. В. Гоголя на Новодевичьем кладбище в Москве Минкультуры России поддерживает позицию Московской Патриархии: “восстановление первоначального облика захоронения Н. В. Гоголя видится заслуживающим поддержки”.

Могила Н. В. Гоголя, включая надгробную композицию, постановлением Совета министров РСФСР от 30 августа 1960 года отнесена к числу памятников истории и культуры государственного значения и в соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ от 25 июня 2002 года включена в Единый государственный реестр объектов культурного наследия в качестве памятника федерального значения.

Вопросы создания музейной экспозиции в Гоголевском центре и изменения внешнего облика захоронения Н. В. Гоголя на Новодевичьем кладбище в Москве стали предметом обсуждения на межведомственном совещании в правительстве Москвы, в ходе которого была достигнута договоренность о дальнейших действиях по подготовке празднования юбилея писателя”.

Подошла праздничная дата, и в Москве был открыт долгожданный музей “Дом Гоголя”. На могиле писателя, на чёрном пьедестале, появился православный бронзовый крест.

— Знаешь, кто и что помогло нам достойно встретить 200-летие Гоголя и вернуть его месту захоронения первоначальный вид? — спросил меня при встрече Валентин Распутин.

— Решительность ваша и ваших единомышленников, — сказал я.

— Гоголь нам всем помог. В его завещании, которое вложено в уста главного героя замечательного произведения “Тарас Бульба”, говорится, что нет ничего святее в мире, чем Родина, братство и товарищество.

ПОСКОЛЬКУ ЖИВА СОВЕСТЬ

Трудно себе представить, возможно ли более грозное обвинение по адресу собственного государственного телевидения, чем то, которое предъявил обществу крупный учёный-физик, профессор Сергей Петрович Капица, назвав его преступной организацией?! Когда мы, депутаты Государственной Думы России, обсуждали законопроект “О высшем совете по этике и нравственности” для того, чтобы средства массовой информации работали в рамках закона, морали и устоявшихся традиций в обществе, я привёл слова Капицы и с ходу получил от журналистов и некоторых либерально настроенных политиков массу возмущённых криков и вопросов:

- Кто такой Капица, чтобы учить журналистов?!
- Он один такой. Цензура не пройдёт!
- Да за такие обвинения его под суд следует отдать!
- Что он понимает в телевидении?
- Кто разделяет его мнение? Да никто. Все понимают: какое общество, такое и телевидение.

Прежде чем дать ответ, я каждому спорщику и возмутителю зачитывал тираду Сергея Капицы:

“Наше телевидение находится в глубокой яме! Я бы назвал его преступной организацией, потому что такого разложения, которое оно практикует в обществе, я не видел на экранах никогда и нигде”.

– Я не думаю, что это обвинение брошено в пустоту, и общество не слышит известнейшего в мире учёного, доктора наук, не поддерживает его, – пытался я сокрушить оппонентов важными аргументами. – Ещё как поддерживает! Капица – не сторонний человек на телевидении, он легендарный ведущий программы “Очевидное-невероятное”. Ему ли не знать, как СМИ намеренно превращают страну в дебилов?! По крайней мере, я слышу и поддерживаю его справедливое возмущение. Поддерживает такую резкую позицию и наш писатель-классик Валентин Григорьевич Распутин. Недавно он, выступая на Всемирном русском соборе, сказал, что мы живём в оккупированной стране, и одним из признаков этого, безусловно, является преступное телевидение.

На меня ещё больше обрушился град злобной критики. В агрессивной и крикливой дискуссии невозможно было вставить слово. Одни уповали на то, что Распутин – человек высокой нравственной культуры и сказать такое не мог. Другие называли писателя ханжой и ретроградом. А третьи говорили, что писатель злится из-за того, что его мало показывают. Однако многие сходились в одном: более сурового приговора телевидению, которое вынес Капица, трудно себе представить, даже если он субъективный и высказанный сгоряча. Я долго терпел и выжидал. И как только наступило молчание, зачитал вердикт Валентина Распутина.

“Более грязного и преступного телевидения в мире не существует и не может существовать, ибо не находится больше желающих за государственный счёт содержать огромную, хорошо вооружённую армию легальной организованной преступности, денно и ночью занятую нравственной и культурной стерилизацией народа. Результаты наяву: всё меньше, к несказанной радости исполнителей, пахнет русским духом, духом культурного человека, всё меньше Россия похожа на себя”.

Спор вокруг позиции писателя Распутина продолжался в горячей форме, с обвинениями и требованиями примеров, доказательств. Мне ничего не оставалось делать, как активно участвовать в нём. Отступить я не привык, а аргументов было хоть отбавляй. К тому же и спор хотелось выиграть, утерев нос журналистам-всезнайкам.

Добившись от меня, что я против цензуры, журналисты благосклонно дали возможность выразить в тишине свою позицию. А начал я наступление на телевидение с того, что на его экранах “висят” и выступают одни и те же люди, несведущие, некомпетентные, неспособные нести в народ знания и культуру. У них собственное представление о русской культуре, искусстве, литературе, зачастую ангажированное, лживое, вредное. Хотя беда не столько в этом, сколько в том, что других людей из сферы культуры на экраны телевидения не пускают. Телеэфир забит ненавистными нашему обществу Швидкими, Сванидзе, Познерами, Ургантами, Ерофеевыми. И не надо сыпать обвинения в антисемитизме. Протест вызывает тот факт, что шоумен Швидкой

выпускает передачи в рамках “Культурной революции”, которые шокируют бесстыдством, экстремизмом, откровенной русофобией, расшатыванием моральных устоев. Одни его названия говорят сами за себя: он большой и опасный провокатор, а его передачи преступны: “Пушкин – устарел?”, “Музеи – кладбище культуры”, “Быть нищим позорно”, “Русский язык без мата немислим”, “Русский фашизм страшнее немецкого”. Наши русские подвижники Василий Белов, Валентин Распутин, Владимир Гостюхин, Савва Ямщиков терпели-терпели Швыдких и Познеров, занимающихся политическими диверсиями и борьбой с государственными устоями России, и обратились к народу, опубликовав статью “Телевидение, ты чьё?” с призывом остановить их. Но правительство, как всегда, пустило всё на самотёк.

Второй мой аргумент касался отсутствия на телевидении русских программ с русскими деятелями культуры. Зритель не видит своих кумиров, не только писателей Белова, Крупина, Лихоносова, Личутина, Куняева, Бондарева, но и художников, композиторов, актёров, скульпторов. Ни разу не показали на государственных телеканалах концерты ни Сибирского народного хора, ни оркестра русских народных инструментов, ни певцов Бориса Штокколова, Татьяну Петрову, Евгению Смольянинову, Жанну Бичевскую. Про культуру малых народов вообще забыли.

Сознательная политика замалчивания выстроена, кстати, и в отношении самого Валентина Григорьевича Распутина. Началась подковёрная борьба с ним ещё до того, как он и физик Капица назвали телевидение преступным. Озвучено было лишь его предупреждение, что на государственных телеканалах идёт необузданное и невиданное нигде в мире развращение молодёжи и дебилизация населения. Да, слова резкие. Но если не ему, писателю с мировой славой, эту правду заявить, тогда кому?! Кто поверит безвестным и неавторитетным? Писатель сокрушается и по поводу того, что книга перестаёт быть в некогда самой читающей стране мира учителем жизни, она превращается в товар, и значение её заметно падает. Против такого вывода никто не протестовал. Но стоило затронуть телевидение, как Распутину была объявлена чуть ли не война. Продажные журналисты опустелись до того, что в его юбилей не продемонстрировали ни фильма о писателе, ни одной из кинокартин, снятых по его произведениям. Это был вызов, и не столько самому писателю, сколько всей современной русской литературе, знаменем которой был и остаётся Валентин Распутин.

В ряде центральных газет, в том числе в “Литературной газете”, появились письма читателей, заметивших отсутствие на экранах телевидения и игнорирование известного писателя Валентина Распутина и предложивших исправить это недоразумение. Житель тульского города Новомосковска Владимир Смирнов написал статью под требовательным названием “Когда увидим юбилейный вечер Валентина Распутина?”. Откликнулся положительно лишь телеканал “Культура”.

То, что он стал несчастным гостем на телевидении, Распутин заметил, но не опечалился. Признался мне, что для них он чужой, что “пятая колонна”, унижающая народ и стремящаяся довести страну до распада, будет искать любой повод навредить ему.

Однажды Распутину в Иркутске предложили выступить на конференции “Молодость. Творчество. Современность” перед студентами, среди которых были и будущие журналисты. Писатель, считающий долгом серьёзно говорить с подрастающим поколением на темы будущего России, принял приглашение, пришёл и выступил так, что в аудитории запахло корвалолом, который, видимо, принимали от страха и переживаний перепуганные чиновники. А молодёжь слушала и слушала с почтением к слишком суровой, обличительной, но правдивой речи писателя. Напечатать выступление осмелился лишь редактор газеты “Русский Восток” Александр Турик. Если бы Распутин не подарил мне ту газету, то про его выступление я бы и не знал, как не ведали бы о нём и все те, кто отсутствовал на конференции.

Теперь я мог фрагмент этой выстраданной речи зачитать московским журналистам и политикам, жаждущим доказать, что современные журналисты трудятся, не покладая рук, на благо страны. Мы как раз в споре затронули тему отсутствия профессиональной гордости и чистоплотности. И тут как тут слова Распутина. Я рад был, что то выступление, напечатанное в газете, оказалось на рабочем столе, то есть под рукой. Я чувствовал, что многим оно не

понравится, но Валентин Распутин научил меня и многих русских патриотов своим примером никогда и ничего не бояться.

“Так называемые “демократические” средства массовой информации – это орден, куда ход рыцарям печального и благородного образа недоступен, – говорил Распутин. – Ход рыцарям образа злого, мстительного и разрушительного. Правда, в последние месяцы монолитность этого боевого ордена даёт трещины – от холуйского перекала в горниле российских событий, так что даже благосклонный к ордену Запад счёл необходимым выразить брезгливое удивление. Поэтому так нужны ныне журналисты честные, имеющие уши, чтобы слышать, и глаза, чтобы видеть, а не затейники, обслуживающие праздник нечестивых. Честность сегодня – тоже талант. И хотя это качество пока ещё не участвует в отборе на творческую роль, как все отверженное во имя воцаряющегося Храма, его приходится ценить вдвойне и втройне. И не как приобретённый, а как благословенный капитал”.

Журналисты слушали, молчали, не возражали, не отпускали реплик. Я охотно продолжил. Довёл до них, кажется, последний свой аргумент, тот, что переломил ситуацию наполовину. Кто-то из журналистов задался риторическим вопросом: а что, мол, нам делать, как реализовать себя и добиться успеха и признания? Он будто почувствовал, что на него не будет однозначного и нужного ему ответа, а писатель окажется профаном, не знающим, какой дать совет. Но Распутин не был бы Распутиным, если бы не предвидел растущие внутренние противоречия в душах подрастающего поколения, ищущего свою правоту и свой путь к творческим вершинам. Он без менторства и умствования, а, наоборот, с долей юмора и сарказма подошёл к ответу на звучащие вызовы.

“В наше время легко добиться успеха, – сказал Распутин. – Отдайтесь этой теме, о которой я говорил, отдайтесь, кроме того, зубоскальством над всем родным, что составляло святость старой России, или снесите терпеливо зубоскальство со стороны многоголосого “передовизма” – и вас не оставят в безвестности. Выстригайте из истории, как шерсть с овцы, десятилетия и века отечественных побед и успехов, воображайте Россию как вечную яму, куда стекают нечистоты, передразнивайте молитвы, перевирайте названия вещей или только не называйте вещи своими именами, добивайте последнюю гармонию жизни матерщиной слова и звука, без стеснения раздевайтесь на сцене донага, чтобы презреть ненавистное ханжество, – и вас вознесут, отблагодарят, премируют, самые тонкие и изысканные умы будут вам рукоплескать. Ведите на панель “искусством” своим собственную сестру, а затем и дочь, не обращайтесь вниманья, какому Богу служите, не замечайте, кто хозяйничает на земле вашей, поднимайте народ до высот своего понимания “смысла жизни”, говорите о гуманизме, свободе, общечеловеческих ценностях, если ненароком почувствуете зов сермяжного духа, – и вы достигнете высот, минуя тернии. И позвольте уверить тех, кто предпочитает путь иной, в трудной и страдательской жизни”.

Продолжительная тишина, состоявшееся молчание вдруг дрогнули перед зычным голосом того же сомневающегося во всем журналиста.

– Знаете, а вообще-то Распутин прав, – прозвучали его слова-откровения. – Нам надо что-то делать, надо спасти профессию... Мы должны, как и писатель, бить в колокола, ведь деградация человека, действительно, приняла формы, близкие к необратимым.

Неожиданное признание журналиста предопределило дискуссию. Многие его коллеги согласились почему-то с ним, а похлопали по плечу меня. Может, прочувствовали серьёзность темы, а может, попросту дипломатично или, как говорят ещё, по-английски решили уйти восвояси, уставшие и при своём мнении. Попросив при этом передать привет Распутину.

Любопытным вышел день в Госдуме. Закон не прошёл, не набрал необходимого количества голосов. А дискуссия с журналистами в коридоре, начавшаяся с обсуждения высказываний нашего замечательного писателя Валентина Распутина, закончилась также упоминанием его имени.

И так уж сложилось, что я давно привык к тому, что в жизни ничего случайного не бывает. Может, всё определено Всевышним, может, случайность является счастливым везением. Иначе как может так выйти – весь рабочий день я жил с именем Распутина, говорил о нём, цитировал его, пришёл в кабинет, а там ожидает меня он же – Валентин Распутин. Следом, спустя

минуту, заглянул запыхавшийся Валерий Хайрюзов. Оказывается, они были на заседании Иркутского землячества, а по его окончании решили навестить меня. В коридорах Думы разминулись.

– Долго жить будете, Валентин Григорьевич, – сказал я. – Только что о вас говорил с журналистами. Законопроект о создании высшего совета по этике и нравственности депутаты дружно провалили, а журналистская братия ликовала. Пришлось вправлять им мозги. Но не без вашей помощи.

– При чём тут я? – удивился Распутин.

– В качестве аргумента о преступном телевидении я использовал высказывания учёного-физика Капицы и, конечно же, ваше, сказанное на одной из конференций в Иркутске. Ох, и разозлились глашатаи свободы! Еле справился с ними.

– Я слышал, что этот Совет ваш должен создаваться по типу Общественной палаты. Жаль, что закон не приняли, я уже говорил, что убийство нравственным немногим лучше убийства физического.

– Надеялись, что закон будет принят?

– Недавно состоялось наше собрание общественного Комитета в защиту традиционных духовных ценностей России. Я вошёл в этот Комитет. Там и будем работать – вместе с Беловым, Клыковым, Крупиним, Михаилом Ножкиным.

– Меня подключайте к работе, – подсказал Хайрюзов.

– Работы всем хватит, – сказал Распутин. – Надеюсь, нам удастся противостоять тому, что россиян приучают к ценностям, которые нам чужды, – культ наживы, бесстыдства, индивидуализма. Телевидение, повторюсь, это не иначе, как чума и холера на бедную Россию. Василий Белов не зря на правлении Союза писателей назвал всю информационную политику власть имущих чужебесием. Страшно, что СМИ развращают молодёжь, а не помогают ей осознать своё место в жизни.

– Меня тут журналисты пытали, как я отношусь к цензуре, и в каких отношениях Распутин с цензурой.

– Цензура нужна, но не та... Во Франции вон есть и должная цензура, и совет по контролю за СМИ. В своё время я сталкивался с цензурой, когда повесть “Прощание с Матёрой” не проходила. Её пытались снять с журнала. Бондарев тогда пошёл в ЦК партии и отстоял повесть.

– Телевидение тут разразилось – показало документальный фильм-беседу с Юрием Бондаревым. Я с интересом посмотрел... Надо же такому произойти – осмелились показать русского писателя! Бондарев молодец – резал правду про смутное время и антирусское правительство.

– Эта передача раньше была записана, – выказал осведомлённость Распутин. – Она в запаснике лежала, сейчас вынули... Для чего? Понятно, Путин говорит о значении культуры всё правильно, но говорит для того, чтобы нас разжалобить. Чтобы мы расчувствовались. Он собрал нас за круглым столом – по убогости... Кого пригласил-собрал? Тех, кто сделал культуру убогой. Я не поддерживаю внутреннюю политику Путина.

– Они это знают, чувствуют, потому наложили на вас запрет, избегают вас...

– Избегают? Да я сам их избегаю. Мне тут одно крупное столичное издательство предложило поучаствовать в их серии о войне. Я подписал договор, благо, есть что предложить читателю. А потом попросил всё-таки показать, что ещё в этой серии издательство будет выпускать. Увидел: Войнович с его Чонкиным, Астафьев с “Весёлым солдатом” и другие авторы-западники. Сразу отказался от договора. “Вы же подписали договор?” – раздались угрозы в мою сторону. “Но не отнимать же мне у вас его сейчас обратно?!” – сказал я им. И забрал договор.

Валерий Хайрюзов затронул в беседе тревожную тему, связанную с активизацией китайцев по строительству завода с забором воды из озера. Я достал папку, в которой лежали документы, связанные с работой нашего думского комитета по экологии. Показал запросы-протесты, направленные в правительство с предложением не допустить реализации опасного проекта. Распутин поделился впечатлениями от поездки на Дальний Восток. Его встревожило то, что китайцы массово вырубают там и вывозят лес, женятся на наших женщинах. В будущем, как он считает, тесная и безоглядная дружба с Китаем выйдет нам боком.

Когда Хайрюзов вытащил из стопки книг, громоздящихся на столе, несколько экземпляров книг писателя Владимира Солоухина, разговор перешёл на его творчество. С директором издательства “Русский мир” Вячеславом Волковым мы издали полное собрание сочинений этого великого русского писателя. Деньги я выхлопотал на личном приёме у министра печати Михаила Сеславинского. В ходе переговоров пришлось прибегнуть к некой хитрости. Большой чиновник вначале воспротивился изданию, сказал, что Солоухина никто не читает и книгами его завалены все магазины. Мы поспорили, что это не так. На кону стояло: быть или не быть полному собранию сочинений. В разговоре Сеславинский упомянул популярный книжный магазин “Библио-Глобус”, где якобы лежат солоухинские романы. В этот же вечер я пошел туда и нашёл в букинистическом отделе единственную книгу Солоухина, одну из самых моих любимых, — “Письма из Русского музея”. Она была оформлена прекрасным фотографом, моим другом Анатолием Заболоцким. Только ради него я готов был купить книгу. Но приобрёл её из-за Сеславинского... На следующий день он позвонил мне сам и признался, что в “Библио-Глобусе” действительно нет произведений Солоухина. Таким образом, проект издания собрания сочинений был успешно реализован.

— Тут есть роман “Последняя ступень”? — спросил Распутин, приняв большой и увесистый подарок.

— Конечно, есть, — радостно ответил я. — Может, ради него всё и затевалось. Это не роман, а атомная бомба, как сказал Леонид Леонов.

— Точно, так и сказал, — засмеялся Распутин.

— Сожалею, что мы не дотянули до конца это собрание сочинений. В него многое не вошло, в том числе публицистика. А в ней, кстати, были воспоминания и о вас, Валентин Григорьевич.

— Разве он что-то писал по моему адресу?

— У меня, как у мудрого еврея, всё в запасниках, всё в архивах имеется. Когда Солоухин дарил и подписывал мне свои книги и газеты, в которых публиковался, я их сохранил. Книги лежат дома. А газеты здесь, потому что нужны были при подготовке собрания сочинений...

Достав из нижнего ящика стола папку с надписью “Солоухин”, я вытащил нужную газету. Распутин с Хайрюзовым внимательно слушали моё чтение.

“Мне рассказали эпизод, прекрасно характеризующий Валентина Распутина, лучшего современного русского писателя, патологически скромного. Его современники, модные поэты и прозаики, рыскают по американским университетам, за болтовню о нашей литературе, называемую лекциями, срывают тысячи долларовые куши, пооткрывали счета в иностранных банках, а он живёт себе в Иркутске и за единственные джинсы был там избит и только что не убит. Ну, да Бог с ними. Я хотел рассказать другой маленький эпизод.

Однажды в Германии Распутину неожиданно выплатили солидный гонорар. А на другой день — уезжать в Москву. Сотрудник нашего посольства, помогавший Валентину в поездке, решил помочь реализовать этот гонорар.

— Валентин Григорьевич, времени у вас — один день. Надо действовать продуманно и решительно. Подумайте, что вам нужно, и мы сразу же купим.

— Так... вроде бы мне ничего не нужно.

— Тогда поставим вопрос по-другому. Подумайте — чего у вас нет.

— Так... у меня ничего нет... — простодушно ответил Распутин”.

Хайрюзов намеревался похлопать в ладоши, как мне показалось, признавая правду Солоухина о скромности и простодушии Распутина, но тот взял его за руку, прося тем самым не делать этого.

— Не помню это, — сказал он. — Солоухин лучше про Расула Гамзатова написал. Тот однажды пожаловался на отсутствие чувства юмора у своего коллеги. Поэт пригласил того в гости в Махачкалу, а он взял и приехал. “Совсем юмора не понимает”, — заключил после этого Гамзатов.

— Лучше бы Солоухин написал, какая у Распутина шикарная коллекция колокольчиков, привезённых со всех концов света, — заключил Хайрюзов.

От пересказа солоухинских историй мы почему-то перешли к обсуждению национальной идеи, которую ищет правительство.

— Чего её искать? — вздохнул тяжело Распутин. — Такой идеей может стать правительство, но правительство наших, а не чужих национальных интересов. Пока же наше правительство страдает, повторю Белова, чужебесием.

Чиновник Греф заявляет: государство должно уйти из сельского хозяйства. Он что – глупый, не понимает, что бросать крестьян на произвол судьбы означает одно – уничтожение деревни. От характера земледелия зависит весь порядок в стране. А без деревни наступит апокалипсис.

В конце нашей беседы Распутин поинтересовался у меня, как в моём родном посёлке прошли Борисоглебские религиозные Иринарховские чтения. Видимо, эта тема беспокоила его, и ради снятия возникших проблемных вопросов он и заглянул ко мне в Госдуму.

– Ваши злопыхатели никак не уgomонятся у вас на родине? – сказал он. – Чего это они никак не уgomонятся?

– Остались всё те же претензии: не защищай музей и реставрационную мастерскую, не говори, а молчи, что найдены мощи преподобного Иринарха... Я вам рассказывал, что меня тогда поддержал Патриарх Московский и всея Руси Алексей. В беседе с ним я получил разрешение достроить реставрационную мастерскую... А когда он услышал, что недостоверные сведения о мощах святого Иринарха рождены ради того, чтобы привлечь лишних паломников с деньгами, то сказал мне, что беда эта общая. Известно, что если собрать все мощи святого благоверного князя Александра Невского, то их наберётся целый железнодорожный состав. Мои разъяснения московским писателям, защищающим активистов монастыря, не принимаются. Наоборот, они продолжают нагнетать обстановку и сочинять на меня небылицы и пасквили. Особо стараются Владимир Мартышин, мой бывший друг и помощник, и писатель-неудачник Сергей Щербаков. В посёлке появляются то листовки с обвинением Патриарха в экуменизме, то газеты, в которых сказано, что монастырь – это спецназ, и он разберётся с такими, как я. В общем, местью живут религиозные спецназовцы.

– Монастырь, конечно, не спецназ, – возмутился Распутин. – Это неправильно. Так чего они хотят от вас? Признать мощи и всё?!

– Думаете, я знаю, чего они хотят? Про мощи, про вериги я давно молчу. Но у них всякий раз новые претензии появляются. Наши расхождения в понимании и приятии Бога, видимо, значительно разнятся. Тот же Мартышин заявляет, что Бог – это страх, а я говорю, что Бог – это любовь. Показать вам статью, где про монастырский спецназ написано?

– Не надо, я читать эту ерунду не буду. Нехорошая история. И конца, и края ей почему-то нет. При мне Сергей Бабуринов говорил Ганичеву про тебя, защищал, вразумлял, объяснял... А Ганичев лишь отмахивался: давай потом поговорим...

– Ганичева настроили против... Я с ним тоже пытался поговорить на митинге возле расстрелянного Белого Дома. Так он замотал головой: мол, ничего не знаю, мне до ваших скандалов никакого дела нет.

– Мне вспоминаются слова Шульгина из его книги “Что нам в них не нравится?”, мол, не в евреях беда, а в том, что мы, русские, не ладим друг с другом.

– А я могу привести вам слова философа Ильина: “Где два русских встретятся, там война”. Кстати, Валентин Григорьевич, а почему вы не поехали на Иринарховские чтения? Во всех наших местных газетах по несколько раз сообщалось о вашем приезде и выступлении. Белов – понятно, он наотрез отказывался приезжать к ним, он мой друг, он всю правду знает. А вы там могли больше о нашем скандале узнать...

– Я и не собирался ехать на эти чтения, так как слышан об их скандальности. Тот же Белов рассказывал. Позиция ваша мне известна, а в наговоры я не верю.

Тут мы ударились в самобичевание. Кого только ни цитировали, какие только слова о беде русских ругаться ни приводили. Убедительнее всех был Распутин. Второй раз он мне озвучил поговорку, авторство которой мне не известно, но, думается, что и сам писатель мог её выстрадать... Звучит она печально: русские хлеба не едят, а едят друг друга, тем и сыты.

Под самый вечер, когда в депутатских кабинетах зажглись огни, меня вновь удивил, застал врасплох, восхитил Его величество случай. Попадая в подобные невероятные истории, я хоть и верю в них, но никак не могу к ним привыкнуть и считать их случайными, ни к чему не обязывающими. Только мы вспомнили Василия Белова, как он позвонил мне по телефону. Ему потребовалась фотокопия иконы Богоматерь Подкубенская (Умиление), хранящаяся

в музее города Ростова Великого. На письменную просьбу писателя сотрудники музея не откликнулись.

— Посодействуй, Толя, мне ой как нужна копия с этой православной святыни, — гремел голос Белова в телефонной трубке. — Это настоящий шедевр живописи!

— Я попрошу директора, мы знакомы, и он вышлет вам фотокопию с этой иконы, — пообещал я.

— Ты можешь выслать, а можешь взять её с собой в Москву. Я буду там на той неделе, зайду к тебе...

— Договорились. Как здоровье, Василий Иванович?

— Spина побаливает. А как у тебя жизнь, настроение?

— Воюем понемногу. У меня сейчас в гостях Валентин Григорьевич Распутин. Сидит напротив, спрашивает про Иринарховские чтения, что прошли в Борисоглебске, почему там никак не угомонятся мои недруги, чего они добиваются от меня?

— Это враги мешают тебе! — повысил голос Белов. — Дай трубку Распутину.

Я передал телефон Валентину Григорьевичу, слышавшему наш разговор. Писатели поприветствовали друг друга. О чём дальше говорил Белов, я не очень понял, но по напряжённому и растерянному лицу Распутина догадался: Василий Иванович защищал меня. Заключительным словом Распутина стало заверение: “Конечно, мы не дадим его в обиду...” То была замечательная, оптимистическая точка в нашем разговоре за весь день.

А последние минуты общения в этот вечер были посвящены обмену книг. Я подарил Распутину недавно вышедшие у меня книги “Дом под кронами дубов”, “Каспий в сетях браконьеров”, “Ёлки-палки, лес пустой...”. Ещё вложил в его пакет набор открыток художника Вячеслава Стекольщикова, посвящённых моему родному Борисоглебску. С творчеством художника Валентин Григорьевич был знаком, так как ранее я много рассказывал ему о нём и дарил его красочный альбом “Вечная Россия”. В ответ получил от Валентина Григорьевича двухтомник с автографом: “Анатолию Николаевичу Грешневику от автора искренне, дружески. В. Распутин”.

— Спасибо, Валентин Григорьевич, что зашли. Вы оказались здесь, в Думе, по-моему, в самый горячий, беспокойный и противоречивый день... Спасибо за беседу, понимание и поддержку. Сегодня поддержка русскими друг друга многого стоит. Для меня важно и другое: если бы мы с вами были не на одной стороне, не в одном окопе, то я чувствовал бы себя побеждённым. А так я ощущаю себя и правым, и сильным. Вы вселяете уверенность, подсказываете, сами не замечая этого, как выжить в этом смутном и продажном мире, где ценится не совесть и душа, а деньги и только деньги. Хотел раньше спросить вас, как вам, совестливому человеку, Валентин Григорьевич, живётся в бессовестном мире?! Но не спрашиваю, вижу: вся ваша жизнь — борьба. И от вас прямо исходит энергия победителя. Спасибо, день прожит не зря...

— Мы, — а мы Россия, святая Русь, — всегда были и будем победителями!

— Прямо по Гоголю: нет в мире такой силы, которая бы пересилила русскую силу!

ПОСЛЕДНЯЯ БЕСЕДА

В чём только не обвиняли Валентина Распутина в гнилые либеральные времена — и в непонимании прогрессивных реформ, и в поддержке путчистов, припоминая статью-обращение “Слово к народу”, и в антисемитизме, и в увлечении политикой, которая нанесла якобы ущерб творчеству. Что бы ни делал он — всё нашей прозападной элите не нравилось: ни то, что Распутин был народным депутатом Советского Союза, ни то, что входил в Президентский совет по культуре, ни то, что Владимир Путин наградил его орденом “За заслуги перед Отечеством” и встречался с ним на Байкале.

Но чтобы обвинять Валентина Распутина в молчании, в том, что он испугался и ему нечего сказать народу, до этих глупостей завистливые западники ещё не доходили. Вынужденное молчание Распутина, по их выводам, было связано с тем, что он не востребован ни временем, ни обществом. То, что это неправда и несусветная чушь, они знали, но продолжали лгать и разглагольствовать.

“Распутин после “Пожара” на целых 20 лет выпал из большой литературы в большую политику”, – писала “Комсомольская правда”.

“Что же он ничего не пишет?” – вопрошали писатели-русофобы в Пен-клубе.

“Распутин твёрдо верит в силу административного ресурса”, – критикует газета “Демократический выбор”.

“Почему Распутин как художник так долго молчит?” – задавалась риторическим вопросом “Российская газета”.

Одно время Распутин откликнулся на такие выпады, объясняя, что да, пошёл в Президентский совет к Горбачёву с двумя целями: помочь Байкалу и помочь русскому языку. Отвечал, почему писатель должен заниматься не только творчеством, но и публицистикой, борьбой: “Я из тех людей, которые не могут сидеть спокойно. Если горит мой дом, дом соседа, я буду их тушить, даже если это невозможно. Совесть по крайней мере будет спокойной. Сейчас я снова начал писать художественные вещи. Хотя перерыва большого в творчестве не было. Я занимался публицистикой, написал большую книгу о Сибири. А теперь снова вернулся к художественному слову... Когда человек садится к столу, он меньше будет бегать по кабинетам искать справедливости. Хотя, если это потребуется, я, наверное, не усужу”.

Ключевым, философским, смысловым здесь является слово “не усужу”. Писатели-западники не поднялись в борьбе против поворота северных рек вчера, а сегодня они не будут выступать за необходимость сбережения народа, против сексуализации школы, не будут бить в колокола, почему “новые русские” мутируют до неузнаваемого состояния, не признают, что судьба России – в православно-нравственном возрождении на основе почвенничества, патриотизма, сохранения самобытности и традиционных ценностей. А Распутин не усидит дома, когда общество пойдёт вразнос, и его необходимо будет встряхнуть, и потребуется одному защищать и русскую культуру, и традиционные ценности.

В упомянутой книге “Сибирь, Сибирь...”, признанной Ассоциацией книгоиздателей “событием года”, Распутин обозначил, раскрыл суть внутреннего мятного состояния русского человека, коим и себя с гордостью называл:

“Нет, надо верить... И праведники ещё остаются, и не выжили совершенно люди из бескорыстия, благоразумия, веры. Да, издержался, издержился, окунулся в срамной балаган человек – да ведь не всякий же! И пусть он, не поддавшийся, осмеян нынче, затравлен, загнан в молчание и одиночество... но... стоит неколебимо он, ни за какие пряники не способный расстаться с совестью”.

Иногда мне кажется, что в словах “загнан в молчание и одиночество” Распутин имел в виду и себя, но я твёрдо знаю, что это не так. Если кто-то стремился загнать писателя в молчание и одиночество, так это продажная либеральная власть и их прислужники из “пятой колонны”, но сам писатель всей своей подвижнической и творческой деятельностью показал: он на острие борьбы. Он спасает страну от экономической колонизации и духовного порабощения. Ему не грозит вынужденное затворничество, его поле битвы – душа человека. Эта русская душа нынче под огнём телевизионной наркоты и “чернухи”, под соблазнами комфорта и потребительства. Сможет ли она выздороветь, остаться русской – на поисках ответа на эти трудные вопросы построена публицистика Распутина. А как известно, для русской литературы характерна яркая и народная публицистика. Достаточно вспомнить “Слово о полку Игореве...”, “Слово о погибели русской земли”. Всё это тоже публицистика!

В подшивках газет и журналов навеки останется публицистика Валентина Распутина, поставленная на службу и во спасение русского народа. Его статьи – этот крик души. Они о том, о чем болит и душа русского народа, – о земле, власти, природе, деревне, вере, родном языке и, конечно же, о спасении России. У всякого писателя своё понимание миссии... Распутин видел ее в культурном и духовном просвещении народа, в возделывании его души.

Поэтому с начала творческого пути девизом для себя Распутин избрал служение Родине. Он отмечал три опасности уничтожения человечества, которые существуют в мире и которые станут в его борьбе приоритетными, – это ядерная, экологическая и антикультура, то есть опасность, связанная с разрушением культуры. Своему девизу он никогда не изменял. Лишь с большей

силой верил в него и подсказывал другим: “Человек, имеющий в сердце своём Родину, не запутается, не опустится, не озвереет, ибо она найдёт способ, как направить на путь истинный и помочь. Она и силу, и веру даст”.

Был ли Распутин болен тем одиночеством, о котором так скабрёзно, со злорадством, писала и над которым подтрунивала либеральная братия? Мой ответ однозначен: не мог писатель при таком энергичном характере, при такой общественной нагрузке и востребованности патриотическими силами впадать в тоску одиночества. Жизнь его так бурлила, что он всегда находился на гребне схватки, на передних рубежах информационной войны как с фальсификаторами истории, так и с губителями наших национальных традиций.

Но у других русских подвижников, берущих с Распутина и пример гражданского служения, и уроки художественного мастерства, вопрос одиночества имел иной, сакральный смысл. Заключался этот смысл в том, что не у каждого русского подвижника, даже если он и не находился в полной информационной изоляции, хватало сил и духа идти по прямой, с открытым забралом, против антинародной власти. И рядом идущий Распутин выглядел потому одиноко идущим, одиноко возвышающимся, одиноко сражающимся... Может, в этом умозаключении и есть доля истины, но лишь доля.

Популярный современный писатель Олег Павлов винит в одиночестве Распутина нынешнее время. Его выводы имеют право на существование:

“Распутин – один из последних больших русских художников, которые ещё вкладывают в слово “писатель” какой-то смысл. Нынешнее время – тоже часть его судьбы, и его одиночество в этом времени понятно. На мой взгляд, в 1970-е годы он опередил время лет на 30–40. Потому что если теперь почитать те вещи, то станет видна жизнь, какая она есть сейчас. Не потому, что он создавал пророчества, а благодаря абсолютному пониманию людей, ведь всё, что имеет место сейчас, произошло уже тогда. Советское время для персонажей Распутина было, казалось бы, благополучнее, чем нынешнее. А он показывал, до какой степени человек сам себя разорил, – и это выглядело невероятным. Скажем, люди приезжают хоронить мать и не могут её похоронить.

Распутин ближе всего подступился к реальному человеку, к его душе – так же, как Вампилов и Шукшин. Он посмотрел на жизнь с апокалиптической точки зрения. Распутин – глубочайший философ. Главный вопрос для него – в чём заключается для людей спасение, где оно? Это человек эпохи Возрождения, а не крестьянского лубка. Он – русский и православный, но как художник он больше и своей русскости, и своей православности. Отблеск христианского взгляда на людей и на мир – вот чем живёт его проза”.

Был ли Распутин путчиком, защищающим советский строй, или наоборот – антисоветчиком, чьи произведения, по мнению некоторых западников, помогали рушить коммунизм?

У самого Распутина на сей счёт есть прямой и честный ответ:

“Мне уже приходилось говорить о том, что Россия – это удивительная страна, которую любят называть то загадочной, то непредсказуемой, в случае с коммунизмом как раз показала полную предсказуемость и верность себе. Она сделала невозможное: коммунизм, запущенный в неё для её погубления, ценой огромных человеческих и духовных жертв сумела в своих недрах переварить и поставить на государственную службу. К концу 60-х – началу 70-х годов это выявилось окончательно. Потому и был приговорён коммунизм в России, что он не оправдал возложенных на него надежд, сошёл, так сказать, с расчётной орбиты и подлежал уничтожению, которое, в свою очередь, должно было произвести в России новое социальное потрясение.

Коммунизм приняли, с одной стороны, романтики, с другой – приспособленцы и циники. Вторых, как выясняется, было больше, они и представляли всегда из себя потенциальную “пятую колонну”. Эта братия всегда и везде “пятиколонники”, для нового строя она столь же опасна, как и для старого, которому изменила. Таково её свойство – прилепляться, паразитировать, а при первых же признаках опасности – предательствовать; и всё с пафосом, с шумом, с бесстыдством”.

Гениальность Распутина не столько в том, что он философски осмыслил причины крушения коммунистического строя, при котором, как написано в его повестях и рассказах, русский человек считал себя чужим и брошенным, сколько в том, что он сказал правду о том, кому не нужна была суверенная и самобытная Россия. И правда эта имела основания: как только

стоило России, переварив коммунизм, отказаться от самоуничтожения, так “пятая колонна” совершила новую горбачёвско-ельцинскую революцию. Этой либерально-руссофобской клике, увлечённой чужеродными идеями, не нужна сильная и единая Россия, им нужна колония для грабежа, вот потому они вновь, но уже в крошечные и подлые 90-е годы, терзали и убивали Россию.

Для меня Валентин Распутин был и остаётся тем писателем, который давал ответы на все вызовы времени, а значит, и на те вопросы, которые мучали меня лично.

Зачем большому писателю тратить время на публицистику? В этом ли миссия писателя?

Распутин без всяких заумствований даёт прямой ответ:

“Нормальный писатель обычно откликается на всё, что происходит вокруг. Иначе он не писатель, а клоун. Среди моих друзей таких нет, вообще я стараюсь “пофигистов” сторониться. Ну как, скажите, я мог усидеть, когда пытались повернуть на юг северные сибирские реки? И разве можно было молчать, когда травили Байкал? Поэтому и приходилось браться за публицистику”.

В чём главная опасность для России?

У Распутина и здесь есть ответ, с которым трудно не согласиться:

“Россия с её тысячелетней историей — по всем меркам молодая цивилизация. И грозит ей не старость, не усталость, не изношенность, а “красивая” жизнь в пучине безнравственности и отвержения традиций. Римлянам и грекам не снилось то, что вывалилось на Россию с телевидением, “культурной революцией” и нравственным разложением человека”.

Чем опасна массовая культура?

На этот вопрос — о набирающей убийственной силе массовой культуры, о всепобеждающем шоу-бизнесе, ставящем великую страну с вековыми духовными и культурными традициями на грань выживания и самоуничтожения, — боится давать честный и вразумительный ответ целая армия писателей, философов, актёров, художников, не говоря уже о политиках и государственных деятелях. А Распутин давно вынес свой смелый и пророческий вердикт:

“Массовая культура — это психоз потребительства. Она — признак духовной пустоты или неустроенности. Человек, вырастающий в личность, имеющий характер личности, этому психозу не поддаётся, стадность — удел слабых, копирующих всё, что делают другие”.

Возможно ли примирение с российскими писателями-западниками, состоящими в другом творческом союзе? После разрушительного и провального правления Ельцина такие, как Евгений Евтушенко, уехавший в Америку, но приезжающий на лето на Байкал в свой дачный домик, шлёт Распутину приглашения на свои выступления. Однако ответа на них не получает.

Распутин, поддержавший первый роман поэта своим предисловием, вынужден был публично ответить:

“Сколько принесла вреда в последние годы, в последние десятилетия наша интеллигенция, особенно интеллигенция высшего порядка, демократическая интеллигенция, что слово это потеряло не только своё звучание, но и свой смысл. Интеллигенция — будущее России. Если будет у нас национальная интеллигенция, будет будущее России; если интеллигенция будет, как это было до сих пор, космополитической интеллигенцией, если Россия будет взрачивать и по-прежнему потакать, и давать все блага только космополитической, антинациональной интеллигенции, то у России никакого будущего быть не может. В эти годы, эти месяцы часто говорят о том, что если бы правая и левая интеллигенция объединились, то тогда могло бы произойти примирение и объединение России. Но простите, с кем нам мириться, с кем нам объединяться? С кем нам бороться? С Черниченко? С Евтушенко? С Коротичем? Да это просто невозможно ни для меня, ни для моих товарищей, потому что это были разрушители. Эта интеллигенция стала орудием разрушения России, и это орудие работало не один год и даже не одно десятилетие”.

Стоило ли столько сил тратить на защиту русского языка?

И опять Распутин отвечает так, как никто до него не отвечал:

“Русский язык изучают там, где есть духовность”.

И никому из словоблудных либеральных писателей, деятелей культуры, политиков из “пятой колонны” не суждено подняться до нравственных вершин Распутина. Зато подбрасывать в прессу и общество домыслы и сведения,

полные лживого яда, будто писатель исписался, не востребован ни временем, ни обществом, и это они делают с размахом и неприкрытым энтузиазмом, этому их учить не надо.

Только и тут правда не за ними.

Среди больших и разных международных литературных премий есть одна из самых почитаемых, исключая Нобелевскую, среди писательского сообщества – премия “Москва-Пенне”. Она, действительно, пользуется авторитетом в мире и существует три года. В 2003 году в Китае Валентину Распутину как раз присудили эту награду – “Лучший зарубежный роман XXI века”. Наша либеральная общественность пришла в ярость от недоумения, каким образом повесть “Дочь Ивана, мать Ивана”, прозванная ими националистической, обогнала соперников из Америки, Франции, Великобритании, Испании и Германии?! Тем более, они были уверены, что, выдвинув на премию своих законстелельных западников Петрушевскую и Искандера, они гарантируют им победу. И над журналом “Наш современник”, предложившим жюри кандидатуру Валентина Распутина, лишь посмеялись. Кто, мол, из состава жюри, где опять же их западники сидят – Войнович, Сидоров, Давыдов – будет голосовать за русских патриотов-националистов?!

Просчёт их оказался сильным. Абсолютную победу Распутину обеспечило общественное жюри. По условиям международного конкурса, именно оно после заключения литературного жюри ставило точку, кому присуждать премию. И как бы в газете либералов “Московский комсомолец” ни ёрничали над тем, что в общественное жюри вошли какие-то школьники и студенты, читательский успех был на стороне Распутина. То была профессиональная оценка. Эти студенты представляли лучшие вузы страны – Московский государственный университет имени Ломоносова (МГУ), Литературный институт (кузница будущих писателей и поэтов), МГИМО, Университет дружбы народов, Лингвистический университет имени Тореза и Московский педагогический университет имени Ленина. Намерение либералов принизить статус и уровень премии, унижить писателя закончилось тем, что они унизили сами себя. Опозорились они и на международном уровне, ведь среди инициаторов премии и членов жюри был ещё и славист, профессор Венецианского университета Витторио Страда. Город Пенне, обозначенный в премии, находится как раз в Италии.

Китайцы не только перевели на родной язык повесть “Дочь Ивана, мать Ивана”, но и выпустили в свет четырёхтомник Валентина Распутина. В Мексике проявили интерес к творчеству нашего классика и записали его произведения на видеокнигу. Правительство Монголии издало книгу “Дочь Ивана, мать Ивана” и вручило за неё Распутину медаль “За литературу”.

В московском клубе “Пегас” состоялось вручение Большой и Малой литературных премий России. Тут учредителем были Русский биографический институт, Союз писателей России и агентство “Сократ”. Лауреатом малой премии единогласно был определён Валентин Распутин, и отмечены были уже не художественные повести и рассказы, а публицистика.

Чем больше негодовали и трезвоили либеральные СМИ, тем чаще Литературные премии сыпались на Валентина Распутину. Он стал получать награду за наградой: лауреат Государственной премии России за выдающиеся достижения в области гуманитарной деятельности, лауреат премии святых Кирилла и Мефодия, лауреат Международной премии имени Ф. М. Достоевского (Таллин), лауреат премии “Имперская культура”, лауреат премии имени Александра Невского “России верные сыны”, лауреат премии Правительства России.

У западников-руссофобов во власти сдавали нервы: какие бы они ни принимали действия по замалчиванию либо шельмованию писателя, он становился в народе всё популярнее, и президент России награждал его высшими орденами страны – орденом “За заслуги перед Отечеством” и орденом Александра Невского.

Но затихли они, презируемые в народе с их либеральными фальшивыми ценностями, посчитали себя побитыми и униженными, когда узнали, что их кумир, их знамя, их ориентир на западные права человека – великий писатель Александр Солженицын – тоже вручил свою премию Валентину Григорьевичу Распутину. И с какой формулировкой: “За пронзительное выражение поэзии и трагедии народной жизни, в сращенности с русской природой и речью; душевность и целомудрие в воскрешении добрых начал”. А до громкой и помпезной церемонии вручения награды Солженицын написал Распутину

письмо, которое также крепко потрепало и побило последних либералов. Среди его честных строк о творчестве Распутина были фразы о том, что он творил во время мерзкой либеральной власти.

Лауреат Нобелевской премии Солженицын писал Распутину:

“Делю Вашу щемящую тревогу за духовное и нравственное состояние нынешнего русского народа и само выживание его. Правители, объятые алчным властолюбием либо ненасытным обогащением, думают об этом менее всего. Не смущайтесь и тем, что Ваши общественные выступления вызывали поток политической грязной брани по закупленному эфиру, от ничтожных людей, ищущих вовсе не сохранения России, да часто и живущих вне её. После изжитых нами грозных десятилетий – наступившее время ещё по-новому мерзко и мрачно для всех нас”.

Ничего западникам-русофобам не оставалось делать, как признать, что Валентин Распутин востребован, почитаем, и он не в творческом простое, а пишет, и из-под его пера вышли в последнее время значительные произведения – повести “Сибирь, Сибирь...”, “Дочь Ивана, мать Ивана”, рассказы “В ту же землю”, “Изба”, “В непогоду”, “Видение”, книги смелой и злободневной публицистики “В поисках берега”, “Эти 20 убийственных лет”, “Боль души”.

Все эти книги, ставшие творческим открытием для читателей и давшие им жизненную силу, я читал по нескольку раз. И в последнюю нашу беседу я говорил о них с Валентином Распутиным. Не сказал только того, о чём думалось и о чём постеснялся сказать. Накануне прихода ко мне Распутина я смотрел знаменитый фильм “Звезда”. Щемило сердце от того, как перед последним неравным боем с фашистами, прежде чем погибнуть, русские разведчики успевают передать в штаб важные донесения.

Пришедший ко мне поговорить Валентин Григорьевич чувствовал себя неважно, сказывался внутренний надлом. Он только что долго лежал в больнице. И не отступившая болезнь снова звала его туда же... Я осознавал, предвидел: это наша последняя встреча. Последняя беседа. То, что Распутин успел написать на склоне лет, – написано душой, кровью, нервами и большим сердцем, и это следует рассматривать как завещание, которое оставляет подлинно русский писатель, солдат духовного воинства, патриот, исповедник нравственности, последний хранитель великого животворного русского языка, совесть народа. Его уход из жизни мог означать только одно: с его смертью заканчивается период русскости в современной России. Литературный критик, близкий друг Распутина Валентин Курбатов так и написал мне после утраты друга, что теперь вокруг – пустота. И то правда: на нём держалась русская духовность в культуре и искусстве.

Тяжесть момента, нравственные переживания не помешали нам пообщаться. Мне пришла в голову идея не просто побеседовать с писателем о том о сём, а так, чтобы душа в душу, сердце к сердцу, и сделать с ним полноценное интервью для своей партийной газеты “Справедливая Россия”. Задать ему, исследователю тайн русской души, волнующие меня вопросы: например, почему наш народ теряет интерес к работе? как вернуть литературе её настоящий русский облик и душевный строй? когда наши литераторы осознают свой писательский долг, а политики начнут национальное воскрешение страны?... Недавно я прочёл выражение Распутина, которое могло стать лейтмотивом беседы: “Бывало и хуже, но никогда не бывало столь густой нравственной тьмы”. Но так как готовность взять интервью родилась спонтанно, то мне, бывшему профессиональному журналисту, не пришлось раскачиваться, настраиваться, переживать и подбирать темы.

Я включил магнитофон и начал пытаться собеседника.

Распутин отвечал с прежней свойственной ему прямолинейностью и искренностью.

– Валентин Григорьевич, когда я прочёл Вашу новую книгу “Эти двадцать убийственных лет”, передо мной встал единственный вопрос: как мы, русские, допустили убийство нашей культуры, нравственности, государства? У Вас, как у истинного писателя-патриота, нашлись силы бороться с колонизацией страны. Все атаки врагов, травля в печати смело и мудро отбиты. Из книги я понял, что у Вас на ненавистников всего русского выработался иммунитет, и он подкреплён словами Сенеки: “Не нравиться дурным – для человека похвально”. Но есть ли силы у народа бороться за самостоятельность

государства, за сохранение его духовных и культурных ценностей? Автор повести “Всё впереди” Василий Белов предрекал нашей стране печальное будущее. Скажите, что же нас ждёт впереди?

— А что там, впереди? Мне через два года будет восемьдесят. Смотреть на судьбу страны с высоты прожитых лет — толку мало. В России по-прежнему нет осознания того, что без возрождения культуры, духовности, исторической памяти невозможна никакая экономическая политика. Кризис в экономике — это кризис в умах. Наши политики вложили огромные средства в олимпиаду. Думали, после неё кризис пойдёт на спад. Нет. Опять требуются деньги на подъём экономики. К тому же и сами олимпийские объекты нуждаются в дополнительных средствах на содержание. Политика и экономика зиждутся не на деньгах, а на образовании и культуре. Я иногда слежу за работой парламента, вижу: в политику идут порядочные люди, такие, как Горячева, Харитонов, Нарышкин, как Вы, но этого мало.

— Недавно благодаря Вам я побывал в Иркутске, познакомился с деревянным зодчеством Сибири, попробовал омуля из озера Байкал. При всей экономической бедности регионов у вас берегут памятники архитектуры, особо хранят двухэтажные деревянные дома с оригинальными резными наличниками, а у нас в Ярославле их сносят.

— Старая часть Иркутска осталась. Памятники сохраняются. Это видно. Деревянные дома мне тоже симпатичны. Их как-то миновала разрушительная судьба. В Ярославле я давно не был, но многие храмы помню. Они очень красивы. Сегодня иркутские губернаторы понимают значение истории, старины, берегут архитектурное и зелёное богатство города. Мне удалось помочь землякам построить деревянный храм. Его срубили местные мастера. Экология у нас значительно лучше стала. Правда, на моей родине, в Братске, с экологией всё так же тяжело.

— Облегчит ли судьбу озера Байкал решение о закрытии бумажного комбината?

— Байкал стоит пока. Слава Богу, комбинат всё-таки убирают. Первая попытка закрыть его оказалась неудачной, потому что власть не создала новых рабочих мест. Сначала надо новое производство обустроить как следует, а потом идти на закрытие старого. Нынешние политики вроде это понимают. Сейчас в Госдуме разрабатывается законодательство о полном запрете строительства вредных заводов рядом с Байкалом.

— В конце года у меня запланирована командировка в Бурятию. Собираюсь посмотреть на Байкал со стороны другого региона.

— Это интересно. Я там бывал. Разница есть. После наблюдения за жизнью Байкала со стороны Иркутска, а затем и Бурятии, ты замечаешь, что озеро выглядит по-разному. Дело не только в экосистеме, в качестве воды, в отношении людей к водоёму. Мне, например, любопытно было наблюдать, как идёт вода, как она шумит, гремит... Жизнь озера там идёт по-другому...

— А чем закончилась Ваша борьба со строительством Богучанской ГЭС? Когда по центральному телевидению показывали документальный фильм “Река жизни” с Вашим участием, я не мог сдержать слёз... Конечно, было понятно, что олигарх Дерипаска победит, и плодородные, живописные участки земли будут затоплены. Но неужели нашим высокопоставленным чиновникам не понятно, что обустроенные деревни, храмы, археологические памятники, кладбища, пойменные луга стоят во много раз дороже нового источника дешёвой энергии? Неужели Ваша трагическая книга “Прощание с Матёрой” никого и ничему не научила?! Я в парламенте выступил против строительства Богучанской ГЭС, призвал министров читать Вашу великую книгу, а в ответ — равнодушие.

— Дерипаска оказался сильнее народа. Ему нужна энергия для продажи в Китай, а жильё крестьян, обычаи, памятники для него ничего не значат. Власть денег развращает чиновников, губит природу... Затоплять родную землю ради того, чтобы задарма торговать электроэнергией, — это преступление не только перед нынешними, но и перед будущими поколениями. Таков лейтмотив фильма. И Владимир Путин, конечно, помог ему построить Богучанскую ГЭС. Если бы Путин был против, то ничего этого не было бы.

— У Вас была возможность подсказать Президенту страны В. Путину, когда Вы с ним вместе спускались в батискафе на дно Байкала, что надо остановить строительство Богучанской ГЭС. Когда я смотрел по телевидению на

ваше совместное погружение, то подумал, что Распутин воспользуется ситуацией и попросит остановить экологическую катастрофу.

— Ещё в Москве я договорился с Владимиром Путиным, что когда он будет в Иркутске, то примет меня... Я собирался поговорить с ним о новой гидростанции. Звонил ему. Мне дали телефон. И он обещал: “Я сам собираюсь быть в Иркутске, там и встретимся”. Так и случилось. Президент прибыл на Байкал, и губернатор пригласил меня на встречу с ним. И как только представилась возможность поговорить с президентом, я сразу спросил его о том, можно ли остановить строительство новой ГЭС и знает ли он о губительных последствиях проекта? Он ответил: “Мы не можем остановить стройку”. Тогда я сказал, что нужно обязательно это сделать. Предотвратить экологическую катастрофу — задача власти. Ещё сказал, что люди, когда узнают, что вредный для природы проект остановлен, будут и к нам, и к президенту относиться по-другому. “Будущие поколения будут вас благодарить за спасённые от затопления леса, деревни, храмы, погосты, памятники”, — повторил я. А он повторил своё: “Уже не можем...” Так что трагедия с Матёрой ничему нас не научила. Власть вновь наступает на те же грабли. Я помню ту встречу до мелочей. Мы общались минут пятнадцать. Беседа тогда грубовато шла... Сейчас, когда Владимир Путин стал, кажется, помудрее, погосударственнее, решение могло быть другим. Я чувствовал, что он тогда не решался на поступок.

— Выходит, президент не услышал вас. Это, кстати, не единственный случай. Я года два назад разговаривал с известным журналистом Василием Песковым. У него тоже была встреча с Владимиром Путиным. Он долго просил его отказаться от принятия нового Лесного кодекса, по которому ликвидировалась лесная охрана, вместо лесников хозяином в лесах становился арендатор. Президент обещал знаменитому натуралисту не отдавать лесные угодья в распоряжение арендаторов, но слово не сдержал.

— Да, Лесной кодекс привёл к валу коррупции, к грабежу природы, к массовым пожарам. На второй встрече с президентом я собирался заступиться за русский лес, но не получилось. Эта встреча состоялась в Кремле, где президент вручал мне Государственную премию. Он тогда произнёс хороший доклад. Я же свою речь не закончил. В какой-то момент я понял, что не вижу собственный текст, потому остановился... Кстати, Вы, Анатолий Николаевич, единственный, кто поздравил меня с присуждением Государственной премии.

— Равнодушие коллег-писателей меня не удивляет. На похороны к великому писателю Василию Белову приехали лишь Анатолий Заболоцкий и Владимир Крупин. При жизни классика я видел, как писательская братия ездila к нему за поддержкой и помощью, а тут у них не нашлось времени проводить его в последний путь.

— Скверно. Если бы я не болел, то обязательно бы поехал проститься с Беловым. Это был писатель с чистой совестью.

— Валентин Григорьевич, давным-давно, беседуя о противостоянии русских писателей, участвовавших в скандалах в Союзе писателей, Вы привели мне поговорку, которая по сей день пугает меня. Уж слишком тревожно она звучит: “Русские хлеба не едят, они едят друг друга, тем и сыты”. Неужели с тех времён ничего не изменилось в стане наших патриотов?

— Ничего не изменилось. Скандалы порой вспыхивают на пустом месте. Из-за этого я боюсь ездить на писательские съезды, встречи, конференции... Да и со здоровьем плохо стало. Недавно был наш съезд. Председатель Союза писателей Ганичев приглашал. Но я там не был. Хотя проблемы коллег меня волнуют. Боюсь, из-за скандалов мы потеряем Дом писателей, а ведь он выдержал не одну осаду чиновников-либералов.

— Между тем, все Ваши друзья — и Шукшин, и Белов — умели дружить, умели избегать конфликтов, хотя у всех были горячие характеры.

— Они больше заботились о стране, чем о собственных интересах.

— А конфликт с писателем Виктором Астафьевым?

— Там всё было иначе, чем пишут в газетах. Наши разногласия с ним заключались только в том, что мы перестали общаться. Но я и тогда, и сейчас не приемлю последние его работы. Такого же мнения придерживался и Белов. Недавно по телевидению показали документальный фильм режиссёра Мирошниченко, в котором Астафьев и артист Петренко беседуют о прошлом и будущем России. В этой беседе было много искусственного... Большому

писателю нельзя подчиняться законам журналистики. После смерти Астафьева я съездил к нему на родину в Овсянку, постоял у могилы, простился, мысленно поговорил с ним... Боль за Россию у нас была единой.

— А рассказывал ли Вам наш общий друг кинооператор Анатолий Заболоцкий о том, как мы с ним одиннадцать лет устанавливали памятную доску на доме, где жил замечательный писатель Солоухин? Вместо поддержки писателей мы встретили в нашем Союзе непонимание и вредительство.

— Рассказывал в деталях. Помнится, мне довелось помогать ему в сборе денег для скульптора, который вначале дал согласие повесить памятную доску, а потом снял её... Неприятная история. Я знаю, что тогда вам с Заболоцким помогла заместитель мэра Шевцова. Хорошо, что вам с друзьями удалось издать собрание сочинений Солоухина. Плохо, что его предстоящий юбилей не освещает телевидение.

— Мне почему-то кажется, что Вы никогда не включаете телевизор?

— Смотреть по телевизору нечего. Но я всё равно включаю его. Смотрю в основном информационный блок. Новости страны надо знать.

— Однажды в парламенте я встретил своего коллегу, кинорежиссёра Станислава Говорухина, напомнил, как он, будучи руководителем избирательного штаба кандидата в президенты Путина, сказал ему, что он, вступив в должность, обязан “убрать мразь с телевидения”. Говорухин заявлял это публично, понимая, что телевидение — мощное информационное оружие, направленное против нашей культуры. На мой вопрос, так когда уберут “мразь” с телевидения, Говорухин ответил: “Никогда!” Вы разделяете точку зрения Говорухина?

— Конечно. Все основные телеканалы работают против нашей культуры. Я об этом много раз говорил, писал, выступал.

— Смелый доклад Вы сделали на Всемирном Русском Соборе. Задолго до Говорухина сказали о том, что мы живём в колониальном государстве, и назвали признаки колонии: чужая культура, чужие законы, чужие песни, чужая экономика. Сегодня что-то изменилось в стране?

— Ничего не изменилось. Всё то же самое... Для того чтобы прекратить хотя бы информационную войну против отечественной истории и культуры, достаточно забрать телевидение из рук либералов и передать его патриотам-государственникам.

— Полностью согласен с Вами. Если власть не остановит фальсификацию истории, подмену духовных и культурных ценностей, то у страны трагическое будущее. Когда власть уничтожала культурное и экономическое наследие русской деревни, я спросил у Василия Белова о будущем деревни. Ответ его был категоричен: “Деревню уже не возродить”.

— Сейчас нет деревни. Явно не стало крестьян. Потерян смысл работы на земле. Один миллион гектаров пашни не обрабатывается. Власть так разорила деревню, что там нет никакой работы. Кто может — уезжает, другие перебиваются, как могут... Но разве будет жить Россия без крестьянина? Лес — и тот спилили. В деревне уже почти ничего нет. Там сейчас добирают остатки и ничего не сажают, не сеют. Белов видел эту губительную политику. Глубоко переживал, страдал. Отсюда и пессимизм. Не вижу и я правительственных шагов по возрождению деревни. России нужны крестьяне, а не олигархи.

— Валентин Григорьевич, в журнале “Ладога” я прочёл тёплые, трогательные слова воспоминаний о Белове. Скажите, а Вы помните первую встречу с Беловым, и когда у Вас состоялась последняя беседа с ним?

— Встречи с Беловым запомнились на всю жизнь. Они были наполнены искренностью, жизнелюбием, заботой о друзьях. Познакомились мы в гостинице “Россия” накануне писательской конференции... Заболоцкий рядом был. Подтвердит, что мы сразу сошлись характерами, взглядами. А последний раз мы виделись за год до его смерти. Постоянно говорили по телефону... И часто беседа шла не о собственном здоровье, а о здоровье России. Сейчас надо крепко потрудиться над тем, чтобы достойно увековечить память об этом замечательном человеке и писателе. Уже сделано большое дело — вышел семитомник его трудов. Теперь нужно установить в городе памятник.

— Литературные критики не перестают обвинять Вас, а до этого их стрелы летели и в Белова, что Вы зря занимаетесь публицистикой. Они настойчиво советуют писать не статьи и очерки о бедах и горестях русского народа, а заниматься художественными рассказами и повестями. Как Вы относитесь к таким советам критиков?

— А что делать? Наблюдать, как гибнет государство?! Когда телевидение и пресса взяли на себя право давать плохие ориентиры, совершать, как я тогда писал, “моральное растление и убийство миллионов”? Нет, этого я себе позволить не мог. И Белов тем более. Если бы мы не занимались общественно-политической работой, мы перестали бы быть писателями. На наших глазах Россия теряла поколение за поколением. Либералы делали из них врагов исторической и национальной России. Состояние морали в обществе ужасало. Нам надо было скорее говорить правду о происходящем... Нам казалось, что это поможет. А вот помогло, не помогло наше слово — я не знаю...

— Ещё как помогло! На Вашей публицистике выросло поколение просвещённых патриотов. В литературе появились интересные молодые критики. Недавно мой друг и издатель Дмитрий Лобанов издал книгу молодого писателя о Вашем творческом пути “Русский гений — Валентин Распутин”. В московском издательстве “Прометей” вышла коллективная монография “Творчество В. Г. Распутина в социокультурном и эстетическом контексте эпохи”, а в Томске вышла научная монография “Время и бремя тревог. Публицистика Валентина Распутина”. Так что ваше искреннее и тревожное слово о человеке и бытии нашло отклик и поддержку.

— Название книги смущает. Зайду в книжный магазин “Библио-Глобус”, возьму её... Скажу честно, авторы преувеличивают мои заслуги, но мне приятно, что труд не пропал даром.

— Что сейчас пишете?

— С большим трудом пишу о Богучанской ГЭС. Сделал текст, теперь надо его вычитать. Написал очерк после того, как мы ездили прощаться с Ангарой, когда был снят фильм “Река жизни”. В экспедиции участвовали хороший кинодокументалист Сергей Мирошниченко, литературный критик Валентин Курбатов и книжный иркутский издатель Геннадий Сапронов. Идея фильма принадлежала Мирошниченко. Я с ним знаком года четыре, даже больше — пять. Спонсором был Сапронов... У него в ходе съёмок затопляемых деревень и храмов остановилось сердце.

— Фильм нужный, трагичный, бросающий вызов и бездумной власти, и хищным олигархам. Кажется, в нём сказано всё о трагедии Иркутской земли, великой реки Ангары, о безумии общества... Или я ошибаюсь? О чём Вы ещё скажете читателю?

— Невыносимо тяжело было видеть по берегам Ангары брошенные деревни, разруху, запустение. При встречах с людьми поражала их безысходность... Они жили ожиданием катастрофы. Я не приемлю строительство новой ГЭС на Ангаре, которая затопит последние деревни, кладбища, обжитые земли. Три гидростанции уже построено. Сейчас запустят четвёртую... Кажется, человек должен жить лучше. А ему всё хуже и хуже. Он потерял чувство родины. Ему не нужны теперь ни власть, ни гидростанции, ни родная земля. Разве народная усталость, равнодушие, беспамятство — не последний вызов России?!

— Чужие нравы и песни, чужая культура и экономика сделали своё дело. Эти Ваши провидческие слова не дошли до власти предрержавшей. Народ болеет, вырождается, вместо него появляется население. Вы не поверите, Валентин Григорьевич, но у меня слёзы на глазах выступили, когда я услышал в фильме призывы мужиков, собравшихся за весёлым столом с пивом и закуской попрощаться с родными местами: “Затопляйте нас, Дерипаска, затопляйте!” Совсем иначе покидали малую родину жители Матёры. Сорок лет, кажется, прошло. В давнем фильме “Прощание с Матёрой”, снятом по Вашей известной повести, брало за душу трагическое противостояние народа и власти. Крестьяне упорно отказывались переезжать на новое место жительства. Их насильно выживали. Душевные переживания, философское осмысление судьбы природы и людей, понимание значимости сохранения законов памяти свидетельствовали о нравственном здоровье простого народа.

— Всё течет, всё изменяется. Я как раз пишу о последствиях строительства Богучанской гидростанции. Хотя понимаю, что моя прежняя повесть “Прощание с Матёрой” наших чиновников при власти ничему не научила. Вновь зeki ходят по брошенным пустым деревням и сжигают дотла крестьянские избы. У некоторых домов, говорят, забытые собаки на привязи воеют. Под воду “мёртвого моря” уйдёт более 10 миллионов кубометров леса... Топляк потом всплывёт, а часть древесины пойдёт на дно и начнёт отравлять воду.

– Десять миллионов кубометров леса? Так это же почти половина ежегодного экспорта необработанного “кругляка”!

– Да, да, 120 тысяч гектаров леса мы теряем по своей глупости и жадности.

– У нас в Ярославской области в настоящее время идёт широкая дискуссия о том, нужно спустить воды Рыбинского водохранилища или не нужно. Одни учёные и общественники говорят, что если восстановить прежнюю затопленную часть земли, то будет благо, другие рассуждают иначе, пугают новыми экологическими бедствиями, процессами гниения и всякими эпидемиями. На Ваш взгляд, стоит ли спустить Рыбинское водохранилище?

– Правильная дискуссия. Хорошо бы спустить воду. Возродить всё, как было раньше. Опасаться негативных последствий не нужно, природа сама всё восстановит. Если экологические и социальные проблемы водохранилища оставить неразрешёнными, то дальше будет ещё хуже. Продолжится обрушение берегов, большой замор рыбы, заболачивание и цветение воды. Я вижу, как гибнет Ангара. Раньше это была крупнейшая река, великая река. В моей деревне нельзя пить воду. В детстве всё было иначе. Были колодцы, но воду пили из реки... А сейчас Ангара едва движется. Мешают гидростанции. Без необходимого течения и моя река, и ваше водохранилище теряют способность к самоочищению. Вода застаивается, появляется мелководье, водоросли... Увеличивается концентрация вредных веществ. Начинаются процессы гниения. Особенно там, где были затоплены лесные массивы, кладбища, скотомогильники. Борьбу с природой давно пора прекратить.

– За границей научились беречь и лес, и реки. Кстати, Валентин Григорьевич, впереди наступают тёплые летние времена. Куда Вы собираетесь поехать из Москвы на отдых? В родные места или в Европу? В каких зарубежных странах Вы побывали, какая Вам больше по нраву? Или родная Сибирь ни в какое сравнение не идёт с заграницей?

– Еду в Иркутск, на Байкал. В родных местах я лучше всего себя чувствую. Раньше с удовольствием ездил в Японию. Трижды там бывал. Недавно японцы издали мою книгу. В Китае также вышло собрание сочинений. Мне очень дорога Сербия. Помню каждую встречу с этим братским православным народом. Но сейчас меня тянет только на родную землю.

– Поклон иркутской земле. До новых встреч!

– Тогда я Вам так и подпишу свою книгу: “Анатолию Николаевичу – с надеждой на долгие встречи”. Осенью жду Вас на Байкале.

– Спасибо.

Вот такой была наша последняя беседа. Она была опубликована ещё при жизни писателя. Я послал газету ему почтой. Ответа не последовало. Валентину Распутину оставалось жить семь месяцев.

Несмотря на большую утрату, на душевную пустоту, моя жизнь всё-таки наполнена счастьем: я живу в стране, которая рождает таких великих писателей-мыслителей, как Распутин и Белов, я всегда читал их книги, брал из них примеры для подражания и учения, а ещё я имел честь общаться с этими русскими великанами. Валентин Григорьевич Распутин как был, так и остался моим духовным наставником, поводырём и учителем, уроки которого я выучил наизусть и буду следовать им всю свою жизнь.

СЕРГЕЙ ПЕТУНИН

ИСКУССТВО ЛЁГКИХ ДЕНЕГ: НОВЫЙ РОМАН ВИКТОРА ПЕЛЕВИНА

Не кажется ли вам, что с новой книгой Виктора Пелевина что-то не так? Среди четырёхсот страниц нового сборника «Искусство лёгких касаний» (2019) не затесалось ни одной новой идеи, зато активно используются прежние приёмы и образы. В очередной раз писатель посочувствует нелёгкой доле российских олигархов и, изрекая своё стандартное *memento mori*, принесёт традиционную жертву очередному божеству. А скрепляет это всё, как обычно, щедрый и в общем-то ненужный экскурс в историю культов.

Складывается впечатление, что книгу писал малофункциональный бот, на троечку обученный приёмам Виктора Пелевина и потому способный лишь расфасовывать прежние образы по новым обложкам.

Когда в 1999 году Виктор Олегович покинул «Вагриус», давший приют его первым произведениям, и переметнулся на пастбища «Эксмо», писателя словно подменили. Вот как пишет об этой странной перемене критик Роман Арбитман: *«<Пелевин – П. С.> отключил щедрый фонтан и перевёл свою креативность в режим жёсткой экономии: выдавал по плошке в год, по чайной ложке, по капле. Но всё же это были его ложки и его капли. И даже когда бредовость пелевинских текстов слегка зашкаливала, а из дырки в черепе (место несостоявшегося третьего глаза) деловито выползали чёрные тараканы подсознания, это были его, пелевинские эксклюзивные тараканы, какие могли завестись только в такой штучной голове, как у Виктора Олеговича. И вот всё закончилось. Теперь его тараканы – самые обычные. Без сюрпризов»¹.*

Кажется, что, спасаясь от условий нового контракта, обрекающего писателя ежегодно выдавать по роману, Виктор Пелевин обратился за помощью к российским программистам и оформил подписку на алгоритм, фабрикующий новые тексты на базе фраз из социальных сетей и прежних книг Пелевина.

Не верите? Для скептиков напомним, что ещё в 2007 году российские программисты изобрели искусственный интеллект, который, «вдохновляясь» творчеством Харуки Мураками и Льва Толстого, написал первый в мире электронный роман «Настоящая любовь. wrt» (True Love. wrt). Книга вышла приличным тиражом в 10000 экз.².

Детали подписки Виктора Пелевина неизвестны, но, судя по дальнейшему творчеству писателя, сделка с российскими программистами всё-таки состоялась.

Если бы не случайный баг системы “iPhuck 10” (2018), засветивший литературно-полицейского робота “Порфирия Петровича”, творческий союз писателя и программы так и оставался бы в тайне.

Впрочем, первые “баги” в творчестве Виктора Пелевина появились задолго до “Искусства лёгких касаний” (2019). Писатель Андрей Аставацуров комментирует: “У Пелевина нет героев. Имена назовёте? Чапаев, ага. Весь этот роман (“Чапаев и пустота”, РИА “Воронеж”) состоит из цитат, там филологу делать нечего. Пелевин имитирует какую-то литературу, в “Чапаеве” он пересказывает Брюсова, современную рекламу, фильмы. Роман построен на интертексте. Пелевин не придумал ничего сам. Он работает с чужим готовым словом. Только любой писатель это скрывает, а тот, наоборот, открывает”³.

Масштабы “цитирования” красноречиво продемонстрировал малоизвестный блогер под ником “Пишет ne_skazu”, отыскав в одном из отрывков “Чапаева и пустоты” почти дословный пересказ бунинских писем: “Новая литературная низость, ниже которой падать, кажется, уже некуда: открылась в **гнуснейшем кабаке** какая-то **“Музыкальная табакерка”** – сидят **спекулянты**, шулера, **публичные девки** и лопают пирожки по сто целковых штука, пьют ханжу из чайников, а поэты и беллетристы (Алёшка Толстой, Брюсов и так далее) читают им свои и чужие произведения, выбирая наиболее похабные”, – писал Иван Бунин в 1918 году, спустя месяц после выхода поэмы А. Блока “Двенадцать”⁴.

А вот как описывается обстановка в “Музыкальной табакерке” у Пелевина: “...Я тем временем оглядывал зал. За круглыми столиками сидело по трое-четверо человек; публика была самая разношёрстная, но больше всего было, как это всегда случается в истории человечества, свинорылых **спекулянтов** и дорого одетых б***** [выделено мной. – П. С.]”⁵.

Там же можно встретить цитаты из стихотворений Александра Блока, Сергея Есенина, Владимира Соловьёва. Подозреваю, этим заимствования в “Чапаеве” не исчерпываются...

Не удивительно, что вскоре после выхода “Чапаева и пустоты” Павел Басинский осерчал на Виктора Пелевина, обозвав представленные в романе картины Серебряного века “гадостью” и “культурным шkodничеством”⁶.

Напомним, что роман “Смотритель” (2014) также вырос из чужого материала, а именно – из рассказа Юрия Тынянова “Поручик Кижэ”, повествующего об одной существующей лишь на бумаге личности, ожившей благодаря бюрократической ошибке. Говорить о первоисточниках творчества Виктора Пелевина можно ещё долго.

Но отечественная литература и классика – это не единственное поле, на котором вырастает творчество постмодерниста Виктора Пелевина. Не менее охотно писатель из Чертаново заимствует из зарубежных источников, иной раз самых неожиданных. Например, читая “Жизнь насекомых” (1994), можно встретить пересказ отдельных фрагментов из саги Дж. Р. Р. Толкиена “Властелин колец”: “Он [Митя. – П. С.] шёл и думал, что ещё несколько дней такой погоды – и небо опустится настолько, что будет, как грузовик с пьяным шофёром, давить прохожих, а потом поднял глаза и увидел в облаках просвет, в котором мелькнули другие облака, высокие и белые, а ещё выше – небо, такое же, как летом, до того синее и чистое, что сразу стало ясно – с ним, с небом, никогда никаких превращений не происходит, и какие бы отвратительные тучи ни слетались на праздники в Москву, высоко над ними всегда сияет эта чистая неизменная синева”⁷.

Сравним с оригиналом (пер. Н. Григорьевой и В. Грушецкого.): “Далеко на западе над Хмурыми горами ночное небо казалось тусклым и бледным. Потом в разрыве туч над тёмной горной цепью Сэм увидел мерцающую белую звезду. Её красота пронзила его, и в этой проклятой стране он почувствовал крепнущую в сердце надежду. Ибо подобно молнии сверкнула в нём мысль о том, что Мрак, в конце концов, не вечен и что есть в мире свет и красота, до которых никакому Мраку не добраться”⁸.

Как видим, заимствует Виктор Пелевин охотно и с размахом. Воспроизведение целых кусков из чужих текстов никак нельзя назвать творчеством... Но следует признать, что цитирование – намеренное или нет – неотъемлемая часть любого письма, и не только постмодернистского. Однако раскрывая книгу, мы хотим, прежде всего, получить высокохудожественную историю, а не набор цитат.

Как известно, задача хорошего публициста – это сделать современность понятной для читателя. Виктор Пелевин делает ровно то же, но использует при этом чужое литературное наследие, выбирая из него то, что может отозваться в читателе здесь и сейчас.

В связи с этим считаю, что Виктор Олегович – это природный публицист, который выбрал профессию писателя из-за финансовой выгоды: в наше время досуние писатели зарабатывают больше, чем поэты, критики и публицисты. Все рассказы, повести, даже романы Виктора Пелевина практически не отличаются от статей – это хорошо заметно на примере сборника “Relics: ранее и неизданное” (2005). Эту особенность подметил Дмитрий Быков, назвав ослабленное рассудительное начало главным отличием романа “Чапаев и пустота” от предшествующего творчества. “Новый роман Пелевина куда менее схематичен и рассудочен, чем его прежние сочинения, и в нём куда больше той невыносимой грусти, которая бывает только в больнице или казарме в ужасный синий час между днём и вечером”⁹.

Комментируя это качество, заклятый друг Пелевина Павел Басинский отмечал, что сюжет в пелевинских книгах практически отсутствует, представляя собой едва намеченный переход от одной лекции к другой, от статьи к статье¹⁰.

В чем проявляется эта особенность? Разберем на примере повести “Freedom Liberty” из сборника “Ананасная вода для прекрасной дамы” (2011).

“Коротко, насколько позволяют рамки нашего очерка”¹¹, автор начинает свой неотягощённый сюжетом рассказ о гражданской жизни главного героя повести Савелия Скотенкова, напоминая статью в энциклопедии. Затем с типичным для публициста переходом (“Теперь мы должны сделать экскурс в совершенно другую область – историю развития боевой авиации. Попросим читателя набраться терпения. . .”) в текст вводится лекция об истории развития американских беспилотников, где автор бесхитростно излагает принцип их работы. Легко посчитать это отступление излишним, но именно в этой вставке ключ к пониманию метафоры сборника. Посвятив читателя в технические подробности, писатель снова возвращается к своему герою: “Так обстояли дела в Афганистане, когда Савелий Скотенков появился там с красной от хны бородой”¹².

Нерефлексирующий писатель (Бен Элтон или Владимир Сорокин, Алексей Слаповский) постарался бы свести к минимуму всю лекционную часть. Важные для контекста повести сведения такой писатель может представить в форме рассказа лётчика, внутри боевой инструкции или, на худой конец, передать в “статье”. Иными словами, литератор с ярко выраженным художественным мышлением постарался бы не выходить за рамки образного строя текста.

Талант Пелевина лучше проявляет себя в области языковой игры и политической рефлексии, поэтому писатель бесхитростно вставляет в текст страницы “нехудожественного” материала. . . И, что самое интересное, это сходит ему с рук.

Видимо, пытаясь в новом сборнике художественно обосновать своё увлечение публицистикой, писатель замаскировал “Искусство лёгких касаний” под “дайджест”, то есть комментированный пересказ романа. Мне могут возразить, что это сознательный приём, который обостряет полемическую остроту. Но подумайтесь: зачем нужны эти ухищрения с “дайджестом”, если автор в состоянии написать полноценный роман?

Виктор Пелевин всегда заимствовал много и без всякого стеснения. Но если раньше он использовал чужое наследие, то в “Искусстве лёгких касаний” он цитирует собственные тексты. Повторно перерабатывается и вся система цитат, превращая в банальность былые остроты.

Например, пассаж о бюрократии, излучающей дух протеста яростнее простых людей, неоднократно повторяется в произведениях Виктора Пелевина: из повести “Зенитные кодексы Аль-Эфесби” (“Ананасная вода для прекрасной дамы”, 2011) эта мысль явно перетекла в “iPhuck 10” (2018) под видом размышления о “революции, которая есть совместный проект Лубянки и Кремля”¹³. Иными словами, в новом сборнике повторяются не только прежние элементы, но и вся система взаимоотношений, выстроенная в прошлых работах.

В сочетании публицистического подхода и ранних творческих приёмов родилось “Искусство лёгких касаний” (2019), состоящее из трёх произведений. Растянутый в повесть рассказ “Иакинф”, политическая колонка “Искусство лёгких касаний”, образующая с первой “повестью” смысловое целое “Сатурн почти не виден”, и составленный в прежних пелевинских традициях рассказ “Столыпин” – продолжение истории героев “Тайных видов на гору Фудзи” (2018).

При этом “Искусство лёгких касаний” – это не просто повторение прежних идей... Это повторение конкретного сборника. Все повести новой книги скроены по лекалам “Ананасной воды для прекрасной дамы” (2011).

Судите сами: в центре повести “Иакинф” – четыре героя нашего времени: социолог-евромарксист Валентин, банковский брокер Андрон, установщик балконов Иван и телеведущий Тимофей – отправляются со странным проводником в горный маршрут. Как и в повести “Тхаги” (“Ананасная вода для прекрасной дамы”, 2011), где молодой фанатик погибает во имя индийской Кали, проводник Иакинф, конечно же, заманивает молодых туристов в горное капище и приносит в жертву Кроносу.

Амон Ра, Иштар, Кали, Будда, теперь вот Кронос и Баал... Израсходовав мифологический запас раннего Пелевина, подменивший писателя алгоритм принялся механически перебирать оставшиеся божества. Видимо, когда-нибудь в топку будет брошен и финский Йоулупукки.

– *Мы вчетвером – модель России. Новой России*”, – замечает один из четверки, социолог Валентин, перед тем как стать ягнёнком в импровизированном капище Кроноса.

Подобно персонажам повестей “Зал поющих кариатид”, “Тхаги” (и множеству других), жрец Иакинф освобождает четырёх юношей, ищущих в горах Кавказа убежище от пошлой московской жизни. В этом смысле рассказ “Акинфий” повторяет прошлые тексты Пелевина сразу в двух плоскостях – это ода очередному божеству и стандартная пелевинская повесть про освобождение героев из хватки бытия. “Принц Госплана” (1991), “День бульдозериста” (1991), “Жёлтая стрела” (1993), “Затворник и Шестипалый” (1990), “СССР Тайшоу Чжуань” (1991) – мотив невозможности духовного освобождения из душной комнаты бытия писатель муссирует уже не в первый раз, иллюстрируя его всё новыми, но похожими друг на друга образами.

Что неприятно поражает конкретно в повести “Иакинф”, так это затянута, которая возникает из-за пустопорожних описаний и ни на что не влияющих диалогов. Словно кто-то бесталанный и чужой пытается копировать былой образ писателя, но не выдерживает и срывается в пропасть.

Как, например, в этом диалоге, который решает узко-прикладную задачу – воспроизвести атмосферу раннего Пелевина. Но делает это столь неинформативно и односложно, что хочется скорей перелистнуть страницу:

– *Когда я гляжу на горы, – сказал он [Иван. – П. С.], – у меня часто такое чувство, что это... Чьи-то постройки.*

– *Да, – кивнул Валентин. – Понимаю. Я тоже вчера древнюю стену видел. В смысле, не настоящую, конечно. Скалы. Просто похоже на развалины.*

– *Какие-то допотопные пирамиды, – продолжал Иван. – Немыслимо старые гробницы. Построенные кем-то великим*¹⁴.

Длиннот и повторов не избежало и второе произведение сборника – “Искусство лёгких касаний”. Как уже было сказано выше, это пародийный дайджест либерального редактора, составленный из произведений “ватного” историка, специалиста по масонам К. П. Голгофского, – жирный намёк на российского писателя и философа Дмитрия Галковского. А форма дайджеста лишней раз подчёркивает, что, по Пелевину, графоманские творения вышеуказанного автора возможно читать лишь в пересказе. При этом Константин Параклетович Голгофский – сквозной персонаж пелевинского мира, дебют которого состоялся ещё в повести “Некромент” (“Пэ в пятой”, 2008), где он помогал следствию обнаружить пропавшие следы ста восьмидесяти молодых полицейских, сгинувших в крематории полоумного генерала Крушина. Изобилующий “искромётными” ремарками дайджест рассказывает нам о новых приключениях историка с графоманскими наклонностями, которому предстоит раскрыть тайну одной смерти и каменных горгулий, застывших на крыше Собора Богоматери.

Став свидетелем убийства генерала ГРУ Изюмина, эксцентричный философ Голгофский пускается по следу. Дальнейшее повествование, по заверениям писателя, интересно не в свете “приключений фальшивого героя в криво намалёванном мире”, но как “кульбиты пытливого ума”. Начавшись как пародия на книги Дмитрия Галковского, дайджест постепенно превращается в пародию пародий романов Дэна Брауна, оттенённую просвещённым взглядом редактора из какой-нибудь “Медузы”.

Эти “кульбиты”, а также дедуктивные цепочки, пародирующие произведения Дэна Брауна, постепенно приводят героя к выводу “ослепительной ясности”: вся западная толерантность в современном виде — это дело рук советского ГРУ, который всё это время под видом гендерных свобод усиленно внедрял в европейские умы зловредные вирусы — “химеры”. Генерал Изюмин как раз возглавлял проект по разработке “Царь-химеры”, главная задача которой — создать в Америке “омерзительную и душную атмосферу лицемерия, страха и лжи”¹⁵ Советского Союза семидесятых. Вот только на Западе давно прознали про внешнеполитические козни советского ГРУ и приготовили в ответ антироссийскую химеру, посыл которой известен каждому россиянину, — “какое кругом говно”. Современная Европа так страстно разлагает себя изнутри, что Виктору Пелевину остаётся только заподозрить в этом деятельность российских спецслужб.

Впрочем, в повести “Burning Bush” из “Ананасной воды...” копирующий Пелевина клон уже пытался схожим образом объяснить внешнеполитические несуразности России и Америки.

Афганистан, Ирак, “план Даллеса”, Карибский кризис, Чехословакия — в созданном писателем мире это своеобразный обмен любезностями между ГРУ и ЦРУ, ведущими подрывную деятельность не только во вражеских странах, но в умах их правителей.

Несмотря на очевидное родство “Burning Bush” и “Искусства лёгких касаний”, самоуверенный Виктор Олегович не прячет, а обнажает их преемственность: одурманивать мир в обеих повестях поручено генералу ФСБ Шмыге — другому сквозному персонажу книг Пелевина.

“В двадцатом первом веке нет никакой разницы между культурными процессами и военными действиями”¹⁶ — корни этой любопытной мысли из “Лёгких касаний...” при желании можно найти и раньше “Ананасной воды...”: “Помните главное: в эпоху политических технологий наши самые естественные и спонтанные чувства рано или поздно оказываются мобилизованными в чужих корыстных целях — на это работают целые штабы профессиональных негодяев. Идёт необъявленная война, и каждый раз, когда в вашей груди зарождается такое вроде бы праведное возмущение эксцессами наших митрофанушек, лондонские олигархи с хохотом потирают свои потные руки...”¹⁷

Генеалогию этой темы можно довести до “Оружия возмездия” (1990) и раньше, но это уже тема другого обзора.

Химера, как уточняет на страницах дайджеста Пелевин, — это не канал связи между небом и землёй, а его имитация, мгновенный просвет в тёмной комнате, который увлекает человека за собой. Так обманутый мотылёк движется на свет, не подозревая, что он исходит от губительного костра. Ослеплённый химерой уже не может видеть мир вокруг — он мчится навстречу тёмному пятну, оставшемуся на сетчатке.

Если провести минут пятнадцать в социальной сети, можно обнаружить множество таких химер. “Границы — лишь в твоей голове”, — пафосно вещает фитнес-тренер, обнажая перед камерой рифлёную мышцу живота. “Цель — сесть за месяц на шпагат”, — делится в “новостях” жизнерадостная девица. Всё это однажды ослепившие разум химеры — иллюзия движения, топтание на беговой дорожке, когда несёшься со всех ног, но остаёшься на месте.

Пугает то, что в современном мире уже не отделить настоящие желания от тех, что стали результатом кем-то заказанных рекламных акций: *“В самом деле, чем заняты современные СМИ? Они или промывают нам мозги по политическому заказу (правда, в данном случае эта составляющая отсутствует), или стараются разместить в нашем сознании психические вирусы, которые заставят нас покупать ненужную нам дрянь. И озабочены медийщики, по существу, только одним — издать как можно более пронзительный визг, чтобы хоть на несколько секунд завладеть человеческим вниманием и успеть загрузить в чужую память проплаченный разной сволочью вредоносный код”¹⁸.*

Как видите, эта тема неоднократно встречалась в творчестве Виктора Пелевина. И если сборник “Ананасная вода для прекрасной дамы” (2011) высмеивал правящие миром умы, столь же уязвимые для химер, как и умы простых людей (“Berning Bush”), то “Искусство лёгких касаний” (2019) напрямую обращается к химерам повседневным, что свили гнёзда в умах рядовых граждан.

Задействует прежние мотивы и третья повесть сборника – “Столыпин”. Как видно из названия, действие переносит нас в столыпинский вагон. Зек по кличке Плешь рассказывает товарищам на камере историю о странном заключённом, который пообещал тому, кто ему поверит, сегодня же увезти в “светлое завтра”, где морской тропический закат, вкусная еда и красивые женщины. Плешь соглашается, и таинственный незнакомец выполняет своё обещание. А когда убаяканные любопытной историей паханы засыпают, Плешь и Басмач выходят из камеры и оказываются на борту той самой яхты. Они – это знакомые нам по предыдущему роману Фёдор Семёнович и Ринат Мусаевич, а “Столыпин” с ничего не подозревающими уголовниками оказывается очередным аттракционом, с помощью которого олигархи пытаются вернуть утраченный вкус к жизни. Ведь понять, как ты живёшь по-настоящему, можно лишь время от времени погружаясь в жизнь социальных “низов”: “...*Нередко сами богачи стремятся узнать, как они живут, изучая размышления на этот счёт людей если не совсем нищих, то достаточно близких к этому состоянию*”¹⁹.

Только в “Столыпине” размышлениями бедняков олигархи уже не довольствуются: чтобы наконец оценить размах собственного счастья, им требуется глубокое погружение в среду, то есть в заполненный зеками “Столыпин”.

В “Искусстве лёгких касаний” сколковский стартап Дамиана Улитина, призванный вернуть лидерам списка Forbs влечение к жизни (“Тайные виды на гору Фудзи”, 2018), наконец, приобретает масштабы всей страны. Россия превращается в аттракцион, куда властители российских недр возвращаются для того, чтобы на фоне местных хрущёвок вновь ощутить своё исключительное положение и возратить утраченный вкус к жизни.

Продолжая линию героев “Тайных видов на гору Фудзи” (2018), автор в очередной раз ставит безответный вопрос: где на самом деле живут те, кто имеет выход на палубу? Тропический солярий для олигархов – это краткий лечебный сеанс или вся их жизнь, для аппетита сдобренная перчиком столыпинских смен?

Мир в “Столыпине” смешивается так, что становится непонятно, где правда, где ложь, где аттракцион, а где реальность. Это излюбленный приём Виктора Пелевина. Нечто подобное уже было в повести “Пространство Фридмана” (2008), где Пелевин рассказывал об открытой великим математиком разновидности транска, в который погружается всякий, кто достиг порога минимальной восьмизначной суммы. И, соответственно, вход в пространство Фридмана никогда не будет общедоступным. Ведь единственный раз, когда “простой” человек смог наконец-то выйти на палубу, оказался сном, выдумкой, игровой легендой.

Молодой Пелевин верил, что обрести счастье и смысл возможно, остановив поезд жизни посреди леса и аллегорически ушагав за сельский горизонт. Полный юношеских надежд, он рисовал нам трогательные картины Затворника и Шестипалого, которые, укрепив гайками ослабленные крылья, оставили тесный курятник и умчались ввысь. Пелевин также верил, что из удручающего “серого совка” можно умчаться в сверкающий мир трасс и ночных неоновых огней (“День бульдозериста”, 1991). Но зрелый Пелевин понимает, что уныние и бессмыслица одинаковы и в серой хрущёвке, и на пlyingей в тропиках яхте. А на выходе из одного кошмарного бытия обязательно окажется другое: “...*в совок семьдесят девятого года можно было привезти джинсы из Америки, а сегодняшняя Америка – это такой совок, в который джинсы уже никто не привезёт. Из того совка можно было уехать, а из этого некуда*”²⁰. Так и кочует из сборника в сборник это невеселое знание.

Счастье и смысл не ведомы ни богатым, ни бедным. Одним суждено пресыщаться, а другим – вечно оставаться голодными. Пока кто-то мечтает обрести выход на просторную белую палубу, другой мечтает с неё сойти, чтобы вернуть утраченное влечение к жизни. Ведь сколько ни есть способов удовлетворить свои капризы, порог человеческих чувств сведёт на нет всю разницу между чифиром и вином “Шато д’Икем” 1811 года выделки.

И что же делать? Есть ли у России тайный выход на палубу? Есть, говорит Пелевин. Только это не выход на палубу, а позабытая горная тропа к капищу древнего Кроноса, где всё (и Россия в том числе) должно сгореть в освободительном пламени времени.

Всё, что предлагает зрелый Пелевин, так или иначе связано со смертью. По словам писателя, “лучшее, что одно живое существо может сделать другому”, – это вернуть его обратно в первозданную реку. Что всё умрёт, мы уже поняли. Но представьте, Виктор Олегович, мы не спешим возвращаться в первозданную реку и хотим ещё побыть той зыбкой и скоротечной рябью на её поверхности. Собственно, мы для того и читаем литературу, чтобы узнать, как нам подольше и, по возможности, счастливее прожить наш краткий и невозвратимый миг.

На мой взгляд, искусство, которое лишено жизнеутверждающего начала, не имеет смысла. Но любой глубокомысленный разговор, который заводит с читателем Виктор Пелевин, сводится к утверждению права всего и вся на счастливую смерть. Герои, картины и правила игры меняются, а вывод из года в год один и тот же. Скорее всего, свой следующий роман Виктор Пелевин напишет о коронавирусе, ведь как он может упустить повод для очередного *memento mori*?..

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ Арбитман Р. Антипутеводитель по современной литературе. 99 книг, которые не надо читать. М.: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2014. С. 153.

² Арчер Д., Джокерс М. Код бестселлера. М.: КоЛибри, 2017. С. 227.

³ Горячев П. Писатель Андрей Аствацатуров в Воронеже: [электронный ресурс] “Литература не должна учить”. Риа Воронеж: Новости Воронежа и Воронежской области. 14.07.2016. URL: <https://riavr.ru/news/pisatel-andrey-astvatsaturov-v-voronezhe-literatura-ne-dolzha-uchit/> (дата обращения: 22.04.20)

⁴ Цит. по: Пелевин и Бунин. Околелитературное: [электронный ресурс]. Пишет ne_skazu. 25.10.2015. URL: <https://ne-skazu.livejournal.com/1844607.html> (дата обращения: 15.03.20).

⁵ Пелевин В. Чапаев и пустота. М.: Эксмо, 2007. С. 36–37.

⁶ Быков Д., Басинский П. Два мнения о романе Виктора Пелевина “Чапаев и пустота”: [электронный ресурс]. Сайт творчества Виктора Пелевина. 29.05.1996. URL: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-dva/1.html/> (дата обращения: 22.04.20).

⁷ Пелевин В. Жизнь насекомых. М.: Эксмо, 1993. С. 105.

⁸ Толкин Дж. Р. Р. Возвращение короля. М.: АСТ. 2019. С. 221–222. Пер. Н. Григорьевой, В. Грушецкого.

⁹ Быков Д., Басинский П. Два мнения о романе Виктора Пелевина “Чапаев и пустота”: [электронный ресурс]. Сайт творчества Виктора Пелевина. 29.05.1996. URL: <http://pelevin.nov.ru/stati/o-dva/1.html/> (дата обращения: 22.04.20).

¹⁰ Там же.

¹¹ Пелевин В. Ананасная вода для прекрасной дамы. М.: Эксмо, 2011. С. 148.

¹² Пелевин В. Указ. соч. С. 175.

¹³ Пелевин В. Искусство лёгких касаний. М.: Эксмо, 2019. С. 58.

¹⁴ Пелевин В. Указ. соч. С. 322.

¹⁵ Пелевин В. Указ. соч. С. 319.

¹⁶ Пелевин В. Пэ в пятой. М.: Эксмо, 2008. С. 83.

¹⁷ Пелевин В. Указ. соч. С. 201.

¹⁸ Пелевин В. Пространство Фридмана/ Пэ в пятой. М.: Эксмо. 2008. С. 211.

¹⁹ Пелевин В. Искусство лёгких касаний. М.: Эксмо, 2019. С. 335.

АЛЕКСАНДР БОЙНИКОВ

И ВСЁ-ТАКИ БУДЕТ ПО-РУССКИ!..

В российской литературе первых десятилетий XXI века, представляющей собой причудливый сплав жанров и стилей, трудится не столь много писателей, чьё творчество притягивает не авантюристкой фабулой, не “клубничкой” или искусственно нагнетаемым эпатажем, а совершенно иными качествами: изображением народной жизни без прикрас и лакировки, открытием и акцентированием проблем, которые волнуют, тревожат, будят протест и гнев, знакомы и понятны обычному человеку. Таковы рассказы Дмитрия Воронина — жёстко правдивые, вызывающие споры, ставящие неудобные вопросы и потому столь необходимые в наши дни.

Современная Россия в судьбах и характерах простых людей, которые живут, выживают, переживают, борются, радуются, страдают, смеются, шутят, мучаются, заботятся, сомневаются, безумствуют и гибнут, образует магистральную сюжетную линию рассказов Д. Воронина, пронизанных искренней и горькой болью за всё, что происходит с Россией и её народом, ввергнутым в экономическую и мировоззренческую турбулентность с плачевными последствиями.

Однако писатель вовсе не нытик и не казённый страдалец за родные кочки, как могут предположить некоторые. Он обличитель и сатирик, прежде всего, и одновременно цепкий и вдумчивый наблюдатель, видящий в суетной мозаике обыденности цепочку социальных закономерностей...

В рассказе “Бедная Алка” писатель сталкивает двух бывших школьных подружек, которые спустя годы оказались на разных сословных берегах. Татьяна воплощает собой тяжёлый удел русских, изгнанных в 90-е годы на историческую родину из национальных республик. Родина встретила её как чужую и незваную; мыкается бывший университетский преподаватель с дочками-близняшками по съёмным углам, бережёт каждый рубль. В конце концов, *“пересилив себя, Татьяна по великому благу устроилась на рынок продавцом в колбасный отдел. Эта работа давала ей возможность хоть как-то сводить концы с концами. Только жёсткая экономия, только самое-самое необходимое”*.

Алка, жена крутого бизнесмена, с соответствующим статусным набором — от “Лексуса” до личных охранников и домработницы. Спутница нувориша выписана резкими гротескными штрихами: она сорит огромными суммами денег (и не только в рублях), бахвалится достижениями в виде недвижимости и... сетует на бедность: *“Верись-нет, у нас трёхэтажный особняк на взморье, квартира двести квадратов в центре, везде ремонт, и всё встало. Бедлам, как у бомжей, жить негде, хоть в гостиницу съезжай”*.

Суровая насмешливая авторская сатира высвечивает нелепость подобного восприятия расхожей ситуации. Абсурд отдельного случая, саркастически зашифрованный в названии рассказа, превращается в апофеоз социальной несправедливости, повсеместно царящей, как повторил бы сегодня неистовый Виссарион, в “гнусной расейской действительности”.

Широкий диапазон тем и разброс сюжетов, отражающих всю полифонию жизни, разнообразная по глубине и окраске эмоциональная насыщенность, явно не прокламируемое, но разлитое между строк авторское отношение к предмету повествования, сжатость и пружинистость действия – наиболее приметные черты и очевидные достоинства рассказов Д. Воронина. Лапидарность слога и содержательная ёмкость прозы сейчас востребованы по чисто прагматическим соображениям: читательская аудитория (за небольшим, наверное, исключением) отвыкла от вдумчивого, медленного поглощения длинных, сродни классическим, романов. А мастерское использование речевой характеристики персонажей, драматичность и темпоритм сюжетной интриги, гибкость диалогов придают его историям известную театральность (в данном аспекте они сопоставимы с малой прозой В. Шукшина). Убеждён, что рассказы Д. Воронина заиграли бы на театральной сцене свежими, неожиданными гранями и в традициях критического реализма XIX века обогатили бы текущую драматургию изрядной галереей принципиально новых, психологически точных типов “маленького человека”.

Несколько рассказов писатель посвятил современной школе, что объяснимо и привлекательно: фундамент гражданственности, тесно связанной с патриотизмом и социальной ответственностью, закладывается именно там. Но как?

Сначала о хорошем. “Воздушный шарик” – рассказ тёплый и светлый, но с настораживающей деталью: учительница рисования не уловила нестандартность образного мышления первоклассника, и только мудрая любовь матери вернула сыну уверенность в себе. Прекрасно, но нет гарантии того, что учительское пренебрежение ограничится только данным эпизодом, и собственное мировидение ребёнка в дальнейшем будет не поощряться, а подавляться и подгоняться под требуемый стандарт.

Другие произведения – уже не та “школьная проза” 50–60-летней давности – с торжеством справедливости, полусентиментальным раскаянием виноватых за плохие поступки, отзывчивыми и понимающими педагогами. В постсоветской России школа изменилась кардинально – и не в лучшую сторону, стала головной болью для учителей, учеников и их родителей.

В рассказе “Диспут” хлётко высмеяна фальшь сплошь и рядом проводимых для галочки “патриотических” школьных мероприятий. Стопроцентная бесполезность “диспута о Родине” (на деле выпященного, начётнического монолога замдиректора по воспитательной работе Фаины Цезаревны Тарелкиной по прозвищу Тарелка) красочно иллюстрируется репликами учеников после его завершения:

– *Что ты свой стул не взял?*

– *А ты мне друг? Так если друг, возьми и отнеси, покажи, как Родину любишь.*

– *Сам отнесёшь, чурка нерусский!*

– *Что, в морду давно не получал, хохол?*

– *Эй, москаль, ты зачем бумажки разбросал?*

– *Хочу посмотреть, как Тарелка краснеет.*

– *Зойка, слышь, у тебя “Букварь” сохранился?*

– *А зачем тебе?*

– *Да хочу картинку найти, с которой Родина начинается.*

– *Их там много, я уже искала в прошлом году. Помнишь, Тарелка тогда то же самое долдонила? <...>*

– *Витёк, а если бы немцы вернулись, что бы ты делал?*

– *Что? Ничего. У них порядок, и зарабатывают классно, уж хуже бы не стало.*

– *Ну, чё, Булкин, в армию пойдёшь, Родину защищать?*

– *Что я, с дуба грохнулся? Пускай Тарелка сама защищает свои речки и поля...”*

Страшно не только содержание этих высказываний; страшно, что именно так мыслит теперь львиная доля “продвинутых” российских школьников,

без тени сомнения считающих подобные рассуждения нормальными и адекватными. Куда заведут Россию эти жертвы ЕГЭ?

“Одинокая парта” — пожалуй, самый мрачный и безысходный рассказ из мной прочитанных. Шестиклассника Алёшу из неблагополучной семьи за кражу денег из кармана чужого пальто, которую он не совершал, и неряшливый вид травят и классный руководитель, и остальные учителя, и одноклассники. Школа предстаёт воплощением “лжи и лицемерия”, тупого и тёмного зла, преследующего гонимого мальчика днём и ночью. Алёша мечется в экзистенциальном тупике: бьют его в школе, бьют и дома; ему, как сетовал Мармеладов у Достоевского, и “пойти некуда”. Лишь воображаемая месть немного успокаивает издёрганные нервы: “Как ненавидел её (классного руководителя. — **А. Б.**) Алёшка, её и всех остальных! Мысленно он расстреливал их, представляя, как они ползают перед ним на коленях, моля о пощаде. <...>

Но это было давно. А сейчас вязкая тоска обволакивала Алёшкино тело и тёмные его глаза были плотно затынуты плёнкой безразличия”.

И хотя повествование в “Одинокой парте” ведётся от третьего лица, отстранённо, голоса писателя и его героя сливаются в единый крик облыжно оскорблённой души. Полностью разделяю мнение одного из пользователей интернета: “Дмитрий Воронин на отлично высветил болячки образованщины нынешнего дня”.

С недавних пор мы пожинаем плоды столь эффективного метода “воспитания”, прикрываемого ныне модным импортным словечком “буллинг”: взрывы и групповые расстрелы одноклассников в учебных заведениях из намерений превратились в жуткую — и повторяющуюся — реальность. Каждая такая трагедия вызывает взрыв медийного и сетевого негодования, обвинения в адрес правоохранителей, агрессию по отношению к близким родственникам преступника вплоть до угрозы их линчевания. Но у юных “вершителей судеб” свой рефрейминг расправы: справедливое возмездие за все перенесённые унижения — физические и моральные. На чьей стороне правда в трансформированной временем, но вечно живой коллизии преступления и наказания?

Это всего один из гзучих вопросов, которые неизбежно встают после знакомства с очередным рассказом Дмитрия Воронина. Его малая проза опирается, с одной стороны, на традиции отечественной литературной классики, с другой (об этом чуть ниже) — на опыт нереалистических художественных систем. Сделаем оговорку: не стоит ставить знак равенства между понятиями “опираться” и “заимствовать”. Писатель не берёт у литературных предшественников продуктивные идейно-художественные решения как готовый шаблон; напротив, он преобразует конкретную традицию на новой фактической и художественной основе, придаёт ей иной оттенок, находит оригинальные способы её применения и, рисуя картины из жизни сегодняшней России с самой достоверной натурой, раскрывает свою творческую индивидуальность.

Рассказ “Параллельные миры”, построенный на буквализации метафоры “достучаться до власти” (что никак не получается у отчаявшегося деревенского пенсионера), по сути, дал название вполне сложившемуся циклу его произведений в жанре фантазмагории — то озорной, то эсхатологической. Так, “Страшный сон” и “Президентский пример” возвращают нас в эпоху правления Б. Ельцина. За узнаваемой событийной канвой с разухабистыми деревенскими любителями выпить проступает чёткий сюр: друг на друга наслаиваются сон, поточное новостное вещание телятника и монотонный быт. И хотя изображённое время — уже прошлое, оба рассказа обращены в грядущее — с серьёзными предупреждениями.

“Камо грядеши?” Вопрос этот проходит красной нитью сквозь прозу Дмитрия Воронина и постепенно дополняется вторым: или уже пришли? Сумрачной давящей футурологичностью, перетекающей в ощущение конца света, отличается рассказ “Венецианская трагедия”. Губительная для “мусора” (= народа) грандиозная и безвкусная застройка (на деле радикальное уничтожение архитектурных и культурных ценностей) одной из жемчужин Европы, осуществляемая по указке фантомного мультимиллиардера-монсеньора в перманентном раже самоутверждения, стиль его беседы с мэром города сродни галлюцинациям и бреду психически больного. Напрашивается парадоксальный вывод: поведение олигархов и им подобных очень похоже на поведение сумасшедших. Впрочем, фантастическая (пока) венецианская трагедия давно материализовалась в российских городах и весях: там идут под снос или

саморазрушаются заброшенные исторические здания и целые кварталы; на их месте, словно поганки после дождя, вырастают аляповатые строения, украшенные безликим сайдингом, или огромные “сити” из стекла и бетона – антидуховный модерн начала третьего тысячелетия.

Воистину, народ и власть существуют параллельно, т. е. не пересекаются ни в правах, ни в обязанностях... Кто-то, возможно, упрекнёт писателя в том, что он-де “не выводит мораль”. Однако художественно претворённые факты в его рассказах порой настолько жуткие, что не нуждаются в направляющих авторских оценках и публицистических инвективах. Стилистический конёк Д. Воронина – антифразис, эффектный приём иронии, когда в слова и предложения вкладывается совершенно противоположный смысл (“Бедная Алка” – тому пример). Именно на антифразисе он выстроил сюжет рассказа “Честная служба” на взрывоопасную тему, который начинается так: *“Михася Ярошука призывали в армию. Восемнадцать Михасю исполнилось в феврале, а в конце апреля уже и повестка подоспела – милости просим в доблестные войска, защищать честь Украины”*.

Затем организуются проводы с двумя сотнями дорогих родственников и гостей, столы ломятся от сытных блюд и горячительных напитков; Михася торжественно напутствуют как будущего защитника “и матери, деда своего и бабки, прадеда и прабабки и вот сестёр своих тоже”, призывают служить так же честно, как служили прапрадед, прадед, дед... В чём же заключалась “честность” их службы? Первый в гражданскую войну был надзирателем в польском лагере для красноармейцев, унижал и убивал их, второй в составе зондеркоманды СС сжигал белорусские деревни вместе с жителями. Остальные тоже не лучше, с гнильцой в душе, да и чужой кровью замаранные. В повествование вплетены интересные исторические подробности, в частности, события 1968 года в Чехословакии и нахождение группы советских войск в Афганистане. Боевое же крещение Михася, как и на любой гражданской войне, обернулось братоубийством.

В этом рассказе Д. Воронин обнажил всю подоплёку оголтелой русофобии, закамуфлированной разглагольствованиями о высоких материях, и дал достойный ответ любителям перелицовывать историю по националистическому лекалу. А она всегда жестоко мстит тем, кто не извлекает из неё уроков.

Нередко взор писателя обращается к российской деревне, где пока ещё теплится жизнь, налажен нехитрый порядок вещей, но тягостное впечатление не исчезает. Поиск заблудившейся коровы заканчивается сразу несколькими трагедиями (“Туман”); слепая материнская любовь делает из ребёнка великовозрастного маменькиного сынка (тип весьма распространённый, к сожалению), который к 40 годам мог только требовать и в отличие от незабвенного Митрофанушки даже не горит желанием жениться (“Бравый полковник”). Шокирует рассказ “Такси” – об оказании ритуальных услуг тем, у кого нет денег на похороны близкого человека. Участь его кошмарна: его последний путь до кладбища – *“в аккумуляторном гробу, оббитом красной материей”*; в землю он уйдёт в чёрном полиэтиленовом пакете.

И так по конвейеру – разные люди в одном и том же гробу, как в такси... Что это – социально ориентированный бизнес или издевательство над живыми и мёртвыми? Ответ не так прост, как кажется.

Дмитрия Воронина взаправду удручает деградация той части народа, которая потеряла жизненные ориентиры и перспективы, а деформированную психику предпочитает выправлять употреблением алкоголя. Итог крайне печален: пьянство уродует и разрушает личность, вытравливает из неё всё доброе и достойное уважения. И тогда будет само собой разумеющимся занять на похороны отца денег в долг и не отдавать, ибо вместо скромных поминок был устроен “недельный пир” (“Долг”); алкоголичка-жена сразу пропивает 300 рублей, выданные ей из личного кошелька сердобольной главы сельского поселения, а не занимается похоронами мужа (“Сильная любовь”).

Но даже на дне существования встречаются люди, сохранившие в себе человечность. Потеряв из-за жуликов квартиру, вынужденно переселяется на свалку ветеран войны Степан Ильич (“Выпьём за Родину”). Вскоре он умирает, и бомжи – сортировщики зловонных мусорных залежей – нелегально хоронят его в соседней роще вместе с найденными за подкладкой ветхого пиджака боевыми наградами. *“Если такой человек при жизни этим властям не нужен оказался, то после смерти и подавно им он ни к чему. Сунут, как бомжа,*

в общую могилу, а ордена запарят и продадут. <...> Пусть у нас будет своя могила героя, свой блокадник, свой неизвестный солдат”, – решает лидер обитателей свалки Витёк по прозвищу Солнышко.

Подлинность, почти документальность изображённых событий, колоритность народных, выхваченных из гущи жизни характеров, небанальный ракурс видения, казалось бы, примелькавшихся проблем, разрыв шаблонов восприятия, равно как и концовки большинства рассказов, непредсказуемостью напоминающие новеллы О’Генри, определяют самобытность таланта Д. Воронина и силу воздействия его прозы на читателя.

Обратимся к рассказу “Жизнь и похороны бабы Насти”, трагическому мини-эпосу о трудолюбивой и несчастной русской женщине. Долгожданный уход в лучший мир – в радость для неё и обвинение гуляки-мужа и сыновей, что “пили да дрались, к матери только за едой и деньгами являлись”. Участковый же лишь руками разводит, он – “лицо официальное, не положено ему в душу заглядывать”. А после похорон “до поздней ночи пели и танцевали в доме у бабы Насти. Так что честь по чести схоронили и помянули, сердечную. Не хуже, чем у других”.

Не хуже, чем у других... Писатель вскрыл отвратительную нравственную язву, порождаемую пьянством, – обыдление, становящееся (или уже ставшее?) частью миноук, и не только их. Другое его обличье – одержимость опустившейся женщины желанием продать что угодно ради получения денег на очередное возлияние, которое окончательно вытеснило из её сознания святое чувство материнства; она, нимало не задумываясь, решается на самое дикое и мерзкое по отношению к 12-летней дочери (“Товар”).

Неужели Дмитрий Воронин вынес окончательный приговор русскому народу, дошедшему до края нравственной пропасти или уже шагнувшему в её бездну? То, что раньше было из ряда вон выходящим, аморальным и порочным, не укладывалось в здравый смысл, в его рассказах – уже повседневность, в какой-то мере принимаемая обществом как нечто осуждаемое и в то же время допустимое и даже оправдываемое ситуацией. Писатель заострил проблему сопоставления человека внешним обстоятельствам и показал, что далеко не каждый способен или готов им противостоять, сохранять упорство в преодолении жизненных преград; кто-то плывёт по течению, нищает или деградирует до маргинала.

Всплывают два сакраментальных русских вопроса: “кто виноват?” и “что делать?” Думаю, Д. Воронин каждым рассказом предлагает, но не формулирует ответы на них, предоставляя читателям право выбрать свои варианты. В этом плане выделяется рассказ “Миротворец”. Его главный герой – рыжий мужичок по прозвищу “Костыль” – в пьяном угаре, когда и море по колено, и горы по плечо, готов на великие дела: защитить братьев-славян, разогнать НАТО, взять Вашингтон и вернуть Аляску, но, проспавшись, напрочь “забывает” о вчерашних героических намерениях.

Костыль – типаж весьма занятный и неоднозначный. Он – деревенский баламут и, может быть, даже современный аналог юродивого. На Руси юродство считалось духовно-аскетическим подвигом; юродивый вёл себя как лишённый рассудка человек, подвергаясь по этой причине насмешкам и унижениям. Но он также обличал зло преимущественно в иносказательной форме.

Над Костылём тоже смеются односельчане, а его жена, подзуживаемая толпой, распивает, как этот “освободитель чокнутый”, “вояка голозадый” и “пьянь несусветная” распинался перед ней в одних трусах:

“Мы, говорит, и тут порядок наведём, когда возвернёмся. Сразу, мол, как прилетим, десант на Кремль сбросим, всех заарестуем и разберёмся, кто там у них в предателях числится, кто нашу страну империристам продавал. Всех, кричит, в лагерь, на Колыму, в пожизненное заключение на хлеб и воду, а потом новую жизнь зачнём строить. <...> ...колхозы восстановим, деньги вовремя платить начнём, всех чиновников в районе в дерьмочисты переведём, а нашу бухгалтерию – им в помощники. Зарплату положим для них рублей в десять, доллар отменим и всех спекулянтов землю пахать пошлём”.

Яд морального разложения отравил и управляющие “верхи”, причём не в меньшей, а, пожалуй, в значительно большей степени, чем бедствующие “низы”. Конфликт вокруг самодельного памятника в виде ордена Отечественной войны, ставшего препятствием для едущих к новому свинокомплексу большегрузов, можно было погасить цивилизованно, не записывая деда

Андрея, бывшего председателя колхоза, Героя Социалистического Труда, и его правнука в “экстремисты” (“На Берлин”). Однако хозяин района использовал испытанные способы “убеждения” масс:

“Народ – моя забота. Успокоим, если что. Кого водкой, кого баблом, кого мордой о стол. Нам не впервой, опыт большой за плечами. Я не через одни выборы прошёл, всяких технологий набрался, больше тридцати лет у власти...”

Финал рассказа разоблачает лицемерие районных властей, организуящих 9 мая показушное празднование, а дед Андрей, которому полицейские за невыполнение законных требований “медали из пиджака выдрали... и в землю втоптали”, в грёзах или, скорее всего, уже за гранью бытия шестилетним мальчишкой Андрейкой вновь призывает проходящих мимо него советских солдат вернуться с победой. Идут же они теперь не на запад, а на восток, “своих супостатов из Отечества изгонять”.

Просматривается в рассказе и антиутопический подтекст: в речах и поведении официальных лиц проступают контуры полицейского государства.

На фоне разговоров о Победе сейчас всё больше открыто глумятся над ней наши внешние и внутренние враги. Внешние – понятно почему, да и что с них возьмёшь? Но чем объяснить тот факт, что в стране, которая вынесла на себе неподъёмную ни для какого другого государства тяжесть войны и огромной кровью спасла мир от фашистской чумы, накануне 75-летия Великой Победы то фото Гитлера разместят в галерее “Имена героев”, то украсят на баннере георгиевской ленточкой марширующих солдат вермахта, то публично выдадут кощунственную тираду о “победобесии”? Ничем, кроме дьявольского стремления навсегда вытравить из народа подлинную память о Великой Отечественной войне, подменить Победу в ней пустым симулякром, оболгать её героев, навязать ныне живущим и будущим поколениям духовный нигилизм.

И всё же рассказы Дмитрия Воронина не оставляют после себя осадка вселенской скорби. В его творческом багаже есть и житейские истории, вызывающие добродушную улыбку, веселящие курьёзами (“В Париж”, “Крохобор”, “Клад”, “Акула”, “Поздняя месть” и др.). Юмор – дело хорошее, но хотелось бы встретить в новых произведениях Д. Воронина побольше положительных героев – сельчан и горожан, благодаря которым ещё держится Россия. Таких, как два пожилых приятеля, готовых помочь даже попавшим в беду парням, промышляющим дачным воровством:

“– Так получается, что парни-то эти те воры, которые мимо нас поутру проскочили?”

– Ну, а кто ж ещё? Да и узнал я этого, которого Андрюхой звать. Он нынешней зимой несколько раз крутился по деревне, видал его.

– Так, может, того, Ген, ну их! Что, мы им обязаны, что ли? Сам говоришь, что воры, так и чего помогать.

– А воры что, не люди, что ли? Э, нет, Саня, надо помочь. А как же?

– Ген, так ты им поможешь, а они опять тебя за шкирятник?

– Не-е, Сань, не станут, у них тоже совесть своя имеется! Это ж не Чубайс какой, что вовсе без совести. У нормальных воров её никто не отменял. Да и что мы, не русские с тобой, что ли, а, Сань?

– Русские, Ген, конечно, русские!

– Вот то-то и оно, Сань, что русские. А какой же русский-то в беде человека оставит? Да ещё и своего же, такого же русского. Не по-русски будет! Так что поехали по-быстрому дела делать. А то ещё и вправду наши воры замёрзнут, к вечеру-то морозец студёный обещали” (“Воры”).

Будет по-русски, а значит, по совести, по справедливости, по высшему нравственному закону, по народной правде... Должно быть.

Выдающийся прозаик и публицист Фёдор Абрамов писал: “Самое трудное – увидеть вещи, события, людей в их истинном свете, без прикрас, без иллюзий, без ожесточения. Надо быть не правдоискателем, а правдоустроителем”. Искоренить социальные и душевные недуги можно лишь обнаружением бескомпромиссной правды о них, неприятием и разоблачением всего, что нацелено на умаление народа, что разрушает цивилизационные основы его бытия – призвание и долг истинно русского писателя. По этому пути твёрдо и уверенно идёт Дмитрий Воронин.

ДМИТРИЙ ЕРМАКОВ

ШУКШИН И ТАРКОВСКИЙ

Художники существуют только потому, что мир несовершенен.

Андрей Тарковский

Нравственность есть Правда. Не просто правда, а — Правда. Ибо это мужество, честность, это значит — жить народной радостью и болью...

Василий Шукшин

Вступление

* * *

*Он пришёл дать нам волю —
Не слышали...
Он призвал нас к вере —
Не поверили...
Ныне — слышим и верим... Как бы...*

Василий Шукшин и Андрей Тарковский — выдающиеся кинорежиссёры. И оба не только кинорежиссёры. Шукшин — актёр, писатель, драматург. Тарковский — автор книг по теории кино и дневника. Оба, конечно, мыслители. В чём-то — противоположности, но в чём-то и очень схожи. Оба неординарные, одни из самых ярких личностей своего времени. У каждого свой путь в искусство.

Шукшину надо было ещё добраться из далёкого алтайского села до Москвы (и не только “физически”, но и интеллектуально, морально). Тарковский же с детства жил в Москве, и в “культуре жил”, казалось бы, но путь его в культуру был по-своему труден...

Почему-то утвердился слух о том, что между Тарковским и Шукшиным был конфликт. Они вместе учились, приятельски общались в молодости, а потом просто разошлись творчески и житейски. Так часто бывает. У каждого были свои планы, свои методы, своя жизнь.

Но не принимают многие поклонники Шукшина Тарковского (и не только поклонники Шукшина). Тарковский, мол, элитарен, непонятен, заумный, ещё и эмигрировал. Вот Шукшин бы никогда, ни-ни...

Да, пожалуй, Шукшин бы не эмигрировал, трудно представить его живущим на Западе... Да немного и Тарковский-то пожил.

Шукшин же, по мнению многих почитателей Тарковского, “зрителей-интеллектуалов” — слишком прост, кондов. Обвиняют его в есенинщине, обвинение берёзок припоминают обязательно. Лубок, мол, это всё.

У Тарковского, едва ли не с детства, любимый композитор — Бах. Шукшину же необходимы были в фильмах застольные песни или балалаечник-самородок в “Печках-лавочках”, которого всё равно заставили “вырезать”...

Шукшин — реалист, Тарковский — символист.

Но оба, и Шукшин и Тарковский, шли и пришли к религиозному кино, христианскому. Как удивительным образом в то же время пришёл — почти сразу — к религиозному театру Александр Вампилов.

Хотя что в этом удивительного: говори правду, “глаголом жги сердца людей” — и это будет нравственное, христианское кино или литература, или театр. Главное — быть в этом честным. Они были честны.

Оба пробовали себя в разных жанрах. В историческом кино: Тарковский начал “Андреем Рублёвым”; Шукшин мечтал и вплотную уже готовился снять фильм о Степане Разине. Оба размышляли в своём творчестве о сегодняшнем дне, оба заглядывали в будущее.

Тарковский хотел всё сказать в кино, считая его отдельным видом искусства. Шукшин, наверное, тоже хотел сказать всё в кино, но, пожалуй, больше сказал в литературе. И говорил, что после “Разина” полностью уйдёт в литературу. Ушёл бы? Как знать... Впрочем, вот запись в дневнике Тарковского за 1976 год: “Пора отказаться от кино. Я созрел для этого. И начать книгу о детстве (сценарий “Белого дня” пойдёт в дело)”. А ведь впереди было ещё большинство его фильмов.

Оба нашли свой неповторимый киноязык (за который их любят и критикуют): “тарковская пауза”, “шукшинские берёзки”. Проще некуда, а не повторить. Оба ощущали свою жизнь как служение. “Жизнь настолько трудна, что иногда, кажется, очень жаль, что ты родился на свет. Но иногда она дарит тебя такими удивительными вещами, ради которых и стоит жить. Так что вопрос о счастье для меня не стоит. Мне кажется, что этого вопроса вообще не существует”, — говорил Тарковский. Он отказывался считать “счастье” главным, тем, к чему должен стремиться человек (имея ввиду наше обычное представление о счастье). Впрочем, так он считал только для себя и имел право так считать, ибо так и жил...

А вот, кстати, Шукшин сказал в одной статье (“Монолог на лестнице”) про счастье: “Одно время я был учителем сельской школы для взрослых. Учитель я был, честно говоря, неважнецкий (без специального образования, без опыта), но не могу и теперь забыть, как хорошо, благодарно смотрели на меня наработавшиеся за день парни и девушки, когда мне удавалось рассказать им что-нибудь важное и интересное (я преподавал русский язык и литературу). Я любил их в такие минуты. И в глубине души, не без гордости и счастья верил: вот теперь, в эти минуты, я делаю настоящее, хорошее дело. Жалко, мало у нас в жизни таких минут. Из них составляется счастье”. То есть счастье для него — отдавать что-то и видеть, что это нужно людям.

“Главная задача будущего общества заключается в том, чтобы найти средство пробудить в человеке чувство собственного достоинства. Это создаст условия, при которых его внутренний мир будет заслуживать уважения. Альтернативы не существует, вера в будущее, основанная на ложной свободе и подавлении чувства собственного достоинства человека, равносильна самоубийству”, — говорил ещё в одном из многочисленных интервью Андрей Тарковский.

Каждый из них говорил и писал свои слова, снимал свои фильмы... Вот ещё из дневника Андрея Тарковского:

“11 декабря 1985 г., Stockholm

Болен. Лежу. Ужасно болит внутри, в легких.

Сегодня во сне видел Васю Шукшина, мы с ним играли в карты.

Я его спросил:

— Ты что-нибудь пишешь?

— Пишу, пишу, — задумчиво, думая об игре, ответил он.

А потом мы, кажется, уже несколько человек, встали, и кто-то сказал: “Расплачиваться надо” (в том смысле, что игра кончилась, и надо подсчитать ее результаты)”.

А может, и не только об игре в карты шла речь, а о гораздо более высокой “игре”: о жизни, творчестве, о пути, о невольном “соперничестве”? И вот — пора “подсчитать результаты”. А результаты: два художника, два мыслителя, два русских человека, проделавших свой путь к Богу и рассказавших об этом пути нам — читателям и зрителям...

Но пройти этот путь мы должны сами.

От “Убийц” до “Калины красной”

В 1956 году студент ВГИКа (мастерская М. И. Ромма) Андрей Тарковский снимает учебный короткометражный фильм (курсовую работу) по рассказу Эрнеста Хемингуэя “Убийцы”. Сценарий пишут двое: Андрей Тарковский и Александр Гордон (его одноклассник), оба и снимаются в фильме. В других ролях также их соученики. В том числе в одной из главных ролей (боксёр Оле Андерсон) — Василии Шукшин. Это всё история известная, многократно описанная в биографических книгах и воспоминаниях.

Почему Тарковский взял для экранизации именно этот рассказ Хемингуэя?

Хемингуэй в то время был известным в Советском Союзе автором (не говоря уж о всемирной известности — Нобелевская премия по литературе за 1954 год). Пик его популярности в СССР придётся на 60-е годы, но, конечно, студенты ВГИКа уже были знакомы с его творчеством. Рассказ “Убийцы” (из серии рассказов о Нике Адамсе) — короткий, динамичный, с легко читаемым подтекстом. Всё это, видимо, и подтолкнуло Тарковского и Гордона к тому, чтобы писать сценарий и снимать фильм по этому рассказу.

Почему Василия Шукшина пригласил на роль шведа-боксёра? Шукшин, конечно, не гигант, как в рассказе у Хемингуэя, но в фильме фактически показано лишь лицо героя. Фактурное шукшинское лицо, ещё не утончённое, как в поздних фильмах, но такое же скуластое, угловатое. И глаза, в которых отразилась тоска человека перед неизбежной смертью. Это уже молодой Шукшин отлично сыграл.

Ну, и Шукшин Тарковскому не отказал, потому что приятельствовали они в то время (да и позже никакой вражды, конечно, не было), к тому же принято было друг другу на съёмках тех учебных фильмов помогать.

И фильм получился. Ромм похвалил...

О чём же рассказ Хемингуэя и фильм Тарковского? Тем, кто не читал, рекомендую ознакомиться с этим небольшим, но насыщенным текстом. Здесь лишь напомним. Двое наёмных убийц приезжают в маленький городок. Их жертва — бывший боксёр Оле Андерсон. Убийцы приходят в закусочную, где бывает боксёр, и поджидают его, связав повара и посетителя (Ника Адамса), а бармена заставляют выполнять их требования. Оле Андерсон не приходит, убийцы покидают закусочную. Ник идёт в гостиницу, где живёт, уже несколько дней не выходя на улицу, бывший боксёр. Он просто лежит на кровати и отказывается что-либо предпринять, зная, что его ищут убийцы. Ник возвращается в закусочную и рассказывает об этом бармену. Вот последние строки рассказа (и фильма):

— Что он такое сделал, как ты думаешь?

— Нарушил какой-нибудь уговор. У них за это убивают.

— Уеду я из этого города, — сказал Ник.

— Да, — сказал Джордж. — Хорошо бы отсюда уехать.

— Из головы не выходит, как он там лежит в комнате и знает, что ему крышка. Даже подумать страшно.

— А ты не думай, — сказал Джордж”. (Перевод Алексея Шура.)

Вот и всё. Понятно, что бывший боксёр был замешан в каких-то бандитских делах (действие рассказа происходит в конце 1920-х годов, во времена “сухого закона” и разгула бандитизма в США) и стал почему-то неугоден бывшим “коллегам”, может, решил “завязать”, может, ещё что...

А теперь давайте вспомним “Калину красную”: решившего “завязать” уголовника Егора Прокудина преследуют и убивают его бывшие дружки. В одном из эпизодов Люба (Лидия Федосеева-Шукшина) произносит схожую фразу: “Я слышала, у вас за это убивают. — Это ты брось...” — отвечает ей Егор.

По воле автора рассказа и сценаристов, герой Шукшина в фильме Тарковского просто скрывается от убийц, и хотя уже устал прятаться и бояться, не может и не хочет предпринять каких-то решительных действий.

Вот этот эпизод: “Ник все глядел на рослого человека, лежавшего на постели.

- Может быть, пойти заявить в полицию?
- Нет, – сказал Оле Андерсон. – Это бесполезно.
- А я не могу помочь чем-нибудь?
- Нет. Тут ничего не поделаешь.
- Может быть, это просто шутка?
- Нет. Это не просто шутка.

Оле Андерсон повернулся на бок.

– Беда в том, – сказал он, глядя в стену, – что я никак не могу собраться с духом и выйти. Целый день лежу вот так.

– Вы бы уехали из города.

– Нет, – сказал Оле Андерсон. – Мне надоело бегать от них. – Он все глядел в стену. – Теперь уже ничего не поделаешь.

– А нельзя это как-нибудь уладить?

– Нет, теперь уже поздно. – Он говорил всё тем же тусклым голосом. – Ничего не поделаешь. Я полежу, а потом соберусь с духом и выйду”.

Мы так и не узнаем – выйдет Оле Андерсон из комнаты или его убьют прямо на этой кровати. Но это и не имеет значения, он уже внутренне мёртв. Он уже, говоря по-боксёрски, в глубоком нокауте.

А вот герой “Калины красной”, решив порвать с прошлым, едет в родные края (даже нашёл мать в соседней деревне) и не о смерти он думает, а о жизни. Он не скрывается от бандитов, потому что на своей земле он даже и смерти не боится. И когда приезжает Губошлёп с компанией, чтобы убить его, Егор Прокудин сам идёт на них. Не на убой идёт, а чтобы доказать, что не боится он их, что не победят его, даже если убьют. И он побеждает, “смертию смерть поправ”.

Две роли Василия Шукшина – первая и одна из последних, пожалуй, самая значимая во всём его творчестве. Не думаю, что, снимая “Калину...”, а до того работая над сценарием, Шукшин хотел буквально противопоставить два выхода из почти одинаковой ситуации, но и не помнить свою первую роль он не мог.

Кстати, разумеется, готовясь к роли, он читал не только сценарий, но и сам рассказ Хемингуэя. Предположу, что читал и другие его рассказы... А ведь это время, когда и сам Шукшин писал свои первые работы. Не заимствование, но явные стилевые переключки, по-моему, есть: те же напряжённые диалоги, минимум описания, динамика... Он не был, как утверждают некоторые, угрюмым “писателем-деревенщиком”, “самородком” и т. д. Он и у Ромма учился, и с Тарковским общался, и “старика Хэма” почитывал... Полученный опыт переплавлял в душе жаром таланта, добавляя свои жизненные выводы.

Герои Андрея Тарковского в его последующих фильмах тоже весьма далеки от Оле Андерсона. В отличие от него, они “выходят из комнаты”, чтобы пойти в “зону”, взглядеться в зеркало, принести последнюю жертву ради спасения мира...

Так что начинали эти очень разные и, пожалуй, самые выдающиеся русские режиссёры своего времени с одного фильма, с одной нравственной ситуации. И оба её в своём творчестве переосмыслили, преодолели.

Тарковский – Шукшин: от Андрея Рублёва до Стеньки Разина

*От Рублёва до Разина —
Русский размах...*

Андрей Тарковский начинал свой путь в кино с обращения к личности монаха-иконописца, будущего святого, Андрея Рублёва. Заявку руководству “Мосфильма” на фильм о нём Тарковский подал в 1961 году, то есть до “Иванова детства”. Договор был заключён в 1962 году. 18 декабря 1963 года был принят литературный сценарий, а 24 апреля 1964 года он был запущен в режиссёрскую разработку. В 1966 году фильм был снят. Первоначальное название – “Страсти по Андрею”. Фильм состоит из восьми главок-новелл и охватывает почти четверть века. Первая главка – “Скоморох” – датирована 1400 годом, последняя, “Колокол”, 1423 годом.

Василий Шукшин едва ли не с детства был поражён личностью атамана Степана Разина... Фильм снять не успел, но написал сценарий и роман о нём. Был ещё и рассказ “Стенька Разин”, своеобразно показывающий народное (и личное шукшинское) отношение к Разину.

Но и снятый фильм Тарковского, и задуманный фильм Шукшина – это не исторические фильмы. Это фильмы о человеке в исторических обстоятельствах. Фильмы о личностях, увиденных Тарковским и Шукшиным.

Для Тарковского Рублёв – прежде всего, художник, творец, а не монах. Тарковскому важно показать внутренний мир художника, то, как он охранял и сохранял этот внутренний мир в страшных внешних обстоятельствах русского средневековья. В Рублёве, показанном Тарковским, много от личности отца-поэта, много личного, не случайно и первоначальное название фильма – не “Андрей Рублёв”, а “Страсти по Андрею”...

Взгляд Шукшина на Разина – тоже взгляд не историка (хотя исторические детали, что подтверждали историки-консультанты, Шукшин создавал достоверные). Степан Разин у него не столько атаман, разбойник и предводитель народного войска, сколько человек, решившийся противостоять системе, “проломить” её. Не случайно имя атамана уходит из названия романа и остаётся только “Я пришёл дать вам волю”.

Казалось бы, разные режиссёры выбрали разных персонажей для передачи своих взглядов на мир, на творчество, на жизнь: Андрей Рублёв у Тарковского должен был сохранить себя, своё мироощущение художника, свою индивидуальность в заданных условиях, чтобы создать свои работы (к чему всю жизнь и стремился Андрей Тарковский); а Разин у Шукшина должен был отречься от себя и раствориться в народе, отдать себя народу (к чему явно шёл и сам Василий Шукшин), чтобы народ помнил, что можно быть свободным, можно не бояться “государства”, уважать себя...

И вступительная (и даже, кажется, не связанная с остальными событиями) новелла фильма “Андрей Рублёв” – о “летающем мужике” в исполнении оригинальнейшего поэта своего времени Николая Глазкова – это ведь то же, что и разинское желание хоть недолго, хоть на мгновение, но быть свободным, вольным, а потом хоть и разбиться!

Ведь и выбор не профессионального актёра, а поэта Николая Глазкова на эту роль, открывающую фильм, – не случайность. Впрочем, это не первая роль в кино для Глазкова: впервые он снялся ещё в массовке сцены Ледового побоища в фильме “Александр Невский”, а уже в пятидесятые годы – в эпизодах в фильмах “Вольница” и “Илья Муромец”.

Вероятно, Тарковский был знаком с поэзией Глазкова (почти наверняка), хотя на выбор его для роли, конечно, повлияли не стихи, а “фактура” – высокая, широкоплечая, мосластая фигура, большое удлинённое лицо... Но ведь личность неразъединима: в глазах Глазкова – сумасшедшинка его стихов и его вечное желание не быть в общем ряду, сохранить в себе – себя. И Тарковский своё художническое поведение выстраивает так (конечно, независимо от Глазкова) – одиноко, отдельно.

Шукшин же стремится слиться с этим *морем народным*. Не случайно же он полушутливо предлагал писателю Василию Белову роль мужичьего предводителя в разинском войске – Матвея. Белов отказался, да и фильм не состоялся, но сам факт – характерен...

Режиссёр Андрей Тарковский проводит своего героя иконописца Рублёва через страшный опыт, оканчивающийся принятием обета молчания: избиение и арест скомороха, разгон стражниками языческого праздника Ивана Купалы; ослепление по приказу князя артели резчиков по камню, княжеская междоусобица, в результате которой татарская орда захватывает Владимир, грабит православные храмы; и даже убийство человека, пусть и ради спасения другого человека...

Сыграл Рублёва актёр Анатолий Солоницын... Увидев сценарий в журнале, он сам приехал на пробы и был утверждён на главную роль, а затем стал неизменным актёром в фильмах Тарковского вплоть до своей смерти.

Уже бросив работу в театре ради кинопробы (он ведь не знал, будет ли утверждён), он совершил подвиг. А потом ещё и молчал четыре месяца, чтобы во время съёмок эпизода нарушения обета молчания голос был сиплым.

Последняя новелла “Андрея Рублёва” — “Колокол”. Это рассказ о юноше Бориске (актёр — юный тогда Николай Бурляев), сыне мастера-литейщика, который был вынужден, ради сохранения жизни, сказать, что знает секрет литья колоколов, и по приказу князя взялся за отливку огромного колокола, управляя работой артели в сотню человек... И то, что колокол в срок был отлит и поднят на звонницу, а самое главное, зазвучал — настоящее чудо, свидетелем которого стал Андрей Рублёв. Он нарушил обет молчания словами, обращёнными к Бориске: “Вот и пойдём мы с тобой вместе. Ты колокола лить, я иконы писать...”

Андрей Рублёв, став свидетелем чуда, нарушает обет ради творчества. Насколько это православная позиция? Сложно сказать. Да и стремился ли Тарковский показать именно православную позицию? Нет, всё-таки это взгляд художника на художника. И иконы в самом конце фильма — это результат того, что создал художник. Духовный и православный заряд безусловно присутствует в фильме, потому что творчество само по себе — духовно, оно отражение человеческого подобия Богу.

Василий Шукшин мечтал сделать фильм о народном герое, но не вполне успел... Однако одна из новелл в фильме “Странные люди” (1969) сделана по рассказу “Стенька Разин”, написанному в начале 60-х (впервые опубликован в 1962-м). Сценарий “Конец Разина” был создан в 1968 году, роман окончен в 1969-м.

Новелла в “Странных людях” — не моральная ли компенсация самому себе за не снятый пока (он был уверен, что ещё снимет) большой фильм о народном вожде? Но это также и рассказ о художнике, который отстаивает своё внутреннее право на то, чтобы быть не таким, как все. Это и рассуждение Шукшина на тему того, для чего человеку дан талант.

...А ведь Шукшин именно о себе — о своей судьбе художника написал (недаром тут и имя именно Васека — Василий)! Это ему, Василию Шукшину, как многим и многим “талантам из народа”, надо было сохранить и развить в себе художнический дар в обычной сельской среде, среди учеников техникума, на флотской службе, да и между более образованными (формально) однокурсниками ВГИКа.

Главный герой рассказа (и новеллы в фильме) — непутёвый деревенский парень Васека, одинокий, непонятый практичными земляками:

— Непонятный ты всё-таки человек, Васека. Почему ты так живёшь? — интересовались в конторе.

Васека, глядя куда-то выше конторщиков, пояснял кратко:

— Потому что я талантливый”.

Талант его обнаружился в вырезании фигурок из дерева.

Сосед — учитель истории Захарыч — много рассказывал ему о Стеньке Разине, и Васека увлёкся, взялся вырезать фигуру атамана. Вернее, Разинным он увлёкся раньше — по песне, по тем же, может, урокам истории в школе, а потом уж учитель рассказал ему более подробно историю разинского бунта... Собственно, так и у самого Шукшина было: с детства заинтересовался, с услышанной песни. В фильме Анатолия Заболоцкого “Слово матери” (1978) мать Василия Шукшина рассказывает, как он переписывал слова песни “Иза острова на стрежень”. И потом все рассказы и разговоры о Разине впитывал, а затем уже и серьёзные книги читал, консультировался со специалистами-историками и представителями Церкви.

Но вернусь к рассказу “Стенька Разин”, приведу цитату: “Захарыч, как его называл Васека, был добрейшей души человек. Это он первый сказал, что Васека талантливый. Он приходил к Васеке каждый вечер и рассказывал русскую историю. Захарыч был одинок, тосковал без работы. Последнее время начал попивать. Васека глубоко уважал старика. До поздней ночи саживал он на лавке, поджав под себя ноги, не шевелился — слушал про Стеньку.

— ...Мужик он был крепкий, широкий в плечах, лёгкий на ногу... чуточку рябоватый. Одевался так же, как все казаки. Не любил он, знаешь, разную там парчу... и прочее. Это ж был человек! Как развернётся, как глянет исподлобья — травы никли. А справедливый был!.. Раз попали они так, что жрать в войске нечего. Варил конину. Ну, и конины не всем хватало. И увидел Стенька: один казак совсем уж отощал, сидит у костра, бедный, голову свесил: дошёл окончательно. Стенька толкнул его — подаёт свой кусок мяса. “На, — говорит, — ешь”. Тот видит, что атаман сам почернел от голода. “Ешь

сам, батька. Тебе нужнее. — Бери! — Нет”. Тогда Стенька как выхватил саблю — она аж свистнула в воздухе: “В три господа душу мать!.. Я кому сказал: бери!” Казак съел мясо. А?.. Милый ты, милый человек... душа у тебя была.

Васака, с повлажневшими глазами, слушал.

— А княжну-то он как! — тихонько, шёпотом, восклицал он. — В Волгу взял и кинул...

— Княжну!.. — Захарыч, тщедушненький старичок с маленькой сухой головой, кричал: — Да он этих бояр толстопузых вот так покидывал! Он их как хотел делал! Понял? Сарынь на кичку! И всё”.

И вот Васака доделал свою работу.

“Вот что было на верстаке.

...Стеньку застали врасплох. Ворвались ночью с бессовестными глазами и кинулись на атамана. Стенька, в исподнем белье, бросился к стене, где висело оружие. Он любил людей, но он знал их. Он знал этих, которые ворвались: он делил с ними радость и горе. Но не с ними хотел разделить атаман последний час свой. Это были богатые казаки. Когда пришлось очень солоно, они решили выдать его. Они хотели жить. Это не братва, одуревшая в тяжком хмелю, вломилась за полночь качать атамана. Он кинулся к оружию... но споткнулся о персидский ковер, упал. Хотел вскочить, а сзади уже навалились, заламывали руки... Завозились. Хрипели. Негромко и страшно ругались. С великим трудом приподнялся Степан, успел прилобанить одному-другому... Но чем-то ударили по голове тяжёлым... Рухнул на колени грозный атаман, и на глаза его пала скорбная тень.

“Выбейте мне очи, чтобы я не видел вашего позора”, — сказал он.

Глумились. Топтали могучее тело. Распинали совесть свою. Били по глазам...

Захарыч долго стоял над работой Васаки... не проронил ни слова. Потом повернулся и пошёл из горницы...”

Да ведь в этом рассказе уже всё: и будущий сценарий, и роман... И всё-таки — это были лишь подступы к ним. Василию Шукшину ещё предстояло сделать то, что сумел сделать герой его рассказа — Васака.

В конце 60-х Шукшин пишет и публикует в журнале “Сибирские огни” роман “Любавины” — о событиях 20-х годов на Алтае. В бумагах Шукшина сохранилась рабочая запись периода работы над “Любавиными”: “О романе. Хотелось бы (если хватит сил, времени и ещё кое-чего) проследить историю крестьянства (сибирского) до наших дней. В традициях реализма.

Всякое явление начинает изучаться с истории. Предыстория — история. Три измерения: прошлое-настоящее-будущее — марксистский путь исследования общественной жизни”.

В интервью корреспонденту “Литературной газеты” Шукшин говорил: “На одном из исторических изломов нелёгкой судьбы русского крестьянства в центре был Степан Разин... Как только захочешь всерьёз понять процессы, происходящие в русском крестьянстве, так сразу появляется непреодолимое желание посмотреть на них отсюда, издалека. И тогда-то возникает глубинная, нерасторжимая, кровная связь — Степан Разин и российское крестьянство”.

Именно эта работа натолкнула его на необходимость понять предысторию событий гражданской войны. А предыстория — это переселение предков Шукшина на Алтай. “...Завидую моим далёким предкам, — писал Шукшин уже в 1973 году, — их упорству, силе огромной. Представляю, с каким трудом сделали они этот путь — с Севера Руси, с Волги, с Дона на Алтай...”

Уже после смерти Шукшина исследователи подтвердили архивными документами, что предки его переселились на Алтай из Самарской губернии. Подтвердилось поволжское происхождение рода. А Поволжье — места разинского восстания.

В 1966 году Шукшин пишет заявку на литературный сценарий “Конец Разина”. 1 января 1967 года в газете “Молодёжь Алтая” Шукшин рассказывает о своей работе:

“Меня давно привлекал образ русского национального героя Степана Разина, овеянный народными легендами и преданиями. Последнее время я отдал немало сил и труда знакомству с архивными документами, посвящёнными восстанию Разина, начинаю его поражения, страницам сложной и во многом противоречивой жизни Степана. Я поставил перед собой задачу: воссоздать образ Разина таким, каким он был на самом деле.

Сейчас я завершаю работу над сценарием двухсерийного цветного широкоформатного фильма о Степане Разине и готовлю материалы для романа, который думаю завершить к трёхсотлетию разинского восстания. А несколько раньше на экраны выйдет фильм, к съёмкам которого я думаю приступить летом 1967 года.

Каким я вижу Разина на экране? По сохранившимся документам и отзывам свидетелей, представляю его умным и одарённым — недаром он был послан Войска Донского. Вместе с тем поражают противоречия в его характере. Действительно, когда восстание было на самом подъёме, Разин внезапно оставил своё войско и уехал на Дон — поднимать казаков. Чем было вызвано такое решение? На мой взгляд, трагедия Разина заключалась в том, что у него не было твёрдой веры в силы восставших.

Мне хочется в новом фильме отразить минувшие события достоверно и реалистично, быть верным во всём — в большом и малом. Если позволит здоровье и сила, надеюсь сам сыграть в фильме Степана Разина”.

Сценарий был написан и напечатан в журнале “Искусство кино” в 1968 году. Работа над романом была завершена в 1969 году. С января 1971 года роман о Разине публикуется в “Сибирских огнях”. Решение о запуске фильма было принято дирекцией “Мосфильма” в сентябре 1974 года. В последних числах сентября Шукшин, снимавшийся в то время в картине С. Ф. Бондарчука “Они сражались за Родину”, узнал о положительном решении студии. Поначалу писатель не соглашался на съёмки в этой картине, готовясь к собственной — о Степане Разине. Однако руководство Госкино поставило условием своего согласия его участие в проекте Бондарчука. В ночь на 2 октября 1974 года писатель умер от сердечного приступа.

Поздней осенью 1974 года роман “Я пришёл дать вам волю” был опубликован отдельной книгой в издательстве “Советский писатель”.

Фильм о Степане Разине и крестьянской войне под его водительством Василий Шукшин так и не снял...

Итак — две исторических фигуры: Андрей Рублёв и Степан Разин; два художника-режиссёра: Андрей Тарковский и Василий Шукшин... Два подхода к одной теме — русский человек (художник или народный герой) на историческом изломе; и вместе с ним весь русский народ на изломе... Но ведь на изломе и сами Шукшин и Тарковский, всю жизнь пробивавшие свои filmy, отстаивавшие своё художественное самостояние... Как там у Николая Глазкова: “Чем столетье интересней для историка, // тем для современника печальней...”

В печальное время жили, а подарили нам надежду: Рублёв и Разин, Шукшин и Тарковский. Они сказали о том, что человек должен быть свободен и уважать в себе и в других свободного человека.

Шукшин — Тарковский: верую?

Начну сразу с вывода: Шукшин — народная вера, со всеми её суевериями. Тарковский — вера интеллигентская, книжная, от начитанности, но и со всеми интеллигентскими “духовными” увлечениями: Джуна, йога, медитации.

Всё почти так... Так да не так... Всё-таки, оба пришли к истинной вере... Или нет?

Рассказ Шукшина “Верую” (1970) — как раз о неверии... А о чём же ещё? На главного героя рассказа Максима Ярикова “по воскресеньям наваливалась особенная тоска. Какая-то нутряная, едкая...”

“... — Но у человека есть также — душа! Вот она, здесь, — болит! — Максим показывал на грудь. — Я же не выдумываю! Я элементарно чувствую — болит...” — объясняет Максим жене (и не может объяснить).

Заметил ли сам Шукшин, понял ли, что тоска-то нападает на человека именно по воскресеньям, когда в церковь к Богу надо идти? И ведь почти туда он и идёт — не в церковь, но к священнику... Не знает человек, куда душу пристроить, ищет... А находит неверующего попа. Ну, это уже частный случай.

Главный герой рассказа не поп, “верующий в механизацию сельского хозяйства”, а Максим Яриков — у него болит душа. И не вина, а беда его, что воспитан (официально — школой, газетами) он уже был в советское время, при официальном атеизме. И всё-таки, как любой русский человек, он знает (откуда? от молитв бабушки и матери, от русской литературы, которую

учил же в школе), что тоска душевная лечится верой... (А “заливается” водкой).

Вот какой у них разговор:

“... – Ты спросил: отчего болит душа? Я доходчиво рисую тебе картину мироздания, чтобы душа твоя обрела покой. Внимательно слушай и постигай. Итак, идея Христа возникла из желания победить зло. Иначе – зачем? Представь себе: победило добро. Победил Христос... Но тогда – зачем он нужен? Надобность в нём отпадает. Значит, это не есть нечто вечное, непреходящее, а есть временное средство, как диктатура пролетариата. Я же хочу верить в вечность, в вечную огромную силу и в вечный порядок, который будет. Я говорю ясно: хочу верить в вечное добро, в вечную справедливость, в вечную Высшую силу, которая всё это затеяла на Земле. Я хочу познать эту силу и хочу надеяться, что сила эта – победит. Иначе – для чего всё? А? Где такая сила? – Поп вопросительно посмотрел на Максима. – Есть она?

Максим пожал плечами:

– Не знаю.

– Я тоже не знаю”.

А должен бы знать священник-то, должен... Яриков и сам понял, что это “не такой поп”:

“– Ты прости меня... Можно, я одно замечание сделаю?

– Валяй.

– Ты какой-то... интересный поп. Разве такие попы бывают?”

В священнике Яриков находит такого же с беспокойной душой, но не верящего в Бога человека. Беспокойность эта и в любви к родине, к крестьянству, к Есенину, как их выразителю. Вот что поп говорит (шукшинское “высказывает”):

“– Вот жалеют: Есенин мало прожил. Ровно – с песню. Будь она, эта песня, длинней, она не была бы такой щемящей. Длинных песен не бывает.

– А у вас в церкви... как заведут...

– У нас не песня, у нас – стон (нет, не стон – молитва. – **Д. Е.**). – Нет, Есенин... Здесь прожито как раз с песню. Любишь Есенина?

– Люблю.

– Споём?

– Я не умею.

– Слегка поддерживай, только не мешай. – И поп загудел про клён заледенелый, да так грустно и умно как-то загудел, что и правда, защемило в груди. На словах: “Ах, и сам я нынче // чтой-то стал нестойкий...” – поп ударил кулаком в столешницу и заплакал, и затряс гривой.

– Милый, милый!.. Любил крестьянина!.. Жалел! Милый!.. А я тебя люблю. Справедливо? Справедливо. Поздно? Поздно...”

Вспоминается тут и Рубцов: “Боюсь, что над нами не будет таинственной силы...” И далее: “Отчизна и воля, останьтесь, моё божество...”

Вот, пожалуй, и Шукшин так, абстрактно, в Отчизну и волю верил... Но искал, в том числе вместе с Максимом Яриковым (имя и фамилию-то какие выбрал – максимально и яростно, вот так и искал он правду для души).

Заканчивается рассказ самозабвенной пляской с частушками. И никакого ответа на запрос души Максима Ярикова, потому что и не может это быть ответом... Только ещё сильнее болеть будет.

Вольно или невольно Шукшин показал, что без истинной веры в Бога ждёт нас, русских, вечная болезнь души, с пьяными частушками и покаяниями в пустоту (пьяная исповедь и покаяние в предательстве в начале рассказа – это же пародия на церковную исповедь и покаяние). Потому что истинные-то свои грехи Максим и не считает за грехи. А душа болит... “Верую” – рассказ о большой душе, о пути к вере.

А вот ещё один рассказ Шукшина – “Мастер”. Если у Максима Ярикова душа болела от непонятной тоски, то у героя этого рассказа, деревенского умельца, столяра и плотника Сёмки, душа болит от гибнущей красоты... Он будто бы впервые увидел и понял замысел мастера при строительстве церкви: с восходом солнца освещается и начинает сиять церковная стена: “... стоит в зелени белая красавица – столько лет стоит! – молчит. Много-много раз видела она, как восходит и заходит солнце, полоскали её дожди, заносили снега... Но вот – стоит. Кому на радость? Давно уж истлели в земле строители её, давно стала прахом та умная голова, что задумала её такой, и сердце,

которое волновалось и радовалось, давно есть земля, горсть земли. О чем же думал тот неведомый мастер, оставляя после себя эту светлую каменную сказку? Бога ли он величил или себя хотел показать? Но кто хочет себя показать, тот не забирается далеко, тот норовит поближе к большим дорогам или вовсе на людную городскую площадь – там заметят. Этого заботило что-то другое – красота, что ли? Как песню спел человек, и спел хорошо...”

Вот о чём думает Сёмка, а вместе с ним Василий Шукшин и его читатели...

О вере ли этот рассказ? Больше, наверное, о предназначении всякого мастера, художника... Но разве это не о Боге?

И пусть церковь оказалась не старинной, и “задумка” мастера – всего лишь случайность, но Сёмка красоту увидел, задумался о ней, а это уже много.

“Крепкий мужик” – наоборот, о разрушении церкви. Будто иллюстрация к словам Рубцова “...Но жаль мне разрушенных белых церквей”. Желание “крепкого мужика” Кольки Шурыгина показать всем свою силу, покуражиться – от чего? От душевной пустоты. Ну, показал силу, разрушил церковь... И тут оказалось, что нужна она была, пусть и закрытая, заброшенная, многим, в том числе и матери Кольки.

В итоге рассказа о “крепком мужике”: вместо церкви – груда кирпичей, вместо молитвы – дурацкая припевка: “оп, тир-дар-пупия”... Разве это не шукинская беспокойная совесть, не поиски веры? И так практически во всех его рассказах беспокоится душа, ищет чего-то.

И всё это, пожалуй, полнее всего выразилось в повести и фильме “Калина красная”: и большая совесть, и жажда “праздника для души”, и страдания “блудного сына”, и тоска по красоте (берёзки!), и “русская тоска” (Есенин!) – всё-всё в этом фильме, в судьбе Егора Прокудина.

Всё-таки, пусть и не успев снять главный (как он думал) свой фильм о Разине, Василий Шукшин успел сказать в “Калине красной” о невозможности жить человеку без веры... То есть – без Бога. И вопль Егора: “Прости меня, Господи!” – это и вопль самого Шукшина, который отзывается в каждой живой душе...

В фильме “Покаяние” из цикла “Библейские сюжеты” приводится такой эпизод (без ссылки на источник, но, видимо, по чьим-то воспоминаниям): в апреле 1974 года (“Калина красная” триумфально шагала по экранам кинотеатров) Шукшин лежал в больнице и “старая знакомая” по фамилии Григорьева (имя я не расслышал, и кто она – не понял) принесла Шукшину Евангелие. Через некоторое время он ответил ей письмом, в котором были такие слова: “Куда же в России без Христа. Верую. Верую, как в детстве учила меня мать: в Отца, Сына и Святого Духа!” Это не то “верую”, что в рассказе...

Свой путь к вере был у Андрея Тарковского. Всю жизнь он искал истину, искал путь, по которому должен идти человек к истине. Все его фильмы об этом. Вот он говорит в одном из интервью: “Я делал свою первую картину “Иваново детство” и, по существу, не знал, что такое режиссура. Это был поиск совершенно ощупью. Я шёл, пробовал, искал какие-то моменты соприкосновения с поэзией. И после этой картины я вдруг почувствовал, что при помощи кино можно что-то сделать, можно прикоснуться к духовным субстанциям собственной души”.

Итак: кино – способ прикоснуться к душе. Эта необходимость была в нём с самого начала...

И далее: “Прежде чем строить концепцию, в частности, взгляд на искусство, надо прежде всего ответить на другой вопрос, гораздо более важный и общий: зачем живёт человек, в чём смысл человеческого существования? Мне кажется, мы должны использовать наше пребывание на земле, чтобы духовно возвыситься. А это означает, что искусство должно помочь нам в этом. В силу того, что смысл человеческого существования я понимаю таким образом, мне кажется, что искусство должно помогать человеку развиваться в этом направлении. То есть, короче говоря, искусство служит человеку тем, что помогает ему духовно измениться, вырасти”.

Духовно вырасти. Куда? Во что?

“... Но художник существует постольку, поскольку мир, так сказать, не устроен, мир не благополучен. И, видимо, именно поэтому-то и существует искусство. Если бы мир был прекрасен и гармоничен, то искусство, наверное,

было бы не нужно. Человек бы не искал гармонии в побочных, так сказать, занятиях, он жил бы гармонично, и этого было бы ему достаточно. По-моему, искусство существует только потому, что мир плохо устроен. И вот именно об этом рассказывается в моём “Рублёве”. Поиски гармонии, поиски смысла жизни, как он выражается в гармонических соотношениях между людьми, между искусством и жизнью, между сегодняшним временем и историей прежних веков, — этому, собственно, и посвящена моя картина. . .”

Долг художника понятен из этих слов. Но если художник ошибается? Впрочем, если ошибается искренне, преодолевает ошибки, мучается и побуждает это же делать и зрителя — да простится ему. . . Ведь в “Солярисе” всё то же, что и в “Калине. . .” — блудный сын, беспокойная совесть, покаяние.

“Сталкер” — не путь ли к тому же через “фантастику”, к чему шёл вместе с Андреем Рублёвым — к Троице? “Жертвоприношение” — не принесение ли себя в жертву ради человечества? Ну, а “Калина красная” Шукшина — разве не жертвоприношение?..

Из интервью Андрея Тарковского, которое он дал в Лондоне в 1983 году: “Мы ставим перед собой. . . проблемы, стараемся их решать и при этом думаем, что спасаем современный мир, который находится в кризисе. Но мы заблуждаемся. По-моему, это даже очень опасно — заниматься такими проблемами, потому что они отвлекают нас от главной задачи, от борьбы за духовность.

Борьба за духовность ведётся во всех направлениях. Это понимает каждый. Каждый, даже совсем необразованный, но духовно развитый человек понимает. . . Он бережёт свой внутренний духовный мир. Это очень важно. Мы хотим жить, понимая смысл жизни и выполняя свой жизненный долг на этой земле, но часто нам это не удаётся. Мы ещё слишком слабы. Но важно выбрать путь и следовать ему. . .”

Но что он называл словом “духовность”? Из его дневников, из воспоминаний можно увидеть, что увлекался он медитативными практиками, близко был знаком с Джуной. . . Но ведь и жил поэзией, и хорошо знал русскую историю, и читал Евангелие.

В конце 1985 года, после завершения фильма “Жертвоприношение” в Швеции, Андрей Тарковский возвратился во Флоренцию. Он уже был тяжело болен. В этот последний год жизни его часто навещал отец Силуан из православного монастыря Преподобного Серафима Саровского, исповедовал и причащал.

Незадолго до смерти Андрея Тарковские переехали во Францию. Там он и скончался 29 декабря 1986 года, был отпет по православному чину и похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.

Оба — и Шукшин, и Тарковский — безусловно, пришли к православной вере, но у каждого был свой непростой путь.

ВАЛЕРИЯ БЕЛЬТЮКОВА

ПО СЛЕДАМ ДВУХ КОНФЕРЕНЦИЙ

9 октября на факультете журналистики КубГУ провели сразу две научные конференции: седьмую Лихоносовскую и четвёртую Селезнёвскую. Ведущие писатели, литературные критики, журналисты, преподаватели и студенты собрались в стенах Кубанского государственного университета, чтобы обсудить насущные проблемы истории, литературы, журналистики. Инициаторами выступили декан факультета журналистики Валерий Касьянов и главный редактор журнала “Родная Кубань”, заведующий кафедрой публицистики и журналистского мастерства Юрий Павлов. Благодаря их усилиям конференция на Кубани стала доброй традицией, изменять которой не стали даже в такой непростой эпидемиологической обстановке.

Открыл конференцию декан факультета журналистики, заведующий кафедрой истории России, доктор исторических наук, доктор социологических наук, профессор Касьянов Валерий Васильевич:

“К сожалению, в этом году такой торжественной обстановки, какая была у нас ранее, добиться невозможно. Друзья мои, я хочу, чтобы нам маски не мешали...”.

Первой выступила Светлана Георгиевна Замлелова – писатель, публицист, главный редактор журналов “Камертон” и “Великоросс”. Свое сообщение она посвятила проблемам современного русского языка. Замлелова рассказала о главном векторе политики в этой сфере: упрощение языка и, как следствие, сознания его носителей: *“От богатства и сложности языка зависит богатство мышления и поведения. Прimitивный уровень языка ограничивает поведение примитивными моделями. Чем проще язык, тем слабее способность создавать и постигать новое. По мнению епископа Городецкого и Ветлужского Августина, “чтобы оглупить человека, нужно просто оглупить его язык”.*

Продолжила работу конференции писатель, журналист, главный редактор журнала “Молодое око” Лидия Андреевна Сычева. Тема её доклада: “Феминизм и фамильность в русской литературе и журналистике”. Сычева определила феминизм как сектор идеологий, разрушающий не только социальную роль женщины, но и физическое, духовное здоровье нации:

“Русские – государствообразующий народ, мы – абсолютное национальное большинство в стране. Но, будем откровенны, ослабленное большинство. Законов природы никто не отменял. Этнoсы, где женщина перестаёт быть объектом конкуренции и соперничества, обречены на генетическую, физическую, интеллектуальную и прочие деградации”.

По мнению писателя, это чуждое явление для русской православной культуры, где главный символ, показывающий, “как высоко поставлена женщина” – это Богородица. “Куда же Выше?! Женщина, которая дала жизнь новой Сущности, которая преобразует мир”, – справедливо заметила Сычёва, завершая свой доклад.

В продолжение темы деградации языка – выступление преподавателя Альбины Петровой. Она рассмотрела в своей исследовательской работе животрепещущие проблемы культурной политики нашей страны. Петрова объяснила, в чём кроется основная причина неприятия молодёжью русской литературы: “Они просто являются носителями разных языков. Шукшин, Сычёва, Бондаренко, Беседин говорят на языке великой классической литературы, а молодёжь – на языке современного искусства, которое даже назвать таким сложно”.

Тема Альбины Петровой естественно переплеталась с темой Светланы Замлеловой, которая также говорила о губительном характере новых законов, направленных на деформацию современного русского языка. Юрий Козлов дополнил эти выступления: “Вот эта реформа, как мне кажется, не случайна. Это адаптация языка под новую цифровую реальность, которая требует упрощённого сознания. Реформы нацелены на то, чтобы оторвать русский язык от Православия, от священных книг. Приблизить его к европейским стандартам”.

Нельзя отрицать тот факт, что у русского человека давно пытаются отнять его язык, литературу, историю. Однако горящие глаза самых главных слушателей, студентов, говорят о том, что ещё не всё потеряно, что интерес к русской словесности не угас, а значит, и бояться нам пока нечего.

Писатель, главный редактор “Роман-газеты” Юрий Вильямович Козлов, завершая свой доклад о ситуации в современной русской прозе, дал напутствие молодому поколению: “Вот почему важны такие встречи, как сегодняшняя. Молодёжная аудитория – это одновременно и будущие писатели, и будущие читатели, носители новых взглядов, новых идей. Мы, люди старшего поколения, пытаемся донести до вас свой опыт, свою боль по упущенным шансам, наконец, своё видение ситуации с высоты своего печального опыта. Вернуть себе Россию – задача непростая, и нам остаётся только надеяться, что вы справитесь с ней”.

Об уже потерянной России рассказал магистрант Олег Шульга. Он посвятил свою научную работу теме монархии в творчестве И. Л. Солоневича и В. И. Лихоносова. Олег Шульга провёл исследование на основе анализа произведений “Народная монархия” и “Наш маленький Париж”. Ещё никто не сравнивал творчество этих авторов. Виктор Иванович с неподдельным интересом слушал магистранта.

Затем выступил писатель, публицист, литературный критик Виктор Баранов с сообщением о находках в государственном архиве Вологодской области.

О литературе живой и мёртвой рассказала студентка 3-го курса факультета журналистики Дарья Редькина. В её исследовательской работе “Литературное племя XXI века” прозвучали имена подлинно русских писателей (Виктор Лихоносов, Лидия Сычёва, Платон Беседин) и имена авторов незаслуженно популярных произведений (Дина Рубина, Александр Цыпкин). В подтверждение Дарья Редькина привела цитату Лидии Сычёвой: “Слово – язык – народ. Если этот стержень ломается, то с людьми надломленными, отчуждёнными можно делать всё что угодно”.

Конференции на факультете журналистики – неопровержимое доказательство того, что этот стержень пока не сломан. Ведущие писатели, критики, журналисты приезжают на Кубань с главной целью – передать свой опыт студентам, число которых в рядах слушателей с каждым годом всё больше.

Когда первая часть конференции подошла к концу, на экране появилось уникальное интервью 1999 года с Виктором Лихоносовым. Беседу вёл журналист Анатолий Корчуганов на горе Пикет во время Шукшинских чтений.

Заслуживает отдельного внимания этот отрывок из интервью:

– Виктор Иванович, как Вы думаете, что заставляет такое количество людей каждый год приезжать на шукшинские места, не очень-то обихожённые?

– Я думаю, что русские люди ждут и очень рады, когда он появляется, родной человек. Русский читатель – хороший читатель. Он хорошо почувствовал и Белова, и Распутина, и Рубцова. Это родные русские люди, которые выразили все истинные чувства русского человека.

Эти слова о родном русском человеке относятся и к самому Лихоносову, который наверняка не мог предположить, что через 18 лет, в 2017 году неравнодушные люди со всей страны приедут на Кубань, чтобы принять участие в первых Лихоносовских чтениях.

Лидия Сычёва заметила, что интервью получилось глубоким, содержательным благодаря профессионализму Анатолия Корчуганова:

“Журналист выбрал правильного героя, поставил правильные вопросы. Эта запись жива не только спустя 21 год, но и, полагаю, ещё пригодится в истории”.

Действительно, в этом интервью чувствуется душа героя. Корчуганов построил беседу на важных для русского человека темах: деревенская проза и её место в литературе, жизненный путь русского писателя. Не было вопросов о материальном, переходящем. После просмотра интервью продолжили чтение докладов. Слово дали студенту 2-го курса Дмитрию Веретельникову. Он раскрыл своё видение политической ситуации в Белоруссии.

Выступил критик Николай Игоревич Крижановский с научной статьёй о “сторожевом псе чёрной царской сотни”, публицисте Михаиле Меньшикове. Как известно, Юрий Иванович Селезнёв в 1976–1980 годах работал главным редактором серии “ЖЗЛ”. Издательство раз в три года выпускало историко-биографический альманах “Прометей”. Один из них был посвящён Л. Н. Толстому, записки Меньшикова о писателе вошли в этот альманах. В своём докладе Николай Игоревич сказал о ценности издания для современного литературоведения: *“Опубликованные Ю. И. Селезнёвым в “Прометее” в 1980 году записки М. О. Меньшикова позволяют увидеть Толстого глазами публициста, восполняют жизненный образ писателя, показывают Меньшикова как критично думающую и меняющуюся личность, демонстрируют степень близости Толстого и Меньшикова”.*

Темы будущего, веры, свободы прозвучали в выступлении Олега Мороза. Литературовед прочитал доклад о романе Юрия Козлова “Новый вор”. Олег Мороз детально раскрыл концепцию романа и сделал вывод: *“Россия найдёт своё будущее в том выборе, который – каждый самостоятельно – делает русский человек. Этот выбор зависит только от него, ибо нет силы, которая была бы способна отнять у человека сделанного Спасителем дара – дара свободы веры”.*

Писатель Светлана Макарова-Гриценко рассказала про детское чтение в цифровом мире. Тему казачества в творчестве В. И. Лихоносова и Н. В. Гоголя рассмотрела студентка 2-го курса факультета журналистики Ангелина Гетман. Сопоставив творчество авторов, она сделала вывод, что их объединяет самоотверженность в “служении русской словесности” и трепетное отношение к истории казачества.

Стоит отметить, что студенческие доклады не выделялись на фоне остальных низким уровнем. Олег Шульга, Дарья Редькина, Ангелина Гетман провели глубокий анализ творчества Виктора Ивановича Лихоносова и достойно выступили.

“Все, кто приезжает на наши конференции, знает, что у нас нет никакой дискриминации: профессора, литературоведы, журналисты выступают вместе со студентами. Мы даём слово каждому, кто хочет высказаться”, – сказал Юрий Павлов.

Кульминацией конференции стало выступление Виктора Ивановича Лихоносова. Гости с замиранием сердца слушали отрывки из его книги воспоминаний.

Виктор Лихоносов в главе “Для себя” вспоминает родную Пересыпь, родной дом: *“5 ноября 1997 года мать моя лежала больная пятый месяц. Уже больше десяти годочков нет её со мной. Приехал я не просто во двор, на улицу Чапаева, 3, а к ней. В её комнату, в её кухню. И пил в обед чай с её вишнёвым вареньем. Несколько литровых баночек убого стоят на полке. Каждое мгновение чувствую тишину Пересыпи”.*

Эти щемящие строки наверняка пробудили в каждом добрые чувства. Так проникновенно рассказать о простом жизненном эпизоде мог только Виктор Иванович Лихоносов. Писатель прочитал и отрывок из главы “Пора-пора”, в котором показано, с каким трепетом, с какой любовью он обращается к своим воспоминаниям: *“Покладу на стол по правую руку Евангелие, обретенное мною 11 ноября 1993 года. Буду каждый раз читать понемножку перед своим*

литературным вязанием, буду молиться, буду просить Господа и Ангела Хранителя помочь мне войти в воду воспоминаний о матери, о тонких молниях своей жизни, написать с прощальным чувством и не упустить времени, которого, увы, осталось мало”.

Живая, выразительная речь Виктора Ивановича никого не оставила равнодушным. Доставая каждую строку из сердца, Лихоносов заново переживал эпизоды своих воспоминаний. Выступление писателя стало самым ярким событием конференции.

Традиционно в конце провели свободную дискуссию. Высказаться мог каждый желающий. Студенты, гости, преподаватели выразили слова благодарности организаторам конференции, поделились впечатлениями.

Юрий Павлов поблагодарил выступавших и подвёл итоги: *“Была живая атмосфера, заинтересованное отношение всех слушателей. Низкий поклон Виктору Ивановичу Лихоносову. Мы его очень любим. Вы видите это по тому, какая здесь атмосфера”.* В мае следующего года планируется ещё одна Лихоносовская конференция. Будем надеяться, что она соберёт ещё больше людей, влюблённых в живое литературное слово Виктора Ивановича Лихоносова.

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

НЕИСТОВЫЙ БОНДАРЕНКО

Владимиру Григорьевичу Бондаренко семьдесят пять. Боже мой, милый друг Володя! Где они, твои шальные, весёлые, жадно вззирающие на мир глаза? Такие глаза бывают у новорождённого ребёнка, которому важно и интересно всё: и звук, и цвет, и аромат, и любая тень, и любой луч. Таким ты предстал передо мной много-много лет назад, почти юнец, прибывший в Москву из сосновой и синеозёрной Карелии.

Сейчас твои глаза помудрели, в них появилась печаль, разочарование, но на самом их дне всё те же сверкающие искры твоей молитвенной любви, которую ты несёшь через всю свою жизнь и которая, как крылья, несёт тебя в русском небе. Это любовь к русской словесности, к русскому божественному слову, к России, загадки которой отгадывали и отгадывают самые мудрые, самые просветлённые люди нашей земли. Для тебя эта отгадка лежит в сокровенном русском слове. Ты обожаешь русскую литературу. Ты её жених, ты с ней повенчан. Сколько прекрасных статей, книг написал ты о великом явлении – нашей деревенской литературе. Ты воспел каждого из златоустов: и Распутина, и Белова, и Астафьева, и Носова, и Личутина, и изумительного Рубцова, и Кузнецова, и Тряпкина. Ты, как драгоценный камушек, сверкаешь в этом могучем русском потоке. И все, о ком я говорю, все тебя любили, иногда журили, часто – учили своим художеством, своим великим стоянием.

Ты, дорогой Володя, – столпник русской литературы. Всю жизнь ты простоял на этом столпе. Вокруг тебя бушевали недруги, враги, отъявленные русофобы, они приносили к порогу твоего дома, к основанию этого столпа мешки с гнилыми костями. Ты был для них красно-коричневым, был фашистом, был изгоем, нерукопожатным. Но в тебе никогда не было ненависти, ты никогда не хотел мстить. Ты знаешь нечто такое, чего не знают многие из нас, в том числе и я. Твоя неистовость, твоя ярость совместимы с удивительной кротостью, чистотой и добродушием. “Добро должно быть с кулаками”, – повторял ты куняевские хрестоматийные строки. Но кулаки должны быть добрые – это твой толстовский взгляд, взгляд православных подвижников на мировое зло.

Незабываемы наши литературные посиделки, которые ты устраивал у себя в подмосковном посёлке “Правда”, где обитал тогда, – молодой, входящий в литературу критик. Как славно собирались мы у тебя: самонадеянные, мечтающие о славе, выпустившие свои первые книги. Это там, на “Правде”, образовался литературный кружок, который потом стал называться “Клубом сорокалетних”. Ты – его создатель и вдохновитель. Ты, самый молодой из нас, был нашим старостой. Какой это был интересный, важный период не только русской литературы, но и русской исторической мысли.

Русская литература тогда была трёхкрылой. У неё было три крыла, и каждое, казалось, летело отдельно, а всё вместе – это и была птица русской литературы. Одно крыло – исконное, глубинное, то, которое искало правду, вынашивало русскую идею и в наши годы именовалось деревенской литературой. Другое крыло, именуемое городской литературой, было детищем западников, его пестовали “шестидесятники”, оно и состояло из литераторов–“шестидесятников”. И третье крыло – так называемая секретарская литература. Оно состояло из вельможных, приближённых к Союзу писателей художников, отстаивающих традиционные советские ценности.

Среди этих трёх течений мы хотели создать свой особый литературный мир, отличный от первого, второго и третьего. Тогда в Доме литераторов, в его шумном Пёстром зале, где гремели чарки, шумели поэты, которые мерились величием, мы собрались за отдельным столиком и решили написать своеобразный манифест, сформировать своеобразное литературное общество, которое было бы не городским, не деревенским, не секретарским. И ты стремился создать новую литературную идеологию, созвучную настроениям этого кружка.

Но оказалось, что само наше общество эфемерно. Когда страшная пила прошлась по нашей Родине – Советскому Союзу, – она разрешила не только пространство, не только судьбы, но и литературные направления. Наш литературный кружок распался: одни примкнули к западникам, другие – к славянофилам, и ты был не в силах удержать две эти разлетающиеся галактики. Конечно, ты был там, где слово “русский” произносилось торжественно и молитвенно, а не там, где это слово подвергалось поруганию и насмешкам. Ты был с нами, с теми, кто потом создавал и питал своими духовными силами газету “День”. Ты привёл в наш “День” писателя Эдуарда Лимонова. Тот только что вернулся из эмиграции, был осторожен, осматривался, прислушивался. Ты был его поводырём, ты публиковал его рассказы в газете “День”, а потом привёл на нашу шумную вечеринку. И боже мой, какие выкрутасы только он не увидел в нашей буйной русской среде едва вернувшихся из воюющего Приднестровья!

Это ты после пожара 1993 года, после разгрома парламента и закрытия газеты “День” привёл в возрождённую из праха газету “Завтра” советских диссидентов Максимова и Синявского, и они публиковали свои статьи, гневные упрёки в адрес демократов, спаливших в костре Дома Советов свою иллюзорную демократию. Они, эти диссиденты, печатались в нашей “краснокоричневой” газете.

Ты утончённый знаток русской литературы, поэтому тебя приглашают в Китай, и ты в лучших китайских университетах читаешь лекции о русской словесности. Это ты, побывав в Америке, познакомил меня с удивительным человеком – Григорием Климовым, автором злых, едких, полных сарказма и ненависти книг. Ты ввёл Климова в оборот тех бурных литературных событий.

Ты чувствовал русскую литературу как целое, как огромную галактику и стремился связать две её разорвавшиеся в 1991 году половинки. Ты бывал в салоне Александра Солженицына и стремился примирить его с той частью русской культуры, которая была отвергнута демократами и преподносилась как скопище антисемитов и бездарных ксенофобов. Ты писал свои замечательные статьи об Иосифе Бродском, имя которого ты пытался вырвать из цепких лапок либеральных критиков. Ты стойкий и подвижник.

Помню, когда ты ложился в клинику и тебе делали коронаграфию, я просил тебя привезти из клиники репортаж. И, лёжа на операционном столе, в минуты, когда в твоих артериях гулял медицинский зонд, вбрызгивая тебе в кровь эмульсию, ты думал о литературе, и твой репортаж с операционного стола был не просто медицинским, он был литературным.

Чем стала бы газета “День”, чем стала бы газета “Завтра” без тебя? Какие восхитительные вечера готовил ты, приглашая на них лучших светочей наших грозных лет! И я любовался тобой, когда ты выходил на трибуну, освещённый огнями. Зал приветствовал тебя, и ты наивно и счастливо улыбался, получая это признание. Сколько интересных идей, интересных материалов приносил ты в нашу газету! Как грозно кричал на всех нас, топал на меня ногами, обвиняя в недостатке любви к русской словесности!

В самые страшные годы – в 1991 и в 1993 – ты был на посту. Когда горел жуткий пожар в центре Москвы, когда танки стреляли по русскому парламента,

когда ставили крест на том, что тогда называли демократией и свободой, мы, спасаясь от гонений, бежали с тобой в леса, в избушку к Личутину. Мы уходили от погони, меняли машину на машину, электричку на электричку, автобус на автобус и потом, в эту горькую дождливую осень, мы сидели у Личутина, пили водку, плакали, пели, глядя, как арестовывают и ведут на расправу наших друзей. А через несколько дней, когда в мрачной Москве ещё господствовало военное положение и сновали по улицам БТРы, мы были уже дома и приняли решение продолжать выпуск нашей газеты. Мы отпечатали нашу газету “Завтра” в Восточной Сибири, в Красноярске и потом везли её через эти огромные пространства. Ночью доставили в Москву и, боясь преследования, таскали пачки газет на себе, переноса из вагона в машину. И наутро народ узнал из первого номера газеты “Завтра” о чудовищных фактах разгрома Дома Советов.

Нас так мало осталось от той поры. И всё меньше и меньше. Быть может, скоро настанет день, когда некому будет сказать: “А помнишь?..”

Ты помнишь, Володя, какой прекрасной и восхитительной была наша жизнь? Каких женщин мы любили! Какие букеты дарили нам наши обожатели! Какое чудное вино вкушали мы, сидя за нашим братским столом!

Трогаю множество твоих книг, стоящих на книжной полке. И каждая из них — тёплая и душистая, как русская печка. Я греюсь подле них в ледяные, холодные часы моей жизни. Ты для литературы то же, что журнал “Наш современник”. Ты хранитель великих русских литературных заповедей, весталка, сберегающая священный огонь, ибо ты сам — человек огня. Ты огненный и светящийся.

Обнимаю тебя, мой друг, целую. Поднимаю за тебя заздравную чашу.

*Среди острова Буяна,
Среди горестей и мук,
Среди чёрного бурьяна
Расцветает синий луг.*

КОНСТАНТИН ДОЛГОВ

СЕРГЕЙ БОНДАРЧУК: ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ, ДОБРА И КРАСОТЫ

Моя жизнь сложилась таким образом, что занимаемые мною должности и проблемы философии, политики, истории, литературы, искусства, религии и культуры в целом, которыми я занимался, способствовали моим встречам с выдающимися людьми нашего времени. Среди этих многих встреч мне запомнились встречи и беседы с Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком. Они были разными: случайными, краткими и длительными, а иной раз весьма серьёзными и глубокими.

Однажды Галина Долматовская позвала меня к себе в гости: она просила у меня консультации по итальянской литературе и кино. Когда я пришёл, то застал там наших знаменитых Сергея Аполлинарьевича Герасимова и его супругу Тамару Фёдоровну Макарову. Это меня одновременно обрадовало и озадачило: обрадовало, потому что встречи с такими людьми всегда необычайно интересны, а озадачило, потому что я понимал трудности и проблемы, которые неизбежны при таких встречах и беседах.

Увидев столь именитых гостей, я даже немного растерялся. Они, заметив моё смущение, сразу пригласили меня к столу, и С. А. Герасимов, с которым я был уже знаком, представил меня, сказав, что этот молодой человек – философ, и он за этим столом не будет лишним, а напротив, может кое-что уточнить и даже определить более точно, чем мы. Не знаю, о чём они беседовали до меня, но при мне Сергей Аполлинарьевич стал с лёгкой, но критической иронией обсуждать фильм “Война и мир” Сергея Бондарчука. Разумеется, все внимательно слушали то, что он говорил, поскольку более квалифицированно человека в кинематографе найти было трудно. А говорил он о том, что этот фильм в известной мере носит претенциозный характер как по своему грандиозному замыслу, так и по его осуществлению. С. Бондарчук вознамерился раскрыть такое содержание романа Л. Толстого, какого ещё никто не сумел осуществить ни в кинематографе, ни в литературе, ни в каком-либо другом виде искусства. Об этом свидетельствуют практически все батальные сцены этого фильма; вы не найдёте другого фильма с таким количеством участников, идёт ли речь о Бородинском сражении или о каких-то других грандиозных сценах, и мне кажется, – говорил Герасимов, – что Бондарчук здесь несколько “пересолил”. Конечно, эти сцены должны были быть грандиозными, но не до таких масштабов. Вот почему, – подчеркнул Герасимов, – эти преувеличения кажутся мне излишними. Если бы эти сцены были скромнее, то, по-моему, фильм от этого только бы выиграл.

В разговор вступили другие участники беседы. Так, А. В. Караганов поддержал мнение С. А. Герасимова и добавил, что эти грандиозные сцены не столько раскрывают глубину мысли и чувств Л. Толстого, сколько мешают их раскрытию. В беседу включились и женщины. Тамара Макарова обратила внимание на то, что в фильме недостаёт раскрытия удивительных женских характеров основных героинь романа – княжны Марьи и Наташи Ростовской. А Софья Григорьевна Караганова отметила недостаточную определённую и глубину основных особенностей мужских характеров, прежде всего, Андрея Болконского и, в известной мере, Пьера Безухова.

Я с огромным интересом слушал суждения уважаемых мною деятелей нашего искусства. Наконец, С. А. Герасимов внимательно посмотрел на меня: “А что Вы скажете, Константин Михайлович, об этом фильме Сергея Федоровича?” Я стал говорить о том, что не являюсь специалистом в области кино и могу высказывать своё мнение об этом фильме, равно как и о других, только как обыкновенный любитель кино. Я сказал, что этот фильм меня просто поразил, потряс до глубины души. Я знал, что Сергей Бондарчук – талантливый актёр и режиссёр, но даже не мог представить себе, что он талантлив до такой степени. По моему мнению, если бы все эти сцены были более скромными, то Сергею Фёдоровичу вряд ли удалось бы произвести столь ошеломляющее впечатление на миллионы зрителей, хотя фильм всё равно был бы серьёзным, значительным и талантливым. Что касается глубины раскрытия основных героев романа “Война и мир”, то здесь можно много и долго спорить – всё зависит от того, с какой точки зрения смотреть на процессы раскрытия духовного мира главных героев, с какой философской идеей следует подходить к генезису раскрытия их духовного мира, а значит, и их жизни и судьбы. Но поскольку я не специалист в области кино, – повторил я, – мне трудно с вами полемизировать, в чём-то я согласен, а в чём-то я опираюсь на свои взгляды и суждения об этом фильме.

В общем, эта встреча запомнилась мне на всю жизнь: где бы я ещё целый вечер слушал столь знаменитых представителей нашей литературы и кинематографа, да ещё к тому же учителей Сергея Фёдоровича Бондарчука, которые осторожно, лаконично и вместе с тем критически оценивали этот выдающийся фильм.

Возглавляя Всесоюзное агентство по авторским правам, я был избран членом Комитета по Ленинским и Государственным премиям, где я, естественно, встречался со многими выдающимися представителями нашей литературы и искусства, в том числе и с Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком.

Мне иногда казалось, что Сергей Фёдорович не очень любил заседания этого комитета, они не доставляли ему особого удовольствия, а, напротив, как-то тяготили, в чём-то мешали. Действительно, могу подтвердить, что выступления иной раз были слишком многословными и несущественными. И когда заседания подходили к концу, он, не дожидаясь, поднимался и уходил. А иногда во время перерыва он уединялся и сидел где-нибудь в сторонке одиноко, не глядя ни на кого, как бы целиком уходя в себя. В такие моменты я, набравшись смелости, подсаживался к нему и, извинившись, спрашивал, о чём он думает, почему он сидит в одиночестве. Однажды, помолчав, он мне ответил: “Слишком много дел и мыслей, Константин Михайлович, которые меня не просто тяготят, а не дают возможности нормально жить, дышать и работать”. От такого ответа я даже оторопел и заметил: “Вам ли обижаться на свою судьбу и своё положение! Ведь вам завидуют если не все, то очень многие деятели литературы и искусства, хотя я понимаю, что эта зависть порождает не самые лучшие чувства по отношению к вам. Например, на протяжении долгого времени я слышу критику в ваш адрес, критикуют самые знаменитые Ваши фильмы: и “Судьбу человека” и особенно “Войну и мир”. Я, например, от этих фильмов в восторге и не могу согласиться с той критикой, которая высказывается довольно уважаемыми деятелями нашего кинематографа и нашей культуры. Я не могу понять, в чём здесь дело”.

После некоторого молчания Сергей Фёдорович заметил, что во многом это порождается обыкновенной завистью его коллег, а также огромными замыслами и необычными для нашей жизни и нашего искусства масштабами их осуществления. “Я вкладываю в свои фильмы всего себя, – сказал он, – и физически, и духовно, и нравственно, и интеллектуально. Я ставлю перед собой, по существу, извечный вопрос: быть или не быть – или я создам настоящее

произведение искусства, или ему, а значит, и мне, не быть. Поэтому такие фильмы, как “Судьба человека” и особенно “Война и мир”, чуть-чуть не свели меня на тот свет.

Почему я взялся за экранизацию “Войны и мира” Л. Толстого? Да потому, что речь идёт о войне и мире, о жизни и смерти как отдельного человека, так и целых народов и, можно сказать, всего человечества. Отсюда всё остальное: и грандиозные батальные сцены и совершенно невероятные, умопомрачительные трюки с кинокамерой, и сцена смерти Андрея Болконского, и сражения огромных армий, уничтожающих друг друга... По существу, смысл романа “Война и мир” и моего фильма – это раскрытие самых глубоких, самых страшных, самых тревожных идей и мыслей о жизни и смерти. Недаром Лев Николаевич Толстой в своих дневниках постоянно ставил вопрос о том, есть смерть или нет смерти? если есть жизнь, то как она связана со смертью? если есть смерть, то что такое жизнь? и есть ли вечная жизнь или её нет, поскольку любая жизнь в этом мире завершается смертью... Как ответить на эти вопросы, что я должен и что я мог сказать миллионам зрителей? Вот почему я считал и считаю роман Л. Толстого “Война и мир” самым выдающимся романом, написанным когда-либо в истории человечества, и вот почему я вложил столько сил, чтобы выразить, может быть, далеко не полностью, а хотя бы частично эти самые глубокие, самые тревожащие душу человека мысли и идеи Толстого о жизни и смерти. После всего, что мне удалось пережить во время работы над этим фильмом, я удивляюсь тому, что я ещё жив.

В детстве я был крещён и верил в Бога, как все крестьянские дети, потом в разные периоды жизни я как-то отошёл от этой веры, но когда я читал и перечитывал роман Толстого и переживал физические и духовные волнения его героев, в особенности Пьера Безухова, я снова вернулся к тому, во что верил в детстве, – к вере в Бога – и поверил, кажется, так, как верил сам Лев Толстой. В этом смысле все его герои являются ключевыми для понимания проблемы соотношения жизни и смерти, но особенно важны такие герои, как Пьер Безухов и Андрей Болконский, ибо это целые миры, которые включают в себя все основные стороны личной, общественной, политической и религиозной жизни. Это живой, индивидуальный универсум, где таятся все загадки и разгадки, все проблемы человека и все их решения. Вопрос заключается только в том, в состоянии ли мы по-настоящему понять этот универсум и ответить на те вопросы, которые содержатся в нём. Вот почему, Константин Михайлович, Вы застаёте меня иногда в состоянии одиночества. Могу сказать, что при всей моей бешеной и сумасшедшей работе я очень часто бываю одинок, и это неудивительно, ибо, как только человек ставит перед собой проблему жизни и смерти, он тем самым обрекает себя на полное одиночество. Так, Лев Николаевич Толстой, несмотря на всю свою мировую славу, на любовь миллионов людей, был почти всегда одинок и даже умер, по сути, в самоизгнании и одиночестве. Удел людей, пытающихся понять и раскрыть смысл жизни и смерти, соотношение этих смыслов – это полное и абсолютное одиночество, как будто сама эта тема запретна, и человеку не позволено не только заниматься её изучением и разгадкой, но даже нельзя её касаться. Теперь я думаю, что в этом содержится также и другой ответ на вопрос, почему мои коллеги критикуют мой фильм “Война и мир”: они чувствуют эту скрытую трагедию человека и человечества, содержащуюся в самом вопросе о соотношении жизни и смерти, хотя некоторые из них, как мне кажется, об этом даже не догадываются”.

Насколько я понял, Сергей Фёдорович говорил не об обычном одиночестве в повседневной жизни – как раз в этой жизни он был счастливым человеком: у него была прекрасная жена, красавица и талантливая актриса, они по-настоящему любили друг друга всю жизнь, у них была семья, которой завидовали, они zaloжили династию артистов, которая продолжает их дело. Он говорил о другом одиночестве – одиночестве на высотах мысли и духа, что во все эпохи доступно лишь немногим из людей, именно это одиночество тяготило и угнетало его.

После всего, что сказал Сергей Фёдорович, мы оба замолчали. Я молчал, поскольку был поражён столь сокровенными и глубоко философскими мыслями, а Бондарчук молчал, видимо, потому, что после всего сказанного у него не было сил что-либо ещё сказать или добавить. После пяти или десяти минут молчания он протянул мне руку, мы попрощались, и он сказал: “И мне,

и вам есть над чем подумать и поразмыслить”, — как-то слабо улыбнулся и ушёл.

И действительно, после этой встречи и беседы я долгое время не мог не думать о тех проблемах, которые были высказаны Сергеем Фёдоровичем в нашей беседе и, разумеется, в его гениальном фильме.

В одном из последних разговоров Сергей Бондарчук поведал мне о своих “кинематографических” мучениях: “Константин Михайлович, как я всё время мучился и днём, и ночью над тем, как выразить в образах кино размышления Пьера Безухова и Андрея Болконского над самыми разными, но в то же время наиболее существенными проблемами жизни. Вот, например, их разговор о начале войны с Наполеоном:

“Теперь война против Наполеона. Ежели б это была война за свободу, я бы понял, я бы первый поступил в военную службу; но помогать Англии и Австрии против величайшего человека в мире... Это нехорошо.

Князь Андрей только пожал плечами на детские речи Пьера. Он сделал вид, что на такие глупости нельзя отвечать; но действительно на этот наивный вопрос трудно было ответить что-нибудь другое, чем то, что ответил князь Андрей.

— Ежели бы все воевали только по своим убеждениям, войны бы не было, — сказал он.

— Это-то и было бы прекрасно, — сказал Пьер.

Князь Андрей усмехнулся.

— Очень может быть, что это было бы прекрасно, но этого никогда не будет...”

— Его можно, — говорил Бондарчук, — передать как диалог, но для фильма этого слишком мало. Необходимо, чтобы зритель почувствовал всё многообразие содержания этих высказываний и богатство эмоций при выражении этих идей.

Или ещё один пример. Как воплотить в художественных образах рассуждения Пьера Безухова и Андрея Болконского о справедливости и несправедливости, о смысле жизни, о том, ради чего должен жить человек, какой должна быть его жизнь, чтобы она не была пустым и бессмысленным прозябанием, а действительно приносила бы пользу и другим людям, и ему самому, чтобы человек никогда не совершал в жизни зла, а творил добро. На замечание Пьера: “Нет, убить человека нехорошо, несправедливо...” — следует рассуждение князя Андрея:

— Отчего же несправедливо? — повторил князь Андрей. — То, что справедливо и несправедливо — не дано судить людям. Люди вечно заблуждались и будут заблуждаться, и ни в чём больше, как в том, что они считают справедливым и несправедливым.

— Несправедливо то, что есть зло для другого человека, — сказал Пьер, с удовольствием чувствуя, что в первый раз со времени его приезда князь Андрей оживлялся и начинал говорить, и хотел высказать всё то, что сделало его таким, каким он был теперь.

— А кто тебе сказал, что такое зло для другого человека? — спросил он.

— Зло? Зло? — сказал Пьер. — Мы все знаем, что такое зло для себя.

— Да, мы знаем, но то зло, которое я знаю для себя, я не могу сделать другому человеку, — всё более и более оживляясь, говорил князь Андрей, видимо желая высказать Пьеру свой новый взгляд на вещи. Он говорил по-французски. — *Je ne connais dans la vie que deux maux bien réels: c'est le remord et la maladie. Il n'est de bien que l'absence de ces maux**. Жить для себя, избегая только этих двух зол, — вот вся моя мудрость теперь.

— А любовь к ближнему, а самопожертвование? — заговорил Пьер. — Нет, я с вами не могу согласиться! Жить только так, чтобы не делать зла, чтобы не раскаиваться, — этого мало. Я жил так, я жил для себя и погубил свою жизнь. И только теперь, когда я живу, по крайней мере, стараюсь (из скромности поправился Пьер) жить для других, только теперь я понял всё счастье жизни. Нет, я не соглашусь с вами, да и вы не думаете того, что вы говорите. — Князь Андрей молча глядел на Пьера и насмешливо улыбался”.

Или взять размышления Пьера о лжи, которую постоянно стремятся вы-

* Я знаю в жизни только два действительные несчастья: угрызение совести и болезнь. И счастье есть только отсутствие этих двух зол (фр.).

дать за истину. Как это передать в образах кино? “Все мы исповедуем христианский закон прощения обид и любви к ближнему – закон, вследствие которого мы воздвигли в Москве сорок сороков церковей, а вчера засекали кнутом бежавшего человека, и служитель того же самого закона любви и прощения, священник, давал целовать солдату крест перед казнью”. Так думал Пьер, и эта вся общая, всеми признаваемая ложь, как он ни привык к ней, как будто что-то новое, всякий раз изумляла его... Он испытывал несчастную способность многих, особенно русских людей – способность видеть и верить в возможность добра и правды и слишком ясно видеть зло и ложь жизни, для того чтобы быть в силах принимать в ней серьёзное участие. Всякая область труда, в глазах его, соединялась со злом и обманом. Чем он ни пробовал быть, за что он ни брался – зло и ложь отталкивали его и загораживали ему все пути деятельности”.

Или как можно выразить чувства и мысли князя Андрея перед смертью?

“Да, мне открылось новое счастье, неотъемлемое от человека, – думал он, лежа в полутёмной тихой избе и глядя вперёд лихорадочно-раскрытыми, остановившимися глазами. Счастье, находящееся вне материальных сил, вне материальных внешних влияний на человека, счастье одной души, счастье любви! Понять его может всякий человек, но сознать и предписать его мог только один Бог. Но как же Бог предписал этот закон?..

... Прежде он боялся конца. Он два раза испытал это страшное мучительное чувство страха смерти, конца, и теперь уже не понимал его.

Первый раз он испытал это чувство тогда, когда граната волчком вертелась перед ним и он смотрел на жнивье, на кусты, на небо и знал, что перед ним была смерть. Когда он очнулся после раны и в душе его, мгновенно, как бы освобождённый от удерживавшего его гнёта жизни, распустился этот цветок любви, вечной, свободной, не зависящей от этой жизни, он уже не боялся смерти и не думал о ней.

Чем больше он, в те часы страдальческого уединения и полубреда, которые он провёл после своей раны, вдумывался в новое, открытое ему начало вечной любви, тем более он, сам не чувствуя того, отрекался от земной жизни. Всё, всех любить, всегда жертвовать собой для любви, значило никого не любить, значило не жить этою земною жизнью. И чем больше он проникался этим началом любви, тем больше он отрекался от жизни и тем совершеннее уничтожал ту страшную преграду, которая без любви стоит между жизнью и смертью...

“Любовь? Что такое любовь? – думал он. – Любовь мешает смерти. Любовь есть жизнь. Всё, всё, что я понимаю, я понимаю только потому, что люблю. Всё есть, всё существует только потому, что я люблю. Всё связано одною ею. Любовь есть Бог, и умереть – значит мне, частице любви, вернуться к общему и вечному источнику”...

“Да, это была смерть. Я умер – я проснулся. Да, смерть – пробуждение!” – вдруг просветлело в его душе, и завеса, скрывавшая до сих пор неведомое, была приподнята перед его душевным взором. Он почувствовал как бы освобождение прежде связанной в нём силы и ту странную лёгкость, которая с тех пор не оставляла его”.

– Константин Михайлович, Вы только представьте себе, как, каким образом можно в фильме показать зрителю всю глубину размышлений Андрея Болконского, умирающего от полученных в бою ран?”

Эти вопросы, которые ставил перед собой Сергей Бондарчук, действительно были невероятно трудны. Можно, конечно, было отделаться простым воспроизведением текста героями, но тогда этот фильм предстал бы простой иллюстрацией романа, а не образным выражением самых глубинных чувств и мыслей умирающего человека. Я тогда, кажется, понял мучения Сергея Бондарчука над воплощением пронзительных, потаённых и сокровенных мыслей Льва Толстого. Но каково было ему, известному и талантливому кинорежиссёру, выносить эти мучения на протяжении почти шести лет, которые он посвятил созданию своей работы?!

Вместе с тем мне невольно вспоминался его фильм “Судьба человека”, столь же талантливый и поразительный. В этом фильме только одна фраза, которую произносит мальчик-сирота: “Папка! Родненький! Я знал, я знал, что ты меня найдёшь!” – вырывающаяся из его уст, сердца и души, как крик, будто пронизывающий всё человечество, фраза, которая вопиет против

человеческого мира, относящегося самым бесчеловечным образом к невинному ребёнку, потерявшему родителей, не имеющему домашнего крова, скитающемуся в поисках куска хлеба и пытающемуся хоть как-то выжить, которая звучит как обвинение всему человечеству за его полное равнодушие к детям-сиротам и как призыв, мольба к тому, чтобы этого никогда и нигде не было, и как несказанная радость ребёнка, вдруг нашедшего своего отца, — одна эта фраза стоит многих повестей и фильмов, ибо она говорит о том, быть или не быть человечеству. Человечество может обойтись без многого: без лишней одежды, еды, без каких-то предметов обихода и т. д., но оно не может жить и выжить без детской улыбки, детского крика, детской радости. Поэтому человечество при любых условиях и обстоятельствах должно заботиться, прежде всего, о детях. Слова радости, которые выкрикнул мальчик-сирота, являются символом жизни или смерти человечества.

Сергей Фёдорович Бондарчук, человек, прошедший войну, видевший все ужасы, которые она принесла миллионам людей, испытавший на себе те невероятные усилия сердца и души, которые пришлось сконцентрировать всему народу, чтобы выдержать почти невыносимые испытания, человек, который выбрал профессию актёра, а затем режиссёра, чтобы в противовес злу, столь распространившемуся в настоящее время, утверждать в мире добро, правду, красоту и любовь, посвятил этому всю свою жизнь и творчество — именно в этом он видел основную цель и смысл своего бытия, не случайно его шедевры вызывали и вызывают огромный интерес у новых и новых поколений зрителей.

Мои встречи и беседы с Сергеем Фёдоровичем Бондарчуком не только запомнились на всю жизнь, но и стали в известной степени основным критерием при оценке тех или иных реальных событий и произведений философии, литературы, искусства и культуры, выражающих и отражающих сложную, противоречивую жизнь современного общества.



РУССКИЙ ЧЕЛОВЕК

Ранним утром в Рождественский сочельник позвонили: “Отшел ко Господу Михаил Яковлевич Лемешев”. 1 января ему исполнилось 94 года.

Я вспоминаю свою первую встречу с Михаилом Яковлевичем в 1985 году, которая положила начало нашей совместной деятельности и дружбе. Она несомненно повлияла на мои взгляды и убеждения. Это было время отчаянной борьбы сторонников и противников переброски северных и сибирских рек в Среднюю Азию. Я готовил репортаж об этом проекте для программы “Время”. На XXV съезде КПСС в 1976 году объявили о начале работ. Осуществить гигантский проект поручили Министерству водного хозяйства. Над проектом работало около 200 организаций-соисполнителей, включая почти 50 проектно-изыскательских и 100 научно-исследовательских институтов. Под проект выделялись гигантские государственные средства. Новый генеральный секретарь ЦК КПСС Константин Черненко решил ускорить эти работы и провёл пленум ЦК КПСС 23 октября 1984 года, на котором была уже принята программа переброски на юг полноводных сибирских и северных рек. Сегодня для многих может удивительно, но в государстве с жесточайшей партийной дисциплиной не все восприняли постановление партии как руководство к действию. Географы, климатологи, биологи, математики стали строить модели последствий поворота рек. В оппозицию к повороту рек встали и писатели-“деревенщики”. Группа писателей направила лидерам страны петицию с протестом против проекта поворота рек. Письмо подписали Виктор Астафьев, Василий Белов, Юрий Бондарев, Сергей Залыгин, Леонид Леонов, Дмитрий Лихачев, Валентин Распутин. Эти люди нашли в себе мужество выступить против государственно-партийной машины. Михаил Яковлевич Лемешев одним из первых выступил против переброски северных и сибирских рек, таившей в себе великие экономические, социальные бедствия для природы, экономики и культуры России. Он стал заместителем председателя специальной комплексной комиссии вице-президента Академии наук А. Л. Яншина, которая рассматривала все угрозы от поворота рек. В составе комиссии было 7 специализированных секций. В них активно работали крупнейшие ученые академики Л. С. Понрягин, Н. Н. Моисеев, Г. И. Петров, В. Л. Янин, члены-корреспонденты АН СССР В. А. Ковда, Т. М. Энеев, академики ВАСХНИЛ В. А. Тихонов, А. Н. Каштанов, Е. Е. Сыроечковский, писатели В. И. Белов,

В. Г. Распутин, С. П. Залыгин, искусствоведы В. Г. Брюсова, С. Ямщиков, доктора наук геологи Е. М. Пашкин, С. Н. Чернышов, биологи Ф. Я. Шипунов, Н. А. Лебедева и многие другие. Лемешев возглавлял эколого-экономическую секцию и к нему сходились все за и против. Так я с ним и встретился. Критика проекта в СМИ была запрещена, и меня поразили резкие слова Лемешева о слепоте государственных и партийных чиновников, движимых, на его взгляд, желанием прославиться и обогатиться. Их не волнует, говорил он, судьба Сибири, Севера, Арала или засушливых земель Средней Азии. Чем масштабнее проект, тем больше для них возможностей украсть, не говоря уж об орденах, медалях и прочих благах. За большими деньгами стоят большие силы. Он показывал схемы, выкладки, цитаты, документы... и неустанно повторял – это преступление. Закроем проект – спасём Россию. Его страстные, логически обоснованные доводы легли не только в основу моего репортажа, но и увеличи меня в стан противников проекта. Борьба научной и творческой общестственности, людей, не на словах, а на деле любящих Россию, завершилась победой: преступный “проект века” 14 августа 1986 года был закрыт, и работы по переброске рек прекращены.

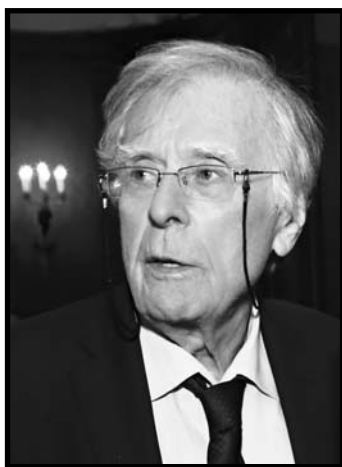
Это, как говорится, лишь эпизод из жизни Михаила Яковлевича Лемешева. А сколько таких определяющих моментов было в его почти столетней жизни!

Каждый человек приходит в мир в своё время, и у каждого своё предназначение. Исполним ли мы то, что желает Господь, зависит только от нас, от нашего свободного выбора. Служить добру или злу. Богу или дьяволу. Об этом часто говорил и Михаил Яковлевич.

Михаил Лемешев сделал свой выбор: он встал на защиту православной России. Господь одарил Лемешева многими талантами в разных областях науки и культуры. Он вел исследования в области экономических, социальных и экологических аспектов охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов. Михаил Яковлевич стоял у истоков теории управления экономикой и экологией, доказывая, что экономика имеет с экологией общее человеческое начало. Они тесно взаимосвязаны между собой: природа-человек-экономика – это триединая система. Причём Лемешев отстаивал православную позицию, что не экономика идёт впереди нравственности, а нравственность определяет экономику. В своих трудах он видел будущее России только в сотрудничестве науки и религии.

Ушел из земной жизни в вечность Михаил Яковлевич Лемешев, но со мной и с теми, кто его знал, остаётся его образ. Ученый, мыслитель, общественный деятель и по-христиански добрый, мужественный, обаятельный и интеллигентный человек. Русский Человек с большой буквы.

Главный редактор журнала “Русский Дом”,
президент Международного фонда славянской письменности и культуры
Александр КРУТОВ



ПРОЩАЙ, НЕРАВНОДУШНОЕ СЕРДЦЕ

Скончался Валентин Осипович Осипов – целая эпоха литературы, беспокойная, равнодушная душа, твёрдый, но и добрый человек с убеждениями великодушия и справедливости во всём и всегда. Я знал его с той поры, когда он вернулся из Казахстана, где, сам того не ведая, поднял молодёжь и молодёжную прессу на самый высший уровень.

Он выпустил к грандиозному совещанию, которое проводил Хрущёв, номер целиноградской областной комсомольской газеты “Молодой целинник”, где был главным редактором, отчаянно смелую публикацию. Да ещё и добился, чтобы газета эта оказалась в Президиуме. Хрущёв схватил её, и предъявил собранию как аргумент в тогдашнем публичном споре с возгласами: вот что такое целина! вот что такое молодёжь! вот кому надо дать дорогу! При этом незнающим не мешает знать, что у комсомола в каждой области была своя газета, и этот правящий пассаж развязал нам руки – с осиповской подачи мы получили острые возможности, и молодёжная печать обрела равенство и права на собственное видение жизни. Я был тогда тоже редактором молодёжки, и хорошо помню этот разворот!

А осиповский “Молодой целинник” получил небывалую “премию”: пятиразовый выход большого формата – превосходнейшая для газетчиков награда!

И кем только не побывал Валентин Осипов в своей жизни! Сразу после целины – главный редактор целого издательства “Молодая Гвардия”, не меньше 600 книжек в год! Молодая литература! Совещания молодых писателей, конечно же, всесоюзные! Полтора десятка молодёжных журналов и газет только молодогвардейских! Потом журнал “Знамя” – первый зам главного. Наконец директор издательства “Художественная литература” – из нынешних времён трудно даже представить, что это была за мощь! Шолоховское собрание сочинений миллионным тиражом, к примеру. И вообще “Худлит” тогда – это отборная классика. И громадный духовный корабль по справедливости возглавлял Валентин Осипов, который и сам на глазах вырос в крупнейшего, стратегически мыслящего издателя.

Валентин постепенно обрёл облик бесспорно незаурядный. Журналист, литератор, издатель, он обретал поистине конструкторские черты мышления

и действия. Это он оказался одним из основных организаторов “Всемирной библиотеки художественной литературы”. ДВЕСТИ томов. ВСЯ мировая классика. Тираж каждого тома – 303 тысячи экземпляров! Сегодня такое даже вообразить невозможно, но народу большой страны представили на русском языке весь мир литературы всех веков и народов, и это уже превосходило представление о проекте как о, пусть и грандиозном, но всего лишь издательском, деле. Проект исполненный до конца, стал выдающимся культурным феноменом, сооружением не конструкции, а осуществлением образовательной мечты, рыбка духовного свойства, ведь прочитав эти 200 томов личность могла состояться как всесторонне, исторически просвещённая ценность. А если толковать о библиотечном, просветительском начале, то такая книжная коллекция сама по себе уже являла духовную ценность, равную гуманитарному институту. И во главе этой, осуществлённой, истинно энциклопедической ценности был он, Валентин Осипович Осипов.

Он вообще, по частным подсчётам, оказался причастным к изданию книг, вышедшим общим тиражом в ТРИ МИЛЛИРДА экземпляров, и это не были учебники, а только и исключительно литература. Истинный подвиг!

Когда стало рушиться государственное книгоиздание, Осипов неумоимо взялся за организацию книгоиздания частного, учредив издательство “Раритет”. И тут сошёлся с палехской семьёй художника Бориса Кукулиева. Книги, которые появились на свет, стали высотами книгоиздания, полиграфии и истинно народного искусства, которые признал, без преувеличения, профессиональный мир. “Задонщина” – явление древнерусской литературы, ставшее огромным по размеру томом, с мудрыми ликами наших предков, вошло в число истинно мировых вершин книгоиздания, приближающего через высокую образность отечественную древнюю историю к современности. И удивительный том “Евангелие в красках Палеха” – тоже непревзойдённое творение сердца и разума! А своеобразный книжный складень, который состоит из “Евангелия” и “Жизни Иисуса Христа”!

Все эти шедевры, оценённые хоть и высоко, разными международными книжными выставками, но сейчас отошедшие в некое забытье, ещё, без сомнения, выйдут из тени и прозвучат красной – не строкой, а страницей – в деле НЕУГАСАНИЯ русской цивилизации. А имя Осипова – в скрижали самых высоких этажей истинной русской цивилизации.

Валентин был начисто лишён спокойствия. Написав в ЖЗЛ биографию Шолохова, а до того много раз общавшийся с классиком, он стал его активным защитником, схватившись в сражении за справедливость с Солженицыным. Вообще, мало в жизни и литературе тем, к которым бы не прикоснулись равнодушные перо и сердце Валентина Осиповича. Многие отмалчивались, усмехаясь какой-то несправедливости, и отворачивались, Осипов – никогда. Потому и жил он в обстановке, частенько накалённой. И это был его характер, его нетерпимость к несправедливости. Постоянная энергетика и желание сделать ещё, выдать, не сделанное, расходовали его исподволь, хотя кто может знать, когда и как кончаются силы, даже самые добрые.

А ведь кроме всего этого, Валентин перенёс острое онкологическое заболевание, выбрался, преодолел самое тяжкое и написал книгу о своём испытании. И это была история настоящего противления беде. Исполненной силы духа.

Преддверие последней катастрофы явилось исподтишка. Я хотя и знал о его болезнях, всегда верил, что Валентин, по духу своему – истинный боец, и их преодолеет. Мы бодро поговорили с ним по телефону всего за несколько часов, перед тем как его увезли в реанимацию. И он даже не сказал об этом. Видать, не знал!

Прости и прощай, равнодушное сердце – Валя, Валентин, Валентин Осипович!

И мы должны помнить, что жизнь покинула незаурядная личность, жившая ярко, осмысленно, мужественно, меньше всего заботясь о себе. Его интересы носили высокий характер. Он жил интересами, которые человек создаёт сам для себя во имя чистых идеалов.

Альберт ЛИХАНОВ